

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

5

1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5(853)

Май, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМЕН ЛИПКИН — В первый день, стихи	3
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Клетка, повесть	6
ИОСИФ БРОДСКИЙ — Крики дублинских чаек! Конец грамматики, стихи	67
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Ночные бдения с Иоганном Вольфгангом Гёте, рассказ	77
АЛИНА ВИТУХНОВСКАЯ — Мы жили-были в тире, стихи	98
ДЕНИС НОВИКОВ — И увиденным был прельщен, стихи	103
ВЛАДИМИР САПОЖНИКОВ — Аютины глазки, рассказ	107

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ТОРНТОН УАЙЛДЕР — К небу мой путь, роман. Окончание. Пере- вел с английского А. Гобузов	122
--	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — «Как трудно даются иные дни!». Из дневниковых записей 1953 — 1974 годов. Окончание. Публикация и Примеча- ния Т. Ф. Дедковой	135
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

В. НЕПОМНЯЩИЙ — Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России	162
--	-----

Предварительные итоги XX века

МАРИНА НОВИКОВА — Соблазны	191
----------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Заметки на полях	203
-------------------------------------	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — ...и приветствую звоном щита	217
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

220

Леонид Бахнов. Интеллигенция поет блатные песни.
Михаил Бутов. Памяти черепахи.
Роман Арбитман. Из чего сделано кресло президента США.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЕЛЕНА ШВЕЦОВА — Как наше слово отзовется... 230
Л. АЙЗЕРМАН — Факультет ненужных вещей?.. 235

КОРОТКО О КНИГАХ:

Юрий Кублановский. — I. Елена Шварц. Песня птицы на дне морском. II. Евгений Рейн. Сапжжок. Книга итальянских стихов. ♦

Глеб Шулъяков. — Иосиф Бродский. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями. Стихи 242

КНИЖНАЯ ПОЛКА 246

ПЕРИОДИКА 249

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулк, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабликешенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

СЕМЕН ЛИПКИН



В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Безумие

Так же плывут в синеве облака,
Так же весна зелена и звонка,
Тот же полет ветерка.

Только душа почему-то нема, —
Разве природа лишилась ума,
Разве грозит нам зима?

Солнце холодного майского дня,
Разве ты светишься ярче огня
Там, где несчастна Чечня?

Страшно погибшим, не только живым, —
Может, безумием стал одержим
К нам на пути серафим?

Стены заговорят

Льется дождь. Дерев орава
Жадно воду пьет, гудя,
Но скрывается отрава
В каждой капельке дождя.

Будет день. Обычный. Страшный.
Широко шагнет чума.
Все умрет: деревья, пашни,
Птицы, люди и дома.

На холмах и на равнинах
Жизнь взойдет, опять нова,
Но лишь в каменных руинах
Наши оживут слова.

С помощью иной антенны
Вдруг в разрушенном доме
Неизвестный никому
Наш язык откроют стены.

Преступник

Что стало с ним? Быть может, свыкся
С своей судьбой и мрачно пьет?
Иль светлым трепетом проникся
И в ужасе возмездья ждет?

Иль на него, чья жизнь сокрыта,
Как Даниил среди зверей,
Глазами умными семита
Взирает протоиерей.

В начале исхода

Я зноя вдыхаю сухой преизбыток,
А небо горящего спирта синей.
Пустыня лежит, как развернутый свиток,
И ждет, чтобы вывел я буквы на ней.

Но как я их выведу? Слов я не знаю,
Они еще не заповеданы мне,
Свободой вчерашних рабов обжигаю
И к Неопалимой веду Купине.

Соседи

Ах, какое высокое небо
Над высотами города Хеба!
Здесь, в одном из судетских домов,
Жил старик, автор многих томов,
Тот, кто Вертера создал и Фауста.

Средь снегов, набегающих нагусто,
Или в шелесте летних недель
Ясноокая умная немка,
Молода и свежа, как апрель,
С ним делила часы и постель.
Впрочем, нам не важна эта темка.

Важно то, что великий старик
От знакомств в эти годы отвык.
Собеседники — только родник,
И людей, и скотины поилец,
Да еще этот Гус. Еретик?
Нет, сожженного однофамилец.

До сих пор мы не знаем, о чем
Говорил с местным жителем немец,
Только знаем, что старый богемец
Состоял городским палачом.

Пили пиво палач и поэт.
Кто подслушал слова тех бесед?

- Я служил королю топором.
- Я работал гусиным пером.
- Я людей убивал по нужде.
- Я покаюсь на Страшном суде.

Парижская нота

Называла Жоржиком Ахматова
Юного столичного хлыща,
Этого порочного, губатого,
Чья строка вторична и нища.

Тяжки эмигрантские условия,
Часто решка, изредка орел.
Отпрыск благородного сословия
Благородство высшее обрел.

Он сумел вдали от русской снежности,
С полупьяной смертью визави,
Вызволить из долгой безнадежности
Музыку страданья и любви.

Случайность

Все случайно: Ермак и Петр,
Канцлер-шут в камзоле поярковом
И таможенный досмотр
Между Белгородом и Харьковом,

Пугачев, Аракчеев, Ильич,
Праарийских племен поверия...
Русь моя, как тебя постичь,
О, случайная империя!

Ты встаешь в рассветной росе,
Да и вся — из мира весеннего,
И татарин-шакирд в медресе
Славит Пушкина и Тургенева.

В первый день

Там были бедность, ранний голод,
Там породнился я с тоской,
Но все ж мне дорог этот город,
Такой земной, такой морской.

Он стал талантами беднее,
Стал заурядней и серей,
Но сердцу места нет роднее,
Синее не знавал морей.

Там тени юности живые,
Забуть не в силах я одних,
Там две могилы дорогие,
Но лягу далеко от них.

Я лягу, страх вобрав окопный
И помня тех, кто лег во рву.
Как в первый день послепотопный,
После Освенцима живу.

Читая Бодлера

Лязгает поздняя осень, знобит все живое,
Падает влага со снегом с небес городских,
Холод настиг пребывающих в вечном покое,
В грязных и нищих кварталах все больше больных.

Кот на окне хочет позы удобной и прочной,
Телом худым и паршивым прижался к стеклу,
Чья-то душа заблудилась в трубе водосточной —
То не моя ли, так близко, на этом углу?

Нет между жизнью и смертью черты пограничной,
Разницы нет между ночью и призраком дня.
Знаю, что в это мгновенье на койке больничной
Брат мой глазами печальными ищет меня.



АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ



КЛЕТКА

Повесть

1

Бывалый вор ногтем открыл замок и оказался в квартире, не сулящей хорошей добычи; как и во всех домах Петрограда, здесь было холодно и голодно, ноябрьский дождь, стекая по мутным стеклам, заливал подоконник; безошибочное чутье указало, однако, на шкаф, где и нашлась богатая пожива. Женские боты и туфли, белье и платья впихнулись в мешок, туда же втиснулись чашечки, ложечки и неприятно звякнувшие предметы явно врачебного назначения — разные ножички, пилочки, щипчики и молоточки (подарок Реввоенсовета доблестному хирургу Баринову Л. Г.). Звяканье и разбудило младенца в детской кроватке, он запищал и задергался, а когда вор присовокупил к добыче и одеяльце, вытряхнув из него пищащее существо мужского пола, истошный вопль огласил всю спешно покидаемую квартиру, побегу воспрепятствовал мешок, раздутый добром так, что застрял в двери, и бежать пришлось через окно. От холода и ветра младенец заголосил по-взрослому, и ворюга пожалел, что все колющее и режущее уже упаковано и нечем пырнуть крикуна. Тогда-то он (это выяснилось на суде) и придушил сосунка, после чего спрыгнул со второго этажа вниз, где был изловлен и едва не растерзан, младенца же посчитали мертвеньким. Прибежавшая мать с плачем упала на синее тельце, а потом сунула его под кофту, в теплую утробную темноту межгрудья, — и ребенок ожил, родился во второй раз, а еще точнее — в третий, потому что лохани, куда шмякаются выскобленные зародыши, избежал он чудом: только отцу мать могла доверить аборт, а того срочно бросили на борьбу с Деникиным. Ни в августе поэтому, ни в ноябре выросший Ваня Баринов дня своего рождения не отмечал, избегал упоминания о нем, а потом столько раз умирал, оживал и возрождался, что совсем запутался; жить приходилось под разными именами, лишний паспорт всегда был под рукой, и на вопросы, когда он родился, Иван Баринов отвечал с нервным смешком: «В двадцатом веке!» Крестили его, кстати, в церквушке на Большом Сампсоньевском, как еще по старинке называли проспект имени Карла Маркса; мать вняла мольбам неатеистической родни и внесла ребенка в культовое заведение, снесенное вскоре безбожниками. Но уж дом-то, ставший Ивану родным, не мог не уцелеть, строился он на ближайшие века, его не тронули ни смелые градостроительные проекты, ни декреты новоявленной власти, квартира же стойко сопротивлялась уплотнениям, в любой комиссии, даже революционной, всегда есть женщины, а им умел заправлять арапа революционный хирург Баринов Леонид Григорьевич, обольщавший всех подряд, в том числе и проходящих студенток, которых учил кромсать трупы в Военно-медицинской академии. Мать Ивана, Екатерина Игнатьевна, происходила из семьи, вовсе не склонной что-либо крушить, ломать и резать, не в нее был мальчик, так и тянувшийся ручонками к скатерти, чтоб сдернуть ее со стола, к обоям, чтоб отодрать их; он,

бывало, молочными зубками цеплялся за штанину отца, игрушки же, что приносили гости, поначалу испытывал на прочность, колотя ими по стене, а потом, когда стал раскорякою передвигаться по квартире, научился аккуратно разбирать их на части. Книжки, что надо особо отметить, рвал, почему отец и соорудил полки, допрыгнуть до которых Иван не мог даже в десятилетнем возрасте, уже испытывая потребность в знаниях, уже беря верх в схватках с пацанами постарше. Как перевоспитать хулигана, родители не знали, с ликованием поэтому спешили к двери, когда приходил дальний родственник отца, питерский рабочий Пантелей, вернувшийся из Саратовской губернии, куда его посылали создавать колхоз, развалившийся в тот момент, когда крестьянам позволили забрать своих буренок из коллективного стада, и этого краткого периода послабления питерский рабочий выдержать не смог, в знак протеста убрался восвояси, горя мщением, втихую от родителей Ивана вымещая на мальчишеских ягодицах и ненависть к частному землепользованию, и презрение к новым порядкам. Стиснув зубы, Ваня покорно подставлял под взметнувшийся ремень свой возмущенный зад; мальчика начинала чем-то притягивать процедура порки, ни мать, ни отец так никогда и не узнали, что их сына еженедельно лупцует Пантелей: Ваня молчал, Ваня учился боли, терпению, поражаясь тому, что упоенно дерется со сверстниками, не ощущая боли от ударов их и удивляясь, отчего при шлепке матери страданием наливается тело. Боли бывают разными — к такой догадке пришел он, — и легче всего переносятся ушибы и удары, полученные в схватках с врагами — такими же, как он, мальчишками соседнего двора. Он стал накачивать в себе ненависть к Пантелею; притворно поохав, застегивал штаны и преспокойно уходил в другую комнату делать уроки, забывая о только что проведенном сеансе педагогики, который, конечно, не возрадовал бы родителей — у тех были свои боли и радости. Отца к тому времени вытурили из академии за «неправильную работу с женсоставом», о чем не раз напоминала со смехом мать в скоротечных и бурных семейных ссорах. Еще не повзрослев, Иван догадался, что и мать можно обвинить в кое-какой работе с «мужсоставом»: от всех женщин Ленинграда мать отличалась красотой и вечной молодостью, мужчины расступались, когда она входила в магазин. Слово «академия» прилипло, кажется, к семье: ушел отец из Военно-медицинской, зато мать устроилась библиотекарем в Артиллерийскую академию, в ней учившиеся (все при шпорах, все в ремнях), гурьбой провожали мать до дома, на что не решались студентки того института, где ныне преподавал отец. Даже на родительское собрание в школу мать ходила с академическими красками, однажды вернулась, полная возмущением. «Наш сын будет артистом!» — с порога закричала она отцу, а тот довольно щурился и хмыкал: сын корчил педагогам рожи, поливал себя чернилами, спросил директора, к какой оппозиции тот примыкает — к правой или левой, завуча же огорошил вопросом, правильную ли работу ведет тот с женой. Мать, купеческая дочка из Пензы, воспиталась на презрении ко всем провинциальным фиглярам и лицедеям, отец же часто мурлыкал арии. Негодование матери было услышано Пантелеем, ремень все чаще погуливал по лежащему на диване мальчику, приучая того смело бросаться на обидчиков, даже когда их много. Наверное, Пантелей надорвался, загнать мальчишку в стадо так и не смог, перед каждой экзекуцией принимал стакан, а то и два, спился и умер за три года до того, как в Смольном убили его кумира, хозяина и благодетеля — Кирова. Ивана наконец-то оставили в покое, обед он готовил себе сам, вооружась поваренной книгой и не доверяя матери, которая больше времени проводила у зеркала, чем у плиты; наставление по пище включало рецепты армейских кулинаров, от книги, принесенной матерью из Артиллерийской академии, несло запахом мужских тел, одетых в ладную форму, браво шагающих по мостовой с цоканьем подков и звяканьем шпор. Были и другие книжки: слушатели академии приручали к себе Ивана, как собачонку, и одна из книг — под названием «Алгебра» — поразила Ивана так, что он забыл про двор, про кино, часами сидел дома, уста-

вившись на стену, подавленный необычайным открытием: оказалось вдруг, что люди и предметы, явления и события, боли и радости могут умиротвляться, иссушаться, превращаться в нечто неопределенное, обозначаемое буквами латинского алфавита, и 7 ли чернильниц в классе или 12, все они вогнаны в символ «а», куда можно вместить сколько угодно чернильниц, коров на колхозном поле, трамваев на улице, — эдакая жадная, всасывающая в себя буквочка, обязательно в паре с другою, так что бараны («а») и птицы («b») вместе составляли живность, и в ней уже не было кудахтанья, перьев, бляения, шерсти, мохнатых ног и трепещущих крыльев: все было свалено в кучу под названием «с». По условиям задачи все три символа выражались еще и деньгами, рублями и копейками, но за те рубли и копейки чего только не купишь в магазине, если у тебя есть еще и карточки, что совсем уж непонятно, и Ваня ошалело смотрел на стену, пугливо вставал, крался к окну, видел булочную, закрытую на ремонт, людей, спешащих куда-то... Да существуют ли они?.. Символы бегают мимо символов! И рука притрагивалась к подоконнику, ощущала жесткость его, гладкость, глаза видели застывшую белую краску, и не один еще день глаза, уши и руки Ивана ощупывали вещи, он обонял запахи квартиры, ароматы двора, пальцы касались плоскостей и выступов, пока однажды жаркие ладони Вани не легли на шаровидные наросты, на грудочки Наташки из соседнего подъезда, и жар хлынул вниз, к ногам, по всему телу разлилась сладкая боль, от которой надо было избавляться, спасением была сама Наташка, сама непрекращающаяся боль, и рук уже не отнять от наростов, внезапно обострилось обоняние, Иван, прильнувший к Наташке сзади, вдыхал кухонный запах ее волос, хотелось вжаться в девочку, войти в нее, слиться с нею. Кроме двух полусфер, обжатых ладонками, ощущались еще и половинки круглой попки; Наташка вдруг изогнулась и попку оттолкнулась от Ивана; ладони сами собой отнялись от вздутостей, девчонка пошла в магазин, помахивая сумкою, а мальчик продолжал гореть стыдом в холодном одиночестве лестничной площадки, он возненавидел Наташку. Повзрослев и познав женщин, он всех тех, на ком мужчины избавлялись от детского стыда и детской боли, стал называть «наташками», позабыв о том, что девчонка возбудила в нем жгучий интерес к великой тайне шарообразности всего сущего, что загадка подогнала его тогда к настольной лампе; рука подсунулась под абажур, как под платье, и обожглась о горячую лампочку, рука гладила теплое стекло, но тело не испытывало от теплоты и круглости сладостной до мучения боли, не упивалось ею, и что было радостью, удовольствием, а что болью — непонятно, еда ведь тоже доставляла радость, сытость всегда приятнее голода, но так однажды захотелось испытать пронзившую боль, что он сбежал с урока, вцепился в трамвай, переехал на другой берег Невы, прокрался в Летний сад, где под осенним дождем мокли статуи величавых женщин, сумел дотянуться до шаровидных наростов, но ничего, ничего не ощутил, кроме твердости. Тогда-то и подумалось о матери, о шарообразностях, из которых составлено живое, теплое человеческое тело, пронизанное кровеносными сосудами; воскресным утром (отец дежурил в больнице) Ваня, затаив дыхание, приблизился к спящей матери и отогнул край одеяла; глубокий вырез ночной сорочки позволял видеть розовые груди, рука коснулась ближней, но ни жара, ни приятности боли так и не ощутила, и другая грудь была такой же бесчувственной, как стеклянная лампочка, как абажур, размерами превосходивший грудь. Отчаяние охватило его, хотя кое-какие надежды оставались; Ваня прикидывал, как забраться под одеяло и потрогать овальные половинки, — и вдруг ощутил на себе взгляд матери, в глазах ее была тревога, любопытство, легкая насмешка и сожаление. Мать натянула на себя одеяло, села, Ваня все рассказал ей — о Наташке, о холодных женщинах Летнего сада, и мать погоревала вместе с ним, прижала к себе, сказала, что алгеброй Наташку не разгадать, здесь надобна геометрия и стереометрия, и нужные книги она принесет, она все-таки — главная в библиотеке. Так велико было желание немедленно проникнуть в

тайну, что книги с нижних полок были выворочены, сложены лесенкой, тут же разваленной матерью; мальчишеская рука успела вытащить «Учебник патологической физиологии» Н. Н. Аничкова, профессора Военно-медицинской академии, а мать твердо пообещала: будет куплена стремянка, будет! Но еще до того, как отец принес ее с рынка, приставленный к полкам стол позволял дотягиваться до старинных фолиантов, на титульном листе одного из них писано было вязью «Из книг вел. князя Сергея Михайловича», что весьма позабавило друга дома, частого гостя, научного работника Никитина, который посоветовал матери сжечь все-таки все списанные актом библиотечные книги. Появлялся он обычно с букетиком цветов, вручал его матери, затем деловито, по-учительски входил в комнату-класс, мрачным видом своим запрещая все разговоры, к уроку не относящиеся; более того, присутствие ребенка, то есть Ивана, считал столь же недопустимым и вредным, как нахождение первоклашки в компании курящих второгодников. Ивана поэтому за стол не сажали, загоняли его на стремянку, не догадываясь о том, что после Наташки у Ивана обострился слух. Девчонка мелькала во дворе, щебеча глупости, долетавшие до стремянки, если форточка была приоткрыта; громкие речи Иван не воспринимал, пропускал мимо себя, зато еле слышный шепот улавливал, не осмысливая, не вникая в него, уже зная, что слова, спрятавшиеся в нем, сами когда-нибудь заговорят, их вытолкнут запах и цвет, связанные с некогда услышанным. Он жил то с опозданием, то с опережением, слова настигали его с задержкою по времени, только через год после убийства Кирова прозвучал в нем разговор за двумя стенами. Никитин всерьез уверял отца и мать: все беды России — от мечтаний о сытости, и тяга к набитому желудку приводит к морю, нищете, голоду, из чего и составлена история государства, где население никогда себя не прокормит, где количество еды не соответствует числу едоков и правители вынуждены не массу пищи увеличивать, а умерщвлять голодающих. Революции, войны, смены властителей, продолжал упорствовать Никитин, — это и есть самые верные способы прокорма остающихся в живых, людей в России всегда будут убивать всеми дозволенными и недозволенными способами либо ограничивать рацион отправкою едоков в тюрьмы и лагеря, что всегда есть и будет. Сейчас же, бушевал Никитин, большевики перестарались, из чисто политических выгод изничтожили самую продуктивную часть сельского населения, так называемых кулаков, к чему приложил руку и Пантелей, зерна теперь станет еще меньше, морить голодом — это уже будет государственная необходимость, в ближайшие месяцы или годы начнется массовое уничтожение городского населения, ждите арестов, Ленинград опустеет, — это я вам говорю, с цифрами-то соглашаться надо!

Таковыми бредовыми речами доканывал он родителей, и те соглашались: да, надо быть осторожными, никаких знакомств с теми, на кого может пасть подозрение, ни единого повода к тому, что... Слушая злопыхателя, отталкивая от себя все слова его, Ваня с высоты стремянки смотрел во двор, где Наташка развешивала белье, поглядывал и на балкон, куда в незастегнутом халатике выходила порою, тайком от мужа, покурить веселая женщина; мир был так разнообразен, что ни одна книга не могла объяснить его, но так приятны все эти попытки словом или формулой объять все сущее, и дикие, разуму неподвластные связи соединяли мир и книги: Мопассан заставлял вдумываться в сущность бесконечно малых величин, во все сужающуюся область между нулем и числами, к нему стремящимися, зато невинные рассуждения Гёте о цветах радуги звали к проходной «Красного выборжца», с толпой подруг появлялась недавняя школьница Рая, притворно поражалась, пожимала плечами, однако же прощалась с понятливыми товарками и вела Ивана к себе, целоваться до одури и боли в деснах; иным, более тайным, занимались мать и Никитин в чьих-то домах, о чем догадывался отец, но помалкивал, ведь и мать не замечала частых отлучек отца, а обоим не понять, что научный работник Никитин противоречит себе: сам же водит знакомство с подозрительными, с ма-

терью хотя бы, ту погнали уже из библиотеки, с ужасом обнаружили ее купеческое происхождение, и с отцом ему не следовало бы знаться: у того еще один выговор за что-то. Себя Никитин называл генетиком, работал в ВИРе, Всесоюзном институте растениеводства, там он, наверное, получал цифры о количестве едоков и пшеницы на один среднесоюзный рот, и прогнозы его стали оправдываться, начались аресты (пятнадцатилетний Иван давно уже почитывал газеты и перед сном слушал радио), однажды ночью увезли отца Наташки, он признался во вредительстве, как это, оказывается, делали и все арестованные, что угнетало, поражало родителей и что вызывало издевательский хохот Никитина, уверявшего: все признаются и сознаются, все одной веревочкой повиты, «палач пытается палача: ты людей — убивал?». Однажды он пришел без цветов, потребовал немедленного отъезда родителей, Ленинград уже опасен, орал он, был таким разъяренным, что не заметил Ивана, при нем произнес клятвенно: «Леонид Григорьевич, вы знаете мое истинное отношение к супруге вашей, вы можете себе представить, как буду я страдать без нее, и тем не менее умоляю, готов в ноги броситься: уезжайте, пока живы и на свободе, умоляю!..» По всей квартире пронеслось: «...яю ...яю ...яю!..», и мольба, отраженная от стен, колыхалась и вибрировала, подстегивая родителей, уже давно смирившихся с мыслью, что надо на время или навсегда покинуть Ленинград, где почти все друзья и знакомые — враги народа, но так не хочется уезжать, бросать такую квартиру! Никитин приходил почти ежедневно, повергая родителей в ужас невероятными известиями; подходящая квартира нашлась-таки, в Могилеве, работа отцу там обеспечена, мать возьмут в школу, желающий бежать из Могилева готов обменяться квартирами. Началась переписка, справки для обмена были получены, но чья-то властная рука мешала переезду, отец уверял, что рука требует взятки, тогда-то мать и подала идею: там же, в Могилеве, их родственник, многим обязанный Леониду, пусть постарается, хозяин города все-таки, секретарь горкома партии! Отец сдался на уговоры, написал в Могилев, домашнего адреса родственника не знал, письмо отправил в партийный орган, уж там-то должны знать своих вождей, ответа, однако, не получил, повторное послание тоже затерялось, та же участь постигла и телеграмму, и вдруг этот родственник сам заявился в Ленинград, и не один, со всем семейством. Однажды раздался требовательный звонок, сидевший на стремянке Иван ухом, конечно, не повел, таинственное число «пи» какой уже месяц будоражило его воображение, как и дразнившая папироской женщина на балконе, совершенство форм обязывало, эллипс мыслился то продолжением окружности, то предтечею; он уловил все-таки по голосам, что родители всполошенно радостны приходу гостей, а те чем-то раздражены, куда-то торопятся и хотят немедленно выяснить отношения. Голоса пошумели и смолкли, хозяйева и гости уединились, Иван перевернул страницу, глянул вниз и увидел у подножия стремянки худенького мальчика, виновато глядящего на него; мальчику этому было столько же лет, сколько и ему, но казался он меньше ростом, потому что Иван, оседлавший стремянку, видел его уменьшенным, пришибленным, задравшим голову, низеньким, Иван возвышался над белобрысым очкариком, что сразу и надолго определило, кто кому подчиняется, и старшинство Ивана мальчишка признал немедленно, протянув ему красное румяное яблоко и сказав, что завидует всем ленинградцам, ведь здесь так много интересного, разного... Себя назвал Климом, сообщил, что он — из Могилева, что Иван — его двоюродный брат, а может быть, и троюродный, он точно не знает, яблоко же — настоящее, крымское, очень вкусное, в Могилеве тоже есть румяные и сладкие яблоки, в Могилеве не так уж скучно, как это может показаться. Затем поведано было о неудачливом детстве: до пяти лет Клим не мог ходить без костылей, пока не отвалялся в грязях Евпатории, и самые счастливые дни его — не после обретения ног, а тогда, когда он ковылял по улицам и любовался домами и людьми, потому что все они — разные! Да, они не похожи друг на друга — ни люди, ни дома, ни деревья, ни города,

крыши у домов бывают деревянными, железными, черепичными, соломенными, крыши под разными наклонами к земле, к стенам, на крышах — и такое случается — растут травы. А окна — на окнах занавески разных цветов из разных тканей, на разной высоте, занавески закрывают от прохожих внутренности комнат или, наоборот, дают им видеть комнаты и людей в них, девчонку, которая натужно смотрит в учебник, жуя кончик косички, люди вообще в своих жилищах ведут себя не так, как на улице, — он, Клим, это давно заметил, еще тогда, когда, докостыляв до какого-либо дома, рассматривал людей, да и люди-то — до того разные, что невозможно, кажется, словом «люди» объять все разнообразие и разноцветие их, нет двух одинаковых людей, человек от человека чем-нибудь да отличится, лица их — не похожие, походки тоже, одежда разная, но, признаться, чем разнообразнее и разнообразнее люди, тем острее желание видеть их одинаковыми, и однажды он, Клим, пропустил мимо себя колонну красноармейцев и очень обрадовался: у всех — одинаковые рубахи светло-зеленого цвета, штаны такие же, вместо кепок и шапок — серо-зеленые шлемы, и у каждого красноармейца на плече — как бы одно и то же ружье с сизым штыком. Так радостно было видеть повторение человека в человеке, так приятно, и все же — не повторялись они, на одинаковых рубахах — разные складки у ремней, штыки покачиваются, ботинки разных размеров, и стоит взглянуть в лица — пропадает одинаковость, губы, щеки, подбородки, глаза — у всех разные, и (Клим доверительно коснулся стремянки) — и то поразительно, что, при всей непохожести людей, они — люди, именно люди, их нельзя спутать с собаками, у всех людей — две руки, две ноги, один нос, два глаза, средний рост их — один метр шестьдесят восемь сантиметров, и то еще странно, что попадающиеся на улице инвалиды, он сам в том числе, существа с одной ногой или рукой, хромяе, глухие, одноглазые, — все они подтверждают наличие у человека обязательно двух ног, двух рук, двух ноздрей и так далее, и получали они этот набор от родителей, разнясь в чем-то другом, вот братья той девочки, что кусала кончик косы, на сестру свою совсем не похожи, но что-то во всей семье — общее, только им присущее, причем люди стремятся, будучи родными, как-то отдалиться друг от друга внешними или внутренними приметами, — вот какие поразительные наблюдения проведены им, Климом Пашутиным, в Могилеве, там же он узнал о Грегоре Менделе, который на горохе пытался раскрыть тайну одинаковой неодинаковости; порою кажется, что Грегор Мендель тоже в детстве был калекою и жадно всматривался в тех, кто бойко передвигался на ногах, легко и свободно перемещаясь по земле...

Покусывая яблоко, выслушивая эту ерунду, Иван злился, потому что докучливые признания могилевского шкета забивали уши, преграждали еле слышный поток слов, произносимых в родительской комнате, там решалось что-то важное, его самого касающееся; пацан из Могилева — это уже начинало бесить — лупил в детстве глаза на то, что давно привлекало Ивана, с тех пор, как он раскусил хитрость мозга, умеющего сваливать в одну кучу, символом помеченную, абсолютно разные вещи, но — это он давно уже отметил — сколько бы трамваев разных маршрутов ни сводилось в понятие «трамвай», отличное от «автобуса», каждый вагон с дугою виделся все отчетливее. «Яблоко-то — гнилое...» — процедил он, спрыгивая со стремянки так, чтоб толкнуть могилевца, чтоб придавить шпендика, тощенького и робкого, не умеющего бросить камень в окно и смыться, — спрыгнул, убедился, что так оно и есть: да ни в одну компанию не примут двоюродного или троюродного братца, как был тот калекою, так и остался, а тут и сама могилевская родня зычно позвала Клина, в два голоса, в женском будто взметнулся ремень для порки, неожиданно заехавшие родственники чужими людьми стояли в коридоре, отказываясь от чаепития, ни улыбки на прощание, ни слова приветливого, отец хмуро молчал, мать — счастливо улыбалась, но Иван-то знал причуды ее, мать всегда возбуждалась неприятностями, однажды потеряла карточки на крупу — и хо-

хотала до упаду. Закрылась дверь за родней, принесшей какую-то беду, и родители впервые в семейной жизни позвали сына к себе, на совещание, а тут и Никитин, за версту чуявший опасность, кулаком долбанул по двери, забыв о звонке. Ему и сыну было поведено о том, что в 1919 году хирург Баринов, попавший в плен к белым вместе с госпиталем и врачевавший всех подряд, и белых и красных, чего ни в одной анкете не скрывал, там, в белогвардейском тылу, встретил свояка, Ефрема Пашутина, белого офицера, ныне же Ефрем Пашутин, видный партийный начальник, царствует в Могилеве и не только не желает знаться с Бариновыми, но и готов отправить их в НКВД, если те переедут в подвластный ему город; у белых, услышал огорошенный отец, Пашутин был якобы по заданию подпольного ревкома («Чушь!» — заорал Никитин) и теперь предлагает мировую: Бариновы забудут о могилевских родственниках, нигде о них ни слова не скажут и не напишут, а он никому не доложит о том, что хирург Баринов не одного беляка вылечил... Мать звонко рассмеялась, никак не могла еще опомниться от встречи со сводной сестрой, изгнанной за что-то из семьи, Ивану же не забывалась просящая, виноватая улыбка двоюродного брата, названного Климом в честь легендарного наркома Климента Ефремовича Ворошилова, — знал, знал могилевский очкарик, что не с добром пришли его родители, потому и молил о прощении. «В Минск, в Минск уезжайте!» — забегал вокруг стола Никитин, уже строя планы будущей жизни Бариновых, и остановился, замер перед Иваном, стал вдалбливать: никому ни слова, надо быть чрезвычайно осторожным, страной управляют умалишенные с непредсказуемым поведением, пьяные с рождения хулиганы, таких нормальные люди обходят. «Ничего не видел! Ничего не слышал! Ничего не знаю!» — вгонялись в Ивана правила жизни, а затем Никитин помчался на вокзал брать билет до Минска, куда и уехал в тот же вечер, отец же и мать до ночи сидели за столом, руки их были сплетены, с этого дня в них воссияла прежняя любовь, когда-то соединившая красного хирурга с уездной барышней, родители будто узнали, что заражены одной и той же смертельной болезнью, и решили не омрачать последние годы ссорами, упреками, ночными дежурствами отца и цветами от Никитина; отцу, правда, пошел уже пятый десяток, но мать по-прежнему ошеломляла мужчин, хотя и подувяла; в памяти Ивана мать всегда связывалась почему-то с белыми ночами Ленинграда, она была светом, потеснившим тьму, а Никитину мать смотрелась и тьмой, и светом.

Минск потому был выбран местом добровольной ссылки, что в Белоруссии, по мнению Никитина, главный удар НКВД обрушит не на врачей и педагогов, чекисты ежовыми рукавицами схватят писателей и поэтов — за то, что они чересчур восхваляют родную республику, и пророчества еще не сбылись, как в Ленинграде арестовали всю минскую семейку, поселившуюся в квартире Бариновых; квартира, это определено, была уже помечена, родители признали правоту Никитина, гнавшего их вон из Ленинграда, они же и повели Ивана к математику, который со слов Никитина знал о ленинградском школьнике, как орехи щелкавшем уравнения всех степеней, и математик взял Ивана под свою опеку. Ленинград славен памятниками, зовущими в будущее; пустые глаза изваяний смотрят во все стороны света, безмерно расширяя пределы города на Неве; властители подпирают небо гордой осанкой, на собственные плечи взвалив груз чужих ошибок; руки их молитвенно сложены, мечтательно стиснуты или выброшены в указующем порыве, сжатый кулак демонстрирует способ, каким надо хватать врага за горло или гвоздить его по голове. В минской школе на первой же перемене Иван расквасил нос однокласснику, утвердил себя и возвысился в глазах тихих белорусских девчушек, будущих «наташек»; сын — студентом — повторил подвиги отца, неделями дежуря у постели девиц с короткими комсомольскими прическами, пока не надоело, пока, заночевав у одной медички, не раскрыл случайно учебник биологии и с замиранием сердца не прочитал о Грегоре Менделе. Этот работник монас-

тырского фронта, как назвала его шаловливая студентка, жил почти отшельником, сан не позволял ему заглядывать в чужие окна и снаружи рассматривать внутреннее устройство добропорядочных семей, мимо него не топали солдаты в одинаковых кепи или касках, зато на грядках своего сада, делая опыты с горохом, он усомнился в истинности древнего речения о том, что подобное рождает подобное, совершил надругательство над самоопыляющимися подобиями, скрестив красноцветковый горох с белоцветковым, дети от этого брака оказались белыми, но четверть внуков родилась красными, что несколько разочаровало Ивана: раз есть точное количественное соотношение, то наследственные начала — дискретны, цельночисленны и, следовательно, подчинены математическому воспроизведению, даже если принять во внимание, что люди — не семейство бобовых, что свойства людей не ограничены цветом глаз и формой ушей. Какой-нибудь математик решит эту задачку, если еще раньше головоломку с различиями в сходстве и сходством в различии не разгадает Клим Пашутин; именно этим делом занятый в Горках, в тамошней Сельскохозяйственной академии, где его славили за успехи в учебе. Иван же учился на физмате Минского университета, хотя честно признавался себе: нет, не для математики родился он, для чего-то другого, потому что не было усидчивости, опекавший его профессор часто гневался. Однажды ночью пришел Никитин, ужом вполз в квартиру, шепотом сказал, что наступают, кажется, хорошие времена, квартира на проспекте Карла Маркса очищена от подозрений, никого из нее не берут, карающий меч притупился, но расслабляться нельзя, Ивану следует помнить все то же: «Ничего не видел! Ничего не слышал! Ничего не знаю!» Пусть тезка героя гражданской войны, Клим Пашутин, усердствует и публикует умные, что ни говори, статьи о гетерозиготных мутациях, он, Иван, обязан жить тихо, не трезвонить, тиснул одну статейку о простых числах — и достаточно. Отец так был рад видеть единственного друга семьи, что до утра не отпускал Никитина, в темноте пили водку, а мать отдала другу руку, и тот водил его по щекам своим, по губам. Квартиру Никитин покинул, надвинув шляпу на лоб, ссутулясь для изменения походки, он и в разговоре шепелявил, совсем уж сбивая со следа ищек, и к вокзалу шел петляя. «В Горки — ни шагу!» — дополнил он свежим пунктом кодекса поведения и пропал из вида в пред-рассветных сумерках; тем и кончилась ночь, дивная ночь в жизни Ивана: одеяло, брошенное на поющий патефон, громкое и пронзительное молчание любящих его людей, он — в разнеженном полусне и все они, скованные цепью не родства, а тайны.

Дивная, дивная ночь — а за нею пасмурное минское утро октября 1939 года, воссоединились обе Белоруссии, в аудиториях появились первые «западники», новые заботы, новые хлопоты, заветы Никитина не то что забылись, а подмялись другими запретами, о Климе Пашутине был напечатан очерк, Иван прочитал песнопения без интереса, без ревности и ничуть не взволнован был, когда в сентябре его, лучшего студента, вызвали в деканат и сказали: ехать в Горки, немедленно! Срочно, поскольку университет взял шефство над кафедрой математики Горецкой академии, уже и курс биометрии там введен, уже и лекции читаются с перевыполнением плана, и все бы хорошо, но, оказалось, у биологов новое направление в исследованиях, изучаются вероятностные процессы среди нейтральных мутаций, а литературы нет, вот ее и надо срочно доставить да вклинить как-нибудь шесть часов теории вероятности; вот она, литература, — десять пачек, машину даст ректор, дает не ему, а немцам из научной делегации, едут они в Горки, за немцами надо присматривать, друзья все-таки, договор о ненападении еще в прошлом году подписан, так чтоб ничего не случилось с ними, понятно? Чтоб живыми и невредимыми доехали до Горок, полными веры в торжество социализма, чтоб... «Головой за немцев отвечаешь!» — рявкнул вошедший в деканат командир с двумя шпалами и показал Ивану кулак, такое же напутствие получил и шофер, баранку крутивший неумело, тормозивший перед каждой ямой и вслух га-

давший, как объезжать ее, — энкавэдэшный шофер, да и не шофер вовсе, а подвернувшийся под руку оперативник, норовивший и с немцев глаз не спускать, и с дороги.

А те сидели сзади, один худой, жилистый и мосластый, как кулак чекиста, хорошо говоривший по-русски, некогда живший в России («на территории бывшей России»), другой — мягонький, лупоглазый, по-детски любопытный, физик из Гейдельберга, костлявый же был химиком и биологом, звали его Юргеном Майзелем, и он чрезвычайно не понравился Ивану. Мало что понимая по-немецки, Иван тем не менее догадывался, как, отвечая физику, издевается над всем виденным Георг Майзель, пальцем тыча в колхозников на картофельных полях, пренебрежительно отзываясь о коровьих стадах, не тучных, конечно, однако белорусских, своих, Ивану дававших молоко и мясо, а уж дорогу-то он клял русским матом, шофера тоже, подгонял его, тот же на третьем часу езды вымотался, руки уже не держали баранку, а срок был установлен жесткий: немцев привезти в Горки до захода солнца! И шофер охотно передал руль Майзелю, машина сразу прибавила ходу. Но Ивана ошеломила не скорость, не то, что «эмка» едва не скovyрнулась в кювет, а вскользь брошенные слова Майзеля: немец рвался повидать в Горках Клима Пашутина, спросить кое о чем автора статьи о приоритетах в наследственности! Именно над этой темой бился немец в своем берлинском институте, в Минске он подзадержался, а теперь догонял немецкую делегацию, сутками раньше уехавшую в Горки, что ставило Ивана в неприятнейшее положение, показываться на глаза Климу он не хотел, братец мог сдуру броситься ему на шею, презрев все правила конспирации, надо поэтому опоздать, приехать ночью, сплавить учебники и прочую литературу какому-нибудь дошлому студенту, договориться втихую с деканом о дополнительных часах по теории вероятности и сразу податься обратно, в Минск, на черта ему этот чересчур талантливый брат, которому пророчат великое будущее, да пошел он куда подальше, — и когда до Горок оставалось менее ста километров, он решительно положил руку на руль, остановил машину и сказал Майзелю: пусть немцы на себя берут ответственность за возможную аварию при такой езде, сами за рулем — сами и отвечайте, пишите документ, снимающий с русских все подозрения в умышленной катастрофе, пишите! Презрительно усмехавшийся Майзель такой документ составить и подписать согласился, он не знал лишь, что именно писать, в какую форму облечь расписку, должную иметь юридические последствия, и обозленный усмешкой Иван (так и не искоренивший в себе детского фиглярства) стал диктовать, а Майзель записывал обнаженным пером «паркера», переводя коллеге текст, пока не спохватился и не заорал в ужасе: «Вы мне ответите за провокацию!..» До лупоглазого добряка смысл надиктованного дошел позднее, добряк возымел желание бежать без оглядки, потому что спасительная для Ивана расписка имела примерно следующее содержание: «Я, Майзель Юрген-Луиза, и я, Шмидт Вильгельм, пребывая на территории Белорусской Советской Социалистической Республики, находясь в полном уме и здравии, решили покончить жизнь самоубийством в знак протеста против злодеяний, чинимых Адольфом Гитлером...» Угрожая Ивану дипломатическими акциями, Майзель на мелкие кусочки разорвал бумагу, принесшую немалую пользу, потому что немцы, собрав кусочки и подержав их над огнем зажигалки, вернули руль шоферу, и машина понуро покатила, освещая фарами ухабы и рытвины, Майзель же — после долгого молчания — снисходительно заметил, что Ивану следует еще поучиться провокациям, что попади он в гестапо — там с ним не церемонились бы... Успокоительно прибавил: ладно уж, никому не скажет; добрячок что-то лопотал по-своему, Ивану подарил зажигалку. Встретили немцев с таким почетом, что им, пожалуй, было не до жалоб, Иван в суматохе передал книги по назначению и завалился спать в общежитии, досадуя на себя за немцев: нельзя было их пугать, не они настрочат жалобу, так шофер постарается. И утром покусывали мысли о вчерашнем, хотелось — в наказание — причинить себе боль,

Иван забалагурил с «наташкой» в коридоре, дамочкой из Минска, тощей дурой и кривоножкой, наврал ей с три короба, пригласил в клуб, отлично зная, что еще до вечера покинет Горки, дел-то всего в академии — на час или полтора. Шофер-доносчик уже смылся, прихватив с собою украденную у Ивана зажигалку, до минского поезда времени хватит, настроение улучшилось и тут же сникло: Иван увидел Клима, издали, в учебном корпусе, он узнал его сразу, и холодно стало в душе; брата окружала делегация, брат говорил с ними по-немецки — самоуверенный, ростом выше Ивана, в белом халате; так торопившийся к нему Юрген Майзель стоял поодаль, с расспросами не приставал, слушал внимательно, ничего не записывая, а все прочие немцы вооружились перьями и блокнотами. Чтоб не быть замеченным, Иван попятился, свернул в другой коридор, нашел кафедру математики, договорился, долго и нудно сидел в столовой, уже собрался было на станцию, но решил все-таки побывать в знаменитом ботаническом саду, сам нашел его, никого не встретил, сел на корточки, рассматривая бутон какого-то растения, чувствуя себя полным профаном, потому что ботанику со школы еще считал девчоночьей наукой, соседка по парте за него бегала на каникулах в поле собирать цветы для гербария. Сейчас, приблизив к глазам выпрямленный рукою стебель, он вглядывался в бутон, так и не распутившийся в цветок: или корни не отсосали из земли что-то нужное для роста, или тепла и света было мало; а будь всего в достатке — и в бархатной утробе растения созрели бы семена, в которых все уже есть: и этот выпрямленный стебель, сгибавшийся под тяжестью детородного устройства, и корневая система, и запах объекта растительного мира, который повторяется вообще и в частностях, вся природа — возобновляющееся повторение, и все, что ни есть, — повторение, и этот миг, которого уже нет, продублировал предыдущий и сам будет восстановлен будущей копией, — да-да, та же проблема суммы бесконечно малых величин, и генетика, если вдуматься, наука о повторях, нахождение того элемента наследственности, который подобен не только себе, но и той среде, что способствует страсти воспроизведения, и элемент этот — в клетке, в очаге воспроизводства, где теплится постоянно нечто такое, что сохраняет в себе прошлое и, как ни странно, будущее; эти очаги — сразу и почва и семя, утроба и плод...

Иван встал, поднятый неприятной мыслью: оказывается, он все эти годы в Белоруссии по крохам собирал сведения о клетке, ловил обрывки разговоров, что-то читал, вспоминал то, чего вроде бы и не было, ему даже известно, о чем нынче спорят биологи, все они в недоумении: так какая же субъединица клетки сконцентрировала в себе наследственные факторы? Кое-кто вообще отрицает телесность этих факторов, вещественность их, и понять отрицающих можно, абсолютно диким кажется предположение, что из каких-то там цепей кислот или белков рождается пыл, вдохновение, страсть, боль и радость, мысль и звезды, луна и этот вот ботанический сад, — нет, должна же быть некая сила, нематериальная субстанция, должна быть, должна!..

Он вздрогнул, услышав несомненно к нему обращенное слово «братан», и стрельнул глазами вправо и влево, догадавшись, что сзади стоит Клима, слово это он слышал впервые в Ленинграде от него, голос же изменился, стал не взрослым, а чистым, исчезла гнусавость, сделали, наверное, операцию, удалили полипы, но взгляд остался прежним — виновато-просящим, и улыбка такая же, Клима, это уж точно, поднатаскали родители, навнушали ему страхов, предостерегли: к Бариновым — ни шагу! Но встретились, и с первых слов стало ясно: все эти протекшие вдали друг от друга годы они продолжали начатую в Ленинграде беседу, и Клима мечтательно сказал, что хорошо бы им поработать вдвоем, потому что только два работающих в паре человека способны разгадать великую тайну бытия; два дружных и враждующих начала, как бы мужское и женское, бесятся, меняя пол, в замкнутой клетке, корректируя себя, — примерно так выразился он, на что Иван брякнул: «Так ищи женщину!», а когда не поняв-

ший его Клим грустно заметил, что не умеет даже правильно, по-мужски говорить с женщинами, то Ивану только и оставалось, что подумать: а не перестарались ли хирурги, отхватив вместе с полипами и еще кое-что?..

Как всхлип короткая встреча, всего-то минуту или две поговорили, но главное было сказано — то, что их теперь связывает не родство, а головоломная хитрость Природы; «До встречи!» — прозвучало одновременно из уст обоих, а когда эта встреча — не знал ни тот, ни другой. Стояли в ста метрах от оранжереи, где парень стеклил выбитый проем, поблизости — никого, от дальних чужих взоров заслонены были яблонями, сошлись и разошлись, кому какое дело до двух экскурсантов, можно и не огорчать родителей, но так любил их Иван с той дивной ночи, что рассказал им о Климе, и те, ни слова не сказав, с пронзительным упреком глянули на него, сожалея и сокрушаясь, и сам он застыдился. Сорокасемилетний отец был уже седым, мать исхудала, синие очи ее полыхали вымученным весельем; отец отвел глаза от провинившегося сына, мать горько усмехнулась, прощение было получено, но не сообщить Никитину нельзя было, и тот приехал через неделю, заглянул на часок и повеселил всех своей нелепой, как и он сам, бородкой, похожей на мочалку, и успокоил: Пашутиных никто не трогает и трогать не собирается, о чем свидетельствует уверенное сидение Пашутина-старшего на могилевском троне, поговаривают даже, что его с области перебрасывают на благодатное Ставрополье. Никитин повеселил, успокоил и отбыл в свой институт растениеводства, поглядывать в микроскоп на пшеничные зерна, занятие это научило и приучило его всех людей определять на всхожесть и сохранность, однако власть орудовала более мощными и точными приборами, не прошло и трех месяцев, как Пашутина и его супругу арестовали, скоропалительно объявили врагами народа; капризная судьба благоволила Бариновым, Пашутиных расстреляли так быстро, что они и рта раскрыть не сумели, родственные связи их остались невыявленными, но ядоносные угрызения совести уже отравили Бариновых. Маститый, всеми уважаемый хирург издали — седой гривой и посадкою головы — напоминал царя зверей, льва, готового предупреждающе рыкнуть, теперь же, после гибели Пашутиных, грива свалилась в комки грязной шерсти, а вместо рева слышалось хрипловатое брюзжание, неразборчивая воркотня, Иван соглашался с ней: да, виноват, не надо было ни ехать в Горки, ни подставлять себя Климу, уцелевшему и продолжавшему, кстати, научные и студенческие труды в академии. Никитин тоже уверял, что нет никакой связи между мимолетной встречей братьев и арестом Пашутиных, бывшего белогвардейца подвел страх, желание из пласта менее подозреваемых перескочить в тончайший слой непогрешимых; но и он сник, узнав о вызове Ивана в органы, родителей тем более встревожила повестка. Тот же чекист с двумя шпалами, обладатель гиреобразного кулака, заорал на Ивана: «Кто дал тебе разрешение на вербовку немцев? Почему не предупредил органы?» К тому времени германская делегация прокатилась по стране и благополучно вернулась в Берлин, все документы о слежке пронумеровались и подшились, безграмотный рапорт приставленного к немцам шофера прочитали справа налево и слева направо, с запятыми и без оных, любое направление приводило к обескураживающим выводам. Иван, притворяясь напуганным, честно рассказал, что произошло и как по дороге в Горки; шофер же сдурю упомянул в рапорте о зажигалке, предъявить ее Иван не мог, тогда-то и раскололи чекисты вору, понизили его в должности, зажигалка же, потеплившись в кулаке, возвращена была Ивану. Человек с двумя шпалами в петлицах, добряк по натуре, примирительно сказал Ивану, чтоб тот не держал зла на органы: работа у них тяжелая, врагов полно, ошибки исправляются не сразу. Родители безмерно обрадовались, узнав про зажигалку, о всем прочем Иван умолчал; на новый, 1941 год прокрался в Минск Никитин, ему-то и было все поведано под рюмочку на кухне, родители, продолжавшие упиваться запоздалым медовым месяцем, грустили под патефон, сидя рядышком. «Чую близкое горе...» — всплакнул Никитин.

С этим справедливым чекистом Иван два года пробыл в партизанском отряде, научился у него метко стрелять, правильно подкладывать мины, сидеть в засаде, ходить на явки, показывать себя немцам так, что те ленились у него проверять документы. Однажды, при переправе через реку, чекист свалился в воду, кутенком барахтался в ледяном Немане, пока Иван не выдернул его и не подтащил к лодке. С тех пор кулачный боец о двух шпалах представлялся ему не иначе как неумелым пловцом, ногами ищущим дно, и такой точкой или такой плоскостью опоры в службе была чекисту подпись под любым документом, он и зажигалку приказал вернуть потому лишь, что уворование ее шофером не было должным образом оформлено, в оперативно-следственном деле зиял досадный пробел. Документы и сгубили чекиста, а с ним и весь отряд, целый год питавшийся подачками из Москвы, оттуда самолетами гнали обмундирование, продовольствие, оружие, взрывчатку, людей, медикаменты, чекист по накладным проверял наличие товара и однажды разорался: не хватало пятнадцати килограммов риса; смешно было подозревать летчиков в том, что они где-то в воздухе продали полмешка его, так нужного раненым, и чекист затеял долгую радиовойну с Москвой, нажил себе там врагов, отряд сняли с довольствия, деревни волком смотрели на партизан, отбиравших последнее, в нападениях же на немецкие обозы гибли бойцы. В еще больший конфуз чекист вляпался, когда отряд напоролся в лесу на брошенный при отступлении танк БТ-7, добыча показалась огромной и лакомой, в танке — полтора миллиона советских денег да ящики с бумагами Комиссариата внутренних дел. Москва встревожилась, ящики приказала надежно спрятать, насчет денег же — промолчала, а советские деньги тоже ходили по Белоруссии наравне с оккупационными марками, немцы и те со скрипом, но брали их; голодающий отряд сидел на деньгах, пока однажды самый удалой взвод не стянул половину их и откололся; отряд таял медленно и верно, опустошаясь в боях, наводненный немецкими агентами, деньги наконец-то пошли в ход, остаток их чекист решил передать подполью в городе, веры у него оставалось только на Ивана, его и снарядили деньгами, ночью он покинул отряд, дорога была дальней, до самого Минска, но знакомой, безлюдный лес не давал ни пищи, ни крова, полмиллиона за спиной не разрешали ночевку даже в тихих деревнях, запрещали разводить огонь, кусочек сала на язык два раза в сутки, вода из ручья — вот и вся пища, за неделю Иван отошал и ослабел, едва не утонул в болоте, выбрался на твердую полоску земли, обсушился, подставляя себя проглянувшему сентябрьскому солнцу. Он лежал и блаженствовал; тепло подняло поникшие травы, разогрелся воздух, от портянок, ватника и брюк исходил приятный кислый запах, а к полудню стало совсем жарко, Иван поспал, прогрелся, натянул на себя высушенные одежды, закурил; так редки были минуты уединенности, что приходилось ценить каждую из них и с недоумением вспоминать бестолковые годы Ленинграда и Минска. Там были радости и боли, наслаждения и страдания, но как бы поднятые над бытом, над средоточием мелких обид и мелких удач, в войне же все на одном уровне и все просто: ты ненавидишь немцев, потому что они ненавидят тебя, ты стреляешь в них, потому что они посылают пули в тебя, и если пули тебя достигают, а такое случалось трижды, то боль не такая уж острая, она вроде бы по праву раздирает тебя, законно, что ли, и организм сам себя врачует. Или — быт возвысился до философских вершин, с которых жизнь и смерть кажутся равновероятными? Была однажды радость, сытостью наполнившая тело, был день великой удачи, радостного страха, когда ему посчастливилось: из пяти тонн аммиачной селитры, обычного удобрения, он сварил нечто, оказавшееся аммоналом, три эшелона подорвали на нем, два моста — и почти месяц, двадцать восемь дней, корпел Иван над учебниками химии, пока не догадался, как из колхозного добра сделать смертоносные брикеты. Тогда подумалось: да, и впрямь не для математики рожден он — для химии, для нее! Сидеть в лаборатории среди колб, придумывать новые соединения, быть в чистой рубашке — нет, в той

прошлой жизни, что в ленинградской, что в минской, не уважались примитивнейшие желания, только сейчас, в осеннем лесу, в сорока километрах от Минска, начинаешь понимать, какое это благо — быть сухим и ходить посуху!

Осины сменились редким березняком, пришлось увалить в сторону; к вечеру Иван вновь продрог и с надеждой посматривал на знакомую деревеньку, там жил связной, через него деньги пойдут в Минск; на плетне — два глечика, знак того, что опасности нет, однако и доверия к дому тоже нет, явка была подмоченной, чекист предупреждал. Идти с деньгами к связному Иван поостерегся, углубился в лес, для надежности прошел по ручью метров триста, искусно закопал мешок, завалив его листвою, и только тогда приблизился к деревеньке, с опушки обзревая дома, поглощаемые синей мглой ночи. Немцев, кажется, нет — а это значит, что надо быть вдвойне осторожным; лимонка в левой руке, пистолет в правой — так он пробрался к дому и успел выстрелить за долю секунды до того, как приклад опустился на его голову и сознание померкло. Оно вернулось, прояснилось, Иван разлепил веки и увидел наклоняемое над ним ведро, полилась вода, стало мокро; он привстал и увидел, что в доме — немцы, их было пятеро, они сидели за столом и ели, трое в форме, но не полевой жандармерии, а в обычной вермахтовской, все пятеро разговаривали, и речи их шли не об Иване, немцы судачили о каких-то дополнительных пайках, об отпусках, о наградных за партизан, о каком-то пакет-аукционе, через который выгодно отправлять посылки в Германию. За два года Иван наловчился понимать по-немецки и говорить, он ловил каждое слово и рассматривал всех сидящих, только один из немцев сидел к нему спиной, был этот немец в гражданском, он-то и глянул на пришедшего в себя Ивана, отвернулся, показав спину, жестокую и неумолимую, презрительно пожав плечами, и четверо немцев воззрились на Ивана, кто-то крикнул, подзывая солдата, тот вышел из-за печки, повозился у плиты и поставил у ног Ивана миску — как собаке: становись на четвереньки и хлебай, ложки тебе не надобно, руки-то связаны. Иван извернулся и ногой опрокинул миску, немцы засмеялись, чисто говоривший по-русски вермахтовец внятно и рассудительно сказал, что до следующей кормежки — сутки, так что есть смысл все-таки покушать, господин Баринов. Тут связной появился, зажег вторую лампу, стало светлее, связной требовал, ссылаясь на обещания германского командования, полтора гектара земли и корову, немцы же вразумительно объясняли ему: он, связной, состоит на службе германского командования и может быть поощрен только в служебном порядке, земля же и корова положены тем, кто о крупном партизанине сообщал добровольно, исходя причем из высших моральных побуждений, так что связной будет представлен к медали. Ивану же немцы дали ночь на размышления: говорить или не говорить? О деньгах они знали, искать их не собирались, от Ивана требовали показать место, где спрятаны бумаги бобруйского НКВД; покажет — отпустят его на все четыре стороны, откажется — будет отвезен для горячих допросов туда, в гестапо, в Минск. «Ну?»

В одиночной камере минской тюрьмы Иван пролежал неделю; избиваемый каждый день, он не мог стоять и ходить, боль была где-то вне его, и боль могла прятаться, таиться, возникать, нападать, наваливаться на него, исподтишка ударять по нему, по той радости, что плескалась в нем, а радость была потому, что враги Ивана, немцы, — страдали, бесились, были в ярости, их трясло от злобы, они не Ивана пытали, а себя, в их кровавых глазах читалось: «Да пожалей же ты нас! Да расскажи же ты!» И били, били, били, но — вполсилы, щадя, учитывая возможную транспортировку пленного к месту хранения бобруйских документов, — и, вконец измочаленные допросами, дали себе отдых, Ивану заодно, проводывали в камере, расписывали сладкое житье-бытье в Германии, где такому выдающемуся химику и математику всегда найдется применение, приносили египетские сигареты, а потом словно с цепи сорвались, драли глотки, орали, что вынуждены прибегнуть к более убедительным способам, и однажды привели

в подвал: с потолка свисали цепи, на жаровне калились еще не разогревшиеся до красноты железные прутья, длинный топчан покрывала корка запекшейся крови, два ведра с водой для приведения в чувство запытанного до потери сознания человека, солдат канцелярской внешности, познакомивший Ивана с вопросником, на каждый из пунктов которого ему надлежало дать ясный ответ, и два столика, на одном — лампа, под светом ее — разложенные на белой салфетке никелированные щипчики и подобные им инструменты, другой стол предназначался солдату, но тот увидел, что до признательных минут еще далеко, и удалился, оставив Ивана наедине с палачами, которым было не до него. Ивана же начала бить дрожь, когда он увидел никелированные инструменты, и, преодолевая дрожь, он стал рассматривать палачей. Их было двое, они были в фартуках, они пили и ели на краю топчана, расстелив на нем газету, они пили свою законную, преддопросную водку, закусывая толстыми ломтями хлеба, цилиндриками аккуратно нарезанной колбасы и квадратными пластинами сала. Один — маленький, шуплый, с косою, под Гитлера, прядкою волос на высоком и воспаленном лбу; второй отличался красотою и мощью мускулатуры, кожаный мясницкий фартук — на голом теле, затылок вырастал из плеч, покрытых густым рыжим пухом. Это были специалисты, они умели хладнокровно наслаждаться страданиями не своих тел; со все возрастающей частотою дрожь колотилась в Иване, скручивая узелки размягченных побоями мышц в тугие колючки, и в предчувствии боли, не такой, как прежде, а нестерпимой, стали подкашиваться ноги, и что-то упало в Иване, в душе его, он даже слышал звук падения, глухой и мягкий, а затем — треск разрываемой ткани какого-то органа в теле, предвестник страха. Немцы, которых Иван ненавидел, неожиданно стали казаться не такими уж бесчувственными и чужими, подлыми и бесчеловечными: да есть же у них сострадание, пожалеют они его, дадут полежать без боли, когда потерзают его, и если их попросить, то не так уж больно будет, люди они все-таки, люди, едят и пьют по-человечески, обстоятельно, без жадности, ценя время, уважая саму добротную пищу и сам процесс потребления, и что-то есть успокаивающее в плеске и бульканье наливаемой жидкости, в чавканье...

Бутылка была выпита, тощенький немец закурил, здоровяк долго еще ковырял во рту зубочисткой, потом, тоже закурив, протянул руку, взял никелированный предмет со стола и почистил им ногти, вмял сигарету в объедки, поднялся, понес газету с объедками и пустую бутылку в угол, где — Иван скосил глаза — стояло корыто с окровавленными тряпками. Здоровяк прошел мимо, швырнул бутылку и газетный сверток в корыто, а его напарник, тот, что с челкою под Гитлера, отогнул край фартука, достал чистейший носовой платок, высморкался, улыбнулся, обнажив белые, как вываренное мясо, противные, гадкие десны; страх начал спадать с Ивана, потому что никакой опасности от Ивана немцы не ощущали, он для них был уже закланым, они привыкли получать для топчана обезволенных, сломленных, так напуганных болью, которой еще не было, что и мысли о борьбе за себя не возникало у людей, как трухой набитых мелкой дрожью. Ненависть приятной теплой волной подступала к нему, лизнула ноги, поднялась выше, наполняя тело силой и вдохновением, и казнь уже не была неотвратимой; одним прыжком Иван добрался до жаровни, схватил раскаленный прут и вонзил его в спину здоровяка, в то место, откуда начинали струиться покрывавшие лопатки волосы; в хилого полетели щипцы, Иван навалился на немца, сомкнув пальцы на цыплячьей шейке его, и музыкой победы был хрип, острое колено немчика упиралось в его грудь, мешая дышать, потом немец стал отдаляться, Иван же начал взлетать и уже с высоты увидел канцелярского солдата и парабеллум в его руке...

Все покрылось мраком и стихло, не стало радостей и болей, возобновившихся, но потерявших направление, не нацеленных на него, а как бы всеобщих. Затем боль сжалась до мешка с гвоздями, будто бы в нем несли Ивана куда-то, он орал в полной темноте, пока наконец его из мешка не

вытряхнули, но бросили опять же на гвозди; дыра пробилась над головой, и показался свет, выступили человеческие лица, запахло чем-то приятным, знакомым, запах вытащил из памяти дом в деревне, немцев за столом, миску, поставленную к ногам, вспоминать остальное было так страшно, что Иван застонал, но приятное, жидкое, теплое влилось в рот, уши откупорились, слышались звуки, говорили по-русски, успокоительно и сладко. Он заснул, просыпался и засыпал, и однажды вспомнилось все: и немцы в доме связного, и тюрьма в Минске, и подвал для пыток, и оба палача, и — почти осязаемо — щупленький немчик: зубы и десны его при улыбке, тело чуть наклонено вперед, как у курицы перед клевком, а руки крыльями загнуты назад и радостно поглаживают ягодички... Так ярко вспомнился подвал с немцами, что Иван зажмурился и рукой потянулся к подбородку; немцы в Минске побрили его для опознания, по густоте бороды можно высчитать: после парабеллума, из которого по нему стреляли, прошло две недели, не меньше, что подтвердили и люди, кормившие его, бородатые и безбородые, последние разделились на мужчин и женщин, голоса были теплыми, мелодичными. Снег ослепил Ивана, когда его вынесли на крыльцо, белизна мира была расчерчена перпендикулярными штрихами оголенных деревьев, Ивану рассказали, как он попал сюда, к партизанам, услышанное он дополнил и домыслил, с тупым равнодушием подумав о везении, не таком уж редком на войне. Там, в подвале, его застрелили и посчитали умершим, мертвым, а это — смерть во время допросов — было служебным упущением, и немцы включили его как живого в списки на расстрел, акции они проводили в двадцати километрах от Минска, трупы забросали землей, мальчишки из поселка неподалеку увидели у рва недострелянного человека, уже выбравшегося из-под трупов, этот человек и выволок Ивана, сам же умер на завтра, а Ивана увезли в лес к партизанам, сюда. Вот и все, жизнь продолжалась, иногда плакалось от слабости, потом наступало полное безразличие и глухое забвение. Две бабы выходили его, поставили на ноги, ленивые и шаткие, весной поэтому его на подводах увезли куда-то, тряслись сутки, темнота наступала дважды, последнюю ночь провел он у костра, шипел ельничный лапник, дым ел глаза, уши поняли: самолет в небе, сейчас идет на посадку. В Москве — не тележный скрип, а шорох автомобильных шин, привезли в школу, где разместился госпиталь, ноздри чутко различали запахи, чей-то голос негодовал: «А ну, ироды, не курить!..» Коридор, тусклый свет лампочки, светлая до рези в глазах операционная, здесь стало известно: три пули, две в груди, одна в затылке — и вновь провал, снова — будто парит он над белыми халатами. Потом палата, то есть классное помещение, как в ленинградской школе, и свежее, что радовало чрезвычайно, белье, теплый синий халат, на кальсонах, правда, не хватало верхней пуговицы, и голод: он ел, ел, ел, никак не насыщаясь, но утоляя боли, растянувшиеся на месяц, боли отчетливые, точечные и боли, давившие прессом неутихающего надсадного грохота во всем теле. Нормальная, то есть довоенная, жизнь представлялась победою радости над болью, некой константой, функцией двух переменных, порою изменение одной влекло спад или подъем другой; в госпитале тоже боролись радость и боль, кратковременность страдания каким-то образом соответствовала мгновенности удовольствия или, наоборот, длительности возврата к норме. Месяц пролежал Иван в школе, здесь его нашли офицеры НКВД, в кабинете начальника Иван рассказал, где спрятан отрядом архив бобруйской госбезопасности, начертил схему; через три дня приехали вновь, схема утеряна, соврали ему, и он начертил такую же, вместо якобы посеянной, — да, много полезного дал ему чекист, погибший вскоре; Иван был теперь единственным, знавшим место захоронения так нужных НКВД ящиков, и его перевели в настоящий госпиталь, где он продлил курс изучения болей после того, как из-под шейных позвонков извлекли последнюю пулю. Он градуировал боли, по остроте и длительности подразделяя их на виды и подвиды, классы и подклассы, он прислушивался к шевелению в себе потревоженных мышц, в нем постоянно сражались новые и

давние боли, нейтрализуя друг друга, устанавливая себя в некое промежуточное состояние, в мерцание уходящих и возвращающихся недугов, скорбей и печалей мускулатуры; то сердце всхлипывало, то легкое, еще помнившее пулю, и боль начинала растекаться по всему телу, как жидкость на гладкой поверхности, пока не встречала щель, куда уходила, но не топилась в ней, а собиралась в чуткий комок. Бывали боли, от которых перехватывало дыхание, спасением от них был крик, протяжный стон, визг или вопль, звуковой образ болей вмещался в рядом лежащих раненых, что облегчало страдания болящего, но будоражило соседей; боль объединяла людей точно так же, как радость, и не оттого ли общий плач на похоронах? А если бы рядом стонали враги — что тогда? И вспоминалась поразившая в гестапо странность: да, было больно, когда били немцы, но и радость была в этой боли, потому что, перенося ее, он мстил немцам, его молчание — это боль для истязующих тебя, зато здесь, в госпитале, боль как бы упакована в радость скорого избавления от всех скорбей.

Но когда боли кончились, радость не воссияла, пошла обычная жизнь, полагая часть доселе метавшейся кривой, склонной к падениям и взлетам. Конец войны уже близился, под Минском окружили двадцать немецких дивизий, еще немного — и выйдут на госграницу, «Даешь Берлин!». Когда в палату приносили почту, Иван уходил в коридор, писать ему было некому и получать письма не от кого, отец и мать погибли во второй день войны при бомбежке, Иван сам похоронил их, о Климе никаких вестей, его, конечно, сожрала война, никого из сестер и братьев отца в живых не осталось, и однажды, просматривая на парковой скамейке газеты, Иван наткнулся на реляцию из Ленинграда: сотрудники ВИРа, Всесоюзного института растениеводства, подышали с голоду, но сохранили коллекцию семян, и среди умерших героев — Ф. М. Никитин. Надо начинать новую жизнь, со старой покончено, теперь у Ивана — никого на этом свете, даже любимой девушкой не обзавелся, уж не познакомиться ли с кем? Как-то потянул его в коридор сосед по палате, танкист, парень из тех, кому всегда достается первый кусок и последняя пуля: «Две дамочки тут неподалеку, ты как, способен уже?..» Сходил с танкистом к дамочкам, которых хватило бы на весь госпиталь Бурденко, еще раз навестил, потом уступил очередь товарищу. Военно-врачебная комиссия установила и другие способности: годен для дальнейшего прохождения службы, а ту определил еще раньше чекист, поручавшийся за Ивана, и вышел он из госпиталя в военной форме, старшим лейтенантом, на самолете доставили его в освобожденный Минск, повезли в барановичские леса, не решились без Ивана искать бобруйские ящики; «Здесь!» — ткнул он пальцем в землю, и по тому, с каким радостным рвением вытаскивали энкавэдэшники спрятанное, понял: не только о бумагах пекутся они, а что там помимо них — не хотел знать, поднадоели уже все эти чекистские выкрутасы. В Минске ему вручили орден, о деньгах, что нес он подполью, слова не было сказано: считалось, что их захватили немцы, со связным же еще раньше расправились народные мстители. Иван сам не хотел говорить о спрятанных рублях — сразу же возникала боль, обращенная на себя: зачем, идиот ты этакий, пошел на явку, зная, что ожидает провал, зачем? Молчал еще и потому, что — потянуло в лес, на знакомое, в засады и преследования, походил сухим по сухой московской земле — и скучно стало, теперь же — раздолье, открывая борьба, утоление чувственного голода, леса кишат пособниками, националистами и недобитками, знаток партизанских методов старший лейтенант Баринов получил под командование роту и аж до самой весны сорок пятого скитался по северо-западу Белоруссии, находя наслаждение в том, что болотная жижа хлюпает в сапогах, шинель колом стоит от холода и грязи, в животе бурчание; только вернувшись в Минск он отоспался, отмылся и отъелся, пришел к гимнастерке белейший подворотничок и до блеска начистил наконец-то выданные хромовые сапоги. Рота обустроивалась у разрушенного мелькомбината, Ивану дали койку в офицерском общежитии.

Зеркало у стены показало ему себя во весь рост: широкоплечий парень из тех, кому палец в рот не клади, в синие глаза разрешено смотреть только женщинам.

В апрельском воздухе носится что-то победное, тысячи горожан копошатся на расчистке улиц, на разборке битого кирпича, отменена светомаскировка, в общежитии гомон и веселье, на окраинах города убивают ежедневно, и заиграла наконец музыка в городском саду, танцы начались еще до Дня Победы, праздничный салют отгремел одновременно со звонком из милиции: на Красноармейской обнаружен труп молодой женщины «с признаками удушения и без следов изнасилования», Иван с опергруппой помчался на место происшествия. И не раз еще ездил, время радостное и тревожное, университет оживал, возвращались покалеченные войной студенты, Ивана ждала демобилизация только осенью, он покрутился у деканата, никого из знакомых не увидел, еще горше стало на кладбище у могилы родителей, все чаще беспокоила мысль: его-то самого — зачем бережет судьба, какой уж раз вытаскивая из ею же приготовленной могилы? Смысл какой в благоволении жизни? К какой могиле ведет она его? Математика — нужна ли она ему, раз он больше понимает в химии?

Мысли приходили и уходили, теснились заботами дня: проверки на дорогах, возня с дезертирами, перестрелки с бандформированиями неизвестной принадлежности; однажды окружили вооруженную группу, надо бы взять кого-нибудь живым, но прикрепленный из следственного отдела капитан Диванёв сморщился: «Да надоели они хуже редьки... есть у меня время цацкаться с ними... Какие документы найдете — и то хорошо...» С этим Юрочкой Диванёвым Иван жил в одной комнате на восемь человек, не на всех койках застелены матрацы, и не всегда к ночи собирались живущие, у всех служба, кое-кто пригрелся у вдовушек, приходившие с дежурства долго колотили в дверь, пока за ней не раздавалось: «Да понятие ж имей, не один я!» — и мимо охрипшего от мата офицера проскальзывала женщина. Если застукивали Юру Диванёва, он сам выходил и урезонивал: мешаете, мол, исполнять жизненно важные функции и не пора ли, дорогой товарищ дежурный, на постой определиться к славным белорусским женщинам. Почему сам не определялся — не объяснял, парень был с чудиной, очень высокий, губы, глаза, руки — всегда влажные, щедрый, но с разбором, деньги давал тем, у кого они обоснованно не водились, или на семейные нужды, если кто направлялся в загс. И женщин любил — не всяких, обычно подъезжал на «виллисе» к бабам на разборке завалов, зычно подзывал старшую, строго спрашивал, кто здесь комсорг или с кем можно договориться о шефской помощи, забирал активистку, если дивчина была росточком ниже плеча его, и увозил в общежитие; все похохатывали над тягою его именно к низеньким, а Диванёв отвечал, широко улыбаясь: «А я люблю, когда они мой пупок нюхают!..» Как-то в веселую минуту, за бутылкой, пооткровенничал с Иваном: мне, сказал он, нельзя путаться с рядовыми членами партии и комсомола, моральное разложение припишут, а вот с комсоргом или парторгом — это, знай, идейный контакт плюс оперативная необходимость. Выкроил время и сходил с Иваном в университет, на студенток не смотрел, больше интересовался правилами приема; Ивану искренно завидовал: «Далеко пойдешь, университетский диплом да служба в органах — это вещь, это две вещи...» Сдружились они крепко, разлучил их на время июль месяц: всех бросили на железную дорогу, ожидался поезд специального назначения, поедет, говорили, сам товарищ Сталин, обнюхивали каждую шпалу, мосты усиленно охранялись, местность изучалась, проверялась и контролировалась; потом уже из газет узнали: совещание в Потсдаме. В Орше Иван встретил преподавателя из Горок, спросил о Климе; нет, никто ничего о брате не слышал. Три недели мотался Иван по железной дороге, приобрел много знакомств и в Минске перебрался на квартиру бездетного бухгалтера, обжил комнатку, расставил на этажерке

книги — пора, пора уж обзаводиться собственным хозяйством, скоро двадцать пять лет стукнет, угол гроба, как выразился Юра Диванёв, а за углом — еще один угол и еще, жизнь — не прямоугольник, не квадрат, а нечто многоугольное, восьмигранное, жизнь бесконечна, пока ты живешь, пока дышишь этим чудесным воздухом сентября, и каждый вдох наполняет легкие не только кислородом, но и еще каким-то неизвестным химическим элементом, продлевающим жизнь до бесконечной дали. Вдох-выдох, вдох-выдох, сухим ногам уютно в мягких сапогах, шаги приближают Ивана к месту решающего свидания, к девушке, которую он полюбил со второй встречи, имя ее — свято и не для чужих ушей; он любит эту девушку, это уж точно, это — бесповоротно и надолго. Он не знает, сколько ей лет, и спрашивать не будет; война, конечно, опалила ее, по глазам видно, но не настолько, чтобы огрубить, сунуть в зубы папиросу и погнать вечером на центральные улицы. Скромная девушка, пять свиданий колебалась, отнекивалась, откладывала миг близости: то у нее «такой период», то мать приехала из деревни, то общежитие, где она прописана, закрытого типа, мужчин не пропускают. Но при всех отказах — взгляд шаловливой девчонки, дразнящей кончиком высунутого языка, и еще что-то, выдающее желание близости, обреченность, улыбка намекает: мужчина получит больше того, на что рассчитывает; что-то опасное, загадочное и завораживающее было в этой девушке, но чувствовалось: истомилась она, изнемогла, еще чуть-чуть — и брызнут из нее соки любви, страсти. Вдох-выдох, вдох-выдох. Светит солнце, улицы — в такой радости, будто завтра проснетесь народ — и сами собой воздвигнутся стены порушенных домов, застеклятся пустые окна, все дороги замостятся и все вокруг станет праздничным, как в довоенном мае. Девушку он заметил издали, она шла к нему чуть измененной из-за туфелек походкой; туфли старого фасона, ленинградского, вновь вошедшие в моду, жмут, наверное, впервые надела, потому и походка словно виноватая: да такие красивые ни за какие деньги не достанешь, ни на какие деревенские гостинцы не выменяешь. «На ордер получила!» — похвасталась девушка и умоляюще посмотрела из-под пушистых ресниц, стыдясь, что ли, царского подарка, выпавшего ей решением профкома. И опустила глазки, уже сосредоточенная на том таинственном, что произойдет с нею сегодня, именно сегодня, после семи вечера, у Ивана в комнате, туда она придет ровно в семь, ни минутой раньше, ни минутой позже, так уж складываются обстоятельства, и побыть у него сможет только до восьми тридцати вечера, прямо от него побежит в общежитие, к матери, которая уезжает в десять вечера, проводить ее надо на поезд, заблудится иначе старушка, у них с Иваном всего полтора часа, пусть Иван нигде не задерживается (девушка умоляюще приложила руку к его гимнастерке) и с соседями как-то договорится, потому что «это» возможно только сегодня, только в эти полтора часа, завтра уже — «сам понимаешь». Рука ее отдернулась от гимнастерки, она смутилась до того, что вся заалела; Иван трепетную ручку эту поймал, поднес к губам, взволнованный и смущенный не менее девушки, ошеломленный самопожертвованием, и слово дал: нигде не задержится, как штык будет в семь вечера. Прозвучала еще одна просьба, почти детская, любимая никогда еще не пила шампанского, она вообще ни капли в рот, но раз уж такое событие происходит в ее жизни, то нельзя ли где-нибудь достать этот напиток? И пошла к трамваю — ножки несколько полноватые, юбка длинная; вагон дернулся, увозя любовь, и великая нежность поднималась в Иване; он тоже прыгнул в трамвай, поехал в обратную сторону, к себе, к дому бухгалтера, до семи вечера еще четыре с половиною часа, горы можно свернуть, и — о, счастье! — сегодня день удач, хозяевам подарили два билета в кино, как раз на семь вечера, можно обойти минное заграждение, жена бухгалтера поставила, сдавая комнату, условие: никого не водить! Две тарелочки, два блюдечка, вилки-ложки, бутылка водки, пить придется из стаканов, четыреста рублей на шампанское същется; в коммерческом магазине Иван пробился к кассе, протаранил очередь к прилавку, взял заод-

но и «Айгешат», выбрался на улицу, и — велика власть случайностей! — тут как тут патруль, «Ваши документы!». Показал, вызвали они благосклонное отношение, на сверток с бутылками посмотрели, правда, с некоторым подозрением, потому и потребовали вновь удостоверение личности, старший комендантского патруля проявил нередкую для города бдительность, говорил мягко, но смысл вкрадчивого предложения казался вздорным. Я, сказал старший, подписей ваших начальников из органов не знаю, образцов в комендатуре нет, так не подскочить ли на пару минут в ваше управление, оно ведь рядом, за углом, там подтвердят — и гуляй, друг, до ночи!.. Отчего ж не заскочить, согласился Иван, глянув на часы, подумав еще, что времени хватит на финчасть, можно получить разницу, два месяца назад повысили, оказывается, оклады. Вместе с патрулем дошли до управления, дежурный уставился на Ивана: ты кого сюда привел? Что-то шепнул ему старший патруля и удалился вместе с патрулем, ничего извиняющего не сказав, зато два лейтенанта, что околачивались рядом, взяли его документы, сказали озабоченно, смена реквизитов, мол, происходит, надо с документами подняться на третий этаж в комнату номер восемнадцать, да они сами с ним пойдут, покажут, Иван, несколько недоумевая, пошел, они ему дверь открыли и закрыли ее за ним. За столом сидел трудолюбивый лейтенантик, молоденький, розовенький, много таких юных приехало из училищ, не воевавших, но, однако ж, с победной медалью на кителях, и этот, пороха не нюхавший, что-то писал, вдумчиво, усердно. «Садись!» — показал его пальчик, на самого Ивана лейтенант даже не глянул. Не поднимая головы, продолжая выводить буквы на листе бумаги, предложил вдруг сдать оружие, а услышав, что оружия нет, сбросил наконец недописанный лист бумаги в ящик стола, оттуда вытащил бланк допроса, прицельно помахал пером над ним и отвлекся на вопрос о партийности, каковую проверил, получив из рук Ивана партбилет. Не надо было отдавать его, не положено, инструкция запрещает, но до семи вечера — два часа, скорей бы уж этот переученный лейтенант сверил подписи в удостоверении личности да исправил бы номер войсковой части, измененный месяц назад, да-да, была такая неувязочка. Два прежних лейтенанта возникли, стали по бокам, заполнявший же протокол назвал наконец себя: «Следователь Александров», о воинском звании умолчал, затем уточнил, в каком месяце 1942 года вступил Иван в партию, после чего смахнул партбилет в ящик стола. «Познакомьтесь...» — протянул он Ивану еще одну бумагу, и тому пришлось положить на стол сверток с бутылками. Стал читать, слова и буквы запрыгали перед глазами, «Вы что, с ума сошли?!». Следователь повторил номера статей Уголовного кодекса БССР, по которым привлекался к ответственности гражданин Баринов Иван Леонидович, 1920 года рождения, русский... — и номера статей были Ивану известны, тем не менее Александров, на шутника не похожий, разъяснил: измена Родине, шпионаж, диверсия. «Да пошел ты знаешь куда!» — расхохотался Иван, и тут следователь взвился за столом, вознесся над Иваном и заорал во всю глотку: «Хватит придуриваться, сволочь! Признавайся! Вопрос первый: когда, где и при каких обстоятельствах ты был завербован немецко-фашистской разведкой?..» В вопросе было утверждение, оно подкрепилось ударом, нанесенным Ивану в живот, бил один из стоявших по бокам лейтенантов, и оба они, схватившие Ивана за руки, неожиданно ослабили хватку. Кто-то вошел в комнату, кто-то, обладавший немалой властью, потому и лейтенанты испуганно попятились, и следователь вытянулся по стойке «смирно», и вошедшим был не кто иной, как Юра Диванёв. При виде Ивана он рассмеялся, затем посерьезнел, когда, отстранив Александрова, стал читать лежавшие на столе бумаги, — читал, читал, мрачнел и мрачнел, потом погрузился в глубокое раздумье. «Юра, тут какое-то недоразумение...» — напомнил о себе Иван, глянув на часы. А Диванёв неотрывно смотрел на следователя, кадык Юры ходил, вырываясь из тесного ворота кителя, а это, знал Иван, признак гнева, и следователь тоже знал, потому что бледнел, краснел, все более виноватясь лицом, сму-

щенно подергивая борта кителя; страх был в глазах следователя, и страху подбавил Диванёв, раскрывший наконец рот для уничтожающего разноса: «Та-а-а-варищ Александров! Вы не раз предупреждались мною о допускаемых вами случаях халатного отношения к службе, но такого прокола я от вас не ожидал...» Сладкой музыкой для Ивана прозвучали дальнейшие слова Юры Диванёва — о том, что задержанию и привлечению к уголовной ответственности подлежит уроженец Минска Баринов Иван Леонидович — Минска, а не Ленинграда, и разыскиваемый Баринов до войны учился в пединституте, то есть ошибка, спутали с однофамильцем. «Я вынужден принять меры!» — честил-костил друг Юра глупенького Александрова, а Иван будто купался в теплой водичке, до того ему было приятно, Александров же лепетал что-то жалкое в свое оправдание; Иван, смотревший на него с чувством мстительного удовлетворения, выложил еще одну обиду: «Партбилет отнял, сволочь...» Это показалось Диванёву верхом идиотизма, он поднял трубку телефона, трижды крутнул диск, попросил майора Федорчика срочно зайти в комнату номер восемнадцать, что очень напугало Александрова, и незамедлительно пришедшему майору Федорчику было коротко рассказано об очередной глупости лейтенанта Александрова, коего следовало бы давно отстранить от работы в отделе, и как он вообще попал на службу в госбезопасность, ведь что натворил дурак этот: поленился дать четкую ориентировку на предателя Родины, в результате чего арестован и подвергнут допросу однофамилец находящегося в розыске преступника, что, конечно, не так уж и страшно, всякое бывает, но в данном случае ошибка непростительна, полное беззаконие, взят наш человек, заслуженный офицер, преданный Родине, партии и лично товарищу Сталину, испытанный партизанский командир, за выполнение особого задания награжденный орденом Красного Знамени, выдержавший все пытки в гестапо, спасший документы особой важности... «Так это — вы?» — был приятно удивлен майор Федорчик и почти подобострастно протянул руку Ивану, и тот пожал ее — с чувством глубокой радости оттого, что познакомился с самим майором Федорчиком, а тот, наморщив лоб, вспомнил: этот Александров уже не в первый раз нарушает чекистские заповеди, теперь вот пошел на явный подлог, облегчая себе службу, что идет вразрез с указаниями партии...

Майор будто пел, и единственное, что омрачало Ивана, — время, было уже шесть часов вечера, всего час оставался до встречи с любимой девушкой, Иван обрадовался поэтому, когда с Александровым было покончено быстро, рука Федорчика прочертила в воздухе нечто, напоминающее крест, уже поставленный на службе Александрова в органах, и та же рука потянулась к Ивану: «Вы уж нас простите, так уж случилось...» Относительно же самого Ивана решение было такое: «Немедленно отпустить после соблюдения всех формальностей!» Юра Диванёв рявкнул: «Слушаюсь!» — и сел, засмеялся, дружеская подначка была в смехе: что, перетрухал малость? Вернул партбилет, удостоверение личности, прощупал сверток с бутылками, довольно потер руки, когда Иван показал, что в нем, «Айгешат» назвал «Айгешефтом», уважительно погладил шампанское и уверенно предположил — не на блядоход ли собрался Иван? Хотя словечко это и поцарапало ухо Ивана, он радостно согласился: да, иду к женщине, и, удовлетворяя любопытство падкого на баб Диванёва, радостно отвечал ему; любимая девушка ростом никак не подходила Юре Диванёву, но Иван тем не менее сказал, неожиданно для себя, что как-нибудь уступит ее другу Юре, пусть понюхает его пупок!.. Плотоядно посматривая на бутылку «Айгешата», Диванёв не забывал о деле, позвонил куда-то, приказав срочно принести послужной список Ивана и добился своего, вино было ему презентовано, затем он пустился в рассуждения о жизни и службе, усомнился в том, что еще месяц-другой — и Иван уйдет на гражданку, распростится с органами: не-ет, мил-друг, от нас никуда не уйдешь, органы — это на всю жизнь... «Юра, время, спешу!» — показал на часы Иван, и Диванёв, еще раз позвонивший и неутешительный ответ получивший, изругал «канцелярских крыс», а затем обреченно вздохнул, дружба порою

накладывает обязанности особого рода — такую мысль выражал вздох, решение Диванёв принял гениальное по простоте: он сам, лично, за Ивана ответит на все вопросы, как только получит на руки его личное дело, Иван же пусть бежит к своей пассивности, но надо соблюсти формальности, пусть Иван заранее распишется на всех листах протокола, вот здесь, внизу и на полях, «С моих слов записано верно», дата, подпись. Что Иван и сделал, схватил сверток с уполовиненным содержанием и — бегом вниз, к выходу, на улицу. Часы показывали 18.35.

Махая незримыми крыльями любви, летел он к дому, последняя стометровка одолелась за полминуты, девушки нигде не было, но до семи вечера есть еще время, чтобы заскочить к себе, девушка всегда опаздывала на две-три минуты. «Цветы забыл купить, о дуралей!» — выругал себя Иван, открывая дверь, удивляясь тому, что у двери торчит милиционер. Наверное, решил, у соседей что-то стряслось, у тех, что жили напротив, и когда вбежал в коридор, какие-то люди схватили его за руки, приставили к стене, обыскали. Иван взмолился: «Да разъяснилось все, разъяснилось! Ошибка! Не того берете!» Постель разворошена, матрас перевернут, все из шкафа вывалено на пол, книги, что на этажерке, трясут по одной, тумбочка повалена — и девушка сидит у стены на табуретке, настрадалась, бедняжка, попала, как говорится, в переплет, с улицы затащили ее сюда эти мордovorоты, напугана, руки на коленях, теребят что-то, ножки в новых туфельках под табуреткой и там скрещены. Мордovorоты в штатском взяли изучать тумбочку, поставили ее на попа, с лупой осматривают низ. Бухгалтерская пара застыла, таращит глаза на погром, в кино супругов не пустили, ответственные квартиросъемщики в роли понятых. Парни в пиджачках прощупывают обои, к ногам одного из них припорхнул выпавший из учебника листочек бумаги, он поднял его: «Никак шифровка! Цифры какие-то...» Вдруг девушка сказала не поднимая глаз: «Гаврилов, надо быть внимательным — замечать, на какой странице был заложен листок...», и тот ужас, что отхлынул с Ивана там, в управлении, стал тяжело наваливаться на него; к первопричине ужаса какое-то отношение имели девушкины туфли довоенного фасона, лодочки, Иван разглядывал их, потому что девушка уже встала с табуретки, начальственно прошла по комнате, положила божественную длань свою на сверток, достала бутылку шампанского и ценным вещественным доказательством решила пренебречь, «В протокол ее не заносите!» — приказала она и закурила, вытащив из сумочки «Беломор» и туда же сунув шампанское... Ивана толкнули в спину: вперед, иди, не оглядываться; задом подкатил «воронок», человек по фамилии Гаврилов дружелюбно объяснил Ивану, что служба есть служба, им приказали — они и прибыли к месту происшествия, а сейчас в управлении все решат по справедливости и закону. Как только Ивана ввели в ту же восемнадцатую комнату, к нему подскочили те самые лейтенанты, заломили руки за спину. И майор Федорчик здесь, и лейтенант Александров, и, конечно, сам Юра Диванёв, глаза его пылали свирепой радостью. «Ну, гад, наконец-то раскололи мы тебя, наконец-то! Долго искали!.. Сколько ни таился, а...» На безгубом лице майора — ленивенькое торжество бывалого воина, не раз побеждавшего супостата. «Вот они, показания! — потрясал протоколами Диванёв. — Вот они! Все рассказал, понял, что изобличен намертво! Не отвертеться уже!» И прочитал: «Отвечая на ваш вопрос, осознавая свою вину перед Родиной, чистосердечно признаю, что в сентябре 1940 года был завербован и дал подписку о сотрудничестве с немецко-фашистской разведкой, вербовку же проводили два немецких агента, прибывшие в Минск под видом научных работников, фамилию одного из них помню, это Юрген Майзель, могу описать и внешность. К сотрудничеству с вражеской разведкой меня толкнуло неверие в социализм и семейное окружение...» Майор, отказываясь верить слышанному, покачал головой, строго спросил, применялись ли к разоблаченному агенту меры физического воздействия, на что Диванёв ответил тем, что предъявил подписи разоблаченного под каждым листом протокола. «Товарищи! — взмолился

Иван. — Да как вам не стыдно! Ведь знаете же, что я свой, советский человек!..» Вконец обозлившийся Диванёв заорал на Ивана: я тебе покажу, какой ты свой, гадина немецкая, — и кулаком хрястнул Ивана по лицу; лейтенанты повалили его на пол, в четыре ноги стали топтать его, Александров присоединился к ним, все норовили угодить в пах, удары сыпались со всех сторон, руки Ивана хватались, защищая тело, то за грудь, то за живот, пока удары не ослабели, пока уши не заткнулись болью от нараставшего грохота в них. Сознание он не потерял, он понимал все же, что его подняли, что его ведут по черной служебной лестнице куда-то вниз... Распластанное тело его полетело в темноту, дверь с лязгом закрылась за ним, отрезая его от всего, что было до боли, до криков торжества. Ему представилось вдруг, что он — в ленинградской квартире, на диване после ремня Пантелея, что сейчас тот уйдет и надо вставать, застегивать штаны и ставить на плиту ужин, ведь скоро придут родители. Он и пытался встать, и встал — чтоб разбежаться и разmozжить голову о стену, потому что все в нем выворачивалось от ненависти к себе, она клокотала, она разрывала его на части, она причиняла боль невыносимую, и покончить с болью можно было только умерщвлением себя. Он встал и бросился в темноту, но споткнулся, щека вновь легла на бетон; трижды делалась попытка раскроить череп о стену, но так упорен был инстинкт самосохранения, что всякий раз прыжок завершался падением на пол, пахнувший цементом. Ему связали руки и ноги, положили на спину, он видел тусклую лампочку над собой, она светила ему всю эту страшную ночь.

2

Страшная была ночь, страшная, омерзительная; едва ненависть к себе, глупому щенку, сменялась отупением, память снова подавала раздирающие тело и душу картины: он валяется в ногах мерзавца Диванёва, умоляет его о жалости; он просит пощады, готов лизать сапоги и целовать руки мучителей своих; он, сдуру клюнувший на дешевую приманку, эту девушку из органов, которая стыдливо опускала глазки потому, что хохотала над ним; на втором свидании можно было догадаться уже, откуда эта сучка, а уж туфельки-то — такие выдавали по ордерам сотрудницам две недели назад! Что случилось с ним, который выдержал у немцев все пытки, не сломался? Били тогда полицаи, жандармы, гестаповцы, больно били, очень больно, но те боли — что шлепки в сравнении со страданиями протекшего дня, когда он, смелый и умный, униженно просил не бить, молил о снисхождении, уверял, бия в грудь, что он — свой, советский, пресмыкался перед ничтожествами, лебезил, угодливо выжимал слезы раскаянья, стонал от побоев и, что совсем уж дико, не пытался вступить в бой с этими псами. Что произошло с ним?

Страшную ночь прожил он, самоубийственную, терзающую, в ней он похоронил себя, ничтожного и жалкого, того Ивана Баринова, который и вчера, и в прошлые годы стоял на коленях перед этой властью, которая не своя, а вражеская, и Федорчик, Александров, Диванёв, все прочие в управлении — враги! Да, враги! Такие же враги, как немцы, как полицаи. Не сотрудники, не друзья, не свои, а — враги, настоящие враги, враги уже потому, что он, как и любой человек в этой стране, считается врагом этих органов. И ничто не связывает его с врагами, кроме обоюдной ненависти. И не в одной он с ними партии, потому что вся она, эта партия, задумана лишь для того, чтоб в нужный момент расправляться со своими, чтоб общепартийностью лишать людей воли к сопротивлению; партия — как гестаповский подвал, делающий человека податливым, безвольным, оговаривающим себя в страхе, а идеология — ложь, вселенский обман, никелированные щипчики в кармане властителя классовых дум. Враги! Вся сила которых в том, что они прикидываются своими, но теперь-то его не обманет никто, он умнее их и сильнее, он уже догадался, с какой целью задумана вся эта хитроумная операция, выверенная до минуты, и ради чего за-

теяна, — сам Диванёв не знает, майор тоже, а уж сопляк Александров тем более. А все просто. Месяц назад бросили его на проверку машин, днем и ночью кативших по шоссе Брест — Минск, тяжело груженных добром из Германии; чего только не было в кузовах под тентом: ковры, радиоприемники, мебель, посуда, обувь, одежда, зеркала, все было, и на все — либо справка из Управления трофейным имуществом, либо командировочное предписание с описью ввозимого добра, либо грозная записка. В деревне же, где Иван заночевал со взводом, старый учитель в слезах пожаловался: скоро сентябрь, а детям не в чем ходить, ни штанов, ни обуви, не пойдет же пацан босым в школу. Прозвучала и непонятная Ивану белорусская поговорка: «Подвязал лытки да пошел в добытки». Утром Иван остановил трехтонный грузовик, заглянул внутрь и сбросил с него отрез сукна, сопровождавший машину капитан грозил всяческими карами, шипел на ухо: «Да ты знаешь, кому это все?» Иван в ответ придрался к чему-то, записал номер машины, фамилию капитана, тоже пригрозил — рапортом, не стал, однако, марать бумагу, и замыслили операцию по разоблачению того, кто дал детишкам штаны, продумали все до мелочей, по минутам расписали весь день его, разбили на эпизоды, подгоняя их к финальной сцене. Из-за мануфактуры сделали Ивана агентом немецкой разведки — враги они, и не только его, а всего рода человеческого, а врагов можно обманывать, как немцев, они вне твоего внутреннего закона, ничто не связывает ныне Ивана Леонидовича Барина с властью, он против нее, и он возьмет верх над нею, и Федорчик с Диванёвым проглотят отравленную приманку, ими же изготовленную. Он расправится с ними. Прежде всего — с Диванёвым. Он пристрелит его. Федорчика — утопит. А уж Александрова и девушку они сами заблаговременно угробят, потому что спектакль — провалился, и они сами узнают об этом сегодня же, этим утром, которое наступает, вот уже и засинело окошко под потолком.

Безжалостные минуты самобичевания, ужасная ночь, осевшая волосы: Иван понял, что уже — седые виски, что пришла пора мудрости при еще здоровом и сильном организме. Он ощупал себя: левая рука вывернута в плече, ребра вздуты кровоподтеками, но целы, сын хирурга не может не знать своего тела, кости черепа и конечностей не повреждены, и боли, что не удивляет, нет и в помине, боль стала доброй, целительной, она — от врагов, жажда мщения животворящей мазью затянет раны, десны восстановят правильное кровоснабжение, и чуть качающийся зуб снова врастет в мясо, гематомы рассосутся, тело обретет силу и сноровку, оно будет жить и сражаться, он, Иван, убежит отсюда, — и так была приятна эта мысль, что миску с кашей, просунутую в дырку посреди двери, он съел, выпил чай, и хотя здравый смысл подсказывал, что надо бы еще часика два повалять дурака, поунижаться, поканючить, он решил быть жестоким — и к себе, и к врагам. Рассмеялся, вспомнив девушку: вот она, подлая женская натура, — на обыск пришла в тех же туфлях, понравиться все-таки хотела, змея подколотная! Счастье позванивало в душе и в теле, они вылезли из могилы, где провели двадцать пять лет, воскрешение из мертвых — вот что значила эта ночь, и наступило наконец утро новой жизни, той, о которой и не подозревали Федорчик, Диванёв и Александров. Все трое уставились на него, не скрывая насмешки, Диванёв изобразил дружеское участие («Иван, не узнаю, что с тобой?»), майор сухо, официально осведомился: есть ли жалобы на здоровье, готов ли отвечать на дальнейшие вопросы, касающиеся преступной деятельности руководимой им вредительской организации. Со здоровьем все в порядке, отвечал посаженный на стул посреди комнаты Иван, немного зашибся, правда, упал, темновато в камере, сыт, никаких жалоб не высказывает, просит лишь о следующем: вчера он несколько перенервничал, кое-что подзабыл и просит напомнить, в чем именно признался. Предосторожности ради они связали ему руки за спинкой стула, Диванёв поднес к глазам его первый лист протокола допроса, второй, Иван читал, кивком давая понять, что можно показывать следующие листы, впитывал строчки, написанные Диванёвым и подтвержденные

им, Иваном: «С моих слов записано верно. 12 сент. 1945 г.». Семь листов, четырнадцать страниц — и каждая строчка спасала Ивана, открывала двери камер этой троице дурачков. «В связь с Шаранговичем вступил в мае 1934 года...» Кто такой Шарангович? Ах да, известный националист, враг народа, первый секретарь Белорусской компартии, расстрелянный в тридцать седьмом, — значит, тринадцатилетний Ваня Баринов, учащийся ленинградской школы, вступил в преступный сговор с находящимся в Минске Шаранговичем. Отлично! Родители причастны к убийству Кирова, честь им и хвала, зато не поздоровится ленинградским чекистам, прозевавшим, не изобличившим еще одну вражескую группу. Юрген Майзель вышел на студента Баринова через Шаранговича — никак из могилы передал в Берлин весточку ярый националист, от Майзеля получено задание: разлагать советское студенчество, вести пропаганду во враждебных целях, для чего в Горках им завербован некто Пашутин, сын врагов народа, в годы войны вступивший в СС, — да, это что-то новое. Дальше — больше. Сотрудничество с оккупантами, в результате чего отряд понес большие потери, а командир отряда убит. Заметая следы, гестапо подбросило якобы убитого Баринова в ров, где расстреливались патриоты Родины. И пошло, и поехало: распространение заведомо ложных сведений, хищение денег, принадлежавших партизанскому отряду, вербовка связного и еще кого-то, фамилии ничего не говорят, и — наконец-то! — кража казенного имущества — то, ради чего и затевался спектакль. Два года войны присматривался Иван к чекисту и тогда еще понял, что в этих ВЧК — ГПУ — НКВД — НКГБ не сумасшедшие сидят, а кондовые русские лентяи, умеющие клепать дела сразу на авось и с десятикратным запасом прочности, набившие руку на усложнении самого простенького и упрощении наисложнейшего. Диванёву поручили сострять что-нибудь чернящее Ивана; тот, кому везли мануфактуру, хотел свидетелю зажать рот до того, как весть о награбленном понесется в Москву, вот второпях и насочинял Диванёв эпопею, свод преступлений на все вкусы начальства и на все случаи жизни, не предусмотрев по глупости каверзы, которую может преподнести ему математик, химик и начальник разведки партизанского отряда. «Ну?..» — заулыбался Диванёв, отводя протоколы допроса от напряженных глаз Ивана, и тот, глубоко и обреченно вздохнув, сказал убито, что да, все правильно, память его не подвела, все показанное им и в протоколах написанное — истинная правда, от слов своих он не отказывается, что было — то было, готов понести перед Родиной справедливое наказание...

Они ушам своим не поверили, переглянулись, потом, после долгого недоуменного молчания, попросили повторить, и Иван четко повторил, прибавив, что сказанное и записанное ничем дополнить не может.

У них вытянулись лица; ошарашенные услышанным, они никак не могли прийти в себя; подследственный, рассчитывалось ими, начнет бешено оспаривать каждую строчку, каждое слово, взывать к законности, требовать прокурора, они же пойдут ему навстречу, выкинут Шаранговича из показаний, вербовку, гестапо, упрутся на чем-либо, поломаются, со вздохом сожаления расстанутся с подготовкой теракта против товарища Сталина и в конце концов сойдутся на паре сапог, похищенных со склада; протоколы порвутся, составится новый, Иваном собственноручно написанный, и пара сапог простится, дисциплинарное взыскание получит старший лейтенант Баринов Иван Леонидович, до конца дней своих изгаженный. Этим же «признательным показаниям» давать ходу нельзя ни в коем случае, от чтения их радостно задрожат руки начальства: какой простор для оперативно-розыскной деятельности, какой размах следственных мероприятий! Все силы бросят на разоблачение окопавшихся врагов, ликующие депеши отправятся в Москву, где за голову схватятся: агент немецкой разведки связан с теми, кто занимает важнейшие посты! Агента — в столицу, вот там-то все и раскроется, занимающие посты вовсе не намерены подыгрывать следователю Диванёву, чистосердечно раскаявшийся агент будет вторично изобличен и наказан, но и Минску не поздоровится. Дело еще

не возбуждено, можно еще порвать протоколы, но что, в таком случае, делать с арестованным? Что предпримет он, если ему вернуть сейчас сорванные вчера погоны? К кому пойдет? Пять камер в полуподвале управления, книга арестованных, в ней графа — на основании чего помещен в следственную камеру старший лейтенант Баринов, книгу не изъять, строчку не вымарать, Федорчик — начальник отделения, над ним — начальник отдела, над тем — начальник управления, кто-нибудь да поинтересуется протоколами, красным карандашом начертает в левом углу: «Немедленно приступить к оперативной разработке указанных лиц, подозреваемых в совершении преступлений по статьям...»

До всех троих дошло наконец, какую яму они себе вырыли, и Диванёв пригрозил: сам-то он, Иван, понимает, что ему — вышка, расстрел? — и получил ответ: да, понимаю. При такой решимости идти под расстрел есть ли толк продолжать вчерашнее, выбивать какие-либо признания, и все трое отошли к окну, держали военный совет, и все, что говорили они, уловлено было тонким слухом Ивана — ненависть обострила в нем чувства; речь шла у окна о девушке, согласится ли она быть изнасилованной, то есть нельзя ли Баринова передать милиции: бытовое преступление, и если хорошо подготовить свидетелей, то «эта сволочь» надолго завязнет в следствии, а там что-нибудь да придумается; более образованный Александров, всю войну просидевший над учебниками, возразил: не получится никак, по времени не сходится, навзрыд ревущая девка обычно бежит в милицию сразу, а насильник-то предполагаемый уж скоро сутки как здесь, и зря обыск делали, надо бы вчера в семь вечера изнасилование разыграть. Слово это — «изнасилование» — покорябало уши майора Федорчика, он с гневом отверг обсуждаемый вариант, надо, сказал он, свято беречь нравственное достоинство фигурантки (то есть девушки), да у нее и очередное задание.

Никому из них не пришло в голову, что пару сапог можно было подбросить Ивану заранее; он видел их насквозь, эту троицу мошенников, он наслаждался их страхами. «Шампанское верните!» — приказал он и в камере залился радостным смехом: что, попались, голубчики? Обошел камеру, измерил ее шагами вдоль и поперек; сухо, не дует, жить можно, держать его, однако, в этой камере не станут, переведут на гауптвахту, посадят за пустяк, за нечищенные пуговицы; дисциплинарное взыскание, ни один прокурор не придерется. Угадал: командир полка в тот же вечер дал ему десять суток, арест оформили в полном соответствии с уставом, выписали и продаттестат. Посадили в одиночку, потом определили в совсем привилегированную темницу, имелась, оказывается, гауптвахта для старших офицеров, почти всегда пустовавшая, сюда и приволокся однажды Диванёв с шампанским, прикинулся пьяненьким, уверял Ивана, что всегда был другом ему и сейчас друг, хотел он другу Ивану только добра — и сейчас хочет. Иван слушал его вполуха, выгнал, потому что наступала ночь с горькими и сладостными кошмарами; из далекого прошлого доносились голоса, и начинались настоящие боли — внутренние, он не выдержал однажды, застонал, затрясся в рыданиях, оплакивая родителей, потому что только сейчас, здесь, спустя четыре года после их смерти, понял: немецкая бомба, развалившая дом и выбросившая родителей мертвыми, угробила тех, кто уже изготовился к смерти; родители с того дня, как узнали о расстреле Пашутиных, начали разрабатывать план ухода из жизни, смерть от органов уже подкрадывалась к ним, к их сыну тоже, и спасти сына они могли только собственной смертью. Иван часто заставлял их сидящими рядом на диване, с блаженно-счастливыми улыбками людей, которые наконец-то решили загадку, услышанную некогда ими от неба, от звезд, от Бога. У них возникла странная любовь к воде, они ею наполняли ванну, сидели у ванны, ладошками почерпывая воду и поднося ее к глазам; с детской шаловливостью били они по воде ладошками, открывали кран и замороженно смотрели, как в спиральном кружении вырывается из крана струя. Они, хорошо плававшие, распускали слухи о своей беспомощности

на воде: «Ой, я так боюсь воды, так боюсь!..» — не раз восклицала на людях мать, а отец однажды глухо произнес, положив Ивану руку на плечо: «Ты должен помнить: мы, то есть мать и я, плавать не умеем». Утонуть на рыбалке — вот что они задумали, и, пожалуй, лучшего способа уйти из жизни, сохранив сыну жизнь, не найти: повешение или тем более выстрел возбудили бы подозрения, а перевернутая лодка, барахтанье на виду очумело наблюдавших свидетелей, пузыри — так это ж случайная гибель, она-то и отправит в архив заведенное на них дело. Хотели смерти — и цеплялись за жизнь, жадно, любовно, запоминающе смотрели на сына. На 15 июня назначили рыбалку, пригласили было будущих свидетелей, но мать отказалась ехать, еще не все рубашки Ивана перестирала, хотела избавить его от этих хлопот на возможно длительное время, а 22 июня — война, и смерть настигла их на следующий день, Иван прибежал к остову дома, на лицах мертвых родителей застыла покорность. В краткий миг перехода от жизни к смерти думали, наверное, о сыне и Никитине, уж старый друг семьи поможет Ивану, а теперь вот и Никитина нет, раньше всех понявшего эту власть («Палач пытается палача...»), сгинул и Клим, ничего вообще в этой жизни не понимавший, нет Клима, кости его тлеют или мокнут, и вспоминался Клим мальчиком, преданно лупящим на Ивана глаза, тогда, в Ленинграде, Клим смотрел снизу вверх, стоя у стремянки, въедливый такой, деликатный, еще не ведающий, что смерть и к нему подбиралась, в Горках за ним наблюдали уже, иначе бы не засекали встречу в ботаническом саду.

Нет родителей, нет Никитина, нет Клима, кругом — враги, набраться сил, терпения — и бежать отсюда, вырваться из волчьей стаи, но где найти приют, на кого опереться? На могилу родителей кто-то положил букетик цветов, точь-в-точь такой, какой обычно преподносил Никитин матери, — значит, скорбит об отце один из пациентов его, но как найти его, кто он, отец отваживался на дерзкие операции, спасал и выхаживал безнадежных больных, и когда Иваном занялся прибывший из Москвы полковник Садофьев, он подумал было, что и полковника выволок из смерти хирургический талант отца, потому что при первой же встрече с ним Георгий Аполлоньевич Садофьев благодушно заявил, что наветы местных провокаторов оставлены им без внимания, дней через десять — пятнадцать Иван будет на свободе, в университет он уже принят, приказ подписан, и держат Ивана взаперти только по оперативным надобностям: куда лучше Ивану ездить в «воронке», чем ежедневно ходить сюда из студенческого общежития, дурные слухи не способствуют делу, ради которого Садофьев и прибыл в Минск, славный своими научными кадрами. Он, кстати, и в Ленинграде уже побывал, и в Киеве, и в Свердловске, разумеется — и в родном Саратове, где когда-то учился, а до войны преподавал. Долгие словесные разговоры с кафедры да факультативная риторика сделали его речь переливчатой, спады и подъемы интонаций соответствовали речевым повторам; даже при единственном слушателе, Иване, употреблял он, как и положено университетскому краснобаю, все ораторские приемы, минуя, правда, этикетные формулы. Иван, замыслив побег, слушал полковника как бы затаясь, осторожно рассматривая седенького коротышку, мелкими шажочками ходившего по ковру; вежливый, много, очень много знающий человек, образованный не в меру, приятный в обхождении; нос подгадил полковнику, нос будто позаимствован у не раз битого пропойцы, и, перехватив как-то взгляд Ивана, Георгий Аполлоньевич суховато разъяснил: фронтное ранение, вынужденная пластическая операция в отвратительных условиях медсанбата — чему Иван не поверил, он склонялся к тому, что на допросе чей-то увесистый кулак саданул полковнику в рыло. В свою очередь Садофьев тоже оглядел Ивана, презрительно поморщился, будто впервые увидел на нем рваную гимнастерку без погон. Наутро Ивану принесли вполне приличный костюм, рубашку, галстук, от обуви, туфель с дырочками, он решительно отказался, заявил, что ноги у него мерзнут с партизанских времен: день побега близился, нужна была обувь осно-

вательная, для леса, где придется отсиживаться некоторое время. Жалобам на партизанские хвори охрана вняла, Иван получил прочные полуботинки. Здравомысленно рассуждая, бежать нет смысла, на свободе он будет через неделю, и каким наружным наблюдением ни обкладывай, больше его в Минске не увидят, но хотелось как можно быстрее отделать, отрезать себя от НКВД: вы — это вы, а я — это я, и в играх, что затевает ваш Садофьев, я участвовать не желаю! Игры же намечались коварные, теоретически обоснованные и исторически оправданные. Полковник и впрямь не знал и не ведал о диванёвских проказах, в Минск его позвал служебный и личный долг укрепителя и охранителя основ, Иван попался ему буквально на глаза, в коридоре управления, избитый, но шагавший с поразившим Садофьева достоинством. Ивана приходилось обрабатывать в стесненных условиях, привезенные Садофьевым труды по философии, биологии и математике читались Иваном в камере, пространные комментарии к ним давались полковником в кабинете, рассуждал он широко, заглядывал в будущее, глубоко проникал в настоящее, по-своему трактуя некоторые банальные истины. Он говорил об исторической миссии, возложенной мирозданием на партию Ленина — Сталина; путем проб и ошибок народонаселение планеты наконец-то обрело устойчивость, удовлетворение полковника вызывали некоторые вести о намечающемся расколе между двумя великими державами, СССР и США, именно раскол и есть признак длительного сосуществования держав и целостности всего человечества; как есть у человека правая рука и есть левая, как сработались левое полушарие мозга и правое, как нищете одной части людей противостоит богатство другой, так и мир может развиваться, эволюционировать, совершенствоваться только в противоборстве двух социально-экономических исполинов, и контраст между ними — яркий, отчетливый и резкий — должен постоянно поддерживаться; человечество будет спасено, поднимется к высотам прогресса, осуществит самые дерзновенные мечтания пророков и утопистов, если две системы будут вгрызаться в глотку друг другу, по обоюдному соглашению не доводя конфликты до войны (прозвучал тезис: модус операнди есть модус вивенди, и наоборот), и благоденствие человечества зависит от контрастности основополагающих воззрений; в конце концов, все сводится к тому, что черное у нас есть белое у них, и если, к примеру, что-нибудь в США будет черным, то у нас, в СССР, оно обязано быть белым, но создать общественное мнение о белом можно только тогда, когда под рукой окажется занесенное с другой стороны черное, а еще лучше — не занесенное, а искусственно созданное...

Речи полковника пересыпались терминами из биологии, философии, физики; по вечерам в камере Иван вспоминал словоблудие и догадывался уже, с какой миссией пожаловал в Минск Садофьев и зачем понадобился ему Иван. Бывший партизанский разведчик, авторитетный студент сколотит группу и начнет проповедовать какую-нибудь ересь, отрицать хотя бы классовость математики, к светильнику разума полетят одуревшие в темноте насекомые, тут-то их и прихлопнут. Возможен и обратный вариант: огонь вспыхнет сам собою, ему дадут разгореться, а уж гасить его придется Ивану, заливать пожары водой и затаптывать, громить с трибун — в блеске перенятых у Садофьева ораторских приемчиков, с рубящими жестами мягких беленьких ладошек, — вот какая участь ожидала Ивана, вот от чего хотел он убежать, и тяга к побегу возросла, когда от Садофьева стало известно: Клим Пашутин жив!

Да, война сохранила брату жизнь, уберегла его от пуль, осколков и контузий, брат целехоньким ходил по земле, непойманным злодеем, потому что разыскивался как пособник оккупантов, брат жил, не ведая, что прощен уже полковником, что органы высокого мнения о биологе Пашутине и готовы устроить его в науку, Горецкая академия встретит блудного сына с распростертыми объятиями, Ивану же Садофьев внушил: вдруг встретится ему Пашутин — не бежать от него, как от зачумленного, а приветить беглеца, взять за ручку и доставить в Горки! «Так я тебе и...» — зло-

радно подумал Иван в кабинете, на гауптвахте же пустился в пляс, пережив сладкое чувство возврата в прошлое, в Ленинград с его туманами, солнцем и невскою водой, в квартиру на проспекте Карла Маркса; расхаживая по камере, он мысленно приставлял стремянку к рядам книг, вспоминал все читанное, сопоставлял с тем, что узнал уже после Ленинграда, добавляя то, что лежит на столе подарком от полковника, всматриваясь в обыденнейшую вещь — кусок хлеба, вечернюю пайку, часть каравай или буханки; отщипни от пайки крохотный кусочек — в нем пребудут все физико-химические свойства цельного объекта, но на какой-то стадии щипания хлеб превратится в ничто. Люди дробили все сущее на части испокон веков, с логических фигур началась наука о происхождении всего. Август Вейсман делил организм на собственно организм и наследственную плазму, то есть на фенотип и генотип, последний, считал он, располагается в клеточном ядре, это — хромосомы, в 1935 году Кольцов назвал их наследственными молекулами; цепляясь друг за друга, белки образуют цепочку аминокислотных остатков, генов, они воссоздаются и передаются от поколения к поколению, как название изо дня в день этой вот газеты «Советская Беларусь»; невыясненным остается только одна таинственная операция — как весь газетный тираж преобразуется в набираемые типографские буквы, как меняется расположение литер, которые относительно газеты — как человек и его отражение в зеркале, и сравнение это как нельзя кстати, план побега подвергся ревизии, «зеркало» подтолкнуло к великолепной идее. Три опера доставляли Ивана к Садофьеву, один из них маялся в коридоре, ожидая конца допроса, деревенщина, вахлак вахлаком, которому для отработки строевых приемов надо привязывать к сапогам сено и солому, — вот на чем можно сыграть. Извилистый путь мысли обтекал препятствия, вырывался на простор свободы, все было продумано и даже прорепетировано, побег намечался на 24 сентября. Вечером в субботу 22-го Ивана, как обычно, увезли на гауптвахту, Садофьев посвящал воскресенье театру, дал отдых и заводиле будущих политических драчек. В соседней камере два офицера громко спорили о Корсунь-Шевченковской операции, а Иван радовался, читая материалы следствия по декабристам: матушка-Россия, сколько ж людей развращено тобою! Уж эти-то вольнодумцы и просветители — как пресмыкались перед Николаем, какие верноподданнические слезы лились на допросах, а все потому, что и царь, и декабристы были членами одной-единственной дворянской партии, храбрецов она делала трусами, она же подкашивала ноги тех, кто твердо, казалось бы, стоял на земле; как не вспомнить тут единомышленничество партийцев и всего сброда, объединенного словоблудным сочетанием «все мы — советские люди», и особенно противны так называемые «пламенные революционеры»; как прав Никитин: «Палач пытается палача». Он читал и радовался: скоро, очень скоро он порвет с этой властью, делавшей его рабом, а пока можно вчитываться в подсунутые Садофьевым материалы да отгонять от себя долетавшие споры чем-то провинившихся офицеров. Вся сила этой власти в том, что она, вражеская, прикидывается народной, своей, дружеской, а человек только тогда человек, когда он враг всем Диванёвым и Садофьевым.

Офицеры пошумели и заснули, а в полночь на гауптвахту завалились двое, оба пьяненькие, Диванёв и Александров, — грянул случай, вмешалась случайность, явление, из сиюминутности не вытекающее, феномен, что из тьмы, которая за признаваемыми фактами, вне логики событий, и не капризность диванёвского нрава привела его в обитель для арестования старших офицеров. Что-то произошло в высших сферах, под угрозой никчемное существование интриганчика Диванёва, ему же кто-то и подсказал, что делать, а уж как делать — эти два мастера туфты вчерне разработали, сейчас орут, помахивая какой-то бумажкой, требуют старшего лейтенанта Барина на допрос в управление, караульный начальник отказывался, ссылаясь на то, что выдать кого-либо из арестованных он в это время суток может только с разрешения дежурного по гарнизону. Визгли-

венький тенорок Диванёва уже дребезжал в коридоре, Иван прильнул к двери, внимал каждому звуку, ненависть поднималась в нем теплой болью, возвышавшей душу, звавшей к подвигу во имя себя, и когда карнач стал одерживать верх над ворвавшимися энкавэдэшниками и уже связывался с дежурным по гарнизону, Иван заорал во всю мощь голоса: «Ко мне, Диванёв, иди, пупок понюхаешь у меня!» Тот, разъярившись, удвоил натиск, прорвался к двери, лязгнул засовом, показался: лицо белое, кадык ходит, глаза бешеные. Иван позволил им вытащить себя на улицу, к машине, влез в нее не сопротивляясь; втиснулся и Александров, сел рядом, пистолет в правой руке держал на отлете, всю войну прокуковал в тылу, ни разу не целился и не стрелял в живого человека, сейчас же предстоял выстрел — «при попытке к бегству». Диванёв крутил руль, уводя «эмку» подальше от центра города, весь исходил злобной радостью, гнал на красный семафор у переезда, притормозил вдруг, чтоб повернуться и выкрикнуть в лицо Ивану: «Я тебе сейчас покажу свой пупок!» Город давно спал, на улицах — пусто, Диванёв рвался на окраины, в глушь и темноту города, где выстрелы не так уж редки. Иван зорко смотрел по сторонам, ждал выгодного поворота и, когда «эмка» наткнулась на что-то и развернулась, выдернул пистолет из неопытной руки Александрова, вогнал пулю в затылок Диванёва, выволок труп его в грязь, полуботинками крушил его кости, исполняя танец мщения; Александрову достался удар в переносье, рукояткой пистолета, и сразу же наступила ясность. Сел за руль, задом выбрался из лужи, оставив в ней обоих дурачков, машину бросил у парка и в темноте неосвещенных улиц пробрался к товарной станции, где все было знакомо еще с войны, здесь он ставил мины; рожки сцепщиков и буферный лязг напомнили былое, разум подсказывал: вон из Белоруссии, только в этой республике будут его искать, на всесоюзный розыск требуется санкция Москвы, а ее никто в Минске добиваться не станет; подцепиться к любому составу — и скорее, скорее! Моросил дождь, но из машины Иван унес плащ; ботинки не успели промокнуть, а он уже взобрался на штабель прикрученных к платформе досок, товарняк отгромыхал на стрелках и покатил в ночь. Через полчаса мелькнуло название станции, Ивану повезло, он ехал в сторону Молодечно, к Литве, однако при первом же торможении он прыгнул. Он вспомнил о запрятанных два года назад деньгах, впереди ведь неизвестность, ни одного адреса, ни одного документа, искать работу бессмысленно, деньги же спасут его. Стало светать, забелел туман, где-то рядом была деревня, уже прокричал петух, собак не слышно, мало, очень мало собак осталось в Белоруссии. Радость свободы была такой острой, что память восстановила карту местности: километрах в двадцати — избушка расстрелянного партизанами лесника, там можно кое-чем пожить; лес вернул былые ощущения, обострил обоняние, глаза безошибочно высматривали надежные тропы. Что-то знакомое почудилось в березняке, вклиненном в массив низкорослого ельника; мелькнула сумасшедшая мысль: а не заглянуть ли в дом связника, откуда повезли его в минское гестапо? Желудок просил пищи, ее он нашел в избушке, соль и вареные картофелины, были и спички, огня хотелось, тепла, но победило благоразумие. Десять километров до денег — мысленно измерил он на воображаемой карте и заснул под колыхание верхушек осин, под мягкий стук падающих шишек. Утром с пригорка он увидел деревню, с которой начался его путь в братскую могилу: полсотни домов, но почему-то не дымятся трубы, не ходят люди. Еще полчаса крадучей ходьбы — и он остановился перед норой, куда впихнул мешок с деньгами; махая тяжелыми крыльями, взлетела с ветки грузная черная птица — она, видимо, все два года сторожила подсыревшее сокровище; Иван взвалил мешок на плечо и пошел на север. Года на полтора власть обеспечила его деньгами, можно затеряться в большом городе и начать новую жизнь; уже трижды его расстреливали — не пора ли пресечь этот обычай властей убивать именно Барина И. Л.?

В пятнадцати километрах от станции Ивана подстерегала удача. От стожка полусгнившего сена пахло давней мертвечиной, жердь разворошила пласты лежалого травья, и то, что увиделось, было страшно, Иван будто в разрытую могилу заглянул; так и представилось: парень и девушка, настигнутые зимней стужей, залезли на ночь в стожок, обнялись для теплоты и замерзли, — сладкая смерть, сладостная, под музыку небес, Иван сам однажды чуть не вознесся к небу, когда, спасаясь от мороза, лежал, сморенный сном, в снопах неубранного ячменя, спас его чекист, споткнувшись о заснеженный валенок Ивана. Эти же, парень и девушка, заснули еще позапрошлой зимой, мыши изъели трупы, пощадив черную кожаную куртку, снятую, наверное, с немецкого танкиста, но надевать ее Иван не решился: на станции возможны собаки, а те очень чувствительны к мертвечине. Из куртки выпала железная коробочка, в таких до войны продавалось монпансье, партизаны же носили в них махорку; Ивану курить хотелось до головокружения, до слюны, но коробочка подарила ему нечто поценнее, там лежал паспорт: Огородников Сергей Кириллович, родившийся 14 мая 1922 года в селе Никито-Ивдель Свердловской области, на фотографию можно не обращать внимания, настолько она безлика. Документ вполне пригож для беглой проверки, надо лишь побриться, что Иван сделал у путевой обходчицы, на ночь пригревшей его у себя и, наверное, не раз дававшей приют холодным и голодным мужикам, для которых лес был свободой. На толкучке в Вильнюсе купил он кепку, пальто и сапоги, чемодан и все то, что берут в дорогу командированные, большую часть денег оставил в лесу, пистолет тоже, перед самой Москвой же пристроился к падкому на дармовщинку малому, который с вокзала повез его к себе на Зацепу. Коммунальная квартира в грязном фабричном доме, две семьи еще не вернулись из эвакуации, двери их заколочены; кроме гостеприимного парня и его мамы обитала в квартире сирота, девчонка из ФЗУ, в такой бедности жившая, что стеснялась показываться на кухне, кормили ее в училище, чай по утрам она кипятила у себя в комнате на керосинке. Придурковатому парню и его мамаше Иван втиснул легенду: он — с оборонного завода, в Москве обеспечивает отгрузку сырья, бегаем по наркоматам и вокзалам.

Первая неделя ушла на вживание в городской быт, Иван влезал с утра в трамвай и начинал увлекательное путешествие по столице, пропитываясь ее словечками и повадками. Звякала мелочь в сумке кондуктора, объявлялась следующая остановка, Иван смотрел, слушал; никого из тех, кто знал его раньше, не было и не могло быть, но многомиллионный город прокачивал через себя сотни тысяч приезжих, синие милицейские фуражки коршунами висели над людскими толпами, отовсюду торчали злые уши, везде шныряли цепкие глаза. Надо было приноравливаться, и помогла партизанская хватка: военная нужда заставляла Ивана похаживать к немцам, он научился казаться чуть напуганным — ровно в той мере, чтоб стражи порядка удовлетворялись покорностью безоружного человека; если же держать на виду сумку с чем-нибудь хозяйственным, домашним, то и документы не требуются, Ивану к тому же на Инвалидном рынке сделали хорошую справку: да, командирован в Москву на три месяца, дата прибытия — 18 сентября. Было приятно ходить по московским переулкам, в руке — благонамеренная сетка с батоном и бутылкою пива; на рынках приценивался, покупал пшено, рис (тридцать рублей за стакан), и цена риса стала ориентиром, он подсчитывал расходы и начинал экономить, денег до весны может не хватить; деньги он спрятал в дровяном сарае, но и не пересчитывая их, знал: мать придурковатого пошарила в мешочке, ни копейки не взяла, надеясь на большее — на шантаж, иначе бы не одергивала сына, который по пьянке злыми глазами сверлил Ивана, рвал на себе рубашку, показывая раны, и бубнил о «некоторых», всю войну просидевших в тылу, в Свердловске, к примеру, на брони «крепче танковой». «Мамаша» — благодетельница Ивана — учила его отличать фальшивые продо-

вольственные карточки от настоящих, а он помогал менять комбижир на сало. «Что б мы без тебя делали?..» — гнусавенько благодарила она и проливала отмеренные слезы: сынок-то — припадочный, нельзя ему пить, нет, не кормилец он, самой приходится добывать, день-деньской в заботах, — и на крохотные глазки ее накатывалась дуринка... Семейка эта опротивела Ивану, давно бы ушел, но куда и к кому? Нужный ему человек проживал в Москве, не мог не ходить, как он, по этим улицам — такой же загнанный, как он, как Клим, но ловкий, сильный, сумевший пристроиться к этой власти и жить при ней в свое удовольствие, — такой человек должен встретиться; когда же этот человек встретился, Иван был испуган поначалу, да и человек отнюдь не возрадовался. Они стояли друг против друга на пересечении Дорогомиловки с переулком, уходящим к Москве-реке; оба вытащили из карманов руки в знак того, что оружие, если оно и есть, в ход пущено не будет; их сталкивала судьба, но где, когда и при каких обстоятельствах — не помнилось, и оба решили оставить на будущее выяснение того, кто кому больший враг или чья рука протянулась когда-то во спасение погибающего. Перед Иваном стоял мужчина тридцати пяти лет, одного с ним роста, брови его сливались в прямую линию, не прерываемую впадинкою переносья, тонкие губы упрямо сжаты, в глазах пошаливали насмешка и предостережение, на мужчине было пальто с накладными карманами, дань моде отдавала и кепочка. К ней и притронулся двумя пальцами неопасный незнакомец, советуя безбоязненно следовать за ним, и пока дошли до Филей, человек проверочно отставал, чтоб убедиться, топают ли за ним граждане одинаковой соглядатайской внешности. Скрипучая лестница двухэтажного строения привела обоих в хорошо натопленную комнату, где наконец-то были произнесены первые слова; раздевшись и сев за стол, мужчина сказал, что примет на работу того, у кого чистые документы, после чего забрал себе выданный ивдельскими властями паспорт, взамен протянув справку вильнюсского горотдела милиции, начальник сего органа извещал всех интересующихся, что документы Огородникова Сергея Кирилловича находятся на прописке в означенном городе. Устанавливая потребную для дела степень взаимности, мужчина назвал и себя: Альгирдас Кашпарявичус, но сказано было так, чтоб никаких сомнений не оставалось: Кашпарявичус и Огородников всего лишь псевдонимы, вполне, однако, приемлемые для места и времени, в которых находятся оба обладателя этих фамилий. Работа же, предложенная «Огородникову», была настоящей — шофер-экспедитор Представительства Литовской ССР при Совете Народных Комиссаров Союза ССР. Неподалеку управление порта, в общежитии-гостинице его можно переночевать, от чего Иван отказался, как и от аванса, но согласился прибыть завтра на станцию Рабочий Поселок, вторая от Филей остановка на пригородном поезде. Сама станция Фили была видна из окна теплой комнаты, Иван добежал до нее весь в радости и в безуспешных потугах вспомнить: уж не на вильнюсской ли толкучке за приметил его Альгирдас Кашпарявичус? Он спешил к Мамаше, чтоб забрать ключи от сарая и вместе с дровами принести в комнату деньги: завтра утром можно уходить, со свердловской легендой покончено, Кашпарявичус намекнул о новых документах. Он спешил — и опоздал: печка натоплена, припадочный сынок силится спеть жалобную уркаганскую песню, лягая Ивана оборонным заводом, спасшим того от фронта, а Мамаша полеживает за ширмочкой, лениво урезонивая нелюбимое чадо. Водка на доньшке бутылки, селедка со вспоротым брюхом разлеглась на газете — и тут-то ввалилась комиссия, три типа с милиционером (Иван по шагам определил состав ее), дверь квартиры открыла пигалица из ФЗУ, к ней первой и потопала власть; сынок забазлал во всю глотку: у нас, мол, у нас прячется дезертир из Свердловска. Мамаша цыкнула на него, успокоила Ивана, да тот услышал уже ответы пигалицы на вопросы милиционера, но, наверное, чем-то выдал себя, и наблюдавшая за ним через ширму Мамаша поняла: быть беде! Острой опасности эта комиссия не принесла с собой, шла очередная кампания, столица готовилась

к достойной встрече воинов, демобилизованных во вторую очередь, выкраивались метры жилой площади с неизбежной проверкой документов и прописки, но дурной сынок наговорил бы лишнего, много больше того, что было в справке из Вильнюса. «Я сейчас, сейчас...» — приговаривала из-за ширмы Мамаша, что-то делая так бурно, что ширма колыхалась. Она выскочила из-за нее: коротенькая юбка стянута в поясе, шелковые чулки облегли ладные резвые ноги, кофточка с короткими рукавами расстегнута на груди, губы умело намазаны, жидкие волосенки скручены, подняты и увязаны в подобие модной прически, и сама возникшая из рухляди за ширмой Мамаша походила на тех московских шалав, что крутятся около вокзалов и стерегут мужиков на подходах к пивным; она успела к тому же, до стука комиссии, сунуть в рот зажженную Иваном папиросу и хватануть полстакана водки. Когда четыре пары глаз вонзились в Ивана, ни в каких списках не состоявшего, Мамаша атаковала милиционера, которого знала конечно же, наставила на него пышную грудь, выталкивая из комнаты и взывая к совести: ну, ходит к ней парень с номерного завода, известно, зачем ходит, женщина она все-таки, так что ему — документы, где он женатый, с собою брать, она что, не знает, кто он такой?.. Власть попятилась, криво ухмыляясь, ушла в другую квартиру. Совсем пришибленный сынок помалкивал, Мамаша клочком газеты стерла с губ помаду и скрылась за ширмой; Иван и раньше замечал, что Мамаша старит себя с далеко идущими целями, согбенным видом и вдовьим платочком прикрывая недостаток в доме, текущие в него денежки, но такой метаморфозы не ожидал и решил утром на прощание дать ей тысяч на пять больше. Она приняла пачку, понятливо кивнула, когда услышала, что Иван срочно выезжает в Горький на автомобильный завод, и деловито осведомилась, какие города и заводы говорить тем, кто начнет интересоваться Иваном, если тот после Горького сюда не приедет; поблагодарила она и за чемодан, оставленный ей. Иван распахнул по карманам разную мелочь, сверток с деньгами нес открыто, в сетке, вместе с молоком и хлебом, Кашпарявичус покосился, понял, хмыкнул, спросил, из каких собак Иван, тех или этих, выслушал короткий ответ и согласился: да, любая стая опасна. На попутке доехали до поля, уставленного автомобилями и мотоциклами всех марок, это был СПАМ, склад поврежденных автомобилей. Минское шоссе — в двух километрах, там у Баковки спецотряд милиции выборочно забирал легковые и грузовые автомашины у тех, кому не положено тотально грабить Германию; почти все автомобили — исправные, на ходу, на складе распределялось не единожды награбленное, дележкой — по внушительным требованиям на бланках и скомканным запискам неведомо от кого — занимался человек одной крови с Кашпарявичусом, с виду неприступный и неподкупный. Присмотревшись к тому, как быстро меняются права на движущуюся собственность и с каким наваром для обоих распределителей, Иван понял: много, очень много людей в наркоматах обязаны литовцам, и всегда шепнут им нечто важное, и всегда отблагодарят и натурой, и советом. Один из таких наркоматских тут же выписал Ивану водительские права; Иван на полуторке, Кашпарявичус на «опеле» поехали к Филям. Места в гараже нашлись, завхоз представительства всюду имел своих людей, и не только в Москве; в тот же вечер Иван отправился в ответственную командировку. В Каунасе умер старый революционер, несемейный, бездетный и без единого родственника, перед смертью он выразил нежелание быть похороненным на родной земле, погребение, по мысли Кашпарявичуса, должно состояться в Москве, только в Москве. «Дорогу туда ты знаешь», — с особенной интонацией произнес Кашпарявичус, отправляя Ивана в дальний рейс и очерчивая напутствием круг, в котором произошла (или могла произойти) их давняя встреча, а внутри этого круга было пространство от Минска до Клайпеды, леса от Паневежиса до Алитуса, где в одной стреляющей куче уничтожали друг друга бойцы НКВД, лесные братья, дезертиры и беглые пленные, партизаны, немцы и голодные, обожившиеся легионеры неизвестно кем созданного войска. Там и сейчас

было беспокойно, в полуторку Ивана трижды стреляли, потом ее догнал на «опеле» Кашпарявичус, обе машины катили резво, в Каунасе Ивана повели к фотографу, там и дали ему паспорт, но уже с каунасской пропиской, со всеми штампами, нарядили в черный костюм, снабдили доверенностью; с нею он отправился в морг, благоговейно опустил голову, стоя перед наглухо заколоченным гробом. Впрочем, были видны следы разруба, кто-то пытался топором осквернить последнюю камеру испытанного борца за правое дело, долгожителя тюрем; Ивану вспомнилась величественная фраза о том, что даже из гроба революционера должно вырваться пламя, и он потрогал разруб — копоты не было! Обложенный льдом и опилками, гроб последовал в Москву, три алкаша втащили его — под мат Ивана — в дом у Абельмановской заставы, отодрали гвоздодером крышку. Иван увидел синий лоб старика и умело заштукатуренное отверстие, пуля вошла под правый глаз самоубийцы. Сутки еще со стариком прощались в одиночку приходившие люди, женщины держали у рта платочки, все скорбящие — явно не советского происхождения, слышались восклицания на испанском, немецком, французском языках, по-русски заговорил вдруг авиационный генерал, называя покойника украинским именем Панас. Похоронили за чертой города («Таких ни одна земля не держит», — съязвил Кашпарявичус), кто-то произнес речь на литовском языке, потом речитативно зазвучала латынь. Лежавший в гробу считал себя при жизни интернационалистом, земля была ему пухом и в Африке, и в Бельгии, но не та, что вырастила его. Комья глины, полетевшие на заколоченный Иваном гроб, завершили погребение одного литовца и воскрешение другого, Ивана временно прописали в Москве — под чужой фамилией, странно читалось отчество: Иозасович. В деревне Мазилово, что в километре от гаража, сдавались комнаты, Иван научился говорить по-русски с легким акцентом, оправдывая фамилию; чужеземцу дали где жить и чем по утрам питаться. Хорошо думалось о жизни под трескучие морозы за окном, приятные мысли рождались и в кабинах автомашин. Он ехал однажды за трамваем, видел, что делается на задней площадке, и поразился мальчишкам; они лепились к дверям, ни тычки, ни уговоры взрослых и кондукторши не распределяли их равномерно по вагону, какая-то сила влекла их на тесные площадки, к дверям, за которыми воля, простор. Неужели — та самая боязнь замкнутого пространства, в котором существовал в утробе плод? В мальчишках живет еще страх покидания теплых стенок матки — и радость освобождения от тесноты и темноты. А если спуститься мыслью в прошлое плода, то ведь оплодотворенная клетка нуждалась в замкнутости сферы обитания, где эволюционировала, начиная с амебы, проходя стадии земноводного существования, бытия гадов, млекопитающих, и как девять месяцев утробной жизни соизмерить с миллионами лет, вмещающих в себя нудный естественный отбор?

Он загнал «опель» в переулок; он рад был, что не вхолостую работает мозг, и горевал, вспоминая пропащие месяцы. Нет, не для Кашпарявичуса уберегла его судьба от многих смертей, надо мыслить и жить, и надо — найти Клима. Он здесь, в Москве, некуда ему бежать, Горки его не примут, Могилев тем более, его тянут к себе люди науки, он отравлен своей генетикой, он сдуру появится в Тимирязевке и загремит лет на десять, и он ищет Ивана, и связаться с Иваном он может только через Ленинград, дав о себе весточку, оставив записку (или ожидая ее) в квартире на проспекте Карла Маркса; ясно ведь, что ботанический сад Горецкой академии — место, где они виделись, — почтовым ящиком не послужит. Туда, в Ленинград, гнала его мысль — и спотыкалась; неделя ушла на подготовку, текст письма был продуман до запятой. «Тебя еще не взяли?» — пошутил Кашпарявичус, когда Иван заговорил о Ленинграде; литовец временами говорил так, будто сломлен вместе с ним одним и тем же горем, иногда, в подпитии, гадал, кто первым из них прицелился и не выстрелил. Иван же боялся ворошить прошлое, сразу же начиналась болезненная ломота суставов, на себя принявших расплату за все промахи и ошибки. Но Ленинград

будто встряхнул, взболтнул его, со дна поднялись осаженные временем комочки былого, он едва сдержал стон, когда вышел к Неве; набежавшие слезы сдул ветер; льдины тыкались в быки Литейного моста, откуда виделся уже родной проспект, тихая скорбь его. Мысль о смерти, которая соединит вторично сына с родителями, была такой острой, что Иван выплакался в подворотне, заодно и проверил, не увязался ли за ним местный топтун. Он знал все сквозные дворы у Финляндского вокзала, все подвалы и отсек возможный хвост, смешался с людьми и незаметно подошел к дому. Ничто не могло выветрить с проспекта запах буйного детства, здесь жил он и вырастал, не ведая и не предчувствуя, что ждет его впереди; вот двор, вот подъезд, где облапил он когда-то Наташку, от которой пошла страсть к математике. И дверь та же, тот же дерматин, белая кнопка звонка; сладко закружилась голова, представилось: он войдет в квартиру — и сбросятся с него десять прожитых лет, он уменьшится в размерах до пятнадцатилетнего, станет мальчиком. Дверь приоткрылась, показывая девушку, в глазах ее было нечто, призывающее к бережности: такую девушку нельзя даже за руку брать, только за пальчик. Залепетал просительно: нельзя ли оставить письмо фронтовому другу... или, быть может, друг уже заходил? Дело в том, что ошибочно дал ему адрес, вместо Москвы почему-то — бывает же такое — указал Ленинград, все остальное совпадает... Бес-связно лопоча, боясь и взглядом коснуться девушки, он по шаркающим шагам идущей на разговор женщины уже понял: был здесь Клим, был! Его шатало, рука потянулась к стене; десять лет в их квартире жили другие люди, со своими запахами и причудами, но все равно обонялся образ той семьи, что панически умчалась в Минск; стены и обои впитали запах матери, ее одежд, одеколону отца и его кожи... Женщина подошла, всмотрелась и вдруг спросила, не Иваном ли зовут его. Не здесь ли жил он в тридцать пятом году? Близость опасности мгновенно выветрила разнеженность, Иван подтвердил: да, это он, так не передал ли друг что-нибудь? Зеркало висело в прихожей, из-за него и достала женщина письмецо; глаза женщины перебежали с Ивана на девушку и обратно; отказаться от чая было нельзя, это возбудило бы подозрения, к тому же телефон на виду, женщина не успеет позвонить, да и не могли так слаженно играть роли подсадных мать и дочь. Он сидел с ними на кухне, рассказывал о чем-то, правильно подбирая слова, улучил момент — и простился, сбежал, конверт жег руку (крупными детскими буквами: «Ивану, жильцу» — о, идиот!), в уборной Финляндского вокзала разбросанные и корявенькие буквы сошлись в слова и прочитались, клочки бумаги смылись, текст запомнился, и к радости, что Клим живет в Москве, уже подбиралась злость: надо ж быть таким остолопом — точно, открыто указал время и место встречи, нет, ничему не научился сын врагов народа, а ведь жил под немцами, знал, как не попадаться в лапы оккупантов. Теперь надо посматривать за этой парочкой, мамой и дочкой, установить связи их, наезжая в Ленинград, откуда теперь как можно быстрее в Москву, завтра воскресенье, указанный Климом день встречи. Поезд летел в ночь, приближая момент, когда на седьмую от входа скамейку Сокольнического парка сядет так и не арестованный Клим. И все же Иван решил побережь себя: адресованное ему послание могло быть составлено в Лефортовской тюрьме. За час до трех дня он вышел из метро «Сокольники», обосновался у пивного павильона; два типа крутились поблизости, но, так сказать, общего назначения, не нацеленные на седьмую скамейку, заваленную к тому же снегом, садиться на нее глупо. Клим он узнал сразу, все в прошедшем мимо человеке было незнакомо, и все же это был Клим, он, без очков, одетый бедненько, но тепло, и походка выдавала: он не раз уже бывал у скамейки, девять воскресных дней прошло с посещения им проспекта Карла Маркса, он и сегодня не ожидал Ивана, не озирался, не останавливался, чтоб быть замеченным, и ушел с аллеи. Иван догнал его у булочной, схватил за руку, потянул под арку, во двор, за машину, выгружавшую лотки с хлебом.

Здесь они обнялись и, кажется, расплакались. Короткий зимний день уже кончился, падал снег, лепясь на них. «Братан... братан...» — как в бреду повторял Клим, и слово это, коробившее Ивана и в Ленинграде и в Горках, вызывавшее насмешку, принялось им теперь благодарно, слово звучало величественно. Да, люди могут быть богатыми и бедными, злыми и добрыми, начальниками и подчиненными, но существует и связывающее их свойство — кровные узы, два плода, что выбрались из одной утробы, и утроба стирает все различия; Иван и Клим — братья, у них общая прабабка, а та — как зерно, что завезено в Россию на ступице тележного колеса три века назад, оттуда прабабка, из западных земель, и неспроста, оказывается, Иван подался к литовцам — с Немана когда-то бежал их общий предок.

Корни семейного дерева прощупались у Клим, в комнатухе его, приехали сюда, трижды меняя такси, друг друга одергивая и обрывая, потому что хотелось говорить, говорить, говорить, рассказывать и смеяться, досыта намолчались за пять лет. Дом — невдалеке от Колхозной площади, средний подъезд, ведущая в подвал лестница, справа — дверь с черепом и костями, хозяйство электрика, слева — никаких надписей, висячий замок, отомкнутый Климом, снятый им и повешенный на гвоздь в коридорчике, и еще одна дверь, за нею — смежные комнатки, в одной верстак с тискарами и всеми нужными водопроводчику железками, в другой, напоминающей камеру для неопасных преступников, сам водопроводчик, Клим Пашутин, в миру носящий иное имя, беглый пособник оккупантов, нашедший укрытие под недреманным оком власти. Вскипятили чай, еще по дороге сюда купили колбасы и водки, пили, радовались, Клим рассказывал суматошно, захлебываясь, возвращаясь к славному предвоенному времени и забегая вперед, в лучезарное будущее, но между тем и другим пролегла сплошная мука, голод, плен, лишения и благополучная, сытая жизнь в Германии — не без содействия Могилевского управления НКВД, которое сцапало родителей Клим и оставило того на свободе, чтоб уж потом словить заодно всех врагов. Война притупила бдительность органов, Клим записался в добровольцы, пошел воевать и в первом же бою был пленен, пригнан в лагерь, но ему вновь повезло: немцы разрешали местным жителям забирать военнопленных, признай себя женихом или братом подошедшей к проволоке колхозницы — и топай примаком в добросердечный дом. В такой семье Клим прожил полгода, пока его не мобилизовали партизаны, пославшие сына врагов народа на гибельное задание. Вновь лагерь, медленное подыхание, но уж если человеку везет — так будет везти до смертного часа: в лагерь прибыл Юрген Майзель, тот самый генетик, что рвался в Горки, он-то и увез Клим к себе в Германию, в свою усадьбу под Берлином, магистрат оформил Клим остарбайтером, назначил и место работы во славу Германии, то есть все там же, у Майзеля, но не ассистентом, конечно, а водопроводчиком, слесарем и садовником в придачу, трубами и кранами он, так уж надо было, тоже занимался, ремесло это освоил, но работали они с Майзелем в лаборатории, очень хорошо оснащенной, там же, в усадьбе; неделями жили в Берлине, они подтвердили некорректность некоторых теорий и методик, они далеко продвинулись вперед, очень далеко, так далеко, что Майзель запретил кому-либо говорить об этом, а говорить хотелось, генетики в Берлине сгруппировались, встречи их были частыми, насыщенными, Клим знает многих русских, попавших в Германию еще до войны, они, возможно, и рассказали в НКВД, чем он занимался. Майзель же погиб в марте сорок пятого, он ведь был на службе в вермахте, эпидемиолог все-таки, усадьбу разбомбили, Клим еле унес ноги, карточка остарбайтера была у него спрятана, она его и выручила, советский комендант одного городишка на востоке Германии дал ему справку: угнан, мол, в Германию и возвращается домой, и все бы хорошо, да тащил с собою в СССР он не барахло, а самое ценное — лабораторные журналы, спрятанные в саду еще до бомбежек, журналы и попались на глаза кое-кому в Бресте, Клим отвезли в какой-то лагерь, ночью он бе-

жал, нет, сам он не додумался бы, и бежать-то не хотел, но придержанные в лагере остарбайтеры выломали в заборе доски, пришлось уходить с ними, пристроился к какому-то эшелону и оказался в Польше, здесь везение продолжилось, добрый поляк в конфедератке, усатый старик, полицейский или староста, выложил перед ним кучу советских паспортов и прочих документов — выбирай, москаль! Он и выбрал, погоревал о пропавших журналах да поехал в Горки («Идиот!» — выругался Иван и погладил братика по головушке его счастливой). В Орше — случайная встреча с профессором из Горок, от него стало известно: ждут, ищут, подстерегают. И опять везение: одной гражданочке помог добраться до Москвы, у той тетка по коммунальному хозяйству работает, она и сунула его вот сюда, водопроводчиком, он этому дому не положен, дом заводской, заводские слесари его обслуживают, работает он здесь бесплатно, когда управдому, бабе не без норова, в голову что взбредет, зато вот эта комнатка, отсюда он ходит дежурить в универмаг, смены дневные и вечерние, шестьсот рублей в месяц (двадцать стаканов риса, подсчитал Иван); по документам он — из Обояни, есть такой город на Курщине, прописка временная, жить можно, на еду хватает, хуже с журналами и книгами, кое-что он покупает в киоске у Тимирязевской академии, но разве сравнишь эти крохи с тем, что имел он у Майзеля: тот через министерство пропаганды получал американские и английские журналы по биологии...

Долгая, чудная, нелепая и жаркая исповедь, охлаждаемая забегами в аудитории Тимирязевки и воспаляемая возвратами в святую тишь подберлинской усадьбы; горящие нетерпением глаза с желтоватыми искорками и тонкие руки, впалая грудь; жажда знаний, не подкрепленная калориями; пустые мечтания о славе и восемь рублей до получки... Когда же сморенный сытостью, счастьем и усталостью водопроводчик уснул, Иван прислушался к журчанию вод, распиравших трубы, и приступил к делу, на которое обрек себя: отныне он — слуга господина генетика; он может, слугою, орать на Клима, командовать им, помыкать, он и побить его может, но хозяином все равно будет Клим, потому что в эти лихие годы студент-недочка превратился в ученого, который в двух шагах от величайшего открытия; в могилевском шкете горит, колыхаясь на ветру беспощадной жизни, жизнью же зажженный огонек, немощная свечечка, которая озарит пламенем всю биологию. В конце сорок третьего Клим и Майзель установили, что вся сумма наследственных признаков зашифрована не в белке, как об этом трубили все журналы, а в дезоксирибонуклеиновой кислоте; если уж быть точным, то не в кислоте, а в соли ее, однако им, ему и Майзелю, было не до мелочей, они не очень-то поверили себе, и каково же было их удивление, когда через полтора года обычный врач, американец Эвери, серией опытов подтвердил их правоту. Майзель уехал на фронт, Клим начал сопоставлять рентгенограммы и воспарился мыслями, в нем что-то затеплилось; он знает уже, что тайна будет раскрыта, но чтоб эта тайна вылезла наружу, требуется время, и время это придет, надо поэтому сберечь этот зародыш тайны, подпитывать его новыми знаниями и опытами; надо установить (это Клим уже Ивану поручал) и математически определить пространственную конфигурацию отнюдь не беспорядочного скопища молекулярных цепей ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновой кислоты... Возмущала не наглость брата, а легкая, поэтическая, что ли, везучесть его, не побтом добытая, не умом или страданием, а задарма; баловень судьбы одарялся счастливыми совпадениями, они сыпались на него, как снежинки в декабре, как капли дождя в мае. Родителей растерзали — а с него волосинка не упала, сотни тысяч неумелых красноармейцев полегли в бою или умерли с голоду, а Клима на сытые хлеба пригласили в теплую избу; миллионы людей мерзли, гибли, молили о пощаде, а Клим жрал украинское сало и голландский сыр, занимаясь к тому же любимым делом; все немецкие прихлебатели отправились в Сибирь — братец («братан»!) преспокойно живет в Москве, не ведая той неопределенности, в какой существует

Иван рядом с Кашпарявичусом, который то ли из СС, то ли из НКВД. Поразительное везение, слепое, безоглядное, обойдется оно боком, надо решительно менять образ существования, в служебном подвале этом Клим заработает туберкулез, подвал потому так легко отдан пришлому иногороднему, что жить в нем нельзя, от двух труб вдоль стены пышет доменным жаром, спать можно только при открытой на лестницу двери, летом же здесь сыро, а сам подвал — мышеловка, из нее не выскочишь, когда на лестнице зацокают сапоги энкавэдэшников.

Иван разложил на верстаке телогрейку и заснул. Он видел нехорошие сны — подвал гестапо и того щуплого палача, что поглаживал, петушком подавшись вперед, свои ягодицы; и все же вчерашний день, решил он утром, был счастливым, он запомнил: 17 февраля 1946 года, шел снег и было ветрено. Стараясь не шуметь при спавшем еще Климе, он прибрался, вымыл пол, смотался в магазин, вернулся с мясом и фруктами, благо рынок почти рядом. Он всматривался в спящего Клима, в лицо его, дергавшееся в мучительном сне; да, брат настрадался, но так и не стал мужчиною, все тот же ребячий ум, все та же неудержимая пылкость речи и мысли, и тем не менее он прав: только в работе мысли, бьющейся над кислотой, смысл и спасение, смысл не просто всего бытия земного и неземного, а исход их общей судьбы, им обоим эта власть — что кость в горле, и — так уж получается — одолеть эту власть, стать над нею и возвыситься смогут они единственным путем — раскрыв тайну наследственности, сама жизнь толкает их на совершение чего-то великого, даже если это великое сейчас — подметенный пол, колбаса и крабы на столе, хорошее вино. Они пили его, смеялись, болтали, строили грандиозные планы, Клима на полчаса позвали в квартиру управдомши; им хорошо было до семи вечера, потом Иван снарядил Клима на смену, уложил в его чемоданчик плотный ужин и легкий завтрак, пахучий сладкий чай в термосе, и строго наказал: кушать в одиночку, добротной жратвой не бахвалиться, деньги у них есть, много денег, покупай что хочешь, но отдельными предметами, в разных местах, так, чтоб не заметили. А ушел Клим — Иван расхохотался, так смешно было и так горько! Императорская власть послала когда-то Михаила Ломоносова учиться в Германию, с нетерпением ждала полезного для России лапотника, ныне же большевики всю свору спустили на обученного в Германии генетика, а тот никак не поймет существа бесовского этой советской власти, в ней все вывернуто наизнанку; в аграрной программе РСДРП крестьянам обещались земли за Уралом, а пришли большевики в Кремль, обосновались, осмотрелись — и под конвоем погнали кулаков в Сибирь. Противнее всего — приспособливаться к знакам и символам этого отродья, здравый смысл говорит: надо уходить в глухое подполье, снять квартиру в Подмосковье, купить или украсть лабораторную технику, целиком погрузиться в работу, но другой смысл, вечно бодрствующий и от любого шороха вздрагивающий, напоминает: универмаговский штамп в паспорте — спасение, лень в России беспробудная, надзор за потенциальным врагом народа ведомства спихивают друг на друга, милиция глянет на штамп («Принят на работу в...») — и потеряет интерес к случайно задержанному. Следовательно, уходить из универмага пока нельзя, но уж книги и журналы добыть можно.

Около букинистического магазина на Арбате встретился старичок, пропивавший свою библиотеку, все купленное у него Иван прочитывал и передавал Климу, с журналами получилось еще лучше: Кашпарявичус будто бы для Академии наук Литовской ССР стал заказывать текущие публикации, однажды Иван осмелился и попросил американский журнал «Природа». Литовец окрысился: «Шпионов не обслуживаю!», повыкобенивался еще с месяц и дал Ивану не только «Природу» за полгода, но и «Вестник Королевского колледжа», пришлось срочно учить английский. Несколько раз посылали Ивана в Вильнюс; он забрал деньги в лесу, мелкими порциями разложил их по сберкассам, купил Климу микроскоп и биноклярную лупу, в Мытищах же присмотрел работу, о которой даже не мечталось:

квасной заводик, заодно выпускавший лимонад и яблочные напитки, мухи дрозофилы здесь водились во множестве, не столь плодovитые, но определенно полезные, и жилище наклеывалось, Иван познакомился в пивной с женщиной странной внешности и странного поведения, она входила в пивную, где всегда мужики, как в женскую баню, брала без очереди три кружки пива и жахала их одну за другой, без передыху; Иван догнал ее как-то на улице после пивной, заговорил, сказал, что кое-что слышал о ней (та вернулась из ссылки, все зубы стальные, папироса покидала рот только в те полторы минуты, когда пиво вливалось в ненасытное горло), предложил выгодную сделку: сто рублей за каждую выловленную сотню мух, сачок за его счет, восемьсот за комнату в ее доме, что будет снята месяца на три. Тыча ему в нос давно погасшей «беломориной», баба наотрез отказалась ловить мушек, потому что — уж она знает! — Лубянка тут же обвинит ее и постояльцев, припишет попытку заражения через мух всей области, — и опешивший Иван попятился, шепча проклятия, ругая себя: зря мелочился, надо снимать квартиру целиком, много же в Москве бронированного жилья. Мытищинский конфуз не забывался, в двух километрах от Филей Иван обнаружил в Кунцеве фабрику безалкогольных напитков, отсюда по утрам полуторки увозили подцепленные квасные бочки, а в кузовах — ящики с лимонадом, охрана никого не выпускала с бидончиками, спирт воровали здесь нагло, Иван свободно прошел на территорию фабрички, потом привел и Клима. Над бродильными чанами, в цехе разлива — мириады мух. Клим мастерски взмахнул рукой, поймал крошечное насекомое, двумя парами очков рассмотрел мушку; с еще большим вниманием уставился на иссушенных, дохлых особей, нашедших меж окон застекленную могилу. В подвал пришли с ценной добычей. Клим на долгие месяцы погрузился в изучение «кунцевской» расы мушек, журналы, советские и закордонные, читать отказался, с раздражением заявил Ивану, что не желает впускать в себя чужое сумасбродство, нельзя чистую дистиллированную воду загрязнять искусственными примесями, естественными — пожалуйста, но не стоками ядовитых производств. «Старье!» — отшвырнул он американскую «Науку». Иван читал все подряд, порой мысль его пробуждалась от пустяковой фразы, иногда — такое бывало по утрам — вспоминался читанный перед сном абзац и переосмысливался. Журналы писали о кибернетике, возникла теория информации; мотаясь на грузовичке по Подмосковию, Иван давал волю детскому воображению, тому сумбуру и брожению чувств, что испытал он когда-то в Ленинграде, когда, поймав Наташку, с изумлением рассматривал простейшие геометрические фигуры: в прямой линии — обратное отражение параллельной ей линии, круг вмещает в себя множество вписанных треугольников, но наибольшей емкостью обладает математическая точка... От таких забав кружилась голова, восхитительное чувство оторванности от земли сжимало сердце, оно колотилось в как бы парящем восторге... Счастливые были месяцы, легкие, свободные, богатые, текло бытие, ценное уже тем, что в нем жилось и думалось без разрешения и соизволения Лубянки, наперекор всем властям. Кашпарявичус договорился с московским главком и гнал в Литву порошки-красители, снабжал местную промышленность еще каким-то продуктом, щедро делился с Иваном, отдал ему списанный «опель». О Климе он не знал ничего, равным счетом ничего, Иван уберегал брата. Удалось найти даже не квартиру, а целый дом: хозяин отдавал его на зиму с единственным условием — топить промерзающие хоромы ежедневно. До переезда еще месяца полтора, а уже чудились вечера у печки, близ огня, куда, случись что, полетят разные «Труды» и «Вестники» на английском языке; судьбу их не разделят только что вышедшие «Факторы эволюции» Шмальгаузена, книга чрезвычайно полезная, очень нужная Климу, у Ивана дрожали руки, когда он покупал ее и прятал за пазуху. Прыгнул в троллейбус и скорей, скорее в подвал, был второй час пополудни, Клим уже выспался после ночного дежурства, ждет его, о «Факторах» он уши прожужжал Ивану. Дом показался (на фронтоне кирпичами выведен год постройки — 1934), ничего подозритель-

ного во дворе нет, подъезд, двенадцать ступенек лестницы вниз — и в нос ударил тревожный запах, предупреждение об опасности, из-за двери подвала, где Клима, струился аромат, испарения хорошо промытой и надушенной женской кожи, во всем подъезде — уже казалось Ивану — колыхалось густое облако парфюмерии заграничного производства, дыхание спирало от предстоящей встречи с женщиной, которая остается недоступной даже при раздевании. Минской девушкой пахло, французскими духами! И плававший в обольстительном море Клима оторопело смотрел на ворвавшегося Ивана, виновато опустил голову, стыдясь чего-то, даже не глянул на «Факторы», а мог видеть выдернутую книгу, мог! Молчал, когда Иван медоточивым голосом стал расспрашивать: что случилось, где? Пальцем поднял голову брата, потом сдавил рукой горло его: «Ну?» Язык Климата заплетался, брат норовил встать и уйти, чем-то напоминая курицу, уводящую лису подалеже от цыплят. «Кто был здесь — скажешь, придурок?» Заговорил наконец внятно, и чем дольше говорил, тем спокойнее становилось Ивану: кажется, пронесло! Да, брат нарвался на красивую бабу, но она всего лишь — воровка, не ефрейтор госбезопасности в юбке, беду она не накличет, если правильно обдумать происшедшее. «В магазин ступай! Карточки за прошлый месяц еще не отоварены!» Ушел братец чуть ли не обиженный, едва не хныча, баб не знает, потому и попался на удочку блатной красотки, претворившей в быль одну из тех легенд, что гуляли по Москве. Еще в прошлом году прокатился слух о лейтенанте, который завалился в ювелирный магазин с редкой драгоценностью, предложил оценить и купить диадему с семью бриллиантами; сто тысяч давал магазин, больше не имел права, что лейтенанта не устроило, поскакал он в другой магазин, потом в третий, по дурости не зная, что у оценщиков есть, кроме инструкции, описание гуляющих по разоренной Европе драгоценностей. Следовательно, выражая мнение обывателей, сказал ему якобы: дурак ты, парень, разломал бы диадему на семь частей и продал каждую за сто тысяч! Более прозаически звучала история о том, как заработал свой миллион бравый красноармеец, почти персонаж народного сказания: дошедший до Берлина освободитель не польстился «телефункеном» и отрезом на костюм, а скромно притаранил в родной Серпухов 1 (один) миллион швейных иголок, по рублю штука, — и деньги в кармане. О милости к падшим взывала молва, повествуя о студентке Института международных отношений; бедная девушка из пролетарской семьи насмотрелась на подруг, дочерей разных наркомов, и, решив одеться не хуже их, с вечера спряталась в ЦУМе, ночью сбросила с себя все нищенское, выбрала наилучшее и дорогое, но не учла: каждое платье, каждая пара туфелек, шубки и прочее утром пересчитываются, и продавщицы забили тревогу, универмаг не открыли, произвели обыск — и разодетую в пух и прах студенточку нашли; счастливая концовка так и напрашивалась, и молва утверждала, что до суда дело не дошло: институтский начальник пролил слезу умиления, богатые студенты сбросились, оплатили уворованное, и студентка, одетая теперь не хуже своих именитых товарок, гордо ходит на лекции. Эту сказочку и воплотила в жизнь некая девица, ей, видимо, иного пути приодеться не было, при зарплате в четырехста рублей пальто за пять тысяч не купишь, торговать же собою невыгодно, проститутка средних достоинств у вокзалов идет за сто — сто пятьдесят. Наслушавшись басен, так поразившая Климата девица нашла с вечера укромный уголок в торговом зале на втором этаже универмага, переделалась и утром, едва дверь, ведущая в зал изнутри, открылась, покинула зал с чемоданчиком, куда, замечая следы, спрятала все с себя снятое, — и оказалась в западне: универмаг еще закрыт, назад ходу нет, потому что в зале уже продавцы, а пробиваться вниз, к служебной двери, опасно, на внутренней лестнице полно людей, девица к тому же с чемоданом. Тогда воровка спряталась в нише, где рядом с трубой пожарной магистрали висит свернутый в круг пожарный рукав с брандспойтом. Такие ниши обычно закрываются дверцей с надписью ПК, пожарный кран, и в дырочку девица увидела проходящего мимо Климата, по одежде его догадалась, кто он, и уразу-

мела, обладая немалым жизненным опытом, что этот тихоня ее не выдаст. И не ошиблась: Клим взял себе ее чемоданчик и вывел девицу через чердак на параллельную лестницу, девица наобещала слесарю черт знает что и смылась. Даже если ее и поймают, то выдавать Клима ей нет нужды, тот может пойти сообщником, прибавляя воровке несколько лет тюремного заключения. Так что ничего пока страшного нет. Чемодан с не нужным пока воровке барахлом будет сожжен в котельной, что во дворе соседнего дома, Климу внушено никитинское «не видел — не слышал — не знаю», и жизнь продолжится, воровка забудется; Климу же подложить бабенку раскрасивее той, какую Иван приводил брату неделю назад, обеспечивая Климу бесперебойное функционирование желез; с бабенкой Иван позабавился потом, та лестно отозвалась о Климе, еще две-три таких безотказных — и брата не постигнет участь его, Клим не воспыхает преступным чувством, так называемой любовью, не погубит ни себя, ни Ивана, ни то дело, ради которого они существуют. Ничего страшного не произошло, обычная житейская история, Клим вне подозрений, от любовной дури его избавит потаскушка, присмотренная Иваном еще месяц назад, потому что та, минская, девушка такого страху напустила на Ивана, что он пуще всего боялся: вот заваливается он сюда, а тут уже хозяйничает перерывшая весь подвал домовитая особа и Клим преданно посматривает на нее. Не бывать этому, не бывать! Не пройдет и часа, как в топке котла исчезнут вещественные доказательства преступного деяния, воровка, ищи-свищи, не отыщется, Шмальгаузен будет прочитан, возобновится прежнее, насыщенное мыслями бытие. «Факторы эволюции» раскрылись на середине, очень интересная глава, читать мешал запах, уже пропитавший подвал, запах того, что принято называть французскими духами, которых никто и не видел. Аромат, вызывающий почему-то зрительные образы, сладкую грусть так и не исполнившихся желаний, Милицу Корьюс, плывущую в вальсе «Голубой Дунай», музыка Штрауса долетала уже откуда-то... Запах! Он струился, у него был источник, Иван сделал несколько ищущих шагов и остановился перед верстаком. Наклонился и выдернул из-под брезента чемоданчик, раскрыл его — и зажмурился, хотя надо было бы зажать нос, но будто сияние исходило от дамской сумочки, там среди губных помад, кошелечка, пудры и прочей косметической дребедени благоухал флакончик с настоящими парижскими духами. Еще поразительнее было то, что Клим назвал «барахлом», от которого якобы стремилась избавиться воровка.

3

Комбинашка, трусики, лифчик, бюстгальтер — да о таком нижнем белье не могла мечтать минская провокаторша, ей оно и во сне не снилось, а уж блузка, юбка и жакет впору только дочери министра внутренних дел, и ни белье, ни верхняя одежда ни в одном универмаге продаваться не могли, такое лишь по ордерам для избранных, для крохотной кучки кремлевских чад, стиль одежды, покрой, материал, размеры — все соответствует юной женщине двадцати — двадцати пяти лет, рост сто шестьдесят пять — сто шестьдесят восемь сантиметров, средней полноты... тридцать седьмой размер — определил по туфелькам Иван длину стопы и залюбовался изделием фирмы, тачавшей обувь невиданной красоты, изящную, легкую, лондонскую, — не всякой англичанке по карману такие туфельки, никакая Золушка не расстанется с такими. На швах трусиков (Иван приспособил биноклярную лупу) девственная чистота, ни единого лобкового волосика, чулки еще сохраняют форму упаковки, и все, что быстрой рукой впихнуто в чемоданчик, не более часа побывало на теле женщины, она либо иностранка, по каким-то причинам освободившаяся — опасным для себя способом — от выдававшей ее одежды, либо советская гражданка, амуницию эту получившая в закромах Лубянки. В любом случае — плохо, очень плохо, нужно бежать, немедленно, вон из этого подвала, вон из универмага, последнее, кстати, неразумно: увольнение или исчезновение

водопроводчика свяжут с пропажей того дерьма, что напялила на себя проводшая в универмаге ночь непонятная особа с таинственным прошлым; с ним-то она и решила расстаться, весь этот маскарад задуман для того, чтоб уйти из-под слежки. Около семи вечера женщина переделалась, или была переодета, во все иностранное и дорогое, затем что-то произошло, женщина, спасаясь от преследования, нырнула в универмаг, об остальном надо дополнительно расспрашивать Клим, и пришедшего из магазина брата Иван посадил рядом с собою, рассказал ему о минской девушке, о том, как полюбил ее и был за это наказан, о туфельках, о том, как три здоровых мужика били и топтали его, ослабленного верою в эту власть; он говорил брату о дикой силе другой власти — инстинкта, затмевающего рассудок, животной тяге мужского рода к женскому, чем и пользуются эти злодейские органы госбезопасности; так не разыгран ли весь этот спектакль с единственной целью — войти в доверие, узнать, чем занимаются они; не припоминает ли он какие-либо детали странного поведения женщины, которые прояснили бы истинную суть происшествия?.. Пристыженно молчавший Клим отрицательно покачал головой, отказываясь верить в сценарий, разработанный Лубянкой. Универмаг когда-то дважды затопляло — вот почему и ввели ночные дежурства слесарей-водопроводчиков. На лестничную площадку второго этажа, где в пожарной выгородке сидела женщина, он пришел совершенно случайно. Нет, нет и нет — все произошло естественно, без какой-либо фальши. Наконец, сказал Клим, можно сходить в универмаг и посмотреть, работает ли там милиция: если встреча его с женщиной подстроена, то успеху спектакля должна способствовать дирекция универмага. «Идем!» — поднялся Иван. Климу было приказано — осмотреть место, где пряталась женщина, и еще раз внушена заповедь: не видел — не слышал — не знаю. Сам Иван обегал окрестности, он присматривался и прислушивался; кто-то попал под троллейбус, на бульваре поймали воришку, сердечный приступ у продавщицы мороженого — нет, из этого ничего не выжмешь, и ничего больше узнать не удалось, Климу же повезло крупно, и то, что он рассказал, то, что он принес, возместило безуспешные поиски Ивана. Ночевавшая в универмаге женщина надела на себя такую дешевизну, что дирекция постеснялась отрывать милицию от более важных дел, в коротком же колене Г-образной трубы пожарной магистрали Клим нашел обрывки комсомольского билета и связку ключей, взял он и оставленный утром свой чемоданчик, это вместо него он пронес через служебный выход пожитки внезапно разбогатевшей и легко расставшейся с богатством красивой и опасной девки. Подвал надо бросать, убеждал Иван брата, промедление смерти подобно, милиция пойдет по следу воровки — и нагрянет сюда, — так страдал он Клима, не веря, впрочем, ни в хватку угрозыска, ни в то, что воровка — имя ее он узнает вскоре — найдет подвал, сколь бы подробными и точными ни были сообщенные ей Климом приметы дома и подвала в нем, а то, что она обещала прийти за чемоданом, — чушь, обман, не такая уж она дура. Прочь отсюда, убеждал он, и чем скорей, тем лучше; их ожидает снятый на зиму дом, дрова уже подвезены, плодотворное одиночество, из окна, правда, видна дача Максима Дормидонтовича Михайлова, знаменитого баса, Клим ведь, кажется, неравнодушен к этому артисту? Он уговаривал, убеждал, уламывал — а брат нервно поводил плечами, отбрасывая все разумные доводы; с жалостью (но и с некоторым уважением) посматривал на него Иван, дивясь могуществу наидревнейшего инстинкта. По Климу эта мимолетная встреча с красоткой ударила — запахом, внешним видом, тембром голоса, взглядом. «Она хорошая», — вдруг сказал Клим и с собачьим укором глянул на Ивана. Тот молча собрал изобличающие их журналы, записи, книги, названия которых возбудили бы лихорадочное любопытство при обыске, связал вещественные доказательства, присоединил к ним микроскоп и биноклярную лупу, не забыл, разумеется, и чемоданчик, пахнувший вальсами Штрауса (Клим дернулся, но сцепил руки, выдержал пытку), и ушел, в кармане унося самое ценное — конверт с обрывками

комсомольского билета и связку весьма любопытных ключей, строжайше наказав Климу: как только милиция проявит к нему интерес, бросать все, бежать немедленно, о подвале забыть, вот адрес, электричкой до Филей, а там на своих двоих, хозяйка пустит, он ее предупредит...

Эту брэнчавшую в кармане связку он рассматривал в Мазилове, изучал ключ за ключом, ощупывая каждый; три домашних располагались на колечке рядом, остальные, почти одинаковой конфигурации, явно от гостиничных номеров. «Москва», «Метрополь», «Гранд-отель» или «Националь» — вот места промысла воровки, комсомолки по имени Вера, фамилия, отчество, год рождения и год вступления в ВЛКСМ — это завалилось клочками в длинное колено Г-образной трубы, как и три последние цифры номера билета; глаза и руки Ивана располагали разорванной фотокарточкой, ее удалось склеить: тяжеловатый подбородок, придавленный нос, начесанная на низкий лоб челочка, Клим, пожалуй, не узнает в комсомолке Вере ту фею, что поразила его так, словно она не из пожарного ящика вышла, а из золотой кареты, — или ослепление было полным, разум уже затуманился?.. В центре столицы работают воры и проститутки высокой квалификации, все они милиции известны, до комсомолки когда-нибудь доберутся, через полгода или год, за это время комсомолка может такого наворотить, что ей покажется выгоднее сесть за универмаг и обчищенный ею номер в «Метрополе», чем за убийство в Столешниковом или где-нибудь рядом; воровку, следовательно, надо найти до того, как ее сцапает милиция, и натянуть на комсомолку плотный намордник; без Кашпарявичуса здесь не обойтись, литовец все чаще захаживает сюда, в Мазилово, проникаясь к Ивану все большим доверием, пьет много, нудно молчит, но из процеженных сквозь зубы слов видно, что в тридцатые годы Кашпарявичус посиживал подмастерьем в сапожной мастерской одного вильнюсского еврея-коммуниста, причем потом подался в СССР искать справедливости, пока сама справедливость не пришла в Литву вместе с Красной Армией, и еврея-коммуниста загребли, частнособственник все-таки, напрасны были потуги Кашпарявичуса выдать себя за брата мелкого буржуа и тем самым спасти его. На братские чувства тоже сослался Иван, «сестричку одну надо вызволить из беды...», и Кашпарявичус подергал ниточки, двигая картонными фигурками, одна из них занималась проституцией, непризнаваемой официально, и знала все ворье в центре города, штаб-квартира мастера сыска располагалась в «полтиннике», 50-м отделении милиции, сюда девиц привозили после облав, здесь их сортировали: этих — предупредить, этим — напомнить о святом долге советских женщин, остальных — за сотый километр в порядке административной высылки; отдельной папочкой отложились дела на тех, кто был уже безвозвратно потерян для милиции, — их использовала Лубянка. Иван цепко запоминал физиономии, клички и паспортные данные тех и других, всеведущий специалист по древним ремеслам (майор, шатен) излагал подробности, коим место в сугубо медицинской литературе; одна из его подшефных, угнанная в войну на Запад, умела обслуживать трех мужчин сразу, в чем майор не сомневался, хотя лично проверить не мог; дама сия утверждала, бахвалясь, что способна то же самое проделывать с пятью и более мужиками (Ивану представилась почему-то доярка-стахановка); «Женщины», — снисходительно вздохнул майор, упивавшийся деталями и даже гордившийся успехами своих подопечных. СПАМ уже разогнали, но лучшее из парка литовцы рассовали по гаражам и сараям; три отпрыска семейства «опелей» бегали по московским улицам — «кадет», «капитан» и «адмирал», самый старший по званию был и самым вместибельным, на заднем сиденье его майор мог удостоверяться в высокой квалификации подшефных, ключи же от «опель-адмирала» Иван майору продемонстрировал, нетерпеливый сыскарь дважды подходил к окну и рассматривал машину, на которой подкатил к «полтиннику» рекомендованный ему товарищ; разговор майор повел так, будто к нему прибыл обмениваться опытом представитель угрозыска Вильнюса. Колечко с ключами от «опель-ад-

мирала» очутилось в гостеприимном кармане майора, подарок расщедрил его, Ивану презентовали групповые фотографии, где на заднем плане присутствовала комсомолка Вера, и адреса тех, кого майор знал. Расстались тепло, обоюдно довольные, майор пожелал вильнюсским коллегам удачи, посокрушавшись о том, что «полтинник» ведаёт всего лишь центром Москвы, отделения милиции за Садовым кольцом ему неподвластны, предающихся буржуазному пороку женщин в столице немало, но учет их раздроблен, руки, сами понимаете, до всех не доходят.

Трясти проститутток районного масштаба Иван не собирался, он надеялся выжать из групповых снимков местопребывание комсомолки Веры, ради чего в тот же день встретился с одной из тех девиц, что с соломинками в зубах сидели в коктейль-холле, посетил и другую, третью, всех спрашивая о соседке справа, слева, напротив. Комсомолка лепилась то к этой компании, то к другой, не подцепляясь ни к одной, потому что была на подхвате, ее брали в пару, предназначая более пьяному и менее богатому клиенту. И все же Иван нашел ее, глянул и понял: нет, с такой комплекцией в пожарный ящик не залезешь, комсомольский билет — краденый. С посланцем от «полтинника» Вера никаких дел вести не желала, «Завязала!» — отбрыкнулась она от вопросов, но вытряхнутые из конверта клочки комсомольского билета заставили ее говорить; ксива, сказала она, всегда нужна, для понта хотя бы; билет этот ее, но украден случайной знакомой, кто она — ей неизвестно, обе были пьяные в дым, мужики попались ненадежные, ехать к ним после «Балчуга» они отказались, рванули в разные стороны, сама она, проезжая в такси по улице Осипенко, видела дом, в котором скрылась знакомая, пошарившая все-таки в ее сумочке, попробуй найти ее сейчас, ведь не станешь обходить все квартиры, да и что ей комсомольский билет, раз она вышла из этого возраста. Что верно, то верно: выглядит лет на тридцать, спрос на нее невелик, трудолюбивым майором не засечена, обыкновеннейшая проблядь, то есть любительница приключений, вовсе ей не положенных; Иван оставил ей обрывки на память, три вечера кружился на машине вокруг дома, где предположительно жила гостиничная воровка; майор, кстати, скупно упомянул о происшествии в гостинице «Националь», из когтей Лубянки ушла хорошо поработавшая в номере женщина, ее так и не нашли, но поиски продолжались. Даже если у воровки и хранились где-то запасные ключи от квартиры, домой она не стремилась; окна трех квартир не светились ни утром, ни поздним вечером, вполне возможно, что в одной из них и жила до ночевки в универмаге опасная для Ивана и Клима особа, отнюдь не беспутная шалава, — от воровки, местом работы избравшей «Националь», требуется хладнокровие, ум и редкостная изворотливость, знать хоть один западный язык тоже не помешало бы ей. Иван уже представлял, что произошло за два-три часа до закрытия универмага: из ресторана в «Национале» женщина поднялась на этаж, проникла в номер, переделалась, спустилась вниз, попала под перекрестное наблюдение лубянковских ребят, прыгнула в такси и, чуя погоню, вылетела из машины невдалеке от универмага, в нем и решила раствориться, опознана она или нет, о сем не знает и потому легла на дно, в квартире не появится, а уж лопуха водопроводчика, что спас ее, постарается забыть, чемодан искать побоится. Дом у самого Устьинского моста протянулся от Раушской набережной к улице Осипенко, у дверей всех трех квартир Иван постоял, присматриваясь к замкам, и наконец определил: эта. Ключи подошли, дверь открылась с первой попытки, вытасенные из почтового ящика письма адресовались Сурковой Елене Михайловне; покоем и надежностью профессорского жилища дохнуло на Ивана: книги вдоль стен, кожаные кресла и диваны, фотография в черной рамке самого профессора, дочь его, на беглый взгляд, жила одна здесь и — это уж точно — давно не появлялась. На детальный осмотр времени у Ивана не было, торопил Кашпарявичус, очередной труп, прибалты, высланные из родных краев, умирали на чужой земле, русской, но, не будучи интернационалистами, видели себя погребенными там, где плескалась Даугава,

Неман или Пярну; за свежий труп в Калининской области родственники уже заплатили большие деньги, Кашпарявичус заблаговременно проинструктировал Ивана, рассказал, какие сухожилия надо подрезывать, чтоб окоченевший покойник застыл в позе, удобной для гроба; инструктаж по крайней мере свидетельствовал, что Кашпарявичус массовыми расстрелами не занимался и поэтому с общепринятым пиететом относится к отдельно умершей особи, знает толк в транспортировке покойника, отзывчив к невысказанным пожеланиям. Иван подогнал свой грузовик, откинул задний борт, снял кепку, вошел в избу; старуха незрячими глазами смотрела на лампадку, только что испустивший дух прибалт лежал на полу, нагой и босой. Завернутый в брезент, он благополучно выдержал семичасовую тряску и правильно улегся в поджидавшем его гробу. Несколько человек выступили из ночи и подняли гроб, вокруг говорили по-эстонски, Ивану после кирхи сунули деньги, бутылку водки и по всем правилам оформленный путевой лист до Ленинграда, машину загрузили картошкой, Иван продал ее барыгам на Кузнецком рынке и еще три дня болтался по родному городу, глаз не спускал с квартиры на Карла Маркса, ходил по пятам женщины, когда-то передавшей ему письмо от Клима. Девушка же училась в университете, на филфаке, и она либо родилась похожей на мать Ивана, либо от нее что-то восприняла — через обои, от кухни, пропитанной запахом ловких, красивых рук матери; девушку каждый вечер провожали до дому почтительные ухажеры, мальчишки в военно-морской форме, но придет время — и будет девушка возвращаться домой с академической свитой. Ни она, ни мать ее — убедился Иван — с органами связи не имеют. Уже собирался уезжать, как зародилась мысль, навеянная девушкой, а может быть, и гробом, куда вкладывали прибалта: найти могилу Никитина! Соседи-то по квартире — должны знать! Всего один раз был Иван у него, но дом на Лиговке опознал сразу, подъезд тоже вспомнился, а фамилию на двери жильцы так и не удосужились снять, кто-то из них загремел цепью, щелкнул замком, показался. Иван оторопел: перед ним стоял Федор Матвеевич Никитин, героически погибший в блокадную зиму сорок третьего года, умерший от голода, но так и не сжевавший ни единого зернышка из вавиловской коллекции злаков. Восставший из праха сохранил все причуды прежнего земного существования, являя собой пример «не видел — не слышал — не знаю». «А кто вы такой, молодой человек?» — презрительно и высокомерно осведомился он и закрыл дверь, так и не дождавшись ответа. Иван стремительно полетел вниз, не чуя под ногами лестницы, отдышался; мышцы взмокли от пота, вовремя вспомнились любимые матерью цветы на могиле родителей: тогда еще надо было догадаться, кто побывал на кладбище. Юркнул в переулочек и был достигнут там Никитиным, тот локтем врезал ему по ребрам, призывая к полному молчанию и абсолютному повиновению. Нашелся наконец укромный уголок, пивная на Расстанной, дрожащие (от радости? от страха?) руки Никитина разодрали воблину на части, речь была путаной, в глазах приплясывала сумасшедшинка. Он, конечно, не умирал — ни в сорок третьем, ни позже, случилась ошибка, кто-то включил его в списки погребенных с целью столь же корыстной, как и благородной: ради никитинской хлебной карточки. Исправлять ошибку Никитин не пожелал, в детстве он зачитывался Флобером, и его, сытого мальчика из имущей семьи, поразила в «Саламбо» вскользь брошенная фраза: «Спендий был так напуган, что распустил слух о собственной смерти». Всю жизнь шла за ним эта фраза, вспоминаясь ни с того ни с сего, и, узнав о собственной смерти, Никитин решил остаться мертвым, тем более что институтское начальство потребовало от Никитина — в удостоверение того, что он жив, — такое количество справок, какое получить не смог бы никто из живущих. Он и не стал бегать по исполкомам, в скором времени осознав преимущества, дарованные ему Божьим соизволением. Для штаб-квартиры органов, что на Литейном, он на том свете, а туда дотянуться — руки короткие, знакомые погоревали и забыли, отныне он — свободен и чист, теперь он, едва не

улетевший в преисподнюю, пребывает на полпути между небом и землею, соответственно и работа найдена в подкомиссии облисполкома, ведавшей кладбищами, что, кстати, дает возможность наезжать в Минск, якобы для обмена опытом, и по тому, как не ухожена могила отца с матерью Ивана, он понял, что случилось наихудшее; еще раз, кстати: а что с Климом Пашутиным? «Не видел... — Иван пригубил кружку, а затем уточнил: — Не слышал и не знаю». Он много чего услышал от Никитина, а знал кладбищенский инспектор много, у разверстых могил ответственные товарищи молчали, зато теряли бдительность, когда неспешно брели к черным ЗИСам и шарили глазами по надгробьям давно усопших. Науку свою Никитин не забывал, кое-что почитывал, еще с довоенных времен был он в ссоре с прежними единоверцами, те его и тогда к лабораториям не подпускали; в отместку им Никитин разработал свою теорию клетки и наследственных факторов, пользуясь методом аналогий (Иван слушал очень внимательно), прибегая подчас к рискованным сопоставлениям; он вообразил, в частности, что заброшенные, никем не посещаемые могилы подобны тем признакам, которые не передаются потомству. По этой причине им, Никитиным, приведена в полное запустение могила одного латыша на Новодевичьем кладбище, Спогис его фамилия, увековечен латыш так: «Здесь лежит стойкий большевик, секретарь парткома трамвайного депо».

Простились. Договорились о встречах, Иван воздал должное себе, своей сдержанности и неукоснительному следованию никитинскому завету, ясно ведь, что Федор Матвеевич — тронулся, повредился умом, странно только, почему он так молодо выглядит, уж не потому ли, что живет среди могил, в кладбищенской скорби, в безвременье, которое уравнивает всех: под одной плитой могут лежать дед с внуком, дядя с племянником и редко-редко — два брата, ему и Климу обеспечено долголетие, ибо они смотрят, изучая клетку, в могилу всего человечества.

Своими ключами открыл он подвал, ревниво осмотрел берлогу; Клим не бедствовал, коврик под ногами, в кульках — гречка и пшено, ящик в коридорчике доверху заполнен картошкой, в банке, куда крысам не забраться, колбаса и кусочек масла. Женская рука чувствуется, Иван застыл, как зверь, услышавший далекий ружейный выстрел; повел носом, иноземный запах был, но не в подвале, он сохранялся в его ощущениях. Пришлепала сердобольная и вне всяких подозрений старушка со второго этажа, пошуршала веником, напевно поговорила с Иваном, ушла. Он глянул на пришедшего брата — худ, бледен, усталый, чем-то озабочен, и когда Клим смущенно признался, что, кажется, настали плохие времена, его из слесарей перевели в грузчики, воспользовался новостью, сказал, что знает теперь, где живет зазноба Клина, он найдет ее, приведет сюда, а пока же — надо уволиться, это сложно, предлог требуется основательный, однако же следует помнить о якобы курском происхождении Клина, «Прошу уволить меня в связи с выездом из Москвы» — такое пройдет, садись пиши, скоро загремят на стыках колеса пассажирского поезда, их ждет Крым, Кавказ, где-нибудь там есть сельскохозяйственные станции, в Гудаутах уж точно, Клим выдаст себя за энтузиаста передовой агрономической науки, покалякает с трудягами селекционерами, те рады будут пообщаться, шоферня в гараже к работе не приступит, пока не нагогочется, что уж говорить о лаборантах...

Отпустили Клина с миром, выдали трудовую книжку, управдомша позволила себя уломать и пообещала стеречь подвал. Пока заявление Клина покрывалось подписями, Иван ходил вокруг дома на Раушской набережной, установил, когда соседи Сурковой разбегаются по конторам и магазинам. Сама она не появлялась еще, и это могло означать что угодно; какая-то связь прослеживалась между могилой стойкого большевика Спогиса и опустевшей квартирою, в доме обитали проверенные властью люди, окна самых надежных жильцов смотрели на Устьинский мост и набережную, по праздничным дням ликующие под знаменами толпы внушали дому стойкость.

Собрались наконец и поехали. Скрывая улыбку, Иван наблюдал, как неумело ухаживает Клим за попутчицами, вполне безобидными дамами: билеты на поезд Иван достал за час до отхода. В Гудаутах сняли комнату с верандой, было непривычно тепло, по утрам бродили в парке, спускались к морю, Клим вспоминал Крым, откуда родители его неожиданно устремились на север, в Ленинград, еще в пути маленький Клим понял: не с добром едут они, кто-то в Ленинграде не обрадуется их приезду. С базарчика Иван таскал фрукты, прихватил однажды бурдюк с кисленьким вином, научился жарить шашлыки, убаженная деньгами хозяйка давала верные советы. На сельхозстанции Иван расшаркался перед заведующим — до войны, мол, Федор Матвеевич Никитин вел у них в школе кружок юннатов, много рассказывал о гудаутской станции, так нельзя ли... Можно, ответствовал заведующий, чрезвычайно польщенный, только вот надо повременить, вот разъедутся практиканты — тогда пожалуйста. А Клим будто забыл, для чего ехал, каким калачом заманили его сюда: пил, ел, спал, шлялся в парк и смотрел на танцующие пары, раздражая Ивана хождением в народ и привычками, становящимися нетерпимыми. Непонятно, дико, но это так: столько горя они с Климом хлебнули, каких только бед не натерпелись и порознь и вместе, а в Гудаутах все разладилось, они не умели сосуществовать и соседствовать в обычной, бытовой, обиходной, нормальной и сиюминутной жизни, они вдруг утратили терпимость и понимание, Иван едва ли не с ненавистью глядел, как сидит Клим за столом, как ест, щепетильно вкладывая в рот кусочки мяса, как, отогнув мизинчик, подносит к капризным губам ложку с наваристым супом, морщится, дует на нее, хлюпает, чавкает, отрывает, — нет, невозможно было видеть и слышать, затыкать уши хотелось, жмуриться; «У немцев никак воспитывался?» — сквозь зубы спросил Иван, забрал свою тарелку и ушел на веранду. Там, в холоде, и спал, накрывшись двумя одеялами, и все-таки через них, еще и сквозь стены прорываясь, доносилось посвистывание и похрапывание Клим, долетал запах его носков, напоминая о вони партизанских землянок. Со дна желудка, что ли, поднимался хвостатый и колючий комок злобы, мутило от одного взгляда на Клим. Однажды с брюк брата слетела пуговица, брат попросил иголку и нитку, но, как ни целился, вонзить закрученную и смоченную слюною нитку в ушко подставленной иголки — не мог; Клим громко пыхтел, нить вибрировала и промахивалась, а Иван — наслаждался... Как только практиканты разъехались, он умаслил заведующего, отвел брата на станцию, там и поселил его. Шел к морю, оглядывался назад, поражался: как мог он так долго терпеть эту могилевскую скотину?

Настали дни уединений под плеск волн, накат синей воды на песок, становящийся темно-серым, сразу же светлеющий; тепло одетый, Иван лежал на камнях, был ритм, с какого начался когда-то новый виток эволюции, и хорошо думалось о себе при монотонном колыхании стихий, о паре свитых в спирали хромосом. В Москве удалось найти фотографии их многократно увеличенных нитей: полный сумбур, казалось бы, цепочки генов плавали в безбрежном море, оставаясь тем не менее слитными, они не расползались по клетке, а держались вместе, обе спирали. Удостоверено же: сколько ни сближай предметы, а между ними — всегда нечто, называемое расстоянием, и заполнено оно не переплетениями электронных орбит, а чем-то иным; так и в хромосомных нитях, расположение их — обоюдное, звенья кислотных цепей — в единстве порядка, нить отражена в нити — потому и сохраняется последовательность, потому и поддерживается порядок. Уж какой месяц бьются они с Климом над, оказывается, простейшей задачей, а решение ее — вот оно, сама жизнь, все вокруг, бытие, в котором переставлены местами причина и следствие, взаимообратимые; органы эти, к примеру, сперва выдумывают факт преступления, а уж потом подбирают к нему якобы преступника. Спирали — антипараллельны, и любой последовательности в одной из них соответствует ее отпечаток в другой, но этот же принцип властвует и в отдельно взятой, обособленной

нити. Стоит это признать — и все клеточные процессы получают объяснение.

Две недели прятал себя Иван ото всех, с утра уходил к морю, с лепешками и кусками зажаренного мяса, с бутылью кислеющего маджари. Он так и не отметил в памяти день, когда решена была загадка спиралей, ему казалось уже, что он давно знал их секрет, уж во всяком случае, догадался там, в Минске, на гауптвахте, когда пытался мысленно разрезать газету, расслоив ее надвое, когда размышлял о том, как рассыпает материя свой природно-типографский набор и вновь собирает его по уже сделанным отпечаткам, как ошибается, как волнуется. Ветер, менявший направление, подул с запада, прибой окатывал Ивана брызгами, он ушел от него в глубь берега, сверху смотрел на белопенистое море, расслаблял мозг, позволяя ему самопроизвольно вырабатывать брезжущие догадки; вся жизнь вспоминалась. Все радости и печали, все наслаждения и боли — они тоже подчинялись законам антипараллельности: радость врага всегда была его же, Ивана, болью, и наоборот, взрыв отчаяния венчал неестественные совпадения; еще в Ленинграде можно было осмыслить законы мироздания — там, на диване, когда Пантелей порол ремнем ненавидящего его мальчугана.

Забыто было о храпе Клима, о запашке его носков, о всех отвращавших странностях брата, минуло время, на которое они обязаны были расстаться, Иван пришел на станцию, показал исписанную им школьную тетрадочку, он выпросил ее у сына хозяйки. Клим глянул и как о пустяке, на что не надо тратиться, сказал и показал: ввосьмеро сложенный лист бумаги, на ней — перевитые ленточки, пунктиром разделенные, обе спирали: «То же самое... позавчера еще...» Лабораторный стол, штативы, склянки, микроскоп, какое-то вариво на плитке, в окна стучится дождь, — скучно жить на свете, очень скучно, если нет радости от величайшего свершения, от долгожданного финала, который всего лишь промежуточный, потому что прозревалась уже дорога еще более пустынная и перед двумя путниками, забредшими в неведомую чащу, неосязаемое таинство, оно мерещится и манит, — тяжек путь познания... Иван осторожно спросил — не пора ли в Москву? Успеет, куда спешить — сказал пренебрежительный жест Клима. Спешить, конечно, некуда. Здесь они в большей безопасности, милиция ни разу не наведывалась, хозяйка глянула на паспорта и даже не раскрыла их, а начальником на станции — милейший человек, предложил Климу постоянную работу, но куда ж брату, с его трудовой книжкой, соглашаться, да и оформление через Москву; Кашпарявичус, опять же, дал вольную Ивану до марта, живи, наслаждайся молоденькой поварихой в доме отдыха за горою, думать ни о чем теперь не хочется, имеет трудящийся человек право на отдых даже в варварской стране, которая вся — доказательство, приводящее к абсурду.

И жили бы да не тужили до марта, но вдруг сошел с ума Клим. Иван под утро вернулся (был у поварихи) и застал дом в полном разгроме, на веранде бушевал Клим, что-то круша, стекла не звенели, огонь не взвивался над крышей и дымом не пахло, но страшнее пожара был визг и хохот двух проституток, за которыми гонялся голый Клим, пьяный, с желтыми глазами; шлюхи эти околачивались обычно у кофейной, летом их оттесняли курортницы, зимой же они царствовали, подкармливая милицию. Смертельно напуганная хозяйка осуждающе смотрела на Ивана, коротенькие пухлые ручки ее были сложены на животе, смысл слов был такой: уберите вон, немедленно, пока я не... Клима Иван прибил, шлюх выгнал, но вслед за ними ушел и брат, обрушив на Ивана проклятья и вскоре вернувшись, теперь он требовал денег. Предвидеть безумие Иван не смог бы в фантастических предположениях, к которым стал склонен после чемадана с французскими духами, и уж совсем невероятным было то, что безумие заразило всех в доме; старший сын хозяйки, израненный войною парень, в клетушке чинивший соседям обувь, долбил по стене сапожницкой

лапой, младший, школьник, бегал как угорелый по двору и бросал камни в стекла, сама хозяйка была посуду с каким-то остервенением, брат ее примчался с охотничьим ружьем и начал расстреливать кур. Милиция ожидалась с минуты на минуту, Иван швырнул хозяйке деньги, побросал в чемодан бумаги, избил Клима и погнал его к вокзалу. Спас их ереванский поезд, в Анапе передохнули, Клим медленно возвращался к разуму, чем-то отравленный желудок выпихивал из себя в обе стороны пищу и жидкости, пальто и шапка остались в Гудаутах, записи Клима цепочкою формул — тоже, никому они, правда, не нужны, никто ничего не хочет принимать и признавать, прибывшие из Киева аспиранты там, на станции, высмеяли Клима, когда он стал рассказывать им о структуре белковых молекул, но возмутила Клима мудрость заведующего — так оценивал Иван то, что произошло на станции и о чем ему рассказал перед Москвою Клим. Заведующему перевалило за сорок, в генетику он уверовал со студенчества, прославился облучением дрожжевых грибков, а затем опытами по удвоению числа хромосом в клетках, проработал много лет в отделе генетики Института экспериментальной биологии, но кандидата наук заслужил только в предвоенном сороковом, хотя в тридцать четвертом, когда учреждали ученые степени, едва не стал доктором без защиты диссертации. У него были одни с Климом взгляды на мутагенез, но, когда сопоставили свои карты генов изучаемой мушки, выяснилось, что Клим знает поболее не только самого заведующего, но и всех его учителей; двадцатипятилетний молокосос, ни разу не изгоняемый из институтов и отделов, на себе не испытывавший, что значит быть генетиком, осмелился вырваться вперед, не испрося на то разрешения, — и заведующий взбеленился, он готов был отречься от собственной науки, от себя, лишь бы не восторжествовал какой-то младший научный сотрудник, и Клим, пораженный предательством, плакал в вагоне поезда, а Иван тихо радовался: пора, пора братцу понять, что наука — такая же кастовая организация, как средневековый цех, как ВКП(б).

На последние деньги купили дырявое пальтецо, на Клима пялили глаза в метро, в подвале зато было как у жерла доменной печи, на январском морозе кое-где полопались трубы, управдомша погнала Клима на отработки, Кашпарявичус отправил Ивана в Литву с чем-то ворованным, около Паневежиса ящики с грузовика перебросили на телеги и увезли в ночной лес, Иван вернулся в Москву, чтоб убедиться: полоса везения кончилась. В подвал заглянул парень при галстучке и с портфелем, назвался членом завкома, защитник, мол, интересов трудящихся по профсоюзной линии; Ивану он показался обычным дурачком, свихнувшимся на общественной работе, отваживать таких он мог, да и пугало имелось — удостоверение сотрудника вильнюсской милиции, которое так и не пошло в ход, настожила Ивана кощачья гибкость визитера, умение одним обводом глаз отыскать самое ценное в помещении, странные паузы в речи и застывание жеста, парень будто со стороны посматривал на себя и вслушивался в собственный треп, — человек этот был из породы вечно ряженных, артист, бравший уроки мастерства не в студии, а у жизни. Ушел этот гаер — а Клима затрясло: точно такой же балагур приходил к ним за день до ареста родителей, интересовался взносами за ОСОАВИАХИМ. Ударился в панику и сам Иван, сообразил, однако, что из Клима можно сейчас веревки вить, что за подвал он цепляться теперь не будет. Домишко, что рядом с дачей Максима Дормидонтовича Михайлова, так никому и не понадобился. Топили двое суток подряд, законопатили все щели, дом утеплился. Кунцевский рынок — около железнодорожной станции, здесь купили простыни, подушки, три кастрюли. Нагруженные покупками, подошли к дому, и Клим повернулся, долго стоял, смотрел в сторону подвала, куда когда-нибудь придет принцесса, вызволенная им из беды, и не застанет там того, кому она принесла свою любовь. «Давай, давай...» — торопил Иван, гремя на морозе ключами, рукой придерживая самую ценную покупку — новенький керогаз.

Что делать с богатством, что свалилось на них, ни он, ни Клим не знали, хотя с десятилетнего возраста стремились завладеть им, спеша за ускользающей и мерцающей истиной. У матушки-природы вырвали ее тайну, механизм возобновления и изменения никогда не изменяющейся материи, и надо было теперь вникать в доклеточные формы и в еще более глубинную бесформенность, чтоб уяснить коды, шифры, иносказания и тайнописи всеми читаемых текстов, вникать и допытываться, вновь читать и думать, а душа не лежала к мыслям ни у Ивана, ни у Клима, они будто стыдились признавать себя мыслящими, обогнавшими биологов мира лет на пять или больше, все журналы сожгли, Шмальгаузена тоже, Клим безвылазно сидел в теплых хоромах, Ивана же тянул к себе дом на Раушской, подаренное судьбою жилище требовало изучения и освоения, в норе этой можно и спрятаться на день-другой, если в кунцевское убежище заглянет какой-нибудь вертлявый тип с портфельчиком. Иван бегло осмотрел квартиру, сомнений уже не было: воровка жила здесь когда-то, нагряться могла со дня на день, с часу на час, уж где-нибудь да прячет она запасные ключи, взломать дверь способна, такое тоже не исключается, нет-нет, сидеть в этой квартире и ждать неизвестно чего — опасно. Связка ключей, однако, приятно оттягивала карман, произошло и событие, возбудившее интерес к Сурковой, рассказал о событии Кашпарявичус, место действия — Ленинград, Невский проспект, магазин «Дамский конфекцион», время — конец февраля, шесть часов вечера, действующие лица и исполнители — подполковник МГБ и его юная спутница жизни, описание которой получено со слов покупателей и продавцов, читать милицейские протоколы Ивану не дано, Ленинград — не «полтинник», как выглядела женщина — он не знал, но, услышав весьма правдоподобную историю, не мог не подумать о том, что, пожалуй, Елена Михайловна Суркова — наилучшая исполнительница той роли, что сыграна подставной супругой мнимого подполковника, а в том просматривался артистизм забредшего в подвал наглеца. Супружеская пара выбрала время правильно, до приезда инкассатора — еще час или чуть больше, конец месяца, выручка вдвое превышает обычную, сольную партию блестяще исполнила молодая и красивая женщина в мехах, настойчиво просившая скуповатого мужа купить ей какую-то дамскую мелочь из нижнего белья, супруги препирались негромко, но так, что многие слышали, понимающе улыбаясь. Уломала все-таки, подполковник (жандармская синева на погонах) выстоял очередь в кассу, получил сдачу, взгляделся в купюру — и теперь продавцы и покупатели слушали только его: купюра оказалась фальшивой! Примчался, вызванный кассиршей, директор магазина, фальшивость купюры отрицал, подполковник — все внимание на него — привел решающий довод: он — начальник отдела, занятого именно подделкой государственных ценных бумаг, вот мои документы! Почтительная и боязливая тишина нарушалась слезной арией жены, умолявшей мужа пощадить ее, себя и кассиршу, — подумаешь, какие-то тридцать рублей, да плюнь ты на них, в кои-то веки выбрались в театр, до начала спектакля сорок минут, имеет же право человек забыть о службе в свободное от нее время, в час отдыха! Хорошо пела женщина, раскачивая настроение слушателей и зрителей, отдавая их симпатии то мужу, то жене, подводя всех к естественной реакции главного врага всех фальшивомонетчиков Ленинграда, оправдывая прозвучавшее указание: кассы опечатать, всю выручку — в мешок, немедленно позвонить начальнику ближайшего отделения милиции, пусть высылает опергруппу, «Телефон вы знаете, конечно, прошу...». Директор магазина телефон знал, позвонил начальнику отделения, тот сказал, что группа выедет немедленно, и группа прибыла, деньги — в машину, подполковник с супругой, проклинавшей судьбу, — в другую, и только спустя десять минут настоящая опергруппа ввалилась в магазин, преступников след простыл, ленинградская милиция тряслась в ознобе, слухи ползли по городу, по всей стране — и с тем большим вниманием Иван разглядывал каждую вещь в квартире Сурковой. Прихожая, кухня, уборная, ванная, на вешалке —

женский плащик из габардина, в обувном ящике — несколько пар тапочек, туфли, ботинки, ни одного предмета, указывающего на мужчин в доме, проживавших постоянно, изо дня в день снимающих обувь и надевающих ее. Ни кепок, ни шляп, ни пальто мужского покроя, но и женщина-то — одна на всю квартиру, судя по размерам туфель. На кухне в хлебнице — комок плесени, когда-то бывший ломтем, частью булки, на дне кастрюли — затвердевшая масса чего-то некогда съедобного. Тарелки не мыты, в ванной сушатся женские причиндалы, кровать не застелена неряшливой Еленой Михайловной, из квартиры она ушла, если верить отрывному календарю, за неделю до кражи в универмаге. На ночном столике — фотография матери ее («Любимой дочурке...»), на полочке трюмо — дешевенькие духи, помады и мази общеизвестной марки «ТЭЖЭ», но есть гримировальные карандаши и кое-что из артистических принадлежностей, в шкафу — платья, пальто, шляпки, белье; та комбинашка, трусики, бюстгальтер и прочее, что в чемодане, отданном Климу, не отсюда, не из этого белья. На стенах — фотопортреты в черной рамке, братья, по всей видимости, павшие в боях, оба в офицерской форме. Книжный шкаф с учебниками, непонятно лишь, в какой институт хотела податься, но так и не поступила Елена Суркова. Еще две комнаты: одна, большая, общего пользования, столовая и спальня сразу, здесь кому-то давался ночлег, и другая, много меньше, самая любопытная, вся уставленная книжными шкафами, увешанная полками и картинами, и комната подтвердила то, о чем Иван догадывался в первый приход: в стенах ее двигался, писал и читал ученый немалого калибра, человек, знавший многих в академическом мире и многими же за рубежом признанный, автор теории о смещении пластов, член иностранных обществ и — ушедший недавно из жизни. Связка писем отца дочери была прочитана Иваном и осмыслена, над некоторыми фразами он размышлял подолгу. Геолог, открывший два месторождения угля и еще до войны награжденный орденом, горько сетовал на злую судьбу: семья медленно, но верно погибала! В тридцать восьмом году умерла мать Елены, в сорок первом пропал без вести Андрей, старший брат Елены, Александра призвали в сорок втором, в ноябре, похоронка пришла через полгода, о чем Елена известила отца не сразу; тот бурил скважины где-то на далеком Севере, писал длинно и нудно, втягивая дочь в сомнительные прелести своей профессии, употребляя слова, знакомые, наверное, Елене с детства: какие-то «камни без видимых включений», «субвенции», «железистые кварциты»; некоторые письма приходили с оказией, с нарочным, минуя военную цензуру. Еще в сороковом отец женился на красноярской геологине, вошел в ее почтенную семью, но с Москвой не рассчитался, бронь на квартиру сохранил, чтоб никого туда не вселяли, Елена однажды побывала в Красноярске, но с мачехой не поладила, та не намного была старше ее; при всех стенаниях и жалобах на судьбу, отец не находил ничего рокового и злосчастного в молоденьких сотрудницах и пылко любил носительниц разрушающего начала, страстность его не могла не передаться дочери; Иван порылся в комнате Елены и нашел-таки связку стыдливо упрятанных писем от подруги, бумаге сообщалось то, чего не доверено было ушам, подруги познавали себя в переписке, каждая читала приходящее из другого конца Москвы послание так, будто оно писано ею самою и о ней самой, откровенность была полной, и легко восстанавливалось содержание той связки писем, что хранилась не в доме на Раушской. Подружки с седьмого или восьмого класса приступили к наблюдениям за своими набухающими телами и округляющимися бедрами, по утрам рассматривали себя перед зеркалом, обнажаясь в последовательности, в какой мужчина начнет оголять их перед величественной процедурой дефлорации (нужных словечек они уже нахватались), глаза их приобрели зоркость необычайную, инструментальную, они млели, разглядывая странные конфигурации еще ни разу не бритых мышек, отмечали кривизну линий таза, талии, ног, подруги пальпировали соски и пространно рассуждали о древней тяге великовозрастных младенцев именно к этим вздутостям, хотя и считали охо-

ту за грудями делом второстепенным для мужчин, главное же, к чему те стремились, было изучено с не меньшим тщанием, другое зеркало использовано было для этих надобностей. Война не прервала переписки, с цензурой приходилось считаться, да годочков прибавилось у сообщниц, Елена сочинила трактат о любви, на что ответом была формула: любовь, то есть поцелуи, объятия и половой акт, есть всего лишь трение слизистых оболочек и наружных участков кожи, что вскоре самую же подругою было опровергнуто, она скоропалительно вышла замуж и не без сарказма описывала первую брачную ночь, избранник сердца оказался хамом и бесчувственным негодяем, подруга страдала от физиологических неудобств; Елена предположила, что виной этому — убогость ложа любви, и получила совет: да, правильно, величайший миг в своей истории девушка должна предварять музыкой (Бах, Чайковский), желательны и цветы по сезону, рассыпанные в изголовье священного места жертвоприношения; полезны тренировки, заключающиеся в том, что девушка должна намеренно попадать в ситуации, когда раздевание ее перед мужчинами желательно, но не обязательно, именно в таких каверзных обстоятельствах девушка, сохраняя хладнокровие, возбуждается. Щепетильные вопросы предохранения от беременности замужняя подруга осветить не успела, муж, конструктор оборонного завода, увез молодую супругу в неизвестный город, чему Иван порадовался, отпала необходимость розыска Елены у подруги, бесполезно было ехать и в Красноярск, мачеха, вторично — без сомнения — вышедшая замуж, прогнала бы прочь незваную падчерицу. Да и паспорт ее нашелся в письменном столе, а без паспорта что ей делать в другом городе. Записная книжка изучена, Иван подолгу рассматривал фотографии в семейном альбоме и пришел к выводу: девица-то не без придури, самолюбива до глупости, своевольна и капризна, найти ее сейчас можно только там, где пахнет театром, ибо с пятого класса Леночка Суркова лицедействовала в самодеятельности, начав со Снегурочки, очень любила фотографироваться в разных одеждах, но личико — симпатичное, не более, глянешь — и забудешь. Кое-какие фотографии Иван забрал себе, о письмах же подумал: их бы Климу почитать — и бес любви изгонится. Еще лучше — показать ему эту сучку, ясно ведь, чем кончились ее провокационные раздевания, какая компания потерпит девственницу, которая, обнажаясь, бравирует своей нетронутостью, — хором, капеллой будет изнасилована, что и случилось, конечно, с Еленой Сурковой: плаксивая в детстве, влюбчивая в школе, она теперь не блядь, но и не дешевка, и по гостиничным номерам она, пожалуй, не шастала — такое открытие сделал Иван, в нем после Гудаут, после озарения на берегу моря, все как-то упростилось, и в теле, и в мыслях; он вновь рассмотрел ключи на связке и не признал их гостиничными, они, конечно же, от подвала этого дома, каждая квартира имела внизу комнатенку для рухляди, внутренний сарайчик, так сказать. В «полтиннике» Суркову не знают, засветилась она в каком-то другом районе, вынуждена была назвать себя, указать и адрес, была отпущена, домой не приходит потому, что опасается засады, ареста, что-то все-таки сотворила еще до универмага эта гаденькая девчонка, миновавшая стадию «наташки», эта шлюха, вся изгаженная дурными наклонностями; Климу бы знать, какая тварь пригрелась ему, кто охмурил его и кто, кажется, начинает одурять самого Ивана, потому что нравилось ему бывать на Раушской, припомнилось к тому же, что и в Ленинграде и в Минске до войны у него была своя комната, единоличное владение. Часами сиживал он в квартире на Раушской, она нравилась ему, в ней были ленинградские запахи, источаемые книгами, здесь Иван ощущал прелести одиночества, но и голоса могли звучать в этих комнатах, и люди двигаться, обсуждать, спорить, волноваться, сидеть за столом с чаем и булочками. У Майзеля, рассказывал Климу, по субботам собирались физики, биологи, немцы, болгары, бельгийцы, двое русских, бывших советских, испанец, и какие имена, какие споры! Германия уже накануне краха, а никто не слышит бомбежки,

все поглощены новинкою, вышла книга Шрёдингера «Что такое жизнь». Сюда, в эту квартиру, собрать бы биологов и математиков на семинар, поговорить вольно, воспарить мыслями — такая вот дурь возмечталась, когда в марте Иван проник на Пятую конференцию по высокомолекулярным соединениям, отделения химических и биологических наук проводили совещание по белку, признали наконец-то ДНК, раздавались голоса, отрицающие упорядоченность генов, мало кто верил в программу, заложенную в клетку саморазвивающейся материей; разговор был будничным, в стиле академических речений, но не скучным, Иван не сказал Климу, где был и что услышал, себе же уяснил: правильную модель ДНК построят лет через пять — десять, но до процессов в клетке науке шагать еще и шагать, а уж до того, что в голове у них, никому не известных, доберутся в конце века: там, в Гудаутах, и был ими совершен прыжок через пропасть, отделяющую середину века от конца его; привел он пока к тому, что сидит он здесь, за квартиру Суркова уплатила вперед, сама же — в бегах, не тужит, продкарточки так и остались в паспорте. И все-таки это ее телефонные звонки разрывают тишину квартиры регулярно около девяти вечера, она как бы стучится в знакомую дверь. Им же пока везет, хозяин дачки потеснил их, правда, загнал в клетушку на втором этаже, внизу — родичи из-под Архангельска, стало шумно, и все же они не ушли, потому что дом как бы обладал неприкосновенностью, милиция в ста метрах, никому там в голову не приходит мысль, что рядом с горотделом могут жить «беспаспортные»; Клим вспомнил, что у Майзеля он садовничал, и нанялся к ворчливой старухе, не спросившей у него паспорта, что-то делал с кустами уже отцветшей сирени, как бы в аванс получил четыреста рублей и гордо протянул их Ивану, а тот предупредил, что уезжает надолго, месяца на полтора, по городу брату не шляться, в кино на последний сеанс не ходить, а если начнет участковый принюхиваться к паспорту — немедленно бежать в Мазилово. Клим походил на огородное пугало, шляпу уж точно снял с него, — худой, немой, рукастый, и птицы его боялись, оборванного и мрачного. Ивану стало плохо, он поехал к Кашпарявичусу, проклиная литовца и его махинации с бессмысленными перевозками пустой водочной тары и мешков из-под сахара. Бугульма, Гурьев, Курск — Кашпарявичус появился в Горьком, залез в кабину, длинный полированный ноготь его ходил по карте Латвии, показывал, где ехать и где останавливаться, кого ждать и какими словами проверить якобы оставшего экспедитора. «С Богом — твоим русским и моим литовским, поезжай!» В точном согласии с инструкциями Иван в Латвию въехал через Резекне, заправился в Крустпилсе, перебрался через реку и оказался в Екабпилсе, засекая все обгоняющие его машины и подмечая людей в них: номерных знаков можно наклепать предостаточно, но люди, искусные в слежке, редки. Ровно в семь утра заглушил мотор в сорока километрах от Шяуляя, приоткрыл дверцу, видел в зеркальце, как из чаши вышел человек, одетый под экспедитора, по походке определил: прыгуч и быстр. Было ему чуть за тридцать, слова сказал правильные, сверил свои документы с теми бумагами, что Иван держал под сиденьем, по-русски говорил чисто; человек этот, вспомнил Иван, то обгонял его на разных машинах, то оказывался сзади, в железнодорожном буфете Крустпилса он пил чай за соседним столиком. Себя проверяя, Иван на ли, но человек вывалил кучу документов на отбраковку, и все они были не поддельными, не фальшивками, тем не менее Иван дал верный совет и получил в благодарность кое-что ценное. Русским человек не был, Иван мог отличать не только бумажные липы, не удивился поэтому, когда возникший в Шяуляе Кашпарявичус назвал экспедитора «Гербертом», он пошептлся с ним и исчез, вскоре пропал и экспедитор, успев сказать, когда вернется и где Ивану подбирать его. В карту Иван не заглядывал, места у Яшюнаса слишком хорошо знакомы по войне, но на хуторе, давшем приют, был впервые, да кто знал и кто помнил полуразваленную усадьбу с давно не сеянными полями вокруг. Брат и сестра кормились огородом и

коровою, по вечерам цвенькало ведро от направленных струй молока, оно разливалось через марлю в банки, молодая мелкая картошка сыпалась в чугунок, Ивана звали к столу, он — по паспорту — был дальним родственником хозяев, но уж мух не обмануть вильнюсской пропиской и подписью начальника горотдела милиции, мухи чуяли славянство в Иване, комары тем более, насекомые вились над ним плотным, колючим, звенящим роем и потому не сожрали Ивана, что литовство в нем распознала сестра, звали ее так: Дануте Казисмировна — так услышал ее имя Иван, так и величал; смотрелась она лет на сорок, была намного моложе, и годы ее измерялись ведрами надоенного молока, телятами от коровы, вскопанными грядками, взмахами косы, все плодоносило и произрастало до немцев, при них и после. Она садилась рядом с Иваном, и рой, повившись, отлетал. Все боли растаяли в Иване и радости тоже, когда слушал он литовскую женщину Дануте Казисмировну, жизнь которой не могла, к сожалению, исчисляться родами, от ребенка к ребенку. Первая и единственная беременность оборвалась, как солнце, внезапно закрытое тучами, так до конца и не разогнанными. От кого понесла — сказала точно: мужчина. Русский, литовец, немец, поляк, белорус — да какая разница, у всех семя, у каждого ружье или автомат; кто прав, кто виноват — Бог рассудит. Брат Дануте, горбатенький и очень сильный, отбивал косу, под звон металла Иван заснул, пятые сутки пошли уже, десятые — двадцатые встретить бы так: на сеновале, поработав лопатою, послушав литовку, да кто даст, кто позволит, и нельзя, нельзя жить в неге спокойствия, он и Клим потому все еще ходят по земле вольными, что весь мир ощерился на них, что они боятся и ненавидят Лубянку. Глаза раскрылись, как только шевельнулась мысль об этих органах безопасности; сено поскрипывало так, что тишина становилась полной, непроницаемой; по косине солнечных лучей, проникавших в сарай, уже вечер, ночью надо идти на встречу с Гербертом, если он не появится раньше. Веки сомкнулись, Иван погрузился в сон и сквозь сон же услышал голос Кашпарявичуса, грубые ответы горбуна, речитатив Дануте Казисмировны. Стемнело, когда Иван понял, что и Герберт здесь, что и его слышал он, и Кашпарявичуса, и весь подслушанный разговор, осевший в памяти, восстановился, обрел интонации и полный, только ему понятный смысл. Герберт поздравлял и благодарил Кашпарявичуса — за ум и честность, и если раньше он сомневался кое в чем, то теперь готов признать абсолютную правоту литовца и лояльность русского, ибо, будь последний связан с госбезопасностью, Герберта схватили бы там, в лесу под Моденой, ибо то, что он увидел, наповал сразит всех начальников в Лондоне. Лесные братья, которые радируют о беспощадной борьбе с большевиками, сиднем сидят в землянках и жрут то, что привозят им из райотдела МГБ: типичная лубянковская липа, на которую не раз попадались и будут попадаться покровители всех антисоветских подполий. Он, Герберт (в голосе стал появляться акцент), и раньше догадывался об этом, но теперь убедился окончательно; ему только до Берлина добраться, а там уж он свяжется с руководством, пусть рвут все контакты с подставными! Кашпарявичус предостерег: Герберта ждут неприятности, какое начальство само признает себя околпаченным, — с чем тот согласился, начал спрашивать о нем, Иване, и литовец бесстрастно уточнил: их двое, эти русские действуют очень скрытно, кто они такие — точно не известно, но определенно можно сказать: на Лубянке им несдобровать. Короткий был разговор, емкий, калачиком свернувшийся в памяти до поры до времени, вкусным сгустком, какой-то светлостью; с нею и сидел за столом Иван, пил вместе со всеми самогон, горбун на дорогу дал сала и круг ноздреватого хлеба, Дануте Казисмировна благословила странников, Герберт поцеловал ей руку, до Вильнюса трясся рядом с Иваном в кабине, потом исчез, еще раньше спрыгнул Кашпарявичус, чтоб объявиться перед Москвою. Плохи дела, сказал он, Герберта уколошили свои же, иного и нельзя было предполагать, в жестоком мире живем, нет в нем ни друзей, ни врагов, есть

права и обязанности, безличные и бездушные. Пустился в воспоминания — ни дат, ни имен, сплошная горечь: убит отец, убита мать, братья рассеяны по белу свету, сестра вышла замуж за камчадала и никакой он не Кашпарявичус, он забыл уже имя, каким наречен. «И я тоже», — сказал в ответ Иван: предстояла смена документов.

Клима он застал в одиночестве, архангельские родичи хозяина укатили в Феодосию, в доме — ни крошки хлеба, «Жан-Кристоф» раскрыт на последней трети, на полу раскатан рулон обоев, и на обратной стороне их Клим чертит загогулины. Старуха его рассчитала, зато слесаря приглашала артель слепых. Трое суток ушло на подгонку документов, успели вовремя, добрый все-таки человек хозяин этого сыроватого двухэтажного дома в двух минутах ходьбы от милиции, которой часто требовался понятой при обысках пьяных, случайно задержанных и всех тех подозрительных, у кого в карманах несчитанные деньги, хозяина свистни — и он здесь, подмахнет любой протокол и внакладе не останется. Хозяин и услышал в милиции кое-что, касавшееся постояльцев, постучался ночью, разбудил Ивана. Ушли — с «Жан-Кристофом», с остальными пожитками, пуще всего Клим берег рулон обоев, укатили в Киев от греха подальше, Клим безмятежно спал на верхней полке, никаких неудобств от перемены мест не чувствуя, — размягченный, блаженненький, с хорошим аппетитом. Десять дней жили у Днепра, хохлушка кормила их борщом с красным стручковым перцем, потом подались дальше, к морю. На Одессу внезапно упали дожди, стало неуютно, обосновались в Бендерах, в селе, чуть южнее города, молдаване наперебой звали к себе, сняли сарайчик, пили за дружбу народов. Ключи от дома на Раушской Иван не вынимал из кармана, ключи жгли, напоминали, звали, и однажды ночью (обоим не спалось) повел осторожный разговор о дальней, за горизонт уходящей жизни, не той, что прыг-скок на земле, а текущей ровно, в трудах на благо и во имя... «Чего?» — насмешливо фыркнул Клим. Иван протянул нечто неопределенное: человечество, мировая наука, их личное благополучие, наконец, не век же им мыкаться по стране и прятаться, надо все-таки написать несколько работ по теории клетки, провести серию опытов, тем самым подготовив науку к появлению ошеломляющего открытия, и власть признает Клима гражданином, даст ему лабораторию, учеников, деньги, власть смирится, о чем свидетельствует опыт: Эйнштейна немцы не тронули и всех физиков пощадили. «Человечество?» — переспросил Клим так, как будто впервые слышал это слово, отбросил одеяло, сел, взял со стола яблоко, заговорил без гнева, но и выстраданно, тихим ручейком журчала его речь. Человечество, сказал он, непознаваемо, оно не сосуществует с другим человечеством, о себе оно судить не может, руководить собою, контролировать себя оно не в состоянии, это барон Мюнхгаузен мог вытащить себя из болота, держась за собственную косу; человечество способно только на взгляд изнутри себя, глазами каждого человека, и сколько людей — столько и человечеств, и он, Клим, этому человечеству служить не намерен, человечество убило его жизнь, она целиком ушла на эту двойную спираль, он заплатил за генетический код, тот самый, что на обоях, испоганенным детством, смертной скукой в семье, где слова лишнего сказать боялись, вдохновениями в Горках, когда мысль парила выше небес, скитаниями по лесам, каждая ветка там, каждый сучок — это автомат, направленный на тебя в упор; он дважды умирал в лагере у немцев, он полюбил термостаты и прочее в лаборатории Майзеля, он пережил избавления от арестов, а в том подвале, откуда пришлось бежать, возвышен был сладостными моментами святого проникновения в тайны, он ощущал себя звездой, сгустком вещества, пронизанного светоносным эфиром! И за все муки эти и наслаждения получить какую-то там Сталинскую премию? Бесценное открытие отдать тем, кто не испытал и сотой доли того, что выпало ему? Тем, кто в тиши кабинетов напрасно тужат свои глупенькие мозги? Да пусть пыhtят над безмозглыми статьями, пусть проходят через вдохновения и смерти. А с

него — хватит. Он понял смысл жизни, он судит о ней по клетке, белки ведь — экскременты ДНК. И человек существует только для поглощения и выделения, жизнь каждого человека — это козьи комочки, лепешка навоза, и, ради бога, не надо высоких слов, вино здесь хорошее, яблоки вкусные, вода в Днестре теплая, чего желать лучшего, не надо оно им, им бы век смотреть на это молдавское небо, да свобода-то их — призрачная, в любой момент могут арестовать и посадить, нарушение паспортного режима и три года лагерей — вот их недалекое будущее, вот почему он, Клим, просит Ивана о следующем: найти все-таки ту девушку, отдавшую ему чемодан на хранение. Тяжко сознаться, но ему так недостает ее! Противно, гадко, мерзко — ощущать зависимость от женщины, когда отлично понимаешь, для чего она нужна мужчине, какова химическая природа этого физиологического акта соития. Знать, это судьба, Иван обжегся — и ему надо пострадать от ожогов, на себе испытать сцепление ощущений и образов: стоит ему вспомнить о подвале, и рука его вздрагивает от прикосновения пальцев девушки, аромат духов провоцирует желания, звучит оркестр... «Штраус», — подсказал Иван, и ему стало грустно, стыдно; Клим повзрослел, уже мужчина, а не шкет, не шпендик, не тюха, которого то и дело вытаскиваешь из беды, он нажил опыт, и они теперь одинаковые, ровни; Клим смотрит, пожалуй, дальше и глубже, когда отбрасывает всякую мысль о статьях и опытах: кто пустит их в науку, если она — пирог, давно разделенный на куски и помеченный, кому что достанется; им и к столу не дадут приблизиться, у них десять раз спросят паспорта, характеристики, разрешения, от них потребуют подписи тех, кто одобряет статьи, резолюции того, кто согласен и не возражает, их обыщут, наконец... «Ее зовут Еленой, вы будете вместе», — сказал Иван, подставляя фотокарточку под сияние луны, и Клим зажмурился, как от яркого света; губы его прошептали: «Она». Поворочались, заснули, с утра пошли в город, потолкались в книжном магазине, купили что надо, Клим неделю оснащался новыми знаниями: по паспорту, по трудовой и справке он теперь нефтяник в долгосрочном отпуске; Иван решил остаться пока в прежней шкуре. Благополучно добрались до Москвы, там — с вокзала на вокзал, и обосновались в Переяславле, до столицы не так уж далеко. Годы пугливого житья с чужим именем воспитали Клима, держался он естественно, научен был, что говорить милиции и о чем рассказывать хозяевам комнат, веранд и мезонинов, на учет в военкомате не встал, власть в городе, правда, не свирепствовала, со шпионами никто не боролся, на всю округу — строительная рота, что-то осушавшая. Иван же через Ярославль добрался до Ленинграда, Никитина не нашел, смазливая баба в пивной на Расстанной передала Ивану его слова: «Скажи, что поехал поклониться». Он, следовательно, был в Минске, Иван с удивившей его ревностью рассматривал бабенку с жизненным призванием прыскать пиво в стеклянные емкости 0,5 литра. Отвела она его жить к своей бабке, многожильной старухе, рассчитанной не на одну блокаду. Наблюдение за проспектом Карла Маркса ничего нового не дало, девушка сходила на танцы в Выборгский дом культуры, к зонтику ее (шел дождь) жался курсант-моряк, левой рукой придерживая палаш; мать девушки прибаливала, из квартиры не выходила. Никитин все не возвращался, но, кажется, поездка в Ленинград пользу принесла, Иван в Москве решил пройтись по собственным следам, чтоб посмотреть, не затоптаны ли они ботинками оперов, не ищет ли его московская Лубянка, науськанная минской. Придурковатый сыночек Мамаши получил, видимо, инвалидность и пил без просыху, и кто давал деньги — вопросы отпали, когда Иван столкнулся с Мамашей. Он едва узнал ее, так резко изменилась она, теперь ей не надо было прятаться за ширмочку и переодеваться, она — преуспевала, она — обрадовалась Ивану, крупными мужскими шагами шла рядом, взяв под руку, помолодевшая, волосы — в химической завивке, губы скромно подмазаны, одета под исполкомовскую начальницу, но с намеком: могу и получше; грудь взбухла, талия и бедра обозначились покроем сшитого по заказу костюма, сорокапятiletняя жен-

щина яркой внешности вкусила власть от избытка денег, предлагать их Ивану она не решилась (два года назад он ей всучил не одну пачку тридцаток, будто бы в долг), имела другие планы, иные виды на него, в ресторане вела себя уверенно, чинно, смеялась, показывая улучшенные протезистом зубы, умело орудовала вилкой и дала понять, что ужинать в хорошем месте с хорошим мужчиною — не редкость для нее. О сыне же отозвалась так, будто он — дальний какой-то родственник, свалившийся на нее из глухой деревни; Иван предположил, что Мамаша вскоре сплавит сыночка либо в психбольницу, либо за сотый километр, выселит его, дабы тот не мешал ей заколачивать деньги; она и сейчас ее зашибает успешно, но развернется в полную мощь, когда сбросит с плеч ненужную ношу и когда дело ее обретет настоящего хозяина. Быть им она Ивану не предложила, сама пока управится, и дело такое, что снисходить до него Ивану не следует, Мамаша считала бывшего квартиранта воротилою крупных масштабов, советы его примет со вниманием, щедро оплатит их, так не подбросит ли Иван ей пригожего молодца, умеющего заговаривать зубы женщинам лет эдак под тридцать пять — сорок? Работа не обременительная, но оплачивается хорошо, от пригожего парня требуется: едет этот неотразимый в Москву, знакомится в поезде с образованной и богатой женщиной, везет ее по прибытии в столицу к себе (квартиры у Мамаши есть), спит с нею и утречком отправляется за газетами или в магазин, остальное — не его забота, женщина жива и невредима, лишилась, правда, кое-какого имущества, но ведь любовь требует жертв, не так ли?.. («Еще как...» — промолвил Иван, подливая Мамаше коньячок.) Полная безопасность, обольститель получает двадцать пять процентов выручки, причем все будет сделано так, что ни в какие милиции женщина не побежит, прямоком вернется к мужу и расплатится: ограбили! Так как — найдется в хозяйстве Ивана такой молодец? «Подумаю...» — поморщился Иван и был понят верно, Мамаша упрашивать не стала, но и не обиделась, смотрела на Ивана преданно, сообщила без понуканий, что никто никогда за эти два года им не интересовался. Иван кивнул признательно, курил, потягивал пиво, рассматривал Мамашу, выпихнутую из общепринятого хипеса в мужскую, что ли, форму этого мошенничества, связи, во всяком случае, у нее обширные, вот чем надо воспользоваться, и фотография Сурковой легла на скатерть ресторанного столика, Мамаша глянула на нее прицениваясь, покусала нижнюю губу, подняла на Ивана глаза, ожидая уточнений, выслушала их, кивнула. Что ж, сказала она, и стог сена можно перерыть, чтоб найти иголку, в многомиллионной Москве таких проституточек уйма, цена на них колеблется от ста рублей в сквере у Павелецкого вокзала до кормежки в буфете ресторана «Москва», товар очень ходовой, идет нарасхват, недавно милиция в очередной раз почистила «Москву» и «Гранд-отель», «воронки» увезли несколько десятков девиц, но это сливки, так сказать, высший свет, который весь на учете в «полтиннике» и до которого этой шлюхе не дотянуться; розыски займут много времени, внешность этой сучки (мизинец Мамаши постучал по фотографии) преграждает путь к лучшим местам столицы, скорее всего, она промышляет у вокзалов — эта гадкая, мерзкая дешевка, она будет найдена, денег не надо, услуга за услугу, ей позарез требуется муж, не фактический, но официальный и прописанный в другом городе, большом городе, ему она будет платить деньги за штамп в паспорте и согласие жить врозь, так уж складываются обстоятельства, которых Ивану знать не надо. «Будет муж», — сказал Иван, расплачиваясь, радуясь тому, что не надо раскошелиться на оплату Мамаши: денег мало, совсем мало, а на носу денежная реформа, о ней шепчутся и говорят, так что же делать — снимать деньги с книжек и бросать их на покупку вечноценных металлов или дробить «сбережения», перекладывать их на другие книжки более мелкими суммами?

Он так уставал в эти дни, что сил уже не хватало на дорогу в Переяславль. Приходил в комнату на Филях и падал замертво на кровать, не раздеваясь, в пальто, потом вставал, разбуженный полуночным гимном

включенного у хозяйки радио, ужинал в темноте, слушал сверчковую тишину и гадал, чем занят Клим, как питается. Что-то должно произойти — это Иван чувствовал затылком, пятками. Однажды ночью сердце вдруг сместилось вниз и стало долбить собою диафрагму, желудок, печень, Иван привстал, зубы стучали о край кружки с водою, ужасом несло от окон, от двери, рука потянулась к половице, под которой лежал пистолет. Ни таблетки, ни микстурки, водки и той нет, спасение — в новых желаниях, старое — сосущее, подгоняющее и возвышающее — удовлетворено, мир клетки понятен, и что делать дальше — скажет ночь за окном, ветер, громяющая жесть крыши. Не уцелеть ему в этой стране, Климу тоже, такая уж судьба, надо бежать, в Швецию, оттуда связаться с теми, кто хаживал к Майзелю, бельгиец живет припеваючи в Брюсселе, уважаемый ученый, немцы на своей родине почитаются, ассистента Майзеля они помнят, конечно, потеснятся и дадут проход русскому таланту. Швецию предложил сам Кашпарявичус, поставил жесткое условие: он — в стороне, его не вмешивать, он никому не доверяет, он даже рад, что англичанина кокнули, свидетелей нет и никакого экспедитора Герберта не было. Бежать — но не вплавь же, надо вновь думать, нащупывать людей, научиться хотя бы управлять яхтою, и неизвестно еще, согласится ли Клим, которому мутит голову дурман того момента, когда из пожарного ящика вышла, как из стены, как из зазеркалья, манящая и подзывающая Елена Суркова.

В ту же ночь, задолго до утра, Иван оделся и пошел на край Мазилова, в дом, откуда самогон растекался по Филям, за перегородкою шумно дышала корова, два милиционера встретили Ивана, как родного, уже основательно набравшись; стало свободнее и легче, подумалось, что на «опеле», который в гараже, можно быстрее домчаться до Клима, но, пожалуй, в такую грязь, в такую темень лучше уж поездом. Доехал до Белорусского, на душе было гадко; успел, однако, на Ярославский, когда до отхода скорого оставалось три минуты. В Ростове удалось поймать попутку; неожиданно показалось солнце, Иван не видел его две недели, он брел берегом Плещеева озера, пытаясь выжать из себя ощущения тех дней, когда он лежал у моря в Гудаутах. С лодок забрасывали сети, где-то одиноко перезванивались колокола, все остальные церквушки молчали. Иван дважды прошел мимо дома, присмотрелся, поднял железяку калитки. Хозяйка предложила жареной рыбки, согласился, вопросительно глянул на нее и встретил бестревожный взгляд. Тем не менее — что-то произошло, это он почуял еще в Мазилове; на цыпочках одолел винтовую лестницу (снимали комнатку в мезонине), неслышно открыл дверь. На полу расстелена миллиметровка, Клим исписывал ее понятными ему закорючками, по осколкам восстанавливал (Иван пригляделся) эволюционную бомбу, рванувшую миллионы лет назад, то есть делал то же самое, что когда-то на рулоне обоев, утопленном в Днестре, и, кажется, миллиметровке не угрожала участь рулона, Плещеево озеро не поглотит в себе прапрообраз первой аминокислоты, потому что на столе листы рукописи. Клим, отвергший науку, навсегда простившийся с нею, не только принялся за старое, но и делал попытку войти в нее с парадного входа: рукопись — по стилю — предназначалась для печати. Могучая рука Ивана приподняла Клима за шкуру, в желтых глазах того попрыгивало знакомое безумие. «Что, черт побери, произошло? Что?» Брат забрыкался, вырвался, лег на миллиметровку, подобрал карандаш; самолюбивое сопение его выражало «а пошел ты...». Новых книг нет, следов женского присутствия не наблюдается, ничто не изменилось; Иван двинулся вдоль стен, как при обыске, по часовой стрелке, не отводя глаз от вжавшегося в миллиметровку Клима, и, когда приблизился к кровати, понял — по дрогнувшему карандашу, — что сюда надо лезть, под подушку, под матрац. Запустил руку и нашел наконец то, что искал. Вырезка из газеты — центральной, не местной, не областной; «Правда» или «Известия», судя по шрифту, то есть указующее чтиво для всей страны, распространяемое при любых обстоятельствах и рассчитанное на то, что упомянутый в газете человек о себе узнает, даже если он слепой,

глухой, немой и неграмотный. Так взбудоражившие Клима строчки отыскались сразу, всего лишь одна фраза: «В предвоенные годы новые пути проложили работы нашего коллеги К. Е. Пашутина, тогда еще студента, успешного в области генетики». Будто он уже — теперь, сейчас! — доктор наук! И эта корявость — «успешного в области генетики»! И хотя автор статьи, некто Иванов, вроде бы сотрудник Института экспериментальной биологии, фраза выдает его с потрохами, фраза из того канцелярского обихода, каким пишутся официальные бумаги, подшиваемые в следственное дело. Клима выманивали, приглашали покинуть неизвестное Лубянке прибежище, оповестить о себе, подать голос, а там уж они закрутят свою карусель, чего не может не понимать Клим и тем не менее лезет в подставленный капкан. Вновь рука Ивана оторвала брата от пола, приставила его к стене, Иван заговорил сквозь зубы, время от времени встряхивая Клима, словно пробуждая его от сладких снов, внушая дурню, что никому он в этой стране не нужен, ни один журнал не опубликует статью, не одобренную ученым советом и не сопровождаемую отзывами велеречивых корифеев, которые отнюдь не доброжелательно встретят нежданно-негаданного конкурента, и все писания его отвергнутся теми, кто называет себя формальными генетиками: они, придушенные идеологией, тыкнут автора носом в отсутствие четких философских позиций, а уж банда, вообще отрицающая материальность генов, взбесится... Растопчут — предрек Иван злобным шепотом, но самое наихудшее — если Климу раскроют объятия, если в редакционных кабинетах его начнут нахваливать; да, ему дадут порезвиться, работы его будут кочевать по ученым советам и разным совещаниям, новоявленному пророку подсунут апостолов, а потом МГБ свяжет все ниточки связей в узелки и объявит о раскрытии очередного заговора, возглавляемого злейшим врагом советской власти и советского народа, изменником Родины Пашутиным, добровольно сдавшимся в плен и верно служившим оккупантам; да это ж такая лакомая добыча для Лубянки, что они Климу баб и водочку таскать будут — в камеру, естественно; какое поле деятельности распаханно будет всеми управлениями и отделами этой подлой госбезопасности, сколько подзаговоров будет изобретено, сколько уголочков будет тлеть в ожидании мехов, которые раздуют еле видимые язычки пламени до всесоюзного или даже всемирного пожара, и два поколения следователей будут обеспечены работой, и даст им ее провокатор Пашутин, успешный не только в области генетики. Проклят он будет потомками, могилу его заплюют!

Едва Иван сказал о могиле, как брат напрягся, оттолкнул его и заговорил. Да, сказал он, имя его уже проклято, Клим Пашутин служил у немцев, он знает, что в эту, советскую, науку ему не войти, не пролезть, но крохотное упоминание его в печати обострило в нем все чувства и предчувствия; в какой-то ненастный день он расплакался у озера, потому что почуял: день этот не последний, но и не в ряду бесконечных суток, скоро настанет предсмертный миг, он умрет, против чего не возражает, но ему хочется остаться вечно живым в том неовещественном мире, который есть царство мысли, в погребальнице страданий, выпавших на долю светочей разума. С детских лет жил он под обаянием мук, перенесенных величайшими людьми науки; они не умерли, эти люди, они живут в человеческих представлениях, они, как водяные знаки ассигнаций, на каждой странице давно написанных книг, их глаза, их брови, ступни их ног — в формулах и уравнениях, их страсти по-прежнему юны, их ошибки величественны, они общаются друг с другом, Линней, к примеру, с Аристотелем, Лавуазье — с Фукидидом, все они, опосредствованные смертью и всечеловеческой памятью, говорят, спорят, негодуют, женятся, выращивают детей — все там, в том мире, где нет уже смертей; Клим хочет быть с ними, он обязан поговорить с Грегором Менделем и Карлом Вирховым, ему надо мягко упрекнуть Чарлза Дарвина за его огульную веру в естественный отбор, и Ламарку не мешало бы кое-что шепнуть; войти же в этот мир можно только через проходную, где пропуском всегда была изве

стность, мировая, планетарная, геростратова — да-да, все в тот мир попали, что-то разрушив, что-то подпалив, вот почему надо написать семь или восемь работ, найти соавтора, законопослушного гражданина с безупречным прошлым, человека, страстно жаждущего славы, с ним-то и можно поделиться, так сказать, лаврами первооткрывателя...

Когда Клим начал рассуждать о потустороннем, книжном, вымышленном мире, Иван едва не заорал: «А передачи кто тебе таскать туда будет?», но он прикусил язык, напуганный и оскорбленный, потому что временами Клим сбивался и говорил о себе в третьем лице, Клим уже парил над собою, над Иваном, которого вовсе не желал пускать в мир теней, которому не отводил места в безэмгэбэшном раю, — это ему-то, математически обосновавшему парность ДНК! Брат спятил! Сошел с ума! Свихнулся! По его, Ивана, вине, ни в коем случае нельзя оставлять Клима одного, без присмотра, лишённого к тому же радостей жизни, какая бы она ни была. Бабу ему, бабу! Тепленькую и грудастенькую бабеночку, с полурасстегнутой кофтой — и забудутся бредни о мировой славе; мыслитель, мать твою так, никак не уразумеет, в какой стране обитает, да тут сочини инструкцию по борьбе с тараканами и мухами, напиши ее собственноручно и приклей к столбу — через час подкатят ангелы здешнего рая, вострубят о нашествии мушино-тараканьей вражьей силы. Без Лубянки, правда, модель ДНК не сложилась бы, смрадное дыхание дракона подгоняло их мысль, но не время сейчас втолковывать братцу очевиднейшие истины, надо пускать притворную слезу и соглашаться: да-да, пиши, твори, исполняй свой долг спасителя человечества от незнания. «Братан! — разжалобился Иван и всхлипнул от наплыва родственных чувств. — Я пойду с тобой до конца...»

Сюрприз был Климу обещан: встретится он с той девушкой в ближайшие недели, наврано было о том, что та заглядывала в подвал, искала своего спасителя, просила передать, уезжает, мол, на месяц-другой, а как вернется — сообщит о себе. На самом же деле Мамаша особого рвения в поисках не проявляла, но и давить на нее неразумно: надвигалась денежная реформа, каждый устраивал по-своему неотвратимое будущее, Иван рыскал по столице, подыскивая новое убежище. Оно неожиданно нашлось в Мытищах, та самая баба со стальными зубами, что жахала три кружки пива подряд, густым голосом попросила закурить, взгляделась в него и мигнула: за мной! В Мытищи Ивана послал Кашпарявичус, пора уже возвращаться, да и опасно спутываться с оттянувшей ссылку пьянчужкой, и тем не менее Иван пошел вслед, угостил бабу водкою и, окрыленный, помчался в Москву, по пути глянул на ждавший Клима чертог, Дом культуры в Перове; записочка директору, тоже бывшему ссыльному, сделала того вечным другом Ивана и Клима, доходное и нехлопотное место обеспечено, хоть завтра переезжай со всеми пожитками на служебную жилплощадь, а временную прописку можно продлить, есть в милиции свои люди; у директора были ухватки массовика-затейника и глаза пораженного воскрешением мертвеца. Климу не терпелось покинуть Переяславль, один книжный магазин на весь город, представлены почему-то две темы: подвиги моряков-балтийцев и осушение болотистых низин. В клуб попали под вечер, на сцене шла репетиция танцевального кружка, в фойе и коридорах рыкали трубы, виртуоз местного масштаба гонял на рояле гаммы, очень серьезные мальчишки клеили авиамодели; крутая лестница вниз, засовы и замки на складе спортивного инвентаря, поворот направо, поворот налево, журчит вода в неисправном бачке сортира, и обитая жестью дверь, уютная комната, предел желаний, полуподвал высшего класса, шкаф, стол, тумбочка, три стула, кровать с панцирной сеткой, место ночного отдыха слесаря, сторожа и еще кого-то там, истопника почему-то, хотя отопление центральное. Сюда бы еще Елену Суркову да документы поубедительнее — и Климу жить-поживать и добро наживать в этом очаге культуры. «Ура!» — прокричали оба, и каждый занялся своим делом. Клима всегда раздражали и бесили мешавшие думать визги, лязги, скрежеты, он приволок стремянку и починил бачок, Иван же в клубной изостудии стянул

пластилин и отдал на нем все ключи от дверей и замков. И поспешил к ожидавшей его Мамаше, проверил, чисто ли вокруг, не привела ли кого за собою или с собою содержательница притонов. Полная спеси, восседала она перед бутылкой нарзана и встрепенулась, увидев Ивана, заерзала, торопясь поскорее выложить благодетелю своему самое свежее, ценное, нужное. «Нашла!» — выпалила она и откинулась на стуле, будто подписала только что смертный приговор. В «Метрополе» или «Национале» профессию Мамаша распознали бы сразу, но в «Динамо» она сходила за какую-то начальницу, официанты при ней держались пришибленно. Редкие столики заняты деловитыми парами, Иван слушал и смотрел на снег за окнами, на лыжников; он страдал, радовался, скорбел и веселился, преисполняясь уважением к примитивизму людской жизни; он узнал о том, как два бесшабашных лейтенанта, привыкших куролесить в Берлине, здесь, в Москве, угнали на спор машину от английского посольства на Софийской набережной, в доказательство подвига предъявив лежавшие в багажнике коробки с бельем, одеждой и обувью; по многим воровским притонам ходили заграничные шмотки, не находя сбыта, потому что стало известно: Лубянка знает каждую похищенную тряпочку, а уж как они попали к Сурковой — это Иван спросит у нее. Он благодарно пожал руку женщине, умом и смелостью выбравшейся из грязи для того, чтоб погружать в нее других, глупых и трусливых, он оценил и то, что Мамаша ни разу не предложила себя и была, так уж получилось, настоящим другом, верным товарищем, и, посадив преданного соратника в такси, он приступил к боевой операции, обошел весь район Нижней Масловки, побывал и во дворе дома, где похотливое мужичье лишалось денег и одежды, но где и чтилась особенная часть Уголовного кодекса РСФСР: прикрывая срам шапками и шляпами, самцы бежали куда глаза глядят, но только не в милицию. Хазу содержала бесследно пропавшая Рита-Кудесница, три оставшиеся без присмотра девки пригрели невесть из каких краев приехавшую Суркову, смекнув, что клиенты теперь пойдут у них побогаче, Елена умела «произносить поэтов», ей поначалу прощалось нежелание подкладывать себя под тех, кого она ловила, но стоило ей признаться в девичестве, в том, что она — «целка», как подружки по ремеслу разъярились, до них дошло: если все четверо попадут в милицию, Елена Суркова «отмажется», девственность несовместима с тем, что творилось в квартире на первом этаже. Было решено избавить Елену от смягчающего вину обстоятельства, но подступы к нему обладали непробиваемостью, тут не помогла бы и четвертинка, не говоря уж о природном мужском оружии («Лежит обтруханная вся, — в порыве исполкомовского ригоризма негодовала Мамаша, — но свою ненаглядную сжимает, как кулак...»); Суркова сопротивлялась так бешено, что в конце концов подчинила себе трех кобылиц, обирала их до нитки; девственность спасла ее, когда девок заграбастала милиция; назревало крупное дело, соратницы Сурковой заманили на хазу фраера, хватанувшего на ипподроме кучу денег, а за такими чересчур везучими игроками присматривает как милиция, так и сами жокеи, Суркова отмазалась, святошу милиция отпустила, цена, правда, заплачена была великая, пришлось предъявлять паспорт с пропиской. От суда или высылки девок избавили ипподромные воротилы, организованный в милиции пожарчик уничтожил все протоколы и акты, о чем Суркова не знала, она стремительно ушла на дно и залегла, про универмаг же Мамаша ничего не слышала, и расспрашивать ее было опасно, не ведала она и о причинах, по которым Суркова боялась жить у себя дома, с девственностью она все-таки рассталась — попалась одному настырному удальцу (обошлось без Баха, вяло подумал Иван, и Мендельсон тоже не понадобился), работала в одиночку, однако совсем недавно ее видели с очень странным типом, снимает он комнату в Лавровом переулке или где-то рядом, — туда и направился Иван после Нижней Масловки, без надежд на встречу с Леною Сурковой, в час, когда рабочая и служивая Москва дома не сидит, и обомлел, с перепугу втиснулся в булочную, отдышался, в глазах померкло от роя мыслей: он увидел вертлявого балагура,

члена завкома, от которого едва не в истерику ударился Клим, того самого артистика, что навел на них страх, заставил бежать из уютного и безопасного подвала! И еще страшнее то, что под руку с ним шла Елена Суркова, одетая под скромницу из генеральской семьи: приличное пальтецо с лисою, высокие ботинки и каракулевая шапочка, спутник же ее (и сожитель, конечно же!) походил на распространителя театральных билетов, но что был он жуликом, бандитом, убийцею — в этом Иван не сомневался, установив с этого позднего утра наблюдение за парочкой, за их напряженной и хлопотной работой до восьми или девяти вечера, завершавшейся ужином на вокзале; из женского туалета и звонила домой Суркова, в другие часы она была под надзором сожителя. Потом они на такси доезжали до своего переулка и скрывались в темноте двора, Иван гнал на «опеле» в Фили, испытывая желание: связку ключей — в воду, с моста, тут же развернуться — и в Перово, забрать Клима — и вон из Москвы, бежать немедленно, в ту же Литву, где всегда находили приют государевы преступники! Да на черта им эти межклеточные процессы, в задницу их, спасать себя надо, и опасность, пожалуй, в нем самом, в последние недели Иван стал замечать за собой ребячий зуд: поскорее испытать порку Пантелея, чтоб, покусав до крови губы, еще раз убедиться в торжестве добра и справедливости; что-то шаловливое поплясывало в душе, когда он, хорошо одетый, крутился перед зеркалами у гардероба, входил затем в ресторанный зал «Москвы» или «Гранд-отеля», со снисходительной важностью знатока углублялся в меню, боковым зрением отмечал тех, кто по долгу соглядатайской службы посиживал за столиками; однажды он приманил шпика, потащил немолодого топтуна за собой, изметелил его в подворотне, бил с каким-то радостным остервенением.

Ключи так и остались в кармане, Москва-река не поглотила их, неделя ушла на слезку, уже на третий день Иван понял, что ему радостно видеть по утрам Суркову и что она и ее сожитель готовятся к ограблению — с кровью, с хорошей добычей, на прицеле держат еще и квартиру, набитую антиквариатом и камушками, в ней тоже прольется кровь, а затем будет убита и Суркова по законам разбойничьего жанра. Весть о «Дамском конфекционе» разнеслась по всей воровской округе, идея, брошенная в массы супружеской парой, была подхвачена, один из вариантов ее разрабатывала парочка из Лаврова переулка, причем Суркова не знала, что труп юной капризной жены подполковника выловили в Неве.

(Окончание следует.)



ИОСИФ БРОДСКИЙ



**КРИКИ ДУБЛИНСКИХ ЧАЕК!
КОНЕЦ ГРАММАТИКИ**

Ere perennius

Приключилась на твердую вещь напасть:
будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим чтобы считать до ста.
И вокруг твердой вещи чужие ей
встали кодром, базаря «Ржавей живей»
и «Даешь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать».
Отвечала вещь, на слова скупа:
«Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнуть свинцовый дрын или кровли жечь —
не рукой под черную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы —
он скучает по вам с мезозоя, псы:
от него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадиллом в ней».

1995

Стакан с водой

Ты стоишь в стакане передо мной, водичка,
и глядишь на меня сбежавшими из-под крана
глазами, в которых, блестя, двоится
прозрачная тебе под стать охрана.

Ты знаешь, что я — твое будущее: воронка,
одушевленный стояк и сопряжен с потерей
перспективы; что впереди — волокна,
сумрак внутренностей, не говоря — артерий.

Но это тебя не смущает. Вообще, у тюрем
вариантов больше для бесприютной
субстанции, чем у зарешеченной тюлем
свободы, тем паче — у абсолютной.

Эти стихи были переданы нам поэтом за несколько дней до ухода: публикация, к нашему глубокому сожалению, оказалась посмертной.

В стихах сохранена пунктуация автора.

И ты совершенно права, считая, что обойдешься без меня. Но чем дольше я существую, тем позже ты превратишься в дождь за окном, шлифующий мостовую.

1995

Бегство в Египет (2)

В пещере (какой ни на есть, а кров!
Надежней суммы прямых углов!)
в пещере им было тепло втроем;
пахло соломою и тряпьем.

Соломенною была постель.
Снаружи молола песок метель.
И, припоминая его помол,
спросонья ворочались мул и вол.

Мария молилась; костер гудел.
Иосиф, насупясь, в огонь глядел.
Младенец, будучи слишком мал
чтоб делать что-то еще, дремал.

Еще один день позади — с его
тревогами, страхами; с «о-го-го»
Ирода, выславшего войска;
и ближе еще на один — века.

Спокойно им было в ту ночь втроем.
Дым устремлялся в дверной проем,
чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.

Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.

Декабрь 1995

* *
*

...и Тебя в вифлеемской вечерней толпе
не узнает никто: то ли спичкой
озарил себе кто-то пушок на губе,
то ли в спешке искру электричкой
там, где Ирод кровавые руки вздымал,
город высек от страха из жести;
то ли нимб засветился, в диаметре мал,
на века в неприглядном подъезде.

196(?)

Посвящается Пиранези

Не то — лунный кратер, не то — колизей; не то — где-то в горах. И человек в пальто беседует с человеком, сжимающим в пальцах посох. Неподалеку собачка ищет пожрать в отбросах.

Не важно, о чем они говорят. Видать, о возвышенном; о таких предметах, как благодать и стремление к истине. Об этом неодолимом чувстве вполне естественно беседовать с пилигримом.

Скалы — или остатки былых колонн — покрыты дикой растительностью. И наклон головы пилигрима свидетельствует об известной примиренности — с миром вообще и с местной

фауной в частности. «Да», говорит его поза, «мне все равно, если колется. Ничего страшного в этом нет. Колкость — одно из многих свойств, присущих поверхности. Взять хоть четвероногих:

их она не смущает; и нас не должна, зане ног у нас вдвое меньше. Может быть, на Луне все обстоит иначе. Но здесь, где обычно с прошлым смешано настоящее, колкость дает подошвам

— и босиком особенно — почувствовать, так сказать, разницу. В принципе, осязать можно лишь настоящее — естественно, приспособив к этому эпидерму. И я отрицаю обувь».

Все-таки, это — в горах. Или же — посреди древних руин. И руки, скрещенные на груди того, что в пальто, подчеркивают, насколько он неподвижен. «Да», гласит его поза, «в принципе, кровли хижин

смахивают силуэтом на очертанья гор. Это, конечно, не к чести хижин и не в укор горным вершинам, но подтверждает склонность природы к простой геометрии. То есть, освоив конус,

она чуть-чуть увлеклась. И горы издалика схожи с крестьянским жилищем, с хижинной батрака вблизи. Не нужно быть сильно пьяным, чтоб обнаружить сходство временного с постоянным

и настоящего с прошлым. Тем более — при ходьбе. И если вы — пилигрим, вы знаете, что судьбе угодней, чтоб человек себя полагал слугою оставшегося за спиной, чем гравия под ногою

и марева впереди. Марevo впереди представляется будущим и говорит «иди ко мне». Но по мере вашего к мареву приближенья оно обретает, редая, знакомое выраженье

прошлого: те же склоны, те же пучки травы.
Поэтому я обут». «Но так и возникли вы, —
не соглашается с ним пилигрим. — Забавно,
что вы так выражаетесь. Ибо совсем недавно

вы были лишь точкой в мареве, потом разрослись в пятно».
«Ах, мы всего лишь два прошлых. Два прошлых дают одно
настоящее. И это, замечу, в лучшем
случае. В худшем — мы не получим

даже и этого. В худшем случае, карандаш
или игла художника изобразят пейзаж
без нас. Очарованный дымкой, далью,
глаз художника вправе вообще пренебречь деталью

— то есть моим и вашим существованьем. Мы —
то, в чем пейзаж не нуждается как в пирогах кумы.
Ни в настоящем, ни в будущем. Тем более — в их гибриде.
Видите ли, пейзаж есть прошлое в чистом виде,

лишившееся обладателя. Когда оно — просто цвет
вещи на расстоянии; ее ответ
на привычку пространства распорядиться телом
по-своему. И поэтому прошлое может быть черно-белым,

коричневым, темно-зеленым. Вот почему порой
художник оказывается заморожен горой
или, скажем, развалинами. И надо отдать Джованни
должное, ибо Джованни внимателен к мелкой рвани

вроде нас, созерцая то Альпы, то древний Рим».
«Вы, значит, возникли из прошлого?» — волнуется пилигрим.
Но собеседник умолк, разглядывая устало
собачку, которая все-таки что-то себе достала

поужинать в грудe мусора и вот-вот
взвизгнет от счастья, что и она живет.
«Да нет, — наконец он роняет. — Мы здесь просто так, гуляем».
И тут пейзаж оглашается заливи́стым сучьим лаем.

1993 — 1995

С натуры

Джироламо Марчелло

Солнце садится, и бар на углу закрылся.

Фонари загораются, точно глаза актриса
окаймляет лиловой краской для красоты и жути.

И головная боль опускается на парашюте
в затылок врага в мостовой шинели.

И голуби на фронто́не дворца Минелли
е.утся в последних лучах заката,

не обращая внимания, как когда-то
наши предки угрюмые в допотопных
обстоятельствах, на себе подобных.

Удары колокола с колокольни,
пустившей в венецианском небе корни,

точно падающие, не достигая
почвы, плоды. Если есть другая

жизнь, кто-то в ней занят сбором
этих вещей. Полагаю, в скором

времени я это выясню. Здесь, где столько
пролито семени, слез восторга

и вина, в переулке земного рая
вечером я стою, вбирая

сильно скукожившейся резиной
легких чистый, осенне-зимний,

розовый от черепичных кровель
местный воздух, которым вдоволь

не надыхаться, особенно — напоследок!
пахнувший освобождением клеток

от времени. Мята точно деньги,
волна облизывает ступеньки

дворца своей голубой купюрой,
получая в качестве сдачи бурый

кирпич, подверженный дерматиту,
и ненадежную кариатиду,

водрузившую орган речи
с его сигаретой себе на плечи

и погруженную в лицезренье птичьей,
освободившейся от приличий,

вывернутой наизнанку спальни,
выглядающей то как слепок с пальмы,

то — обезумевшей римской
цифрой, то — рукописной строчкой с рифмой.

1995, Casa Marcello

На виа Фунари

Странные морды высовываются из твоего окна,
во дворе дворца Гаэтани воняет столярным клеем,
и Джино, где прежде был кофе и я забирал ключи,
закрылся. На месте Джино —
лавочка: в ней торгуют галстуками и носками,
более необходимыми нежели он и мы,
и с любой точки зрения. И ты далеко в Тунисе
или в Ливии созерцаешь изнанку волн
набегающих кружевом на итальянский берег:

почти Септимий Север. Не думаю, что во всем виноваты деньги, бег времени или я. Во всяком случае, не менее вероятно, что знаменитая неодушевленность космоса, устав от своей дурной бесконечности, ищет себе земного пристанища, и мы — тут как тут. И нужно еще сказать спасибо, когда она ограничивается квартирой, выраженьем лица или участком мозга, а не загоняет нас прямо в землю, как случилось с родителями, с братом, с сестренкой, с Д. Кнопка дверного замка — всего лишь кратер в миниатюре, зияющий скромно вследствие прикосновения космоса, крупинки метеорита, и подъезды усыпаны этой потусторонней оспой. В общем, мы не увиделись. Боюсь, что теперь не скоро представится новый случай. Может быть, никогда. Не горюй: не думаю, что я мог бы признаться тебе в чем-то большем, чем Сириусу — Канопус, хотя именно здесь, у твоих дверей, они и сталкиваются среди бела дня, а не бдительной, к телескопу припавшей ночью.

1995, Hotel Quirinale, Рим

Корнелию Долабелле

Добрый вечер, проконсул или только-что-принял-душ. Полотенце из мрамора чем обернулась слава. После нас — ни законов, ни мелких луж. Я и сам из камня и не имею права жить. Масса общего через две тыщи лет. Все-таки время — деньги, хотя неловко. Впрочем, что есть артрит если горит дуплет как не потустороннее чувство локтя? В общем, проездом, в гостинице, но не об этом речь. В худшем случае, сдавленное «кого мне...» Но ничего не набрать, чтоб звонком извлечь одушевленную вещь из недр каменоломни. Ни тебе в безрукавке, ни мне в полушубке. Я знаю, что говорю, сбивая из букв когорту, чтобы в каре веков вклинилась их свинья! И мрамор сужает мою аорту.

1995, Hotel Quirinale, Рим

Воспоминание

Je n'ai pas oublie, voisin de la ville
Notre blanche maison, petite mais tranquille.

Charles Baudelaire

Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень парка, чьи праздные статуи, как бросившие ключи жильцы, слонялись в аллеях, оставшихся от извилин; когда загорались окна, было неясно. — чьи.

Видимо, шум листвы, суммируя варианты зависимости от судьбы (обычно — по вечерам), пользовался каракулями, и, с точки зрения лампы, этого было достаточно, чтоб раскалить вольфрам. Но шторы были опущены. Крупнозернистый гравий, похрустывая осторожно, свидетельствовал не о присутствии постороннего, но торжестве махровой безадресности, окрестностям доставшейся от него. И за полночь облака, воспитаны высшей школой расплывчатости или просто задранности голов, отечески прикрывали рыхлой периной голый космос от одичавшей суммы прямых углов.

1995

Остров Прочида

Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт.
Сушатся сети — родственницы простыней.
Закат; старики в кафе смотрят футбольный матч.
Синий залив пытается стать синей.

Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел.
После восьми набережная пуста.
Синева вторгается в тот предел,
за которым вспыхивает звезда.

1994

Выступление в Сорбонне

Изучать философию следует, в лучшем случае, после пятидесяти. Выстраивать модель общества — и подавно. Сначала следует научиться готовить суп, жарить — пусть не ловить — рыбу, делать приличный кофе. В противном случае, нравственные законы пахнут отцовским ремнем или же переводом с немецкого. Сначала нужно научиться терять, нежели приобретать, ненавидеть себя более, чем тирана, годами выкладывать за комнату половину ничтожного жалованья — прежде, чем рассуждать о торжестве справедливости. Которое наступает всегда с опозданием минимум в четверть века.

Изучать труд философа следует через призму опыта либо — в очках (что примерно одно и то же), когда буквы сливаются и когда голая баба на смятой подстилке снова для вас фотография или же репродукция с картины художника. Истинная любовь к мудрости не настаивает на взаимности и оборачивается не браком в виде изданного в Гёттингене кирпича, но безразличием к самому себе, краской стыда, иногда — элегией.

(Где-то звенит трамвай, глаза слипаются,
солдаты возвращаются с песнями из борделя,
дождь — единственное, что напоминает Гегеля.)

Истина заключается в том, что истины
не существует. Это не освобождает
от ответственности, но ровно наоборот:
этика — тот же вакуум, заполняемый человеческим
поведением, практически постоянно;
тот же, если угодно, космос.
И боги любят добро не за его глаза,
но потому что, не будь добра, они бы не существовали.
И они, в свою очередь, заполняют вакуум.
И может быть, даже более систематически,
нежели мы: ибо на нас нельзя
рассчитывать. Хотя нас гораздо больше,
чем когда бы то ни было, мы — не в Греции:
нас губит низкая облачность и, как сказано выше, дождь.

Изучать философию нужно, когда философия
вам не нужна. Когда вы догадываетесь,
что стулья в вашей гостиной и Млечный Путь
связаны между собою, и более тесным образом,
чем причины и следствия, чем вы сами
с вашими родственниками. И что общее
у созвездий со стульями — бесчувственность, бесчеловечность.
Это роднит сильнее, нежели совокупление
или же кровь! Естественно, что стремиться
к сходству с вещами не следует. С другой стороны, когда
вы больны, обязательно выздоравливать
и нервничать, как вы выглядите. Вот, что знают
люди после пятидесяти. Вот почему они
порой, глядя в зеркало, смешивают эстетику с метафизикой.

Март 1989

Шеймусу Хини

Я проснулся от крика чаек в Дублине.
На рассвете их голоса звучали
как души, которые так загублены,
что не испытывают печали.
Облака шли над морем в четыре яруса,
точно театр навстречу драме,
набирая брайлем постскрипtum ярости
и беспомощности в остекленевшей раме.
В мертвом парке маячили изваяния.
И я вздрогнул: я — дома, вернее — возле.
Жизнь на три четверти — узнавание
себя в нечленораздельном вопле
или — в полной окаменелости.
Я был в городе, где, не сумев родиться,
я еще мог бы, набравшись смелости,
умереть, но не заблудиться.
Крики дублинских чаек! Конец грамматики,
примечание звука к попыткам справиться

с воздухом, с примесью чувств прапаматери,
 обнаруживающей измену праотца —
 раздирали клювами слух, как занавес,
 требуя опустить длинноты,
 буквы вообще, и начать монолог свой заново
 с чистой бесчеловечной ноты.

1990

К переговорам в Кабуле

Жестоковейные горные племена!
 Всё меню — баранина и конина.
 Бороды и ковры, гортанные имена,
 глаза, отродясь не видавшие ни моря, ни пианино.
 Знаменитые профилями, кольцами из рьжья,
 сросшейся переносицей и выстрелом из ружья
 за неимением адреса, не говоря — конверта,
 защищенные только спиной от ветра,
 живущие в кишлаках, прячущихся в горах,
 прячущихся в облаках, точно в чалму — Аллах,

видно, пора и вам, абрэкам и хазбулатам,
 как следует разложиться, проститься с родным халатом,
 выйти из сакли, приобрести валюту,
 чтоб жизнь в разреженном воздухе с близостью к абсолюту
 разбавить изрядной порцией бледнолицых
 в тоже многоэтажных, полных огня столицах,
 где можно сесть в мерседес и на ровном месте
 забыть мгновенно о кровной мести
 и где прозрачная вещь, с бедра
 сползающая, и есть чадра.

И вообще, ибрагимы, горы — от Арарата
 до Эвереста — есть пища фотоаппарата,
 и для снежного пика, включая синий
 воздух, лучшее место — в витринах авиалиний.
 Деталь не должна впадать в зависимость от пейзажа!
 Все идет псу под хвост, и пейзаж — туда же,
 где всюду лифчики, и законность.
 Там лучше, чем там, где владыка — конус
 и погладить нечего, кроме шейки
 приклада, грубой ладонью, шейхи.

Орел парит в эмпиреях разглядывая с укором
 змеиную подпись под договором
 между вами козлами, воспитанными в Исламе,
 и прикинутыми в сплошной габардин послами,
 ухмыляющимися в объектив ехидно.
 И больше нет ничего нет ничего не видно
 ничего ничего не видно кроме
 того что нет ничего благодаря трахеме
 или же глазу что вырвал заклятый враг
 и ничего не видно мрак

1992

* *
*

Л. С.

Осень — хорошее время, если вы не ботаник,
если ботвинник паркета ищет ничью ботинок:
у тротуара явно ее оттенок,
а дальше — деревья как руки, оставшиеся от денег.

В небе без птиц легко угадать победу
собственных слов типа «прости», «не буду»,
точно считавшееся чувством вины и модой
на темно-серое стало в конце погодой.

Все станет лучше, когда мелкий дождь зарядит,
потому что больше уже ничего не будет,
и еще позавидуют многие, сил избытком
пьяные, воспоминаньям и бывшим душевным пыткам.

Остановись, мгновенье, когда замирает рыба
в озерах, когда достает природа из гардероба
со вздохом мятую вещь и обводит оком
место, побитое молью, со штопкой окон.

1995

* *
*

Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию,
тигры торгуют на улице полосами и обручами,
под прохудившимся куполом, точно в шкафу, с трапеции
свещивается, извиваясь, фрак
разочарованного иллюзиониста,
и лошадки, скинув попоны, позируют для портрета
двигателя. На арене,
утопая в опилках, клоуны что есть мочи
размахивают кувалдами и разрушают цирк.
Публики либо нет, либо не аплодирует.
Только вышколенная болонка
тявкает непрерывно, чувствуя, что приближается
к сахару: что вот-вот получится
одна тысяча девятьсот девяносто пять.

1995



ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ



НОЧНЫЕ БДЕНИЯ С ИОГАННОМ ВОЛЬФГАНГОМ ГЁТЕ

Рассказ

Не знаю, как на кого, а на меня чтение действует расслабляюще, нездорово. Стоит мне накануне углубиться в какую-нибудь злостно-художественную вещь, особенно если она относится к сокровищнице девятнадцатого столетия, как ближе к ночи я начинаю бредить. Коли это будут, предположительно, «Севастопольские рассказы», то я словно наяву наблюдаю атаку сардинцев на четвертый бастион, причем собственноручно бью по макаронникам из трофейного штуцера и до того натурально ощущаю кисло-прелый запах пороха, как будто палят у меня в сенцах. Коли это будет, предположительно, «Преступление и наказание», то меня обуревают такое чувство, точно вовсе не Раскольников, а я сам ненароком зарубил топором двух женщин, причем я доподлинно осязаю правой ладонью шершавое топорщице и с часу на час ожидаю появления следователя Порфирия Петровича, который грозно и одновременно вкрадчиво постучит во входную дверь. Коли это будет, предположительно, Салтыков-Щедрин, то я себя явственно вижу «мальчиком без штанов».

Таким образом, бред мой (если только это взаправду бред, а не выход в какое-то иное бытийное измерение) в высшей степени увлекателен, во всяком случае, он куда заманчивее действительности, при том что наша отечественная действительность — весьма заманчивая действительность, а кроме того, с удивительным постоянством дарит меня вроде бы посторонними мыслями насчет вящего обустройства российской жизни. Например, в результате знакомства с «Историей Рима» Моммзена в позапрошлый четверг мне пришло на ум, что хорошо было бы у нас отгородить тротуары колючей проволокой и таким образом скостить количество дорожно-транспортных происшествий. А то я в шестнадцатый раз перечел «Гамлета, принца датского» и внезапно сообразил, что в тот момент, когда электричка подходит к платформе станции, стоять надо лицом к толпе, а вовсе не к электричке, что позволяет избежать опасности (или ожидания опасности, что, по сути дела, одно и то же, поскольку нервный русский человек не так боится опасности, сколько опасности опасности) ...избежать опасности сгинуть ни за понюх табаку от руки завистника, наемного убийцы, тайного недоброжелателя, агента секретной службы или обманутого супруга. В свою очередь, Рабле навел меня на ту мысль, что в качестве борьбы с промискуитетом мужчины должны носить газовые юбки, а женщины — кожаные штаны.

И вот в один прекрасный день я взял в нашей библиотеке томик лирических стихотворений Иоганна Вольфганга Гёте. Как сейчас помню, это был вторник, 4 октября; в тот день я не пошел с малярами красить в подвале стены, в результате чего лишился творожного коржика на десерт, а весь день провалялся в своей постели, мусоля «Мариенбадскую элегию», которую Иоганн Вольфганг Гёте написал уже будучи стариком, — немудрено, что в среду он мне явился.

Случилось это так... Было около двенадцати часов ночи, когда что-то дернуло меня вдруг, точно некто невидимый схватил за рукав халата, побудило подняться с постели, сунуть ноги в домашние тапочки и подойти к моему окну, — а обитаю я, давайте заметим, на пятом этаже, с которого виден шпиль гостиницы «Ленинградская», что на площади Трех вокзалов. Это замечание насущно по той причине, что, подойдя к моему окну, я увидел за ним лицо Иоганна Вольфганга Гёте; оно было бледно подсвечено как-то снизу, точно к подбородку поднесли едва теплящуюся свечу, глаза смотрели внимательно и сурово. Если бы я обитал на первом этаже, то, наверное, не очень бы удивился (мало ли кто у нас шатается по ночам из любителей заглядывать в окна, включая людей известных), но мне было решительно невдомек, каким образом Гёте умудрился воспарить до уровня пятого этажа. Хотя немцы — народ изобретательный и коварный, они категорический императив выдумали, на них не приходится удивляться, как на промысл высшей силы.

И в ту среду, и во все последующие разы, когда мне являлся Иоганн Вольфганг Гёте, он был одет в темно-синий фрак с золотыми пуговицами, от которого здорово припахивало чем-то затхлым: то ли гробом, то ли нафталином — не разберешь, на ногах у него были короткие панталоны, белые чулки и дамские лакированные туфли с невероятно большими подагрическими шишками с внутренней стороны стоп. Лицо у него было необыкновенное: сливовые глаза источали доброжелательность и тоску, из ушей росли волосы, а нос был предлинный, примерно в полторы нормальных величины, и оттого создавалось впечатление, будто он не совсем человек или человек, принадлежащий к какой-то четвертой расе. Я знал, что мой великий немец лет на семь старше Моцарта, но выглядел он благообразным, крепким еще стариком, подтянутым и отлично знающим себе цену.

Беседовали мы с Гёте бог весть на каком языке, вроде бы по-русски и вроде бы по-немецки, но при этом досконально понимали друг друга, не оставляя места иносказаниям и темнотам. Почему-то мне с первых же слов стало понятно, что Гёте постоянно путешествует во времени и в пространстве, что он в курсе многих наших событий и обстоятельств, что ему куда больше нравится посещать прошлое, нежели будущее, считая от даты его кончины, что он ко всему потерял интерес и томится своей звездой.

Итак, в тот памятный вторник я весь день провалялся в своей постели, мусоля «Мариенбадскую элегию», которую Иоганн Вольфганг Гёте написал уже будучи стариком, — немудрено, что в среду он мне явился.

Бдение первое

Ну-с, отворил я окно, и Гёте, на одно мгновение расщепившись на квадратики, как на атомы, перешагнул черед подоконник, будто через порог. Первым делом он приятным движением оправил на себе фрак, затем осмотрелся по сторонам и уселся в мягкое кресло с овальным сальным пятном на спинке.

— Что это вы читаете? — спросил мой великий немец и указал на книгу, которую я все еще держал в руке, заложив указательным пальцем незаконченную страницу.

— Да вас, собственно, и читаю, — ответил я. — Если точнее, «Мариенбадскую элегию», если честно — в двадцатый раз. Вот читаю, читаю и все никак не могу понять: зачем вы ее, собственно, написали?

— Ответить на этот вопрос несложно. Я сочинил мою «Мариенбадскую элегию» для того, чтобы возможно полно отобразить чувства зрелого человека, носителя субстанции любви, который покорен вечной юностью мира. Вообще же художник работает для того, чтобы передать непосвященным свое чувство жизни во всех ее проявлениях — от глубоко интимных переживаний до социально-экономических катастроф. Таким образом, поэт делает живое ощущение действительности и способность выра-

зить это ощущение. Следовательно, чем дотошнее и полнее художник изобразит действительность, тем более он велик.

— Боюсь, что в этом случае, — сказал я, — не было бы существенной разницы между изящной словесностью и «комнатой смеха», где так любит дурачиться наше простонародье. То есть, по-вашему, выходит, что литература работает исходя из принципа зеркального отражения, только немного вкривь и немного вкось, сообразно степени живости ощущения, но тогда, по мне, грош цена всемирной литературе, потому что квалифицированному читателю подавай не внешность вещей, а суть!

— Странный вы человек... — снисходительно сказал Гёте. — Да ведь искусство существует не потому, что оно кому-нибудь нужно, а потому, что оно существует. Вот возьмите два кофейника: один покрытый копотью, а другой начищенный заботливыми руками. В закоптелом кофейнике вы не увидите ничего, кроме вещи, необходимой в хозяйстве, а в начищенном — все, что ни пожелаете, от собственного носа до небесных светил. Так вот литература существует по той же причине, по какой существуют начищенные кофейники.

— Полагаю, что если бы литература представляла собой явление, до такой отвлеченной степени довлеющее себе, то она ни в коем случае не сыграла бы в истории земной цивилизации столь грандиозной роли. Видимо, в том-то все и дело, что изящная словесность испокон веков открывала заинтересованному человеку перспективы иного — я подчеркиваю это прилагательное, — иного материального и надматериального бытия, в силу чего и была насущна.

— Вы слишком высокого мнения о человечестве, — весело сказал Гёте. — Тысячелетиями книги пользовались успехом только потому, что нечем было заполнить унылые вечера. То же самое касается музыки: великому композитору дано слышать нескончаемую музыку мира и переносить ее на нотную бумагу, тем самым занимая досуг отборной публики, а бродячий шарманщик знай себе крутит ручку своего ящика, увеселяя наших немецких дурней, — и в результате все довольны, но не более того. Впрочем, мне бы очень хотелось разделить ваш оптимистический взгляд на вещи, и в связи с этим я предлагаю следующую аллегория: душа поэта отражает сияние солнца в кромешной тьме, как луна ночной порой сеет свой серебряный свет на крыши, сады и пашни. Кстати заметить, теория отражения световых лучей, или учение о цветах, — это мой конек. Вам, случаем, не попадалось мое «Учение о цвете»?

— Сожалею, — ответил я.

— Думаю, это самое дельное сочинение из тех, что я оставил немцам. Весьма поучительная книга, особенно если принять во внимание пропасть несообразностей, которые допустил Исаак Ньютон. Например, мои наблюдения за изменением цвета снега дают богатую пищу для взыскательного ума. В полдень, при наиболее ярком солнце, на расстоянии восемнадцати — двадцати миль снег выглядит желтым, даже красновато-желтым, в то время как бесснежная местность утопает в синеве. Этот феномен не удивляет, так как известно, что соответствующая масса промежуточной мутной среды придает белому снегу, отражающему полуденное солнце, темно-желтый оттенок, но решительно опровергает путаника Ньютона, который утверждал, будто воздух имеет свойство все окрашивать в синий цвет. Если бы воздух сам по себе был голубоватым, то снег на гигантском пространстве должен был бы светиться голубизной или хотя бы молочной голубизной, но не отливать желтым или красновато-желтым цветом...

— Хорошо, — сказал я, — давайте посмотрим на проблему с оптической точки зрения. Если мы с вами договоримся, что литература не способна заинтересовать нас перспективой иной материальной или надматериальной жизни и посему она не так насущна, как инсулин для шизофреников и страдающих диабетом или как водка для горьких пьяниц, то с оптической точки зрения у нас получается чепуха!.. Ибо у каждого человека имеется совершенный оптический аппарат — глаз, который способен воспринимать

свет в крошечной тьме, то есть вопреки злой прозе жизни, и, следовательно, всякий непоэт есть тот же поэт, но только он не умеет писать стихи.

— В сущности, так оно и есть, — легко согласился Гёте. — Иначе чего бы стоил венец Творенья!..

— Однако давайте встанем на позицию читателя, — предложил я. — Ну посудите сами, зачем ему тратить время на какой-нибудь толстенный роман какого-нибудь почтенного романиста, который знаменит описаниями прекрасных восходов солнца, если читатель сам тысячу раз наблюдал утреннюю зарю, но только самостоятельно он ее не способен изобразить... Неужели единственно того ради, чтобы, закрыв книгу, провозгласить: ты погляди, как мужик похоже описывает, ай да Пушкин, ай да сукин сын?

— Кто такой Пушкин? — спросил мой великий немец, и глаза его приобрели внимательное выражение.

— Как?! — изумился я. — Вы про Пушкина не слышали?! Странно, ужасно странно... У нас существует предание, будто вы ему послали свое перо.

— Это, впрочем, не исключено, у меня было много корреспондентов, а уж сколько я своих перьев поразослал — это не сосчитать.

— Пушкин — наш великий поэт и прозаик, даже сначала прозаик, потом поэт. Для русской культуры он был тем же, чем вы были для немецкой, только немного круче.

Гёте сказал:

— Я знаю только одного истинно великого прозаика — это блистательный Вальтер Скотт. Но и он был не без греха: например, в той сцене, где Айвенго встречается с королем в деревенской харчевне, Скотт в цветах описывает костюм августейшей особы, между тем отсутствие мутной среды и яркий свет пламени в камине непременно должны были смазать гамму и окрасить предметы в темно-оливковые тона...

— Стало быть, с одной стороны, всякий непоэт есть тот же поэт, но только он не умеет писать стихи, а с другой стороны, изобразительность представляет собой генеральное направление всякой литературы, причем этим направлением ангажировано девять десятых всех писателей и поэтов. Нет, это прямо умора: сочинитель из кожи вон лезет, ночи не спит, наживает себе язвенную болезнь — и все для того, чтобы в результате кельнский или тамбовский обыватель сказал: похоже...

— Все дело в том, — с каким-то сахарным выражением молвил Гёте, — что произведения изящной словесности вовсе не адресованы большинству, даже читающему большинству. Ибо всех ухищрений и красот этих произведений не способен освоить ни ремесленник, ни политик, ни бюргер, ни филистер. Кстати заметить, единственным политиком, который что-то понимал в литературе, был Наполеон. Во всяком случае, когда мы с ним беседовали в Эрфурте в 1808 году, он высказал довольно глубокие суждения о моем «Вертере». Но, я думаю, это случай исключительный, ведь Наполеон был, в сущности, не человек, а монстр или, лучше сказать, стихия. Недаром остановить его не могла ни одна армия мира, и предел вожделениям сначала положили ледяные степи России, а затем непосредственно перст Божий, указавший маршалу Груши гибельное направление в битве при Ватерлоо. Даже глядя на бюст этого великого человека, понимаешь, что он был монстр. Правда, у меня бюст Наполеона стоял в темном углу комнаты и поэтому частенько приобретал фантастические черты. Если посмотреть на него со стороны света, то он давал все градации синевы, от молочно-голубого оттенка до темно-лилового. А если смотреть на бюст против света, то он давал все градации желтизны. Занятно, что при свечном освещении он переливался всем великолепием активных цветов вплоть до рубиново-красного. Остается только удивляться этому филистеру Ньютону, который не видел простых вещей...

— Мы с вами застряли на том, — строго напомнил я, — что произведения изящной словесности адресованы вовсе не читающему большинству.

— Ну да. Собственно говоря, полностью исчерпать произведение изящной словесности, принадлежащее перу одного писателя, способен только другой писатель. Только ему доступно все значение экспозиции, только он постигнет внутреннюю гармонию целого, только он оценит архитектонику сложной фразы.

— Таким образом, писатели пишут для писателей?..

— В общем, да. Разве что гений увлекает за собой стихию литературы, поднимает ее до своего уровня и тем самым способствует развитию посредственности, способствует качественному росту увеселительно-демократической литературы, а она-то как раз обывателю по зубам.

— Жалкий жребий! — потухшим голосом сказал я.

— Совершенно с вами согласен. Да еще нужно принять в расчет, что даже и гений способен на новое слово, на открытие только технического характера, но отнюдь не на новое слово по существу. И тем не менее как в государстве почти никто не хочет просто жить и радоваться жизни, а все хотят управлять, так и в искусстве почти никто не хочет наслаждаться уже созданным, а все стремятся непременно творить свое. Чудаки! Тем более чудаки, что все, что следовало написать, было написано еще до Рождества Христова. Недаром лучшее из сочиненного Шиллером — это его письма. Правда, гениальная литература может иметь еще историческое значение, ибо никакой Моммзен так достоверно не передаст дух жизни Древнего Рима, как его передаст Петроний. Но скажу откровенно: знай я в молодости, сколь много прекрасного уже существует в течение столетий, я не написал бы ни единой строки и подыскал бы себе какое-нибудь другое занятие.

— И тем не менее после вас были написаны сотни тысяч толстенных книг.

— Нужно же чем-то заниматься людям с воображением, — сказал Гёте и сделал протяжный выдох. — Но что верно, то верно: по крайней мере, после Эразма литература — занятие бессмысленное и праздное, и мне трудно взять в толк, что заставляет одних людей писать, а других читать. Хотя, по подсчетам Шиллера, драматических положений существует около сорока, в действительности сочинители из простаков пишут о том, что жизнь есть жизнь, художники не без дарования настаивают на том, что жизнь прекрасна, а гении вещают: жизнь прекрасна, но жить нельзя. Полагаю, что если действие пьесы можно сформулировать одной фразой, то и занавеса не следует поднимать.

— Следовательно, — сказал я, — дело обстоит так: тысячелетиями одни люди на свой лад эксплуатируют тему «жизнь прекрасна, но жить нельзя», а другие люди тысячелетиями читают про то, что жизнь прекрасна, но жить нельзя. Это что же у нас тогда получается?..

— Получается, в сущности, ерунда. Посему не исключено, что сочинением и чтением книг занимаются люди не совсем нормальные, то есть нормальные, но не очень, у которых в крови недостает какого-то ценного элемента. Вероятно, тем и другим достаточно было бы простого общения, доброй застольной беседы, недаром говорят, что Дидро гораздо лучше рассказывал, чем писал.

— Но, с другой стороны, — сказал я, — трудно отрицать, что каждый серьезный писатель несет с собой что-то новое, хотя бы невиданный характер или свежий поворот темы. Я уже не говорю про выдуманные миры.

— Полноте, сударь! — весело сказал Гёте. — Вот если бы какой-нибудь писатель новый знак препинания выдумал, тогда бы я еще призадумался, ибо тут дело пахнет наукой. Ведь только наука открывает новое знание, причем главным образом потому, что учеными движет объективная причина — священное любопытство, а литература может быть нова и неповторима только в той степени, в какой ново и неповторимо у каждого человека расстояние между верхней губой и носом, поскольку каждый писатель воспроизводит не объективное, а себя. Уж на что велик Вальтер Скотт, а и этот на поверку не более чем прозаическое пособие по Шекспиру. Вот, к слову сказать, был у нас в Веймаре булочник, который по

субботам выпекал хлеб размером с тележное колесо, — по вкусу тот же самый хлеб, но только булка размером с тележное колесо. Так вот между по-этом-новатором и этим булочником я существенной разницы не нахожу. Разве что поэт сочиняет от страха смерти, а впрочем, и булка размером с тележное колесо — это тоже своего рода протест против бренности нашей жизни. Позвольте предложить вам еще одну аллегория: значит ли, что на небе всякий раз появляется новое светило, когда под разным углом зрения воды моего Ильма окрашиваются то в желто-серое, то в маренго с янтарем, то в глубокую синеву...

— Странно, — прервал я моего великого немца, — вроде бы я не сумасшедший и не круглый дурак, а между тем дня не живу без книги.

— Сейчас видно, что вы воспитывались не при дворе.

— Это вы к чему?

— К тому, что вы меня все время перебиваете, хотя я вас старше на двести лет.

— Ну, извините...

— С удовольствием принимаю ваши извинения.

— Разрешите мне продолжить, уж коли воспитывался я и правда не при дворе. Если я как читатель есть в некотором роде преемник писателя, то значит ли это, что я понапрасну теряю время?

Гёте сказал:

— Я вовсе не настаиваю на том, что писать и читать суть занятия вредные. Я веду к тому, что круг эстетических и нравственных понятий, необходимых для человека, настолько узок, а сами эти понятия так давно и накрепко внедрены в нас Богом, что, в общем, можно и не читать. Иов вон вовсе ничего не читал, а был прекрасным человеком, и наш прародитель Адам катался как сыр в масле, пока не покусился на избыточное знание о добре и зле. Но художественное творчество — это особь статья. И пчела созидает, и бобер мастерит, но способность и страсть к творению как бы действительности и как бы живых людей есть, по всей вероятности, аномалия, так как эта способность и эта страсть выходят за рамки той программы, в соответствии с которой существует и развивается все живое. Вы согласны, что в биологическом отношении человек несколько не совершеннее лошади?

— Ну, согласен.

— Между тем это нормально, когда лошадь возит воду, и это аномалия, когда она сочиняет теологические трактаты.

— По-вашему выходит, — с некоторой обидой в голосе сказал я, — что норма — это когда человек пашет, жнет, ест, пьет, рождает детей и умирает от скарлатины.

— Так оно, скорее всего, и есть. Истина в том, что человеком должно быть в меру, если ты хочешь дожить до седых волос. Если же ты берешь на себя дерзость творения — жди беды. Ну чем были, скажем, войны до изобретения доменных печей? Банальными потасовками вроде тех, что мы можем наблюдать по субботам возле портерных заведений. И вот попомните мое слово: дар творения доведет человека до катастрофы...

— Стало быть, чтение побоку? — сказал я.

— Это хозяин — барин.

На какое-то время мы замолчали, каждый думая о своем. Вдруг заиграло радио у соседа — следовательно, исполнилось шесть утра. После государственного гимна передавали последние известия: алжирские фундаменталисты требовали от президента Ширака, чтобы тот принял ислам и повелел парижанкам носить чадру. Гёте спросил:

— Кто это разговаривает за стеной?

— Радио, — сказал я.

— Ах да... радио!.. Вот видите: вы додумались до говорящих устройств, изобрели множество других хитрых приспособлений, а между тем манеры у вас дурные, как у франкфуртских скорняков середины семнадцатого столетия, поскольку вы, милостивый государь, все время перебиваете старика.

С этими словами Гёте стал таять, таять, и через считанные секунды проступило овальное сальное пятно на спинке кресла, которое он только что занимал.

Около восьми часов утра ко мне зашел сосед Волосков, уселся на край моей постели и закурил. Я у него спросил:

— Что у нас сегодня в программе дня?

— Водопровод в подвале будем чинить. Больше вроде бы ничего.

— Что-то наш Красулин раздухарился...

— Его тоже можно понять: начальство-то нажимает, потому что есть-пить, колотья, на прачечную, туда-сюда — от этого не уйдешь.

Я повернулся на другой бок и впился глазами в стену. Чувство было такое, точно у меня отняли что-то насущное, без чего нельзя жить, как без зубной щетки и табаку. «Ах да! — сообразил я. — Это с чтением покончено безвозвратно и навсегда». Мне действительно было ясно, что я уже ни за что не смогу читать без того, чтобы не чувствовать себя дураком, который по бесхарактерности покоряется шарлатану гипнотизеру или по легкомыслию подыгрывает в какую-нибудь нехитрую игру вроде детского домино.

— Ты с кем это трепался всю ночь? — спросил меня Волосков.

— Да так... заходил один товарищ обменяться впечатлениями, а что?

— Да ничего. Это я к тому, что сам до трех часов ночи спорил с Красулиным на предмет Куликовской битвы. Поскольку Красулин дурак, да еще отравленный патриотическими настроениями, то он, конечно, стоял на том, что Куликовская битва — величайшее событие в нашей истории, показавшее всему миру несокрушимую мощь русского человека. Я же, со своей стороны, доказывал ему то, что куликовская авантюра, организованная князем Дмитрием Ивановичем и Сергием Радонежским, была именно авантюрой! Ну как же не авантюра, если всех сил в стране хватило только на то, чтобы разгромить армию какого-то темного темника Мамаю, если через два года князю Дмитрию пришлось позорно бежать из Москвы, оставив ее на разграбление Тохтамышу, если татарское иго длилось еще сто лет, наконец, если наша зависимость от Орды была чисто номинальной, как зависимость Армении от римского сената, и мы тихо-мирно существовали под сенью ордынского бунчука. Хулиган был этот князь Дмитрий, безответственный и честолюбивый мальчишка, а вовсе не национальный герой, каким его рисуют Карамзин, Соловьев, Ключевский и наш идиот Красулин!..

Я спросил:

— Послушай, Волосков, ты давно не мылся?

— Да, наверно, недели с две.

— То-то и оно! — сказал я и принялся одеваться.

Бдение второе

В четверг Гёте явился мне самым обыкновенным способом — через дверь. Около полуночи кто-то ко мне настойчиво постучал, я подумал, что это наконец явился сантехник чинить подтекавший кран, но, отперев дверь (она у меня запирается на самодельный крючок из стали), увидел на пороге моего великого немца и обрадовался, как дитя, хотя накануне он и лишил меня счастья чтения, а впрочем, оно всегда действовало на меня расслабляюще, нездорово. Гёте вошел, приятным движением opravил на себе фрак и уселся в кресло. Затем сказал:

— Итак, молодой человек, на чем мы с вами остановились?

— Мы остановились на том, что технические новинки и дурные манеры — это знамение наших дней. Видимо, вы хотели сказать, что в ваше время манеры были на высоте.

— Мое время было благодатно тем, что всяк сверчок знал свой шесток. Иначе говоря, в мое время у людей не было комплекса социальной неполноценности и посему большой редкостью были смуты. Культурная часть

общества мыслила и предавалась прекрасному, а некультурная часть добывала хлеб насущный в поте лица своего и шастала по шинкам. Впрочем, у нас в Веймаре на десять тысяч поэтов приходилось несколько горожан.

— Позвольте! — воскликнул я. — А французская революция, от которой пошел весь этот базар-вокзал?! А Наполеон Бонапарт, окультуренный Аттила восемнадцатого столетия?! А псих Занд, зарезавший Коцебу?!

— Ну, положим, французская революция — это эксцесс, от которого было гораздо больше шума, чем социальных новелл. И трех лет не прошло со дня взятия Бастилии, как всем, и французам в первую очередь, стало ясно, что революция — «вещь в себе», что она разгорается, потому что она разгорается, и затухает, потому что она затухает, что никакой Мирабо не может помешать производить детей известным образом, что Конвент сам по себе, а хозяйство само по себе и пересечение их силовых линий может дать только трагический результат.

— За такие слова, — сказал я, — году этак в 1792-м вы бы в качестве врага народа точно угодили на эшафот.

— Разумеется, я не могу назвать себя другом революционной черни, которая, под вывеской общественного блага, пускается поджигать, грабить и убивать, ибо это невозможно, чтобы из-за любви к детям люди пускались поджигать, грабить и убивать. Этим дикарям я, конечно, не друг, так же как не друг какому-нибудь Людовику Пятнадцатому, в отличие от беспринципного честолюбца Ньютона, который якшался с британской знатью. Я ненавижу всякий насильственный переворот, ибо он разрушает столько же хорошего, сколько и созидает. Ненавижу тех, кто его совершает, равно как и тех, кто его вызывает. Я радуюсь любому улучшению, которое нам сулит будущее, но моя душа не принимает ничего насильственного, скачкообразного, ибо оно противно природе. Я друг растений. Я люблю розу, этот совершеннейший из цветов, которыми дарит нас немецкая природа, но я не такой дурак, чтобы ожидать цветения розовых кустов в конце апреля. Я доволен, когда вижу первые зеленые листочки, доволен, когда в мае появляются бутоны, и счастлив, когда июнь дарит мне розу во всей ее красоте и благоухании.

— В России, — сказал я, — году этак в 1918-м вы бы тоже угодили, фигурально выражаясь, на эшафот. Из чего я, между прочим, делаю вывод, что история имеет свои константы, а человеческое общество вряд ли движется вперед, но скорее всего зигзагами или, лучше сказать, гаясами и поэтому как-то вбок. Вероятно, минувшее — плохой учитель, а люди — плохие ученики, если из столетия в столетие вершится примерно одно и то же.

— Совершенно с вами согласен! — воскликнул Гёте. — Более того: зная человеческие повадки, нетрудно угадать, что случится в ближайшие десять лет. К примеру, я написал своего «Эгмонта» в 1775 году, во всем придерживаясь закономерностей истории и стремясь ко всей возможной правдивости. И что же?.. Десять лет спустя, находясь в Риме, я узнаю из газет, что революционные сцены, воссозданные в «Эгмонте», до последней подробности повторились во время смятения в Нидерландах!.. Из этого я заключил еще за четыре года до французской революции, что мир неизменен по своей сути и все на свете можно предугадать. Я, кстати сказать, видный прорицатель, я с точностью до одного часа угадал землетрясение в Мессине, о котором газеты сообщили только через две недели. Я за пятьдесят лет предсказал, что будет построен Панамский канал и что его приберут к рукам каналы американцы.

— Кстати о Панаме, — заметил я. — Еще при вашей земной жизни родился один злостный немец, который предсказал, что со временем городские низы повсюду захватят власть и учинят строй всеобщего благоденствия. Что и произошло в России в начале следующего столетия. Этот ваш немец только не угадал, в какую «панаму» выродится предприятие, да еще в «панаму», сверх всякой меры замешенную на крови. Какое легкомыслие, ей-богу, вы только подумайте: миллионы убитых, замученных, обездоленных того ради, чтобы суббота наступила сразу после понедельника и, та-

ким образом, исполнился завет мертвого немецкого еврея, который и Россию презирал, и русских терпеть не мог! И ведь это чисто вавилонское действие развернулось не во втором веке новой эры, где, собственно, и место этой фантазмагии, а в эпоху повсеместной радиофикации и двигателей внутреннего сгорания, сто пятьдесят лет спустя после того, как высказались Дидро, Вольтер, ваша милость, как Лафатер объявил, что смысл жизни заключается в самой жизни, как опростоволосилась французская революция, когда люди давно позабыли о проскрипционных списках, пытках, публичных казнях и предсказателях по кишкам! Вы знаете: просто скучно жить, потому что все наперед известно. Работяги будут по-прежнему гнуть шею, а дураки по-прежнему править бал. Вообще я никак не могу понять, почему люди уповают на будущее, ожидая от него только лучшего, в то время как, может быть, от него именно худшего следует ожидать?! И даже при том условии, что технический прогресс сулит, так сказать, количественное благоденствие, как в случае с радио и телевидением, да ведь в том-то все и дело, что радио и телевидению место в раннем средневековье, когда простонародье обожало ярмарочные клоунады и никто не умел читать! Тем не менее люди с детским упорством ожидают от грядущего только блага, хотя каждая бабка скажет, что, если рассвет багрян, не приходится рассчитывать на вёдреную погоду.

— Дело в том, — заговорил, оживившись, Гёте, — что в определенной воздушной среде багряный цвет способен давать отсветы, близкие к синеве. Например, если зажечь свечу и поставить ее на лист белой бумаги, а рядом поместить палочку, так чтобы огонек свечи отбрасывал тень от нее в направлении дневного света, то с одной стороны палочки образуется синевато-желтая тень, а с другой — чистая синева. Объяснение этого феномена вам знать ни к чему, оно слишком глупо, достаточно и того, что опыт показывает: минорный свет способен давать мажорный отсвет, равно как гнусное настоящее может подразумевать приятную перспективу.

— Сомневаюсь, чтобы в нашем случае имело смысл опираться на законы физики, — сказал я. — Тут скорее работают законы самой забубенной метафизики, о которых мы имеем самое смутное представление и на которых свихнулся сам Исаак Ньютон.

— О да! — горячо согласился Гёте. — Этот человек, несмотря на то что он кое-что сделал для науки, большой был святоша и обскурант!

Я продолжал:

— Во всяком случае, война за испанское наследство — это так же глупо, как финская кампания, проигранная Сталиным, а террор Робеспьера так же нецелесообразен, как освоение целины. И хотя, по логике вещей, мы вроде бы имеем все основания чаять в будущем развитии нравственности и прогресса в общественных отношениях, на деле в лучшем случае ничего не меняется, а в худшем — налицо деградация и упадок. Ну как вам это покажется: человечество преодолело природно непреодолимую силу — земное тяготение, а люди по-прежнему отрезают друг у друга головы и выкалывают глаза. Правда, в старину этих дикостей не стеснялись, и, следовательно, прогресс заключается только в том, что со времен Калигулы появилась масса щадящих формулировок. Вот и вся разница: нынешний мир ужасается страшным своим делам, а давешний мир, в общем, не ужасался.

— А может быть, — предположил Гёте, — вопрос отношения и есть вопрос общественного прогресса?.. Это ли не явный прирост нравственного чувства, если в свое время французы не постеснялись гласно судить и осудить Орлеанскую Деву, а в мое время для вторжений выдумывались почти гуманистические причины?

— Живучи среди людей, невольно приходишь к убеждению, что у них не может быть ничего такого, чего вовсе не может быть. Да вот только даже дикие амазонцы не оправляются у очага и прикрывают срам тряпочками, которые они неизвестно где и берут. А правда: где они их берут?

— Почем я знаю, — с неудовольствием сказал Гёте. — Вот про башкирский лук я вам могу рассказать абсолютно все.

— Ну так вот: если даже амазонские дикари стесняются оправляться у очага и прикрывают срам тряпочками, которые они неведомо где берут, то можно ли говорить об эволюции отношения, каковую вы трактуете как прирост нравственного богатства... Добавлю, что во времена моей юности публику еще коробила матерная брань, а теперь она — молодежный сленг. Впрочем, не исключено, что в будущем столетии публику вновь будет коробить матерная брань, но зато войдут в обыкновение дуэли и кулачные бои на Москве-реке. Тем более не исключено, что вообще развитие социального самочувствия опирается на какие-то постоянные величины. Например, с тех пор как ведется криминальная статистика, нам известно, что существует почти неизменное соотношение между численностью населения и количеством преступлений.

— Тут нечего возразить, — с горечью в голосе сказал Гёте. — В подавленном расположении духа мне иной раз кажется, что наш мир уже созрел для Страшного суда. А зло все растет от поколения к поколению. Мало того, что на нас ложатся грехи наших предков, мы еще передаем потомкам наследственные пороки, отягченные нашими собственными. Однако в человеческой природе заложены чудодейственные силы, и когда мы уже никаких радужных надежд не питаем, оказывается, что она припасла для нас нечто очень благоприятное. Умнее, интереснее, осмотнительнее человечество, пожалуй, станет, но не счастливее и не лучше. Поэтому-то я и опасуюсь, что наступит время, когда человечество перестанет радовать Господа, и Ему придется все разрушить и сотворить мир заново. Я уверен, что дело идет к тому и что в отдаленном будущем уже намечен день и час наступления этой обновленной эпохи. Но времени у нас, конечно, хватит, пройдут еще тысячи и тысячи лет, прежде чем мы перестанем наслаждаться этой доброй, старой планетой.

— Не сомневаюсь, — с ехидцей в голосе сказал я. — Есть еще время надурочиться всласть, учинить шестнадцать мировых войн и сорок две социалистические революции, окончательно отравить атмосферу, покрыть асфальтом альпийские луга, изжить остатки культуры и запродаться в рабство техническому прогрессу, прежде чем лопнет долготерпение Господне и четыре всадника скажут «н-но!». Но я сильно сомневаюсь в том, что со временем человечество станет осмотнительнее и умнее, в каковом сомнении меня укрепляет наш треклятый двадцатый век. Ну кто из просвещенных детей прошлого, изящного, столетия мог подумать, что следующее столетие беременно страшным, всепожирающим оружием, способным за десять минут уничтожить жизнь на нашей «доброй, старой планете»? кому могло прийти в голову, что двадцатый век даст несколько диких деспотий, неслыханных со времен Ашшурбанипала? Наконец, трудно было предположить, что наследники Гегеля и Толстого будут вечера напролет тарашиться в дырку, через которую им показывают голые задницы и дурацкие викторины... И ведь это действительно странно, даже загадочно, даже непостижимо. То есть непостижимо, в силу каких чудесных причин наша цивилизация, набрав скорость, не понеслась во весь дух навстречу прекрасному будущему, а рухнула под откос.

— Тут, собственно, нечему удивляться, — наставительно сказал Гёте, — ибо это не первый срыв в истории человечества. Недели две тому назад я беседовал с одним константинопольским протосевастом, который на досуге изучал историю Рима. Так вот этот почтенный чиновник поведал мне о том, что во времена Октавиана Августа древние римляне со дня на день ожидали пришествия царства Сатурна — так они называли Золотой век; и ни в одну древнеримскую голову не закралось подозрение, что дело кончится бандитами Алариха и тысячелетним мраком обскурантизма. Однако средневековью наследовало Возрождение с его драгоценными творениями во всех областях культуры. Из этого мы можем заключить, что человечество и впредь будет знать взлеты и падения, в сущности ни на шаг не продвигаясь по пути интеллектуального, духовного и нравственного прогресса.

— То-то и оно, — согласился я. — Таким образом, на оптимистических прогнозах относительно общественно-политического прогресса мы можем смело поставить крест. Остается уповать на то... на то... а ведь, в общем-то, не на что уповать. Как было, так и будет, и ничего-то не появится нового под луной, о чем еще в ветхозаветные времена твердил великий старец Екклезиаст. Тем более обидно, что даже такие гении, как Антон Чехов, были абсолютно уверены: через сто лет все люди будут братолюбивы, счастливы и деятельны во благо. Вот воскресить бы Антона Павловича образца 1885-го да дать ему одним глазком поглядеть на житье-бытье его соотечественников в 1995 году, с нищими старухами на каждом шагу, с перестрелками в центре Первопрестольной, — то-то он сгорел бы, наверное, от стыда!

— В сущности, — сказал Гёте, — мрачный или, напротив, светлый взгляд на будущее человечества — это не более чем жанры литературы. Равно как и взгляд на прошлое человечества. Великий Вальтер Скотт заметно идеализировал рыцарскую эпоху, но магия его гения такова, что мы воспринимаем изображенные им картины как действительность, канувшую в минувшем. Вообще объективность необходима в науке, где без нее шагу нельзя ступить, а в искусстве объективность излишня, даже вредна, ибо она противоречит самому принципу художественного творчества. Приведу вам пример из оптики. В долине, тянущейся до Хетшбурга, по ту сторону Ильма, есть гора, которая всегда кажется синей в тумане, поднимающемся над рекой. Но если взглянуть на гору в подзорную трубу, синева поблекнет. Вот вам пример того, какую роль, даже в отношении самого объективного цвета, играет субъект. Слабое зрение усиливает муть, острое же разгоняет ее или по крайней мере проясняет, но в том-то все и дело, что гора тут же теряет цвет...

— А ведь, согласитесь, — сказал я, — все-таки хочется верить в будущее?

— Охотно с вами соглашаюсь, — ответил Гёте.

— Но это глупо, — сказал я.

— Глупо, — поддакнул Гёте, как-то передернулся и исчез.

Некоторое время я думал о том, где все-таки амазонские дикари берут свои тряпочки для прикрытия срама (как известно, многие племена полностью отрезаны от цивилизованного мира, а ткацкого производства они не знают), и эти размышления занимали меня приблизительно полчаса. После я зашел за Волосковым, и мы с ним отправились в подвал латать водопроводные трубы, так как накануне наша бригада не уложилась в рабочий день. По пути Волосков, помешавшийся на отечественной истории, рассказывал мне о том, что последнее посажение на кол совершилось в России в 1721 году, осудили несчастного последыша по делу царевича Алексея, и поскольку был он мужчина тертый, его еще и тулупчиком прикрыли, чтобы он не умер от переохлаждения организма.

Наши уже все собрались в подвале — бедолаги сидели на корточках вдоль стены и курили газетные самокрутки. Разговор шел о новом издевательстве, которое придумал подлец Красулин.

— ...А главное, ничего с ним не поделаешь, если ему дали над нами такую власть.

— Удивительно: вроде бы институционально нормальный мужик, не псих, а воображение у него работает довольно литературно.

— Я же вам говорил, что он Чехова начитался. Дайте срок — он еще сочинит что-нибудь наподобие замка Иф.

Волосков спросил:

— Что опять выдумал этот змей?

— Завтра пойдем пустые бутылки собирать в Сокольнический парк. А кто понахальней, будет просить милостыню у метро. Такой кудесник этот Красулин, что перед ним меркнет народный вокабуляр.

— Да как же я буду собирать милостыню, если на мне такой подозрительный епендит?!

— А что такое епендит?

— Это одежда по-древнегречески.

— А как по-древнегречески будет сволочь?

— Это чисто русское понятие, — объяснил Волосков, — и в других языках аналогов не имеет. Сволочами киевляне прозвали дружинников князя Владимира, которые сволакивали их насильно креститься в Днепр.

— А по мне, хоть вагонку воровать, только бы Красулин не разогнал нашу славную гоп-компанию.

— И разгоню! — заорал на ходу Красулин, показавшийся в конце подвального коридора. — И разгоню, если вы будете плохо себя вести. Ну чего вы канючите, если все равно другого выхода у нас нет! Вам русским языком говорят: поскольку в стране развал, поскольку усилиями чужеродного элемента дело идет к нулю, включая даже такую святую отрасль народного хозяйства, как медицина, придется, товарищи, попотеть.

Засим мы принялись за работу. Лично я щипал паклю, смачивал ее в солидоле и передавал Волоскову, который задумчиво менял фланцы, и в результате до такой степени провонял солидолом, что когда ближе к ночи мне снова явился Гёте, он долго принюхивался, водя туда-сюда своим видным носом и соображая, чем это так неприятно пахнет.

Бдение третье

В ту пятницу я проснулся посреди ночи, пошел на кухню заварить чай, а когда вернулся, мой великий немец уже сидел в кресле и вертел носом туда-сюда. (Следует, вероятно, заметить, что кресло это я ухитрился украсть из антикварного магазина, и как ни силились у меня переманить эту не совсем легитимную вещь, я держу ее при себе.)

— Все забываю у вас спросить, — сказал я, усаживаясь на постели. — Вы серьезно считаете Вальтера Скотта великим писателем своего времени?

— Не только своего времени, — сказал Гёте, — но и на все будущие времена.

— Не смею спорить, но, во всяком случае, в мое время Вальтера Скотта читают только дети и дураки. Либо слава этого автора — ошибка периода, ибо литература шагнула далеко вперед, либо вы потому восхваляете Вальтера Скотта, что он был писатель слабый. Что касается последнего пункта, то это не удивительно, ибо даже великий Лев Толстой считал лучшим писателем своего времени какого-то Полякова, а Шекспира терпеть не мог. Относительно второго пункта могу сказать, что только пошляк Николай Первый ставил Вальтера Скотта выше великого Пушкина, но с него взятки гладки, поскольку он был пошляк. По первому пункту с прискорбием объявляю, что великий Белинский считал Жорж Санд светочем русской литературы.

Гёте сказал:

— Во всякой табели о рангах ошибки не исключены. Например, Ньютона называли гениальным ученым, а он сравнительно был простак. Полагаю, что и вы преувеличиваете, называя великими всех ваших национальных писателей, — я, по крайней мере, ни о ком из них не слыхал. Ну кто таков хотя бы этот самый Белинский?

— Белинский — примерно шестнадцать с половиной ваших Лессингов вместе взятых.

— Ну, если так, тогда он велик, как Бог.

— Вы, пожалуйста, не смейтесь, ибо для немцев ничего тут смешного нет. Плакать немцам следует в связи с этим литературным феноменом, а не смеяться, если величие Лессинга приходится умалить с лишним в шестнадцать раз. Не спорю: русская литература восемнадцатого столетия уступает немецкой по всем статьям, да и первое европеизированное произведение нашей словесности, «Ода на взятие Хотина», как известно, принад-

лежало перу лейпцигского студента. Но литература девятнадцатого столетия нашей российской фабрикации нейдет ни в какое сравнение с литературами Америки и Европы. Не угодно ли пример? Менее всего стремлюсь вас задеть, однако вот вам отрывок из вашего «Фауста», который написал наш великий Пушкин...

И я на память прочитал моему великому немцу «Сцену из Фауста», по мере возможного выделив голосом заключительные стихи:

Фауст

Что там белеет? говори.

Мефистофель

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочка злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно к нам завезена.

Фауст

Всё утопить.

Мефистофель

Сейчас.

Гёте молчал. Он молчал, наверное, с полминуты, постукивая по подюкотнику средним пальцем.

Я сказал:

— Нужно сознаться, что я переиначил по-своему предпоследний стих в арии Мефистофеля. У Пушкина: «она недавно вам подарена».

Гёте сказал:

— О, это ничего...

Я сказал:

— Если не считать, что по этому принципу работает вся современная литература. Нынешние писатели только знай себе буковки переставляют, поскольку им нечего сказать миру, по крайней мере они не способны предложить ничего нового в рассуждении литературного вещества. Вообще я полагаю, что изящная словесность кончается, постепенно сходит на нет, хотя бы по той причине, что пишут всё больше, а читают всё меньше, да и то преимущественно чепуху. Писателей же развелось как собак нерезанных, потому что при настоящем положении вещей, когда нужно только буковки переставлять, все пишут, кому не лень. В сущности, русская литература кончилась на Бунине, который закрыл рассказ, как закрывают математические разделы. Кстати спросить, вы не находите, что литература сродни науке?

— И даже в значительной степени, — подтвердил Гёте.

— Поэтому, как и наука, литература прогрессирует или чахнет. Не в том смысле, что она может изжить себя, как алхимия, или что она становится красочней либо жиже, а в том смысле, что она движется от наблюдения к опыту, от опыта к теории и закону. Например, литература античности почти исключительно наблюдала над природой человека, литература нового времени уже ставила опыты, искусственно вводя персонажи в разные реальные положения, девятнадцатый век уже умел объяснять реакции, в которые вступали элементы литературного вещества, а русская литература девятнадцатого столетия вообще работала отвлеченно, отправляясь от теории и закона. Последним, и посему совершенным, наблюдателем в нашей словесности был Александр Пушкин — мы и тут несколько запоздали, — но только наблюдателем в стиле бога. Гоголь уже объяснял реакции, так

сказать, на молекулярном уровне и вывел формулу «Скучно на этом свете, господа». Наконец, Федор Достоевский явил фантастический реализм.

Гёте спросил:

— Как это прикажете понимать?

Я сказал:

— Это вот как следует понимать: вообще князя Мышкина быть не может, но в принципе князь Мышкин обязан быть. Главное достижение этой школы состоит в том, что она дала неслыханное качество литературного вещества. Это вещество у Достоевского довлеет себе и отправляется не от действительности, а от законов его искусства, причем действительное пристегивается того ради, что все же происходит действие не на Марсе. Кроме того, Достоевский покончил с рассказом как единственным и универсальным методом литературы, он научился извлекать корень из действительности и выводить за знаком равенства ту или иную абсолютную величину. Позвольте аллегорию: вся литература до Федора Достоевского — это выращивание винограда из декоративных соображений, а Достоевский стал изготавливать из него вино, и все потому, что ему свойственно некоторое простодушие, граничащее с нахальством. Когда все это понимаешь, читать и правда невмоготу. Впрочем, и то ясно как божий день, что по сравнению с русской литературой девятнадцатого столетия все прочие литературы представляют собой астрономию Клавдия Птолемея по сравнению с гелиоцентрической истиной наших дней.

— А я и не подозревал, что Европа так отстала от России, — с некоторым сарказмом заметил Гёте.

— Тем не менее это факт. Вот вы даже имени Пушкина не слышали, между тем ваши стихи у нас каждая губернская барышня знала наизусть, а в 1826 году вас избрали почетным членом Российской академии.

— Об этом я и правда не подозревал.

— А все потому, что Европа по-детски эгоистична, самодовольна и ничего не видит дальше своего носа. И вот спрашивается: а какие, собственно, у нее на это имеются основания?! У нас в России любой старшеклассник образованней вашего сенатора, русская женщина — существо утонченное, как субъективный идеализм, культурный русак настолько человек будущего, что он представляет собой категорию, непостижимую для Европы. Вы же, то есть представители романо-германской группы, — главным образом взрослые дети, которые набивают карманы дрянью, с умным видом беседуют о преимуществах стирального порошка и любят песенки про собак. Немудрено, что в то время, как в России создавалась литература порядка интегрального исчисления, Бальзак дотошно описывал быт пройдох, Диккенс оплакивал свое детство и творил анемичные сочинения нелепейший из бессмертных Виктор Гюго.

— У Виктора Гюго, — сказал мой великий немец, — в романе «Собор Парижской Богоматери» есть одна ошибка, непростительная для такого крупного художника. Когда он описывает ночную столицу, заполненную толпами горожан, то часто дает цвета. Между тем в темно-мутной среде и только при условии факельного освещения различимо лишь сумрачно-желтое и глубокая синева.

Я сказал:

— Только в мое время у европейцев появились более или менее серьезные писатели вроде Марселя Пруста, да и те, поди, Достоевского читались. И чего Европа чванится — не пойму!

— Полагаю, — сказал Гёте, — русские сами виноваты в том, что Европа смотрит на них с чувством некоторого превосходства, вернее, изредка вспоминает о существовании России с чувством некоторого превосходства, когда у вас случается очередной скандал. Помню, в 1824 году только и было разговоров в Веймаре что о наводнении в Петербурге. Причем наша публика не столько соболезновала несчастным, сколько изумлялась дикому гению Петра Первого, который по своей деспотической прихоти построил новую столицу посреди местности, вовсе непригодной для су-

ществования человека. Это тем более странно, что русскому императору показывали дерево, на котором вода Невы оставила очень высокую отметину, но вместо того, чтобы прислушаться к советам осмотрительных людей, Петр велел это дерево срубить, как персидский царь Дарий приказал выпороть Мраморное море. Не сомневаюсь в том, что если бы Фридрих Великий приказал построить новую столицу на Мазурских болотах, его упрятали бы в сумасшедший дом, а в России все сошло донельзя гладко, если не принимать во внимание несколько тысяч рабов, которые погибли от голода и болезней.

— Что правда, то правда, — сказал я, — с царями нам действительно не везло. У вас Фридрих Великий вольнодумцев привечал, ваш герцог Карл-Август всё театры строил, а у нас, в то время как Спиноза выдумывал свое богочеловечество, колдунов в нужниках топили, Петр Великий людей аптекарям на вивисекцию отдавал, при императрице Елизавете аристократам чуть что резали языки, а уж в Сибирь угодить за какие-нибудь путевые заметки — это и поныне в повестке дня. Но обратите внимание: беззаконие, произвол, предварительная цензура, а между тем русские знают французскую литературу лучше самих французов, — к чему бы это?..

— Вероятнее всего, к тому, — предположил Гёте, — что русские вечно тщатся приобщиться к европейской цивилизации, ибо биологически они принадлежат к европейской расе, и у них вечно ничего из этого не выходит, ибо они душою и разумом азиаты.

Я сказал:

— Согласен, в Европе мы чужие, да ведь и в Азии мы чужие... Вообще Россия — не территория, а планета.

— Тем хуже для России. Европейцу, для того чтобы чувствовать себя уверенно, вовсе не обязательно прочесть всего Шиллера, и даже не обязательно знать о его существовании, а достаточно досконально владеть своим ремеслом, которое обеспечивает ему хлеб насущный и независимость, чтить закон и по воскресеньям ходить к обедне. В России же, насколько мне известно, законы не чтят, дела своего не знают, к Богу относятся либо излишне чувственно, либо непонятно враждебно — и поэтому ради душевного спокойствия напропалую читают Байрона и Гюго. Русские спасаются начитанностью, как англичане бытом, французы легкостью, итальянцы ребячеством, немцы обстоятельностью, финны водкой. Что же касается цензуры, то я даже в какой-то мере приветствую ограничение свободы печати, хотя бы потому, что всякое стеснение окрыляет дух. Ничем не ограниченная свобода ведет не столько к обогащению литературы, как к духовному господству филистера и абсолютизации вкуса черни, которой по нраву шарманка и кукольные представления вроде Пульчинеллы.

— Я тоже всегда считал, что цензурные притеснения благотворно влияли на нашу литературу, побуждая ее развиваться внутрь, почему, кстати сказать, в ней почти ничего нет о правах человека, а все больше речь идет о страдании и душе. Но тогда тем более удивительно, что Европа перед нашей культурой отнюдь не ломает шапку.

Гёте сказал:

— Дело в том, что Европа скорее привержена ценностям народной культуры, нежели культуры элитного слоя общества, а народной культуры в России нет.

— Позвольте, как это нет?! А частушки, а политические анекдоты, а «хохлома»?!

— Я прежде всего имею в виду ту иерархию ценностей, сообразно с которой строится существование человека. Скажем, даже в самой периферийной немецкой деревушке крестьянские дома опрятны и красивы, ест немец аккуратно приготовленную пищу при помощи вилки и ножа, еще в семнадцатом столетии немец читал по утрам газеты, а по субботам отдыхал с приятелями в кегельбане за кружкой пива. А у вас?

— А у нас в квартире газ! — вспыхнул я, но, впрочем, немедленно взял себя в руки и продолжал: — В периферийных деревушках ничего этого у

нас нет. Какая-нибудь дворняжка, которой хозяин по пьянке отрубил хвост, — это, положим, есть, а кегельбанов, конечно, нет. Зато у русских несравненно выше культура человеческого общения и вечера напролет у нас не спорят о котировке ценных бумаг на бирже. Вообще средний немец — извините, это я, кажется, повторяюсь, — средний немец по сравнению со средним русским есть престарелый ребенок, которого и огорчает чепуха, и радуется чепуха. Ну как же он не ребенок, если он может жить интересами городского Общества арбалетчиков и часами таращиться на театральные шествия, которые бывают по выходным!..

— Я скажу больше, — добавил Гёте, — немцы такие болваны, что во время революции 1848 года они прежде всего потребовали от властей, чтобы в театрах простонародье допускалось в партер и бельэтаж!

— А у нас в 1919 году собирались обучить эсперанто всю Красную Армию, чтобы революционные солдаты и матросы, которые «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем», могли свободно общаться с испанскими пролетариями где-нибудь на берегу Бискайского залива и обращать их в свою религию. Из чего я с прискорбием заключаю, что русские тоже большие дети. Ну как же они не дети, если охотно дали себя обмануть компании мрачных доброжелателей, обещавших через два-три года устроить рай!..

Гёте сказал:

— То-то и оно, что простонародье везде пребывает в перманентном состоянии детства и только время от времени выпадает в стадию младенчества, что случается в периоды социально-политических потрясений, когда у черни в очередной раз зубки режутся, когда у нее поднимается температура и развивается агрессивность. В свою очередь, и культурные люди повсюду одно и то же, независимо от национального и расового самочувствия, по крайней мере, я знаю немало немцев, с которыми можно вечер напролет проговорить о переселении душ, и как-то меня посетили двое знатных русских, которые полчаса молчали и смотрели на меня, как на гиппопотама, сбежавшего из зверинца.

Я сказал:

— К сожалению, культурные люди не делают погоды ни в Австралии, ни в Европе.

Гёте сказал:

— Я так не думаю. Все зависит, как ни странно оно покажется, от того, какое детство выдалось у нашего обывателя, счастливое или злое. Немцы сравнительно наивны потому, что они отбесились еще во времена Реформации, что быт немецкого простонародья установился, утрясся, что пришли в равновесие его возможности и запросы, и, в сущности, это великое достижение цивилизации, что немца и огорчает чепуха, и радуется чепуха. Ибо это означает, что он оставляет политикам делать политику, а литераторам делать литературу. Русское же простонародье безумствует оттого, что общество еще пребывает в стадии броуновского движения, что в нем творятся бедлам, и люди еще не разобрались между собой, кому следует заниматься политикой, а кому должно писать стихи. Поэтому в России все знают всё, толкуют о высоких материях и ни одного дела не доводят до логического конца. А ведь это катастрофа, когда больше одного процента населения страны толкует о высоких материях и меньше одного процента следит за котировкой ценных бумаг на бирже, ибо это означает, повторяю, что общество находится в состоянии хаоса и беды. Если бы у склонности русских к отвлеченному умствованию была какая-то иная причина, кроме вздорного характера и неспособности к последовательному труду, то вряд ли они столетиями существовали бы в условиях деспотии. Вот вы похвалитесь, что у русских высока культура человеческого общения, что они знают французскую литературу лучше самих французов, что у вас любой старшекласник образованней нашего сенатора, но тогда ответьте, пожалуйста, почему этими небожителями испокон веков управляют людоеды и дураки?

Я сказал:

— А потому, что русские в крайней степени самобытны, что какие бы то ни было европейские институты им тесны...

— Пожалуй что так, — согласился Гёте, — особенно если к категории самобытного мы отнесем сиамских близнецов, бородатых женщин и некоторые особенности африканской кулинарии.

— Но самобытны не в смысле избыточных качеств, вступающих друг с другом в нескончаемые противоречия, хотя и в этом смысле тоже, а в том смысле, что вот немцы проголосуют раз в четыре года в пользу социалистов или христианских демократов — и очень рады, а русские придут к избирательным урнам и отдадут свои голоса первой футбольной лиге или кордебалету Большого театра, и при этом совсем не рады.

— На такие саркастические выходки, — сказал Гёте, — англичане были способны только при Иоанне Безземельном, а немцы — в эпоху Крестьянских войн. Из этого я делаю заключение, что русские не лучше и не хуже немцев, просто им как нации предстоит еще некоторый путь развития до той стадии, когда о существовании Шиллера будет известно довольно узкому кругу лиц.

— Эх, ваше превосходительство! — с горьким выражением сказал я. — Последнюю радость вы у меня отнимаете!

— Что делать, что делать... — как бы в спешке ответил Гёте.

Ответил — и мгновенно исчез, точно картинка с телеэкрана.

Мужики не соврали: в тот день мы действительно частью подбирали пустые бутылки в Сокольническом парке, частью нищенствовали возле метро, в том месте, где начинается ряд ларьков. С чего Красулин взял, что у нас с Волосковым имеются задатки к этому последнему занятию, — не пойму. (Кстати замечу, что в лице моем, кажется, нет ничего, вызывающего сострадание или жалость, а в характере — того простодушия, граничащего с нахальством, которое отличает гениальных писателей, страховых агентов и наглецов.)

Подавали нам редко, исключительно мелочью, и один молодой человек вручил по ломтю краковской колбасы. Но вообще роль городского попрошайки показалась мне занятной и даже острой, всего скорее по той причине, что это все-таки была роль, а кроме того, я был все время сосредоточен на лицах прохожей публики и поневоле заметил то, чего раньше как-то не замечал. Именно я заметил, что лица у всех, на кого ни погляди, мрачные, замученные, как бы спрятавшиеся в себя и словно бы томимые одной и той же тяжелой мыслью.

Я сказал:

— Интересно, о чем они все думают, Волосков?

— А я почему знаю, — последовало в ответ.

— Вон идет парень в бейсбольной кепке, и такое у него, заметь, выражение на лице, точно он обмозговывает теорию относительности. А ведь вряд ли его терзает теория относительности, скорее всего он, подлец, думает о том, как бы выманить у тещи антикварное канапе.

— Пускай он лучше думает о канапе, целей будет.

— Это ты о чем?

— О том, что я в течение пятнадцати лет занимался отечественной историей, в результате пришел к выводу, что единственно органичное для русского человека государственное устройство — это реальный социализм, на чем, как ты понимаешь, и погорел. Собственно, само понятие «реальный социализм» эти люди со Старой площади похитили у меня, только вложили в него превратное содержание. Поэтому на практике у них получился подслащенный феодализм, а я с ноября шестьдесят девятого года формально растворился в небытии.

Больше в тот день мы с Волосковым не говорили. Некоторое время я развлекал себя тем, что каждого потенциального милостивца рисовал у себя в воображении усопшим, в гробу и с венчиком на челе, так что мне в конце концов даже стало не по себе в окружении будущих мертвецов. Затем мне пришла в голову очередная дельная мысль насчет вящего обу-

ройства российской жизни: я подумал, что, если бы каждый гражданин, хотя бы по два часа в день, простаивал с протянутой рукой, это было бы полезно и для кармана, и для души.

Бдение четвертое

В субботу вечером я с нетерпением дожидался моего великого немца, так как у меня возник к нему вопрос чрезвычайной важности, который я почему-то не удосужился задать прежде. (Я вообще от природы несколько туповат, начитан, понятлив, восприимчив — и все-таки туповат, из чего я делаю заключение, что в одно и то же время можно быть сравнительно умником и сравнительно дураком.) А Гёте все не шел. Уже замолчало радио у соседей, уже со всех сторон до меня доносился храп, когда наконец Гёте пролез сквозь стену, как пролезают через дырку в заборе, приятным движением одернул на себе фрак, уселся в кресло и дал знак рукой, что ему надо бы отдышаться.

— Инда взопрел, — сказал он примерно через минуту, а я подумал: «Откуда он набирается этих слов?» По совокупности фактов я пришел к заключению, что я у Гёте не единственный собеседник, что, может быть, он ходит поговорить не только куда-нибудь в район Тишинского рынка, но и удаляется во времена Москвы стародавней, когда еще были в ходу эти реликтовые слова. Одно было решительно непонятно: почему он является по ночам не в Германии, а в России.

Я сказал:

— Чтобы в дальнейшем не рвать нить нашего разговора, давайте вы сначала выскажетесь в адрес Ньютона и по поводу учения о цвете.

— Охотно, — согласился великий немец. — Шиллеру досталась в наследство некоторая недосказанность у Шекспира, Байрону — пессимистическая тенденция Юма, а мне, бедняге, — одни ошибки Исаака Ньютона, из которых, собственно, и выросло мое «Учение о цвете».

— Прекрасно! А теперь у меня вопрос: если вы существуете как дух, то, стало быть, существует загробный мир?

— Как вам сказать... — отозвался Гёте. — И да, и нет. То есть как бы существует — и как бы не существует. Насколько я понимаю, огромное большинство людей умирает полностью, вместе со своей плотью, а незначительное число продолжает существование в качестве духов, которым, впрочем, дано облекаться в плоть. Этих последних я частенько встречаю на земле в природном обличье и даже в одежде своей поры. Живые их не замечают в толпе, а я сразу узнаю, и не по одежде даже, ибо таковая может быть нейтрального характера, а по ненормальному цвету глаз. Представьте, как-то на Большой Грузинской я встретил Ньютона! И неприятная же у него физиономия, просто как у лавочника, дающего деньги в рост!

— Тогда логично будет предположить, что мир иной населяют одни выдающиеся фигуры...

— Отнюдь нет. Однажды я встретил в загробном мире некоего плотника из Оснабрюка. Впрочем, не исключено, что этот плотник был в своем роде Клопштоком или Наполеоном, не проявившимся в земной жизни. А может быть, он был просто плотник из Оснабрюка и более ничего.

— В таком случае, непонятно, — сказал я, — по какому принципу одни люди обрекаются на вечное небытие, а другие — на вечное бытие.

— Это действительно непонятно, однако нужно принять в расчет, что посмертное бытие до некоторой степени объективно, то есть оно как бы рождается из последней, предсмертной, грезы.

Я сказал:

— Зато понятно, что все мировые религии не врут, обещая нам жизнь за гробом в обмен на достойное поведение на земле. Хотя опять же непонятно: полная смерть — не вознаграждение ли это за муки жизни, а вечная маета — не кара ли она за несправедные дела?

— Трудно сказать, — усомнился Гёте. — Во всяком случае, нет такого древнеримского безобразия, которое многократно не повторилось бы в более поздние времена, из-за чего довольно скоро теряешь интерес к бродяжничеству во времени и в пространстве. С другой стороны, в мире ином мне встречались великий похабник Беранже, несколько известных бражников и такой видный дурак, как король Баварский. Из святителей церкви мне попадался только Франциск Ассизский, да и того я видел неотчетливо, поскольку в мутной среде световые лучи преломляются примерно под углом пятнадцать градусов...

Я сказал:

— Это и правда сбивает с толку. То есть не поймешь, как себя вести, чтобы выслужить у Создателя эту самую маету. А вдруг и воровать не возбраняется, и баловаться с чужими женами, и нагнетать революционные ситуации, но под страшным запретом послеобеденный сон и танцы?!

— По крайней мере, тут есть над чем поразмышлять культурному человеку, вернее, посомневаться, ибо культурные люди суть не столько разум всякой нации, сколько ее сомнение. Простонародье сомнения не знает и знать не должно, для него существует Церковь, и это мудрое установление Бога. Незамутненный свет божественного откровения слишком чист и ослепителен — и поэтому невыносим для простых смертных. Церковь же выступает благодетельной посредницей: она смягчает и умеряет, стремясь всем прийти на помощь и сотворить необременительное знание для всех.

— Я бы сказал прямее: Церковь — это упрощенный вариант Бога, популярная алгебра, духовная истина, адаптированная в соответствии с возможностями ребенка и босяка. Наконец, Церковь — народный театр, а это тоже немало. Но мы-то с вами знаем, что Бог неизмеримо сложнее учреждения святого Петра и вряд ли совместим с принципами еkkлeзии.

Гёте сказал:

— Ничего не поделаешь, приходится мириться с этим противоречием, поскольку огромное большинство людей наивно, как сочинения Лафонтена. Кстати о писателях: уж на что великий писатель Вальтер Скотт, а и тот в письме ко мне как-то изобразил на трех страничках из четырех... что бы вы думали: холл своего замка, захламленный старинными доспехами, экзотическим оружием и прочей дрянью, которую я, напротив, держу у себя в кладовке.

— Кстати о писателях, — сказал я, — если священство вынуждено удалять паству от Бога, чтобы она, фигурально выражаясь, не обожглась, то, может быть, писатели, изо всех сил стремящиеся сблизить людей с Богом, и есть истинное священство?

— Это несомненно так, — согласился Гёте, — вернее, это было бы так, если бы вообще вопрос бытия Божия был вопросом жизни и смерти. Видите ли, агностицизм, равно как и слепая набожность, свойствен людям малокультурным, и следовательно, оголтелым, для которых жизненно важно, чтобы Бог был или чтобы Его не было. Для первых это жизненно важно потому, что они слабы духом и телом, посему не мыслят своего существования без опоры на божество, для вторых потому, что это божество им мешает озорничать. Людям же культурным отлично известно, что Бог есть, но это знание ничего для них не меняет. Например, для меня было бы достаточно одного факта существования Рубенса, чтобы раз и навсегда уверовать в Бога, но в силу этого знания ничто в мире для меня не изменится, я не уйду в монастырь и не стану носить вериги.

— Одно странно, — заметил я, — то есть не странно, а вполне в русле ваших последних слов. Еще лет за сто до сошествия Сына Божия на нашу грешную землю Цицерон сказал: если бы в результате бессмысленного движения атомов сам собой сложился наш совершенный мир, это было бы такое же чудо, как если бы двадцать четыре буквы латинского алфавита сами собой сложились в «Анналы» Энния, — и, таким образом, совершенно покончил с агностицизмом. Тем не менее две тысячи лет спустя русские революционеры, публика, надо сказать, начитанная, не убоялись по-

губить многомиллионный народ ради его же блага. Погубили они народ хотя бы в том смысле, что сделали явью его идею: лучше ничего не делать за десять копеек, нежели что-то делать за три рубля. Или Богу Богово, а пострелять — это подай сюда?..

Гёте сказал:

— Для революционеров Бога ни под каким видом не существует, потому что в мире существует зло, и они, по народному поверью, клин вышибают клином. Между тем бытие Божие не опровергается наличием в мире зла, как оно не доказывается фактом изобретения стеарина. Единственно бесспорное свидетельство в пользу Бога, по моему мнению, таково... В силу рождения, воспитания и самостоятельного приобщения к культурным ценностям человек обретает частицу Святого Духа и уже не принадлежит самому себе, ибо, например, насилие сильного над слабым в порядке вещей, а человек, как заколдованный, отвращается от зла и, по крайней мере, ориентирован на добро. То есть, если человек интуитивно склонен к добру, если эта склонность у него в крови, Бог безусловно есть. Поэтому для него не существует основного вопроса философии, он даже может ничего не знать о Святой Троице и Нагорной проповеди Христа, ему не обязательно ходить в церковь, это прибежище людей жестоких и злых, ищущих Бога как руководителя и спасение, ибо он не нуждается в узде для своих страстей, во всяком случае, ему ни к чему постригаться в монахи или носить вериги. Он даже волен шутить над библейскими чудесами и симпатизировать арианской ереси, поскольку для Бога это значения не имеет. По крайней мере, я не представляю себе всемогущего Творца, который был бы способен сердиться на меня за то, что по средам и пятницам я вкушаю мясные блюда.

Я сказал:

— Вообще-то с чудесами получается закавыка. Я бы, честно говоря, поостерегся шутить над библейскими чудесами.

— Пожалуй, вы правы, — согласился, помедлив, Гёте. — В ветхозаветные времена людей на земле было так мало, что Божественное присутствие сильно бросалось в глаза и чудеса свершались непосредственно, как французская булка делается, в сущности, из земли. То, что Бог накормил пятью хлебами несколько тысяч человек, представляется нам сверхъестественным, но разве не чудо — меценатство, государственные субсидии для бедных, благотворительность, наконец, фантастический рост урожайности за последние двести лет... Просто в новые времена Бог действует опосредованно, может быть, потому, что человечество возмужало и разрослось. На такую уйму народа уже никаких хлебов не напасешься, между тем людям своевременно ниспосланы химические удобрения, паровые мукомольни и более или менее справедливые общественные отношения, которые обеспечивают достаток для большинства.

— Кроме того, — сказал я, — чудеса случаются и в быту. Вот как-то занял я у одной дамы двадцать пять рублей до ближайшего четверга. А я, надо вам сказать, человек чести, если что обещал, то в лепешку разобьюсь, а слово свое сдержу. Ну, приходит четверг, а долг отдавать нечем, денег нет ни гроша, и, таким образом, ставится под удар мое безупречное реноме. Делать нечего — иду я звонить этой даме, извиняться и клясться в том, что, несмотря ни на что, я порядочный человек. Настроение, конечно, поганое, да еще я был, как на грех, с похмелья. И что же вы думаете: в будке телефона-автомата, на полке для записной книжки, лежит сложенная вдвое двадцатипятирублевая бумажка и смотрит на меня сиреневыми глазами!

Гёте сказал:

— У меня тоже был в жизни случай. Как-то возвращаясь с прогулки по Эрфуртскому шоссе, минутах этак в десяти от Веймара, я вдруг внутренним взором увидел, как из-за угла нашего театра мне навстречу выходит особа, которую я уже годами не видел и пожалуй что о ней и не думал. Мне стало не по себе при мысли, что я могу ее встретить, и, к великому моему удивлению, она предстала предо мной, как раз когда я загибал за

угол нашего театра, то есть на том самом месте, где десять минут назад я ее увидел духовным взором! Приходится признать, что и в новейшие времена мы ошупью бредем среди чудес и тайн.

Я сказал:

— Совершенно с вами согласен! Взять хотя бы наши ночные бдения... Ну мыслимое ли это дело, чтобы в конце двадцатого столетия, в эпоху пейджинговой связи и космических путешествий, заурядному москвичу являлось по ночам привидение немца Гёте, обитающего в бесконечно удаленном загробном мире, и живым голосом объявляло, что Бог имеет место, но Он не нужен!..

Гёте возразил:

— Во-первых, Бог нужен значительному числу людей, которые лишены частицы Святого Духа. Во-вторых, у меня нет уверенности, что я привидение, может быть, это всего лишь продолжение моей последней, предсмертной, грезы. В-третьих, мне не известно, откуда я появляюсь, потому что загробного мира не может быть. Логика тут простая: если потусторонняя перспектива уступает известному нам образу бытия, то загробного мира не может быть. Не исключено, что человеческое воображение слишком ограничено в своих возможностях, но тем не менее мне представляется очевидным: нет такого существования, которое было бы богаче, совершеннее земного существования человека, равно как нет мира более прекрасного, чем земной.

Я спросил:

— Значит, и на загробную жизнь не приходится уповать?

Гёте в ответ:

— Думаю, не приходится.

— Я вот тоже всегда считал: что же это за вечное блаженство такое, что же это за Бог, если для того, чтобы вкусить блаженства и узреть Бога, нужно, в частности, угодить под колеса автомобиля, заболеть мучительной болезнью или ненароком вывалиться с пятого этажа!..

— Уповать приходится только на то, — продолжал мой великий немец, — что со временем культура сделает свое дело и отомрет. Видите ли, человеческое существование несет в себе некую таинственную и неисчерпаемую трагичность, глубину которой нам дано почувствовать в максиме «жизнь прекрасна, но жить нельзя». Так вот культура призвана как-то вывести за скобки бытия этот капитальнейший парадокс. Ибо культура есть своего рода костыль, преодоление, средство взаимопомощи, имеющее своей целью преобразование ряда навыков в добавочную генетическую систему. Я не исключаю, что и лошади в необразимо далекой древности на свой манер пережили освобождение культурой, может быть, они даже прошли через сочинение теологических трактатов, а теперь мирно пощипывают травку, радуются погожему дню и безропотно возят воду.

Я сказал:

— В таком случае, я завидую лошадям.

Гёте сказал:

— Я тоже...

Великий немец являлся мне еще одиннадцать раз, итого у нас с Иоганном Вольфгангом Гёте состоялось пятнадцать бдений, но об остальных я пожалуй что умолчу. В сущности, не было такого трепетного пункта, по которому мы бы не прошли, включая вопросы семьи и брака, но, памятуя о том, что Гёте как-то обмолвился: «Есть многое на свете, что поэту надо было бы скорее скрывать, чем рассказывать», я лучше о прочих бдениях умолчу. Всегда выгодней умолчать, если хоть какая-то возможность предоставляется умолчать, ибо умолчание все-таки не так чревато бедой, как безоглядная откровенность.

АЛИНА ВИТУХНОВСКАЯ



МЫ ЖИЛИ-БЫЛИ В ТИРЕ

Давай с тобой прицелимся
из хриплого ружья.
Метко с тобой прицелимся.
Цель — это я.

Мы жили-были в тире.
Такие были правила.
Только одна девочка
настаивала на мире.

Но она была дурочка,
кальмариха в грязных гольфах.
Единственное, что носила
в ранце, — Гофмана.

Читать не умела:
сама что-то выдумала.
Сморкалась в платье. Хотела,
чтоб я выжила.

Девочка-рыба,
дура чумазая,
не люби меня!
Жалко, что тебя не наказывали
и не били.

Я не нуждаюсь в твоей защите,
дегенератка,
выскачка!
Выстрелите.
Я цель.
Прицел.
Улыбочка.
Обратно
меня не тащите.
Я не хочу обратно.

Давай с тобой научимся
хорошо стрелять.
Мне скучно.
Я не хочу
стариться и гулять.

Я не смотрю на звезды, не рисую.
У меня отсутствует аппетит.
Я невыносимо настойчиво существую.
Чувствую только стыд.

Мне ничего не надо.
Пусть сдохну я.
Бабушка на веранде
мне читает Гофмана.

Мне скучно. Я всем завидую.
У меня большая квартира,
глобус, будущее и повидло.
Я буду картинкой в тире.

Я все рассчитываю заранее.
План выстроен.
Хаосу кости будут вправлены
выстрелом.

Девочка играет в санитарку.
Кричит: «Бинт и вату!»
Ручные ее врачи
меня из игрушечной смерти выжили,
вынули из меня соломинку и вишенку
и на странные мои дыры
пришили правильные заплаты.

Меня измучили, пытаюсь удивить и обрадовать.
Время бежало туда, где предметы портились.
Плакала чаще, чем били, и падала.
Видела мертвого. И его больше всех запомнила.

Оба дедушки расползлись морщинами.
Пара-личность оцепенела.
Все люди вокруг были женщинами и мужчинами
настойчиво и как-то остервенело.

Я не хотела пола и возраста,
ненавидела свое имя.
Меня пугали брови и волосы,
зубы, ногти и то, что под ними.

Меня обманывали, что я красивая.
Я не любила все части тела.
Я не могла говорить «спасибо» —
больше, чем не хотела.

Я отвечала, что мне четыре
года, на любые вопросы.
Я думала только о смерти в тире.
Напрасно случались война и осень.

Однажды тебя ко мне привели играть.
Раньше ты был ничто, но маму тобой стошнило.
Ты превратился в сына и братца.
И я сделала вид, что тебя полюбила.

Девочку-дуру звали Ира.
Она оказалась моей сестрой.
Когда ты родился, я похвалила
природу, сделавшую Иру немой.

Она ничего тебе не расскажет.
Мир для тебя не случится.
Я приведу тебя в тир, и ты не заметишь даже,
как я стану жертвой, а ты убийцей.

Вместо школы я вела тебя в тир.
Врала родителям про одноклассников и отметки.
Ты был расплывчат, как воздух. И, пытаясь в тебе найти определенность, из возможных свойств я обнаруживала только меткость.

Но меня огорчало, что мама дура.
И за сучьей своей любовью
вряд ли она обнаружит литературу.
Ей станет только животно больно.

Больно так, как будто в желудке гнилые дыры.
Их будет воплями разъедать.
Жизнь, как и смерть, происходит в тире.
Пойдем со мной, если хочешь все знать.

Кинотеатры, скамейки, скверы —
все скатилось за тира предел.
Самое главное, чтоб ты поверил,
что сам всего этого захотел.

Один раз в жизни мне хватило терпенья.
Я научила брата всему.
Он забыл мое имя и звал мишенью.
Он знал свою цель и не спрашивал, почему.

Он не имел друзей, путая папу с мамой,
дерево с птицей, а солнце с тенью.
В нем не было человеческого. Но самым
странным мне казалось, что и себя он считал мишенью.

Ира толстела, превращаясь в воздушный шарик.
Над тиром нашим часами висела.
Издавала дурные звуки и улетала
за недоступные нам пределы.

Дети ее звали дегенераткой.
Я знала, что даже мама ей тяготится.
Ей плевали в лицо и стреляли в нее рогаткой.
Но она не умела злиться.

Она улыбалась мне, не способная ненавидеть.
Я пинками гоняла ее по дому.
Я задевала многих. Но Иру обидеть
не удавалось — с ней все было по-другому.

Мой план о смерти губила сложность,
пришедшая из Ириных пределов.
В ее безумье была возможность,
которой я не хотела.

Я не могла разрешить задачу, где Ира была искомым,
а все мы — иксы и игреки ее уравнений.
Она казалась гибридом ангела и насекомого.
Я не могла понять, кто из них страшнее.

Я мечтала, чтоб все случилось по плану.
Смерть представлялась простой, как блюдо,
осколки которого всех изранят...

Они образуют источник боли,
 изрежут мамины руки.
 Я хотела не быть и предельно не быть собою.
 Но осколки смыкались кругом.

Ведь смерть, если снова представить ее как блюдце,
 склеят ангелы-насекомые.
 Мне опять придется сюда вернуться.
 Меня никогда не оставят в покое.

Мне приснилась ползучая вечность в тире.
 Как в тюрьме, я там покоя не находила.
 Я молилась богу, которого звали Ира.
 Я проснулась и знала, что сестра нас опередила.

Тир превратился в зеркало. Зеркало стало клеткой.
 В зеркале отражаемый мир расходится пополам.
 На одной его половине навязчивые ответы
 мной вычитываются, сползая по Ириным пухлым губам.

И воздушный шарик ее лица, беспощадно добрый,
 опускается насекомом к бившим его ногам.
 На другой половине мира корчами коридора
 коврик кровавый — по корочкам мозга раскатанный план.

План неизбежен и безуспешен.
 Раком обратным в ничто пробирается брат.
 В счастье своем сумасшедшем он кажется вещью,
 то есть мишенью, которой не надо мешать.

Кинотеатры, скамейки, скверы —
 все скатилось за тира предел.
 Самое главное, что ты поверил,
 что сам всего этого захотел.

После каждого выстрела ты был счастлив.
 Я такого не ожидала.
 Мира, отвергнутого мной, части
 образовывали начало.

Без толку ты выигрывал приз за призом.
 Вместо ничто нам всучили гадость.
 В нас стреляли сбоку, сверху и снизу.
 И вроде бы ничего не осталось.

Но смерть (допустим, что это блюдце)
 словно жизнь продолжалась.
 Мы, склеенные, крутимся,
 вечностью раздражаясь.

Мы никуда не денемся.
 Нас видно из ружья.
 Давай с тобой прицелимся.
 Цель — это я.

Мы жили-были в тире.
Такие были правила.
Только одну девочку
все это не устраивало.

Девочка-рыба,
дура чумазая,
не люби меня!
Жалко, что тебя не наказывали
и не били.

Я не нуждаюсь в твоей защите,
дегенератка,
выскачка!
Выстрелите.
Я цель.
Прицел.
Улыбочка.
Обратно
меня не тащите.
Я не хочу
обратно.

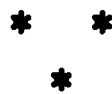
1991.



ДЕНИС НОВИКОВ



И УВИДЕННЫМ БЫЛ ПРЕЛЬЩЕН



В. Г.

Стучит мотылек, стучит мотылек
в ночное окно.
Я слушаю, на спину я перелег.
И мне не темно.

Стучит мотылек, стучит мотылек
собой о стекло.
Я завтра уеду, и путь мой далек.
Но мне не светло.

Подумаешь — жизнь, подумаешь — жизнь,
недолгий завод.
Дослушай томительный стук и ложись
опять на живот.



С полной жизнью налью стакан,
приберу со стола к рукам,
как живой, подойду к окну
и такую вот речь толкну:

Десять лет проливных ночей,
понадкусанных калачей,
недоеденных бланманже:
извиняюсь, но я уже.
Я запомнил призывный жест,
но не помню, какой проезд,
переулок, тупик, проспект,
шторы тонкие на просвет,
утро раннее, птичий грай.
Ну, не рай. Но почти что рай.

Вот я выразил, что хотел.
Десять лет своих просвистел.
Набралось на один куплет.
А подумаешь — десять лет.
Замыкая порочный круг,
я часами смотрю на крюк
и ему говорю, крюку:

«Ты чего? я еще в соку».
 Небоскреbam, мостам поклон.
 Вы сначала, а я потом.

Я обломок страны, совѣк.
 Я в послании. Как плевок.
 Я был послан через плечо
 граду, миру, кому еще?
 Понимает моя твоя.
 Но поймет ли твоя моя?
 Как в лицо с тополей мело,
 как спалось мне малым-мало.
 Как назад десять лет тому —
 граду, миру, еще кому? —
 про себя сочинил стишок —
 и чужую тахту прожег.

Телемахида

Телемак Эвхарису встречает в пути.
 Свой корабль он сжигает дотла.
 — Извини меня, Ментор, с добром отпусти.
 Ложе брачное лучше одра.

И срывается Ментор на мат-перемат.
 Но доносится голос, высок:
 — Не тужи о своем корабле, Телемак,
 это дерева только кусок.
 Не тужи об отце, он давно заторчал
 у такой же, как нимфа твоя.
 Он таких — чтоб сказать поприличнее — чар
 поотведал, такого питья
 из распахнутых уст, из кувшинов живых,
 перевернутых к небу вверх дном,
 что его ни один не волнует жених
 и ни все женихи — табуном.

Добрый день вам, счастливцы, попавшие в цель.
 Вы доплыли до правильных стран.
 Человечества станут качать колыбель
 чудо-нимфы героям в пандан.

Только Ментор кричит: подымись, Телемак.
 И Улисса Афина зовет.
 И от весельных топких тошнит колымаг,
 от сыновних-отцовских забот.

Ты ревнива, Афина. Ты хочешь любви.
 И доспехи истомой текут.
 Покоряемся воле. Но мы не твои.
 Ничего. Скоро боги умрут.

Ирландия

1

Скоро, скоро будет теплынь,
 долголядые май-июнь.
 Дотяни до них, довольнь,
 постучи по дереву, сплюнь.

Зренью зябкому Бог подаст
на развод золотой пятак,
густо-синим зальет Белфаст.
Это странно, но это так.

2

Бенджамину Маркизу-Гилмору.

Неподалеку от казармы
живешь в тиши.
Ты спишь, и сны твои позорны
и хороши.

Ты нанят как бы гувернером,
и час спустя
ужо возьмет тебя измором
как бы дитя.

А ну вставай, ученый немец,
мосье француз.
Чуть свет в окне — готов младенец
мотать на ус.

И это лучше, чем прогулка
ненастным днем.
Поправим плед, прочистим горло,
читать начнем.

Сама достоинства наука
у Маршака
про деда глупого и внука,
про ишака —

как перевод восточной байки.
Ах, Бенджамин,
то Пушкин молвил без утайки:
живи один.

Но что поделать, если в доме
один Маршак.
И твой учитель, между нами,
да-да, дружок...

Такое слово есть «фиаско».
Скажи, смешно?
И хоть Белфаст, хоть штат Небраска,
а толку что?

Как будто вещь осталась с лета
лежать в саду,
и в небесах все меньше света
и дней в году.

* *
*

Повисает рука, отмирает моя голова.
И с похмелья в глазах темно. Похмелюсь — темно.
Ты не любишь меня, ты не знаешь, как ты права,
но... А впрочем, какое нам остается «но»?

Принадлежность постельную можно в ночи кусать.
 Можно чиркнуть лезвием — выйдет ни то ни се.
 Можно бросить все. Но не стоит всего бросать.
 Надо что-то оставить. А значит, оставить все.

Вот потому и славится в вышних, иных мирах.

Переплетясь в объятиях, как бы в мирах иных,
 помнили и в беспамятстве, кто мы такие, — прах.
 И восклицали — Господи! — на языках земных.

* *
 *

1

Для густых бровей,
 как шутил отец,
 ты кормила меня икрой.
 Заточи мой слух,
 расплети крестец
 и небожно глаза закрой.

Я дышал в тебе, продышал пятно
 и увиденным был прельщен.
 Да гори оно,
 воскресай оно
 хоть из пепла, а я при чем?

2

Не орла, не решку метнем в сердцах,
 не колоду, смешав, сдадим.
 А билет воздушный о двух концах,
 потяни на себя один.

Беглецу по вкусу и тень шпалер,
 и блескучий базар-вокзал.
 Как об этом смачно сказал Бодлер —
 мне приятель пересказал.

3

Был я твой студент,
 был я твой помреж,
 симулянт сумасшедший был.
 Надорви мой голос,
 язык подрежь,
 что еще попросить забыл?

Покачусь шаром, самому смешно.
 Черной точкой наоборот,
 что никак не вырастет ни во что,
 приближаясь. И жуть берет.



ВЛАДИМИР САПОЖНИКОВ



АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Рассказ

1

— Э) то Катя, — сказала моя супруга. — Катюша, скажи: «Здравствуйте!»
Руку подавать необязательно.

Большеглазая, белобрысая, мослатые коленки, на голове пышный бант.

— Ты будешь играть со мной в горбачики? — спросила меня.

— Буду. Только я не умею.

— Становись на четыре ножки, будешь конь.

Так в нашем доме появилась Катя, и моя супруга стала домашним репетитором, а я — конем в веселой игре «горбачики».

Готовить Катю по чистописанию и развитию речи моя супруга согласилась не только из-за прибавки к нашей потребительской корзине в виде трехлитровой банки молока, но и потому, что Катя — хорошая девочка, а ее мама, свинарка Анюта, пережила трагедию: в пьяной драке убили ее мужа, и молодая женщина осталась вдовой, а Катя — сиротой.

Теперь к каждому празднику, будь то Пасха, Май или День животновода, Анюта присылала какой-нибудь подарок — нитки мулине, набор иголок, кулек конфет «Раковая шейка». Лично я в День Красной Армии получил варежки из козьей шерсти с отдельным указательным пальцем.

Столь высокая оценка моего скромного участия в успехах Кати не могла меня не растрогать, особенно же этот отдельный палец — чтобы стрелять, наверное.

— Мама сама связала варежки? — спросил я.

Нет, оказывается, бабушка-соседка за месячного поросенка.

— Маме вязать некогда, — объяснила Катя. — Она же на двух работах.

— Как это понимать — на двух работах?

— Клавка пошла в декрет, а телят — кому? Мама говорит: ладно, попою твою группу.

— А ты маме помогаешь?

— Ага. Мама подоит, а я цежу ситечком молоко. И еще подметаю на крыльце и варю Манечке суп.

— Какой ты молодец! Совсем взрослая. А Манечка — это кто? Младшая сестренка?

— Ты прямо как маленький! — удивляется Катя. — Манечка — собачонка.

Скоро я знал весь двор Катиной мамы, свинарки Анюты. Самая главная — корова Милка, ведерница, умная, часы знает. Если мама просыпает на ферму, Милка подаст голос, разбудит. А еще есть подсвинок Мишка, боров Борька, бычок Антон и четыре овечки: Людка, Любка, Глаша, Анжелика.

Катя показала нам Милку, и теперь мы узнаем ее в деревенском стаде, когда, возвращаясь с пастбища, стадо проходит мимо наших окон. Встре-

чает Милку красивая молодая женщина и маленькая собачонка. Женщина протягивает корочку, и они идут потом рядом — корова и хозяйка, обе рослые, статные. У женщины рыжие волосы, белая, как у всех рыжих, кожа, крупные веснушки на лице и легкая походка.

Это Анюта, Катина мама.

Моя супруга говорит ей, что не надо унывать, горе проходит, жизнь продолжается и найдется хороший человек, который поймет и оценит золотое сердце Анюты и благородную, чистую душу:

С Вадимом, отцом Кати, мы не были знакомы, но со слов девочки знали, что он был хороший. Катин папа работал на тракторе, катал Катю в кабине и вообще был самый лучший папа. Закадычная Катина подруга Юлька не согласна: самый лучший — ее папа, в результате чего начинаются ожесточенные споры, и тогда на уроки Катя приходит с замазанными зеленкой локтями и коленками.

Мы привязались к маленькому семейству, радуемся их радостям: Милка хорошо растелилась, Анюте вырешили премию — машину колотых дров, а у Кати вчера в косой клеточке получилась прописная буква «Ф» — такая противная!

Ни этим летом, ни в ближайшем обозримом будущем, казалось, нечего ждать каких-то перемен в жизни Кати и ее молодой мамы, но кто может сказать, что с нами будет завтра-послезавтра?

В то утро на урок развития речи Катя опоздала, бант помят, лицо исплаканное, — опять стычка из-за семейной чести, подумали мы.

— Тебя Юлька побила? — спросила супруга.

Девочка отрицательно замотала головой.

— Мальчишки?

— Мама... Тапочкой...

— Господи, тапочкой... Ты что-нибудь разбила?

— Не разбила. Мама не велела говорить.

— Раз не велела — никому ничего не рассказывай. А где твоя сумочка с букварем?

Сумка с букварем, карандашами и маленькими счетами была забыта. И руки грязные, и на щеках полоски от слез.

— Ты не сердись на маму, — сказала моя супруга. — Твоя мама добрая и любит тебя. Давай умоемся и все плохое забудем.

Умылись под рукомойником, вытерлись чистым полотенцем, но забыть про тапочку оказалось невозможно, и, обняв за шею мою супругу, Катя стала шептать ей в ухо. Дамские секреты, обиделся я и хотел уйти, но в конце концов тоже был приобщен к тайне.

— Мама выходит замуж.

Гром среди ясного неба!

— Тебе мама сказала?

— Не сказала. Я сама подсмотрела. Мама пила с дяденькой вино.

— Ну и что? Почему ты решила, что мама выходит замуж?

— Юлька сказала: раз пили вино — выходит замуж.

— Юлька! Везде эта Юлька! — рассердилась моя супруга. — Невоспитанная девочка. А тебе не надо подсматривать. Может, твоя мама и тот дяденька просто беседовали. И что плохого, если она выйдет замуж? Ей хочется быть счастливой, твоей маме, она молодая, красивая. Садись, руки положи на стол и повтори за мной: человек рождается для счастья, как птица для полета. Не «птиса», Катюша, а «птица», твердое «ц». Цапля. Со счастьем на клад набредешь, а без счастья гриба не найдешь. Клад — это захоронение, на конце твердое «д». Дарья. Хорошо, умница. А кто тот мужчина, с которым беседовала мама? Ты его знаешь?

— Пасечник, дядя Генрих.

Мы знаем пасечника, он проезжает мимо наших окон в зеленой «Ниве» с прицепом, груженным грохочущим железом, бочками, флягами,

канистрами. Пасечник Генрих совсем еще не старый человек, но с бородой, ходит в высоких кожаных броднях.

Но Генрих, сын бабушки Марты, женат! Деревенской молве известно, что он давно живет один, но все еще не разведен.

2

Вадим был еще живой, когда в деревне появились двое: сухонькая старушка с палочкой и мужчина при галстуке, вида руководящего. Бауэры — тетка Марта со старшим сыном Генрихом. Уехали из деревни, когда немцам разрешили передвижение. Старый Бауэр, дед Август, дом свой тогда не продал — заколотил досками двери и окна, так и простояла лет пятнадцать пустая «хаза». Недавно дед Август умер, мать и сын решили вернуться: врачи прописали старушке деревенский воздух, покой.

Генрих, работавший в райцентре по снабжению, уволился, деревенским объяснил, что решил заняться медом, но строиться будет не здесь, а в Гавриловке, на давно заброшенном хуторе. Под пасеку и фольварк арендовал двести гектаров, земля — старая залежь, добротный чернозем, хорошо пойдут медоносы: гречиха, донник. И пасеку ставить будет не стариловскую, на пять — десять пчелиных семей, и не совхозную для отдыха в бору заезжего начальства — товарное производство на двести — триста ульев с элитной рабочей пчелой.

Мужики усмехались: ну, помечтай, Гена, поплануй. Многие так же вот: производство! технология! как за границей! Чаще обмыванием с друзьями все и кончается.

Но у Бауэра, выходило, не только планы и мечты. Рано утром в деревне появилась бригада армян с бензопилами; носатые плотники-работники очистили от лопуха и крапивы подворье, заменили нижние венцы срубленной старым Бауэром избы, обновили крыльцо, ограду, и в обновленную «хазу» вселилась тетка Марта со своими кошками и петухами.

Старушка ходила по улицам с палочкой, но шустро, приветливо со всеми здоровалась. Спросила Анюту, не ходит ли она в церковь.

— А я и молиться не умею, — улыбнулась Анюта. — Я неверующая.

— Ты добрая, значит, верующая, — сказала тетка Марта.

Анюта стала носить ей парное молоко, было приятно посидеть в чистенькой, пахнувшей ладаном комнате, с толстыми книгами с золотыми обрезами на полочке, в переднем углу. Бауэров уважали в деревне: семейство ученое, трезвое, рукастое.

— Ты красивая стала, — сказал Генрих Анюте. — Бегала по деревне босая девчонка, рыжая, цыпки на руках. А теперь дама.

— У меня и сейчас цыпки, — улыбнулась Анюта. — Вот погляди...

Когда Вадима убили, Генрих стал заходить к Анюте, но, чтобы не снимать бродни, садился у дверей. Выпивал холодного, из погреба, квасу, молчал, устало улыбаясь. Доставалось ему на фольварке, лицо заросло густой волосней, глаза да нос. Анюта жалела мужика, хотя чужой был мужик. Шутила: как бы тебе не протянуть ноги на стройке.

— Муттер говорит мне то же самое: не будешь, говорит, богат, будешь горбат.

Однако из его же рассказов выходило: нынешней весной выставлено четыре десятка ульев, пчелки здоровые, работают, есть уже продукт товарный на продажу. Но посредники дерут три шкуры, а самому торговать — во все концы не успеешь.

Заезжая, Генрих оставлял Анюте банку свежего меда, Кате — шоколадку, говорил: благодарность за дружбу с муттер, за помощь старушке.

Анюта прятала дареное: не дай бог, узнает деревня. Рассудят по-злему, нехорошему: вдова, одна, понятно, за что сладкие подарки.

Сильно смутилась Анюта, когда Генрих заехал одетый в чистое, борода аккуратно подстрижена, сказал, что в райцентре ярмарка-распродажа,

нет ли у нее, что продать, и вообще — не хочет ли поинтересоваться, что почем.

День был погожий, народу — море, музыка играет, уже арбузы, дыни — оттуда, где тепло.

Генрих поставил «Ниву» в продуктовый ряд, открыл багажник, уставленный банками с медом. Подмигнул:

— Поторгуем? На бутылочку наторгуем — выпьем...

Мед Генриха был свежий, с весеннего разнотравья. Что же не поторговать? В крупных пасажах еще не качали, товар шел весело. Торговать Анюта любила, работа не пыльная. Чеши себе языком, улыбайся.

Когда Генрих вернулся, Анюта управилась уже, даже деньги рассортировала — тысяча к тысяче.

Из портфеля Генрих достал бутылку игристого и коробку, перевязанную лентой. Бутылку открыл, а коробку протянул Анюте:

— Это тебе, Анна Антоновна.

Анюта прыснула: Анна Антоновна! Никто ее, как старуху, по имени-отчеству не называл. И подарков не дарил, чтобы с алой лентой, с бантом.

— Это не подарок, — сказал Генрих. — Мое тебе предложение. Не буду говорить, какое, — догадайся.

Анюта удивилась: в коробке фартучек кружевной и кокошник — наколка на волосы.

— То ли в официантки приглашаешь? — обиделась даже.

— Угадала, только не совсем. Ты женщина не с улицы, сама хозяйка. Не в прислуги приглашаю, в компаньоны. Моя работа — мед качать, твоя — продавать. Пятнадцать процентов с оборота — твои.

Так для себя нечаянно Анюта стала компаньоном Генриха. Завез на подворье пяток фляг меда, вкопал в землю столик для весов, торгуй не отходя от калитки. Цена своим деревенским чуть пониже рыночной, чтобы не обижались, можно и в кредит. Сигареты, водка, стиральный порошок — попутно.

Деревня узнала о новой, без рекламы и вывески торговой точке, но сигналов участковому не поступало. Зачем, если есть, куда в ночь-полночь постучать: дай флакон, Анютка, душа горит!

Старухи в глаза Анюту хвалили: не промах девка, шаль кашемировую купила, а за спиной корили: не успела законного схоронить — к другому, тихоня, ластится, к женатому, совесть потеряла.

Анюта злилась: совесть! В сельпо за совесть иголки не дадут, а у меня дочь. Катке в школу — форма, ранец, пальтишко теплое. И что мне за дело, что он женатый, у нас не любовь, у нас торговля, этот самый, как его, бизнес. И отвалите от меня, какое кому дело?!

Чего не завезли в сельпо, у Анюты есть. Гвозди, рубероид, сахар-песок — в райцентре бывшему снабженцу приятели-торгаши верят без аванса, без предоплаты. Из центральной усадьбы ехали к Анюте, просили уважить. Чего же не уважить, если с каждой покупки что-то капало и Анюте, а Генриху — на строительство.

Соседи привыкли, что Анюта садится в зеленую «Ниву» и они с Генрихом едут в райцентр за товаром. Не удивились, увидев их в церкви.

Это она, Анюта, упростила компаньона зайти в церковь, поглядеть, как венчаются с молитвами, с ладаном, как меняются золотыми кольцами. Горели свечки, сиял хрусталь, со стен смотрели разные боженьки. И красиво пели невидимые женщины. Слов Анюта не понимала, но ей стало горько, что у нее ничего этого не было и теперь, наверное, не будет.

На обратном пути Генрих свернул с трассы, «Нива» запрыгала по лесному проселку, остановилась у стожка, посреди поляны.

— Отдохнем, компаньон, — сказал Генрих, садясь к стожку. — Расставаться не хочется. Разъедемся, я — один, ты — одна. Слышишь, журавли кричат?

В низине, на болоте, вывелись, должно быть, молодые, они трубно перекликались меж собой.

— Очень сегодня удачный день, — сказал Генрих. — Насчет сантехники договорился, завтра ребята подвезут. — Он взял Анютину руку, погладил шершавой ладонью. — Мне повезло, ты настоящий компаньон. Скоро приглашу, покажу тебе стройку...

— Спасибо за уважение, — засмеялась Анюта.

...Выспавшись, она истопила баню, выкупала дочь, собралась было сама залезть на полок — Женька торкается.

— Гляжу: баня топится, — сказала сестра. — С чего это посередь дня царствуешь?

— В отпуске и свинарка — царица, — отвечала Анюта. — Со вчерашнего дня гуляю. В райцентре была.

— Видела, как за тобой заезжала зеленая «Нива». Хорошо погуляли?

— Погуляли! — вздохнула.

Мылись долго. Сначала младшая парила старшую, потом, подбросив из ковшика, легла на полок Анюта.

— Добра-то у тебя! — сказала Женька. — Стоят, как солдатики, в разные стороны глядят. Дурак твой Черепанов: ни войны, ни беды — убили идиота. Говорила, не ходи за Вадима, то ли не знаешь породу черепановскую?

Вадим посватался к ней первой, но умная Женька отказала. Выбрала невидного, зато работника. Ее Коля и в парнях — ни подраться, ни выпить. И женатым тот же: свиньям вынесет, под корову с подойником, — золото мужик. Трактор у Коли — завел и поехал, кабина что горенка: ни окурка, ни тряпки масленой.

— О чем балакали? — допытывалась Женька, прохаживаясь веником по влажным бедрам, животу Анюты.

— Так, о разном. За руку взял. Сказал, что уважает.

— За руку? Он что, с придурью, немчура бородатая? — возмутилась Женька. — За руку — очень надо! А ты... ты не расстраивайся...

— А я не расстраиваюсь, — сказала Анюта. — Никого не надо, одной лучше.

Обе понимали: городской безмужней женщине, у которой всего богатства — в сумке хозяйственной унести, может, и лучше одной. А если у тебя полон двор хрюкает, мычит, сама за вилы, за топор, овечку зарезать — ножик бери, и везде сама, везде одна?

— Послушай, что посоветую, — сказала Женька. — Истопи ты баню, затащи его, черта бородатого. И не скупись, от тебя не убудет. Я в книжке одной читала: мужчина делается потом как барашек на веревочке. Отхватишь Генриха — деревня зашатается. Не скотник немьтый, в больших начальниках ходил, а что немец — они на работу злые, немцы, не чета нашим саврасам.

— Ему не жена, ему трактор нужен. Чтобы пахала.

— То ли ты не пахешь теперь? Такая уж судьба наша, деревенских, — пахать.

— Ты вроде мне сваха, а я капризничаю. Какие там капризы?! Посвадает — пойду. И пахать буду, не хвораю. Только ведь охота не как у нас, у всех деревенских, серых. Охота, как мечталось: чтобы проснуться утром и рассмеяться. От счастья. А он — рядом. У тебя такое было?

— Не знаю, не помню, — смеялась Женька. — Я девчонкой за офицера хотела, чтобы майор, чтобы увез куда-нибудь, — такая дурочка несуразная. Чтобы в другие страны, от навоза подальше. А судьба вышла — сосед Коля. Увез меня Коля на тракторе в согру. По дрова. Больше вспомнить нечего. Во сне разве что пригрезится.

Женька плеснула на каменку квасом, в бане запахло подовым ржаным хлебом.

— Люди видели его Луизу. Так себе, говорят. Под блондинку крашенная. Худущая.

— Городские книжки читают. А я прочитала листок — глаза слипаются.

— Читать — не сено метать. Зачем ему читательница? Он хозяйство раздувает, ему нужна помощница, работница. Он, немчура, цену тебе знает, только с оглядочкой все, как бы не промахнуться, не заспешить. Ты будь с ним повольнее, расшевели паразита. И не напяливай свитер, брюки. Халат легонький. Под халатом — ничего. Чтобы пуговицы нижней не было. И верхней. И черные пажи — черное на белом в кино показывают.

— Черное на белом! — засмеялась Анюта. — Ладно, поотрезаю пуговицы все до одной. Подбрось-ка еще...

— Мама, — голос Кати из предбанника. — Тетя Валя телеграмму принесла. Из Москвы, сказала. От дяди Олега...

3

На девятины и сороковые Олег не приезжал. Пришли от него деньги. Откуда, всем на удивление, деньги у недавнего солдата, чтобы выслать двести тысяч? После армии Олег остался в Москве не деньги ли рисовать?

Про рисованные деньги Анюта слышала еще в школе. За фальшивую пятерку, которую Олег всучил полуслепой бабке Федорихе, участковый надрал уши, а Вадим добавил на правах старшего брата — дело опасное, тюрягой пахнет.

Вообще-то братья ни черта не боялись, ни одной драки не обойдут стороной.

Телеграмма была почему-то ей, а не черепановской родне: «Готовь годовщину. Вылетаю субботу».

Поминки — это режь овечку, за стол понабьется человек двадцать, а то и больше.

Не будет годовщины. Девятины, сороковые справила, за памятник с карточкой отвалила тысячи, она их не рисует, деньги, не печатает. Обложила могилу дерном; все, лежи, Вадимушка, досматривай сны свои пьяные, больше не приду...

Родня черепановская шушукается: это она, Анюта, подговорила Толика-афганца! Как такое сказать язык поворачивается у змеюк золовок!

В тот день, когда Вадима привезли с реки с развороченным животом, сама чуть умом не тронулась. Из раны несло перегаром, в красном студне дрожали непереваренные кусочки колбасы и лука, но правая рука вцепилась в солдатский ремень с пряжкой, едва разжали пальцы. С этим ремнем и кинулся на друга детства Толика, и вот один в земле, другой в тюрьме...

Шесть лет жизни с Вадимом как долгий день без солнышка. Хорошее тоже было, но вспоминается, как высадил из мотоцикла в комариной согре и уехал, сделав на прощанье ручкой. Анюта вернулась домой под утро, ноги в крови: сапоги Вадим увез в люльке.

Женька кинулась в драку — заступиться. Скаля белые зубы, Вадим покрутил перед ней ремнем. Зайчики от начищенной пряжки забегали по потолку и полу. Женька хлопнула дверь.

Мужики, которые отслужили в армии, говорили: будь ремень у Вадима на поясе — пряжка отвела бы смерть...

Вадим после свадьбы сказал твердо: гваздаться по хозяйству не буду, я не Коля, Женькин батрак, грядки полоть да из овечек репы дергать... Так все шесть лет: на ней дом, хозяйство, дочь, сверх всего — работа казенная. Он, как вечер, — белая рубашка, начищенные туфли — к друзьям в карты играть.

Теперь стало забываться плохое, быльем зарастало, как могила травой-муравой, цветиком-лютиком.

Многое простила за то, что в первую ночь сделал вид, что ничего не понял, не догадался. Даже согру комариную простила. Ту ночь они провели на реке, «на песке». Кукушки только им отсчитывали годы семейного счастья. Много насчитали, одна замолкала, сразу начинала другая... Наверное, он все понял, но не стал допытываться, нарочно плеснул на купальник, была у них бутылка красного, потом толкнул в реку...

Не придирался, где была, с кем стояла. В семейной жизни, говорил, разнообразие даже полезно, только не со своими, не на глазах. Если с кем из деревенских застукаю, не жалуйся: выпорю. Очень больно будет. А вообще почему не поучиться у того, кто поумнее? В дом отдыха — не возражаю, дам денег на дискотеку. Ты, милая моя, из детского возраста еще не вышла, ничего не умеешь.

Принес заграничный видик: смотри, законная, на ус мотай. Как женщины с женщинами, с кобелями, с неграми. Анюту мутило от голого, черного, шерстяного, осклизлого... Глупости это — разнообразие. Нет, при тебе ни с кем не было, лежи, Вадимушка, спокойно. Любовь — другое. Любовь, она никого не боится. Если бы даже при тебе случилась, не испугалась бы ни тебя, ни твоего ремня. Скоро от тебя белые косточки останутся, не встанешь, не выпорешь, как грозил, где она, твоя сила, ненаглядный мой?!

Совсем собралась было отнести свекрови Олегову телеграмму и деньги на годовщину — делайте поминки без меня, но передумала. А Катя? Свекрови она внучка, Олега — племянница родная...

Олега Анюта помнила пятиклассником, волчонок, ехидно скалится, будто знает про тебя гадкое. Чуть не в каждом классе второгодничал. Не исключали только потому, что со всех спортивных соревнований привозил кубки. И служить в Москву попал из-за спорта, там и остался. Родня черепановская гордилась: вот тебе и тройки с минусом — в Москве живет, в чистой квартире, а где и кем работает, рассказывать не велел.

Вадима с Анютой Олег пригласил в гости, деньги выслал: приезжайте оба. Анюта не полетела. Не хватало в Москве только ее, свинарки из таежной деревни, да и от скотины на подворье куда уедешь?

Вернулся Вадим, сверкая золотой коронкой — подарок младшего брата старшему. Про Олегову жизнь в Москве муж рассказывал неохотно: смущало в ней что-то старшего брата. Ковры не на стенах, а на полу, нога тонет. Магазин — спуститься только — прямо под квартирой: апельсины, выпивка, очередей нет. Рубашек ненадеванных, чистых лежит у Олега штук десять.

— Женился, что ли? — спросила Анюта. — Богатую взял?

— Без поллитры не разберешь, — хмыкнул Вадим. — Мы, говорит, друзья. Она, Светлана, хоть и постарше Олега, но не то что вы, коровы деревенские. Тоненькая, мучного не ест, одевается чисто. Друзья, говорит, а ложатся вместе.

4

Толстый Серега на годовщину не пришел, хотя Олег посылал за ним. В суде Серега проходил как единственный свидетель.

Олег нашел его в хлеву: прятался за мешками с комбикормом.

— Я тебя не трону, — сказал Олег дрожавшему от страха Сереге. — Не ты убивал братку, не бойся. Поедем на берег, все покажешь.

— Не поеду, — бубнил Серега. — Что мне там делать? И так чуть не каждую ночь все по новой снится.

— Я два раза не приглашаю, — нахмурился Олег. — «Беларусь» на ходу? Заводи.

На поляне цвели ромашки, из-за реки доносило сосновой смолой, играла в бору иволга. Олег обошел поляну, постоял у забитых в землю деревянных рогатулин кострища. Спросил:

— Тут вы сидели?

— Ага. Целый день жрали то красную, то белую. Они, Вадим с Толиком, разов пять схватывались: подерутся — снова за бутылку. Целуются. Я на суде говорил: не знаю, кто виноватый, кто правый. Вадим целый день подковыривал Толика про Афган. Научи, приставал к Толику, как мужик с мужиком, ты же умеешь. Толик — за жердину, а у Вадима ремень с пряжкой. Кровища с обоих. У Толика глаз заплыл, рубаха клочьями, по

земле катались. Я умирал под берегом со страху, не знаю, когда Толик в кабину прыгнул, а там у меня ружье, патроны. Слышу — замолчали. Выглянул: Толик шагает на Вадима, в руках моя двустволка, на ходу курки взводит. Не стреляй, ору я с-под берега, дети же у вас, гады, злыдни проклятые. Спрятаться бы Вадиму, отбежать вон туда, в березки, а он ремень снял, пряжкой поигрывает. Может, и не стрелил бы Толик, мимо пальнул, только Вадим сам кинулся на ружье. Толик прямо с бедра, не целясь... С обоих стволов...

— Долго... мучился... братка? — трудно разжав губы, спросил Олег.

— Не знаю, Олежек. Я убежал, испугался я. Утром меня следователи сюда обратно привезли. У Вадима все разворочено, печень кусками по траве. С обоих стволов...

— Замолчи!

Схватил Серегу, приподнял, как мешок, шмякнул о землю.

— Убью! — топал ногами. — Все ублюдки, всех передавить, как клопов, всю деревню...

— Меня-то за что? — хныкал, не поднимаясь с земли, Серега. — Что я тебе сделал?

— Застрелили, сволочи, бросили умирать. Он всю ночь, может, помирал один. Ты подходил к нему?

— Говорю, нет, ничего не знаю. Толик выстрелил, а я — за реку, в бор. Ночью дождь пошел. Говорили, у Вадима утром полный рот воды.

Серега попытался встать, но, побряхтев, обмяк снова.

— Сколько дали Толику? — спросил Олег.

— Шесть. Год отсидел.

— Еще, значит, пять. Долго ждать.

— Зачем ждать? Мстить будешь? Убьешь, да?

— А как ты думал? Целовать, как бабу? Убивать не буду. Поставлю на колени — ползи до кладбища. Проси у братки прощения. Землю грызи. И глотай. А я рядом постою, погляжу.

— Нет, не пройдет у тебя такой номер, Олежек, — сказал Серега. — Не будет Толик землю жрать.

— Еще как будет. Руки мои, как собака, лизать будет.

— Толик — не я, Олежек. Он тебя не испугается, такой же зверюга. И ножик из Афгана привез. По дворам ходил. Кому свинью заколоть, кому бычка завалить. Денег не брал, говорил, разминка. Я сам видел: чик ножиком — душа вон.

— Я ему твою двустволку в глотку загоню по самый приклад. Были вы тут лапти — остались лаптями. Погляди, покажу кое-что.

Черемуховую рогатулину, таганец костровый, ударил сверху вниз. Ладонью. Серега не успел глазом соследить — удар страшный. Палка будто сама ушла в землю. Вся, без остатка.

5

Ночевать Олег попросился к Анюте, сказал: в родительском доме тесно, родни городской понаехало.

Анюта постелила ему в зале, сама легла с Катей.

— Пожить бы в деревне с месяц. Порыбачить, на песке поваляться.

— Кто не дает? У родителей корова, куры, живи, поправляйся.

— Я бы у тебя остался. Вадим хвастал: Анюта моя — чистюля. Простыни у тебя хрустят, как в хорошей гостинице. Спасибо.

Говорить «спасибо» научился, образованная, видно, подруга московская, грамотная.

Утром Олег починил калитку, навесил на хлев замок. В Москве, сказал, даже кошек воруют.

— Зачем их воровать? По улицам шастают, бери, неси.

— Какие шастают, а какие — нет, — усмехнулся Олег. — Кошки, как женщины, тоже разные. Есть которые подороже твоей Милки.

— Кошки дороже коровы! Ну, вы там даете, чудики!

— Собаки, попугаи, канарейки, лошади махонькие. Не ездить — для забавы.

— А тебя зачем при квартире держат? Тоже как лошадку?

— Вернусь в Москву, спрошу у Светланы. Лучше про себя расскажи, а то всякое разное болтают.

— Родня твоя старается. Золовки языком чешут, корят, будто я им рабыня подданная.

— Не подданная, а своя, близкая. Торгуешь, говорят, мужики похаживают.

— Я в монашки не обещалась. И торгую, и мужчины бывают. Я, Олежек, замуж выхожу. Телеграмму жди на свадьбу.

— Значит, все правда? А я не хотел верить. За Генриха-немца, а он, говорят, даже не в разводе и не вдовец. Я психанул, не поверил. Не может быть такое, чтобы Анюта после Вадима за женатого. Он же тебя любил, братка, твой девичий грех покрыл. Нам пригрозил: кто вякнет — убью, не ваше дело.

— Я ему отслужила за шесть лет, и не тебе, Олежек, на эту тему выступать. Сам московскую квартиру отрабатываешь, помолчал бы, законник. И вот что, деверек дорогой. Переночуешь, утром завтрак соберу — и прощай, не скучай. Вот Бог, вот порог.

— Перемена к лучшему: разговаривать стала. Тебя бы одеть с побрякушками, причесать... Жаль, влезет хмырь какой-нибудь немыйтый.

— Ты-то давно ли привык умываться? Из того же навозу. Причесывай свою селедку московскую, а мне все вы, Черепановы, хоть бы завтра друг друга перерезали, перестреляли.

— Не сердись, если сказал лишнее. Сестры напели в уши, извини. По-другому хотел с тобой увидеться, по-хорошему. Я и при Вадиме ехал в деревню больше к тебе, чем к сестрам. О чем попрошу. Сходим завтра на кладбище. Последний раз. Мы же ему, братке, самые близкие.

— После работы Катерину соберу.

— Не надо Катю — комары. Когда-нибудь после сводишь.

...Поправили оградку, пропололи. Олег сбегал вниз, к роднику, полить голубевший в ногах Вадима кустик фиалок.

— Ты цветик посадила?

— Сам вырос. Из дернины.

С фотографии в кружке из нержавеющей стали смотрел на них Вадим. С усами, с длинными, по тогдашней моде, волнистыми волосами. Чему-то своему улыбался. Она помнила его улыбочку потаенную: вдруг обозвать грязно с улыбочкой этой, ударить...

Без причины сделалось страшно. На кладбище, кроме них двоих, никого. Кричали вороны.

— Вадим тебя любил, а ты, едва ноги у братки остыли, бегом замуж. Нет, за немца — не верю. Может, фраерок тот снова объявился, дорожкой тореной потоптаться?..

— А хоть бы и он. Я шесть лет с твоим братом как в клетке. Хочу свое взять. И никого спрашивать не буду. И не досматривай за мной, не следи. У тебя есть, за кем следить.

— Светлана — другое дело. Мы вместе работаем. Служим. Дружим. А тебя... тебя я девчонкой помню. Вся школа знала, как ты по том фраерочке обмирала. Сейчас бы встретиться с ним, поговорить.

— Знаю, как вы, Черепановы, разговариваете. Кулаками да матерками. Один вот наговорился, лежит. Я тебе вот что скажу, Олежек: замуж выйду — переменю фамилию. И Катю перепишу на отчима. Научу, чтобы она его папой звала. Чтобы от вас, Черепановых, памяти не осталось. Что он мне оставил, твой братец, на долгую жизнь? Позор. В двадцать четыре года — вдова...

Олег сидел на траве возле братовой могилы, молчал, криво усмехаясь. Откупорил бутылку, разлил в три стакана.

— Прощай, братка, тебе лежать, а нам, говорят, до самой смерти маяться. А может, и правда что-то у нас с тобой не так? Не мечтал же ты в тридцать лет под березкой лечь? Жить хотел, любить, радоваться. Не вышло... Ну, пока. Спи крепко.

Вадимов стакан и все, что осталось в бутылке, Олег вылил на холмик могилы, чиркнул спичкой. Язычки пламени стайкой голубеньких мышек забегали в траве. Пометавшись вокруг пирамидки с фотографией, угасли.

— Вот и все, — сказал Олег. — Погоришь-покрасуешься — погасло. Был человек — и нету. И поехали дальше.

Черемуха в логу доцветала, но белыми шапками занялась рябина, калина. Старухи звали это место Белый лог, брали тут гриб-лисичку, черную смородину, но слава о Белом логе ходила дурная.

— Пойдем березняками. — Олег взял Анюту под руку. — Тропочка тут есть, в школу напрямки бегали, помнишь?

Надо бы Анюте вырваться — и в гору, а там деревня близко, дорога шумит...

Из одного корня росло пять сестер-березок. Деревья, разлетевшись веером, взнимали вверх кудрявые макушки.

— Любимое место мое, — сказал Олег. — Посидим. Хочу тебе, Нюта, сказать что-то. Хорошего, говоришь, не помню, один позор. А у меня было хорошее. Ты. Не забыла свою свадьбу? Ты была красивая, платье белое, а волосы золотые. В Москве я люблю мечтать. С работы вернулся — ты. Зачерпнула ковшиком воды полить мне на руки, мы шутим, смеемся. Не люблю я Москву, там скучно, все злые. Улицы чужие, квартира чужая. Сяду где-нибудь в парке на скамейку, мечтаю о деревне, о тебе... Мне бы на тракторе, как братка, убирать, косить, сено ставить.

— Кто тебе не дает, деревня наша никуда не делась. Приезжай, женись. Девки-невесты в каждой избе.

— Какие это девки! Шелуха. Помнишь, ездили на озеро, сети на карасей ставили? Ты, Вадим и я. После родов ты опять расцвела, я на тебя глядеть боялся. Думал, Вадима, брата родного, зарежу нечаянно... А ты меня не замечала. Раздевалась при мне, как при маленьком.

— Ладно, посидели, поговорили, я пошла. Не растаяла я от намеков твоих. Совсем уж за дикую принимаешь. Чтобы в Москве у него одна, а в деревне — другая, от брата досталась. Никому я не досталась. За меня человек сватается, вы с Вадимом ногтя его не стоите. И ничего тебе не будет, пусти, не хватай за руки...

— Нет уж, Нюта, раз пришла на любимое мое место, побудешь. Не порть мне мечту. Я целый год обдумывал, как приведу тебя сюда, посажу на эту березку, чтобы ты и я. Ты будешь дышать мне в лицо, а я — тебе. Чтобы обжигало. Чтобы долго-долго... Нет никакого стыда, никакого греха, все глупости. Ты была наша с браткой — и будешь нашей. Все по-хорошему... Ты умная, Нюта, я же знал. Ты будешь меня ждать. Теперь будешь... Такое на всю жизнь. Я приеду...

Никому не рассказала, не пожаловалась даже сестре Женьке. Посидела на речке, одиноко поплакала под последние соловьиные трели.

6

Анюта ходила в восьмой, когда в десятом появился новенький. В джинсовом костюме, гладко причесанный (в деревне ходили с патлами), улыбается. Весь вид новенького был нездешний, даже имя не деревенское — Стасик. Станислав Орлов, сын директора совхоза, присланного из города.

Всех удивило, что Стасик не боялся местного хулиганья, сел в клубе, где хотел, его не сгоняли. Пробовали, но чемпионы местные жаловались: приемы знает.

На переменах Анюту влекло на второй этаж, где был десятый, но приезжий ничего не замечал, проходя мимо, сторонился, как от досадной помехи. Проснувшись однажды среди ночи, Анюта поняла, что она самая несчастная на свете. Расплакалась горько: за что ей это горе, что она такого сделала, чтобы страдать?

Едва ли в школьной толпе он заметил бы ее, плохо одетую деревенскую девчушку, и, наверное, ничего бы не было, если бы не дискотека. Под Новый год восьмиклассниц тоже пустили, и когда диск-жокей Кривой Максимка объявил: приглашают дамы, Анюта на ватных ногах пересекла зал, залепетала, готовая провалиться сквозь землю, услышав отказ. Но он поднялся, положил ей руки на плечи. Спросил, как зовут, в каком классе, и, встречаясь потом в коридорах школы, кивал.

Мать Стасика преподавала музыку и на школьных вечерах играла на пианино и пела тоненьким красивым голосом, а он читал незнакомые стихи. Они, мама и сын, гуляли по школьному двору, оба рослые, красивые, мама в каракулевой шубке, а он, уже повыше мамы, в шапке с козырьком. Счастливая мама под руку с кавалером-сыном...

В конце концов деревня примирилась и с каракулевой шубкой, и с тем, что в доме директора все не так, даже скотины не видать на подворье, собачка с рукавицу да пара попугайчиков в клетке.

И к тому пришлось местным парням привыкнуть, что Стасику стоило на дискотеке только пальчиком поманить, любая вскакивала, обмирала от счастья. С девчонками из восьмого он тоже танцевал, и Анюта, холодея спиной, всякий раз ждала, что он пригласит ее, но приглашал Стасик не ее — Павлинку, подружку.

Как-то Павлинка расхвасталась: у Стасика день рождения, будет бал, гости приедут из города, она, Павлинка, тоже приглашена, купила кружева черные.

Но тратилась Павлинка зря: никто ее не пригласил, наврала, вруша. И кружева остались ненадеванными. Из деревенских не пригласили никого, даже учителей.

К директорскому подворью одна за одной подъехали три легковушки, парни открывали дверцы, подавали девушкам руки. В доме гремело стерео, и сквозь занавески было видно, как на залитой светом веранде кружились пары. Дивилась деревня: день рождения пацана — музыка на всю округу, ракеты в небо пуляют, как в Москве по военным праздникам.

Зимой тоже гости, только не за столами, как в деревне заведено, жрать с утра до вечера да песни глупые орать. Гости Стасика приезжали кататься на лыжах. Вытянувшись гуськом, девушки и парни уходили в зимние белые березняки, все красивые, нарядные, из другой, неведомой жизни.

Своих лыж у Анюты никогда не было.

В окошко родительского дома она видела, как парни торили лыжню, то Стасик в полосатом свитере впереди, то еще кто-нибудь, за ними девушки, из-под шапок волосы распущенные... И себя Анюта видела среди приезжих, но было это лишь в мечтах.

Она бы возле деревни ходить не стала, повела бы гостей к реке, а дальше речкой, речкой — на Скакушу. Скакуша — это гора за рекой, там ежевика, ягода бордовая, а в полгоре из-под сосны бьет ключик и, колокольчиком заливаясь, прыгает-скачет с камня на камень, пока не доскачет до реки. Потому и Скакун, а гора — Скакуша.

На макушке горы, в густом березняке, деревянная вышка, очень высокая. По лесенке можно забраться на самый верх, там площадочка из досок, можно сесть, даже лечь, чтобы не кружилась голова. Ты выше берез, они далеко внизу, и коршун летает внизу над речкой, тень его скользит по кустам. Сверху видны все окрестные деревни, по дорогам бегут машины...

Анюта показала бы гостям ручей, он и зимой не замерзает, завела бы на вышку, — но никто ее не приглашал, не спрашивал. Кому она интересна, конопатая, некрасивая? Возле Стасика всегда девушки смелые, завлекательные.

Почему только в кино бывает интересно, а в жизни скучно и одни страдания? Почему у них с Женькой давно нет отца и, когда мать болеет, Анюте приходится подменять ее в коровнике, где грязь по колено, вонь, доярки ругаются и пьют водку?

Какая это беда — быть бедной, деревенской! Вот когда Анюта настрадалась из-за своих конопушек. Ах, если бы кофточка кружевная да мини под цвет волос — пролетели бы ее конопушки проклятые!..

Что только не делала с ними Анюта: обратом умывалась, пила рыбий жир, носила мед бабкам-знахаркам — ничего ее веснушкам не делалось, сияли медными копейками.

Кривой Максимка хохотал:

— Мы с тобой, Нюрочка, пара: ты конопуша, я кривуша, оба инвалиды.

Жгла Анюту обида: родиться в деревне — зачем? Чтобы за Максимку Кривого?

Анюта любила читать, особенно про любовь, и однажды библиотекаря дала ей книгу про девушку, которая влюбилась во взрослого. Она была гордая, не хотела навязываться и только перед смертью написала про свои чувства. Анюта для Стасика — тоже незнакомка, и когда будет умирать, напишет ему большое письмо.

Весной Анюта узнала: Стасик уезжает. Отца его снова переводят в город. Родители уже уехали, Стасик сдаст последний экзамен и тоже уедет. Навсегда. Поступать в университет.

И она решилась. Купила на почте конверт, вырвала из тетрадки листок, написала, что одна девушка будет ждать возле мельницы. Поговорить одну минуту. Или пять. Извините за беспокойство. Подписалась «Незнакомка». Бросив запечатанный конверт в почтовый ящик, обомлела: «Незнакомка» или «Низнакомка»? Но было уже поздно. Пусть как есть, все равно никто не придет.

Все же сказала матери, что их восьмой идет в поход с ночевкой у костра, вернется поздно или завтра после обеда.

7

С Катей, когда супруге моей бывает некогда, занимаюсь я. Но едва супруга за порог — книжки в сторону, крик, визг, беготня по комнатам, принудительно-добровольная игра в «горбачики», то есть в чехарду. Катя никак не хочет принимать меня за учителя, я для нее вроде подружки Юльки, партнер по играм и дракам, мною можно сколь угодно и как угодно помыкать. «Горбачики» сменяет карусель: надо взять Катю за руки и раскрутить — быстрее-быстрее, с визгом, хохотом, чтобы слетели с ног мокасинчики, чтобы все как с папой, когда они играли в эту самую карусель.

Все человечество делится на две половины. Одна — хорошая, другая — плохая. Дядя-пчеловод плохой, у него борода и сапоги, и когда он приходит, мама кричит на Катю: не крутись под ногами, ступай играть на улицу. Юлька говорит, все взрослые хитрые, это чтобы им не мешали целоваться.

— Вечно эта Юлька! — сердится моя супруга. — У взрослых свои разговоры, тебе не интересно, а Юлька ничего не понимает.

Катя достает из своей сумочки большое яблоко, протягивает мне:

— Ешь!

Мне Катя говорит «ты», моей супруге — «вы».

— А это вам.

— Спасибо, Катя! — благодарит моя супруга, которой достается шоколадка с красивой картинкой. — После уроков попьем чаю с шоколадом. У вас дома какой-то праздник?

— Мама сказала, у нее день рождения. Чтобы проздравили.

— Не «проздравить», Катюша, а по-здравить. И ты поздравь маму. Крепко-крепко обними, скажи: будь здорова, будь счастлива, дорогая ма-

мочка. Скажи: пусть исполнится твое самое заветное желание. А что делает мама в день рождения?

— Смотрела серию по телевизору, плакала. Мама всегда от телевизора плачет. Я тоже плакала, а мама говорит: чего это мы разревелись, две дуры?

8

Дом под черепицей почти готов, даже окна вставлены. Большие, сверху круглые, как в церквах! Таких домов в деревне никто не ставит. Два этажа, нижний — каменный, верхний — из бруса пихтового, еще не потемневшего, светлого. На задах что-то взнятое высоко на столбы, круглое, покрашено блескучей краской.

— Водонапорная башня, — пояснял Генрих. — Вода на кухне, в душе, туалете. Из крана. Тепло от своей котельной, печки топить не надо. В деревне хочу жить не чушкой, как здешние, — по-человечески.

Рыжий коршун плавал над буграми, над гречишным бело-розовым полем.

— Простору хватит и для пчелы, и для скотины. Под хлеб вспахал двести гектаров залежи. Была тут, говорят, деревня большая.

— Гавриловка, — сказала Аня. — Я родилась тут.

— Что было, то быльем поросло: была Гавриловка, теперь — Генриховка. Дорогу с твердым покрытием — время придет — положим.

Катю напугали большие птицы — не куры и не гуси, — с голыми шеями, ругаются. Оказалось, индюки.

— Жена моя не захотела, испугалась: как это — жить в лесу? Без соседей, без магазинов? Зимой волки будут выть. Уехала к родителям и сына забрала. А ты здесь родилась. Смешно даже — волки. Ты хороший человек, Аня, и партнер надежный, но я пока ничего не буду говорить, раз еще нет развода. Сама себе выбирай дело. Захочешь сыром заняться — коров голландской породы заведем, а хочешь — колбасный цех купим. Мед и гречиха — только начало. Планы у меня, Аня, на много лет вперед. Только не будем торопить события.

— А я не тороплю, — засмеялась Аня. — Не на танцы. Ты кому, Катя, машешь, никого же нет?

— Коршуну, он мне машет, я — ему.

Коршун плавал над березовой непролазью, где стоял когда-то родной дом Ани. Ей тоже захотелось помахать коршуну, — вдруг он тот же, что летал в далеком детстве?

Гудели пчелы, работали на Генриха...

В деревне получили зарплату, и крепленое вино, которое привез Генрих в двух флягах, шло хорошо. Сказал, заедет в субботу, очень нужны деньги, платить электрикам.

— Может, баню истопить? — спросила Аня. — Поближе к вечеру?

— А веник найдется?

— Найдется. Какая без веника баня?

— Банщика бы тоже...

— И банщик будет, если пригласишь...

В субботу с утра зеленая «Нива» моталась по деревне, пугая кур. Постояв недолго у хазы бабы Марты, дальней улицей выбралась на трассу, запылила проселком в березняки.

Вернувшись с работы, Аня затопила баню, прибрала в доме, нарвала первых, на корню побуревших помидоров. Нарезала салат, поставила в холодильник. Бутылку магазинной спрятала в предбаннике. Прикинув перед зеркалом, выбрала белую шелковую кофточку — белое шло к ее рыжим волосам...

Когда постучали в дверь, удивилась, что не слышала, как подъехала машина.

Но зеленой «Нивы» у калитки не было.

— Это я, — сказала баба Марта. — Меня Генрих послал за деньгами. Ступай, говорит, к Анюте, возьми деньги за вино, очень наличка нужна.

— Он же мимо проезжал, — удивилась Анюта. — Почему не заехал? У меня все давно приготовлено.

— Не сердись, Анюта. Генрих меня послал. Говорит, ступай, очень нужна наличка. Ты на него не обижайся, замотался он. Луиза Генриху сказала: тебе нечего делать у Анюты, ты семейный человек. Сама буду иметь дело с Анютой. Товар доставлять, деньги забирать.

— Луиза — это кто? — спросила Анюта. — Жена?

— Генрих собирался с тобой поговорить. И я ему: скажи Анюте, а то она, бедняжка, надеется.

— Они когда... приехали?

— В среду привез Генрих. И Артурчика. Ему на фольварке понравилось. Очень хороший мальчик. Доски маленьким рубаночком строгают, папе, говорит, помогаю.

Анюта достала из комода завернутые в газету деньги, положила перед бабой Мартой.

— Это ваши, — сказала. — А это мои. Пятнадцать процентов.

— Теперь Луиза будет привозить товар. Она умеет водить машину, образованная. Говорит, пятнадцать процентов — много. Ты прости, я глупая старуха, что она мне скажет, то и повторяю. Говорит, надо десять.

Анюта побросала в сумочку бабы Марты деньги, выторгованные за вино. Свою пачку тоже кинула.

— Спасибо, Анюта, — сказала баба Марта. — Ты добрая. Господь и Пресвятая Дева возблагодарят тебя за доброту. Генриху наличка нужна. Сама понимаешь, стройка...

9

Катя протянула моей супруге ведерочко, полное ягод, сказала:

— Ежевику высыпьте, а ведерочко я унесу домой.

— Спасибо, — поблагодарила моя супруга. — Где это вы набрали?

— На горе. Мама говорит: пойдём за ежевикой на Скакушу? Я вся в крапиве изжалилась.

— Надо было надеть штаны.

— Крапива сквозь штаны. Мама говорит: полезем, Катюша, на вышку, посидим, отдохнем.

— Ты маме скажи: не Катюша, а Катерина, Катя, Катюша. И не «скрозь», а сквозь. Сквозной, сквозняк, засквозить. Давай составим устный рассказ про вашу прогулку. Мы с мамой ходили за ягодой на большую гору. Гора называется Скакуша, а ягода — ежевикой. Ежевика — очень вкусная ягода. Нет, Катюша, не «скусная», а вкусная. То есть сладкая, приятная. Мама похвалила меня за то, что я набрала полное ведерочко ягоды, и предложила подняться на вышку. На какую вышку?

— На деревянную. Высокая-высокая. Выше берез.

— На горе есть вышка, она из дерева. Деревянный, стеклянный, оловянный. В этих словах слышится два «н», так и пишется. А как вы забрались на вышку?

— Там же лестница. Мама кричит: лезь, не бойсь.

— Не бойсь — это неправильно, Катюша. Надо говорить: не бойся. Зачем твоей маме понадобилось лезть на вышку и тащить за собой ребенка? Что вы там делали?

— Ничего не делали. Сидели. Мама обняла меня, а я — маму. Вышка шатается, я испугалась, мама говорит, это она от ветра.

— Господи, — шатается. А если бы упала? Четко, громко: с высоты открывались живописные окрестности. Налюбовавшись видами на горы и лесные дали, мы спустились в долину и пошли домой...

10

Олега привезли из Москвы неразговорчивые мужики. Денег не взяли, сказали — оплачено. Да и не за что было деньги брать: в инвалидной коляске лежал безногий обрубок с защитными штанинами. И рукав один завязан, работала только правая рука, ею и катал Олег свою коляску. Ни носа, ни бровей, все лицо в рубцах и заплатах, остались глаза да толстые черепановские губы.

Сопровождающие сказали: хирурги собрали, что им положили на стол, а кто и за что убивал Олега, никому не известно. Есть желание — наведите справки в органах. Что-то не поделил с такими же, как он: деньги, барахло, может — бабу.

Никто из черепановской родни наводить справки не поехал, а сам Олег, если спрашивали, начинал плакать, скрипеть порезанным горлом, задыхаться.

Позвонили подруге Олеговой, но Москва ответила: никакая Светлана тут не проживает, просьба больше не беспокоить.

И стал Олег кочевать по родне: там неделя, тут месяц. Из-за очереди — ругань, скандалы. А под Новый год вваливаются к Анюте бывшие золовки: возьми, поддержи, к тебе просится.

— Отвалите, видеть не хочу. Мне замуж надо, а вы с обрубком этим! Закройте дверь с той стороны!

Вспомнила Белый лог, пятерик-березу. Была бы там, где его убивали, — добавила бы. «Подержи!» Это ж три раза накорми, обстирай, в бане искупай.

Все же пришла глянуть на бывшего деверя. Жадные Олеговы глаза прикипели к ее лицу, молили, просили. По шитому-перешитому лицу, по длинному от уха до уха шраму со следами вытащенных ниток катились слезы. Он силился сказать что-то, но стоял в горле скрип жестяной, что-то булькало, клокотало.

— К тебе просится, — твердила родня. — Который день: «К Анюте хочу!»

— Ладно, пару недель подержу, пока в отпуске. Потом заберете.

Ни через две недели, ни через месяц никто за Олегом не пришел.

Вернувшись из школы, Катя садится возле дядиной коляски, читает из букваря, декламирует наизусть: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...»

В субботу, после бани, Анюта наливает Олегу, но немного. Дружков гонит матом, потому что, выпив лишнего, Олег начинает сипеть и скрипеть горлом. Слезы катятся по щекам, заливая подушку. Катя берет полотенце, вытирает дяде лицо, наговаривая: у кошки заболи, у собаки заболи, а у нас заживи.

Поют песни. Втроем: сипит и Олег!

Поют Анютину любимую, про лесные сказки, анютины глазки...



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ТОРНТОН УАЙЛДЕР



К НЕБУ МОЙ ПУТЬ

Роман

ГЛАВА 12

Канзас-Сити. Серьезный разговор в парке. Свадьба. Почти американская семья

Браш вернулся в Канзас-Сити поездом. Впервые в жизни он путешествовал в поезде в воскресенье. И все-таки он опаздывал на встречу у Публичной библиотеки. Ему едва хватило времени, чтобы забежать к себе — теперь он снимал комнату у миссис Кубински, — переодеться в свой лучший костюм и заскочить на минутку к Элизабет. Девочка пришла к Куини грустным большеглазым бледным ребенком, невымытым и больным. Теперь она поправилась, повеселела. Куини в двух словах отчиталась Брашу в расходах на содержание ребенка.

Девушки ожидали на ступенях перед библиотекой, когда Браш, запыхавшись, подбежал к ним. Они сделали вид, что не замечают его, увлеченные разговором.

— Я опоздал всего на одну минуту, — сказал Браш, переводя дыхание. — Еще час назад я был далеко от города.

— Это моя сестра Лотти, — сказала Роберта.

— Да, — сказал Браш улыбаясь, — я помню вас еще с того вечера на вашей ферме.

Лотти бросила на него быстрый взгляд, но ничего не ответила. Она была не такой высокой, как ее сестра; у нее были карие глаза и каштановые волосы, а на лице — скука.

— Лимонаду хотите? — спросил Браш. — Пойдемте в кафе, чем-нибудь вас угощу.

Разговор завязывался с трудом. Девушки сидели перед стойкой на высоких табуретах и вертели в руках свои стаканы с коктейлем.

— Если мы отправимся в парк, что на скалах, вам не будет слишком холодно? — спросил Браш.

— Нет. Думаю, что нет, — сказала Лотти.

Они сели в трамвай. Трамвай был переполнен, и Роберту оттеснили от Лотти и Браша.

— Чем вы увлекаетесь? — спросил Браш.

— Я? — удивилась Лотти. — Ох, ничем я не увлекаюсь. Я хорошо знаю лишь свиней да цыплят, мистер Браш, — сказала она и добавила сухо, бросив на него быстрый взгляд: — Ведь я всего лишь фермерская дочь. Я не разбираюсь в высоких материях.

— Понятно, — протянул Браш, чувствуя неловкость.

Лотти отвернулась от него и уставилась в окно, словно сидела рядом с незнакомым человеком.

Браш кашлянул несколько раз, затем сказал:

— Когда мы доберемся до парка, я покажу вам следы, оставленные ледником.

— Извините, что? — не поняла Лотти.

— Понимаете, северные полярные льды доходили даже сюда. Они остановились примерно там, где сейчас Канзас-Сити. Вот откуда получились реки. Эти места — прямо здесь, где мы едем, — были покрыты слоем льда толщиной в две тысячи футов. Тяжесть была такая страшная, что даже продавила землю до самой Пенсильвании и Оклахомы.

— Ого!

— Ну и, конечно же, эта ледяная стена ползла и двигала перед собой огромные камни, целые куски скал, которые потом остались на земле, когда лед растаял. Я все это покажу вам в парке.

— Это будет здорово! — восхищенно воскликнула Лотти. Она повернула голову и посмотрела назад, где через пять мест сидела Роберта.

— И когда же все это произошло? — спросила она.

— Около восьми сотен тысячелетий назад.

Лотти посмотрела на него с холодным недоверием и снова отвернулась. Немного помолчав, Браш заговорил с девушкой тихо и настойчиво:

— Лотти, я хочу, чтобы ты помогла мне уговорить Роберту. Для меня это чрезвычайно важно.

— Ох, это мне не очень по душе, — сказала Лотти и добавила быстро: — Но я пока не совсем хорошо знаю вас.

— В тот момент, когда я поступил неправильно, — тихо сказал Браш, — у меня не было времени, чтобы исправить дело.

— Вы оба поступили неправильно. Но теперь все кончено; теперь уже ничего не поделаешь, — решительно ответила Лотти. — Во всяком случае, давайте сначала доедем до парка, а там поговорим.

Браш искоса взглянул на нее.

— Можно, я кое-что скажу перед тем, как мы сменим тему? — спросил он.

— Пожалуйста. Что же?

— Постарайся не поддаваться предубеждению против меня, пока не узнаешь меня получше. Я ведь не просто странствующий коммивояжер.

Лотти со слабой улыбкой посмотрела на него.

— Кажется, я это понимаю, — сказала она, и Брашу после этих слов стало гораздо легче.

Выходя из трамвая, Лотти, ко всеобщему удивлению, вдруг озорно щелкнула сестру по лбу.

Оказавшись в парке, они выбрали скамейки с видом на реку. Лотти села в середине и принялась чертить по земле острым кончиком своего зонтика. Браш помедлил минуту и сразу заговорил о главном:

— Лотти, пойми, всякий серьезный человек должен согласиться с тем, что я уже фактически являюсь ее супругом.

— Нет.

— Как ты не понимаешь, что мы не сможем больше вступать в брак, пока кто-нибудь из нас не умрет? Это... это одна из Десяти Заповедей.

Лотти закусил верхнюю губу и не отрывала от земли взгляда. Браш привел новый аргумент:

— Лотти, чего Роберта хочет? Навсегда остаться в ресторане? Мне кажется, там ей очень плохо. Я задолжал ей на всю ее оставшуюся жизнь, и я в состоянии отдать свой долг. Я получаю хорошую зарплату и не знаю, что делать с деньгами. Чего она хочет, можешь ты мне сказать?

— Если уж говорить правду, мистер Браш, она...

— Не забывают, что я тоже здесь, Джордж, Лотти! Ты не забыла, что я твоя сестра?

— Хорошо, хорошо. Джордж, говоря начистоту, больше всего на свете Роберта хочет, чтобы...

Она искоса взглянула на сестру. У Роберты по щекам текли слезы. Лотти замолчала. Затем встала и прошептала на ухо сестре:

— Роберта, ты бы пошла погуляла здесь поблизости несколько минут, пока я с ним поговорю. Ну правда, а то мне неудобно.

Роберта кивнула, поднялась и пересела на другую скамейку. Лотти продолжала:

— Она хочет, чтобы отец ее простил. — Браш в изумлении широко открыл глаза. — Она хочет, чтобы ее простил отец, — только и всего. Нас у него трое, и она — самая любимая. Для него это был такой удар! Нет, правда!

— Я об этом ничего не знал, — прошептал Браш, — я ничего не знал о том, что с ней произошло...

— Ох, Джордж, если бы вы видели, что творилось у нас дома в то время! — начала Лотти, но, подавив желание выложить Брашу все подробности, вернулась к прежней мысли: — Я думаю вот что: если такое возможно, то, когда она узнает вас поближе и все прочее, — короче, если вы с Робертой поженитесь, то через несколько дней вы приедете к нам, чтобы он убедился, что вы не какой-нибудь бродячий коммивояжер... Вы поговорите с ним о Библии и все прочее... Вот тогда он простит Роберту.

— Отлично, Лотти. Именно этого я и хотел.

— Но, Джордж, вы же понимаете! Что хорошего, если вы поженитесь, а любить друг друга не будете? Я думала...

Браш склонился к ней и горячо произнес:

— Я буду любить ее очень сильно. Я буду любить ее изо всех сил. Она не будет обижаться на меня. Я скажу тебе по секрету: в мире есть только одна девушка, которую я люблю больше, чем Роберту...

Лотти широко раскрыла глаза и посмотрела на него долгим грустным взглядом. Потом улыбнулась и положила руку ему на плечо.

— Джордж, ты ненормальный, — сказала она.

— Да, — торопливо ответил он, — я знаю, что ты имеешь в виду, но если ты присмотришься, то заметишь, что я очень логичен.

Наступила пауза. Браш нагнулся и, посмотрев на свои туфли, спросил:

— Лотти... а почему ваш отец выгнал Роберту из дома?

— Почему?.. Потому... потому что...

В ожидании Браш поднял на нее взгляд.

— Она... очень сильно мучилась; она болела... Я думаю, ты догадываешься.

— Нет... Я ничего не знал.

— Конечно, ты не мог ничего знать.

— Я ничего не знал... — вздохнул Браш.

— Да. У нас на ферме... Мы все так переживали... И папа, и мама, и Роберта, и я...

Они взглянули друг другу в глаза.

— Лотти, ты чудесная девушка, — сказал Браш. — Мне кажется, я знаю тебя очень давно.

Лотти смутилась, отвела взгляд в сторону.

— Я думаю, все устроится, — сказала она почти неслышно. Она хотела сказать что-то еще, но ей было очень трудно говорить. Она смешалась, глупо хихикнула и нервно всплеснула руками.

— Я подумала о том, что ты... ты мог бы жениться на Роберте, чтобы отец простил ее... И тут же уедешь куда хочешь... А через некоторое время она даст тебе развод...

Браш густо покраснел.

— Нет, — покачал он головой. — Видишь ли, это невозможно по двум причинам. Во-первых, я не признаю разводов, для меня развода не существует. Если тебе интересно, я потом объясню, почему. А во-вторых, я никогда не поступаю только для виду. Я... Это не в моих правилах. Ох, Лотти, разве ты не видишь, что я не такой? Все будет хорошо, Лотти. У нас с Робертой будет настоящая американская семья.

— Ну что ж, я сказала все, что требовалось. Теперь вы с нею сами решайте, как вам быть.

— Но ты можешь хотя бы посоветовать ей поверить мне и согласиться выйти за меня?

— Джордж, пока люди сами не полюбят друг друга, я думаю, что не стоит...

— Лотти, когда ты принимаешь трудное решение, ты что, всегда знаешь, что делать? Ты же стараешься сначала понять, в чем суть. Ты же не станешь поступать как тебе хочется, верно? Ты постарайся рассмотреть дело со всех точек зрения. А не только с точки зрения твоих собственных интересов. И это совершенно правильно в подобном случае. Лотти, я беру всю ответственность на себя. Я знаю, что я прав. У меня есть средства. Я уверен, что буду любить и беречь Роберту до самой своей смерти.

— Ладно, — сказала Лотти.

— Позови ее к нам, пожалуйста. И еще, Лотти, послушай! Мы с нею купим где-нибудь чудесный дом, и ты будешь приезжать к нам каждое воскресенье на обед, и вся ваша семья с фермы тоже будет приезжать к нам. Это будет чудесно, ты увидишь. У меня ведь очень хороший голос, тенор, и меня всегда просят что-нибудь спеть. Лотти, все началось очень плохо, но зато очень хорошо заканчивается. Все заканчивается самым наилучшим образом! Теперь ты понимаешь, как это важно?

Лотти в легком ошеломлении от обуревавших ее противоречивых чувств направилась к сестре. Они долго о чем-то шептались.

— Он — сумасшедший! — сказала Роберта.

— Да, — сказала Лотти, — я уже поняла. Но он довольно привлекателен в своем сумасшествии. — Она улыбнулась. — Я бы вышла за него без колебаний.

— Ты?!

— Да. А что? Пожалуй, вышла бы. Только он меня не просит.

Тут они обе заулыбались и закрылись платочками.

— Смотри, Роберта, если он еще раз угостит нас мороженым, я так и сделаю! — смеясь, пригрозила Лотти.

— Но, Лотти, он же настоящее чудовище!!

— Я знаю. Но я думаю, стоит отдать ему предпочтение перед многими. Сравни его с Гасом Брудакером или Оски Дискауэром, например. Кроме того, он просил передать тебе, что у него чудесный голос — тенор.

— О чем мы с ним будем разговаривать?

— О чем?

— Да. О чем нам говорить? О чем мы с ним будем говорить, когда поженимся?

— О! Да он просто переполнен разговорами. Ты не слышала, как он рассказывал мне о леднике, который дошел до самого Канзас-Сити? И потом, он ведь богат, так что ты сможешь занять свое радио.

— Он богат?

— Он так говорит. Поторопись, Берта, думай скорее. Он ждет тебя. А то он решит, что мы смеемся над ним.

— Лотти, помоги мне! Что мне делать?

— Не спрашивай меня. Или ты его не любишь?

Роберта покачала головой, ее лицо омрачилось.

— Ты же знаешь, почему я никогда не смогу полюбить его.

— Послушай, Роберта, он никогда не будет об этом напоминать тебе, никогда. Я знаю. Ничего плохого я в нем не заметила. Он по-своему глуп, но он добрый, очень добрый. Если ты просишь у меня совета, то вот: ты должна выйти за него. А потом повезешь его к папе.

— Ну что же, хорошо. Я сделаю, как ты говоришь, — сказала, поднимаясь, Роберта.

— Подожди, я вытру нос, — попросила Лотти, снова достав платочек.

Пока сестры совещались, Браш в раздумье сидел на скамейке. Лотти оставила ему свой зонтик, и теперь он чертил в задумчивости острым его наконечником по земле перед собой, сам не замечая, что выводит его рука. Сначала это была большая буква «Р», означавшая имя Роберты. Затем на нее легла буква «А» — Адель, вдова, к которой он сватался в двадцать первый день своего рождения. Потом появилась буква «Ф» — Фрэнси, мисс Смит, молодая преподавательница химии в старшем классе школы в Ладдингтоне. Рядом почему-то начертилось «М» и «А» — Марион Атли. Потом «Д» — Джесси Мэйхью; потом «В», «С», «К». Потом острый наконечник легкого дамского зонтика зачеркнул все нарисованное и вновь начертил большую букву «Р». Браш видел, что Роберта и Лотти смеются, прижав платочки к губам. Смеются или плачут?

Наконец сестры рука об руку подошли к Брашу. Он встал, не зная, к чему готовиться.

— Перед тем как я еще раз попрошу тебя, Роберта, выйти за меня замуж, — сказал он глухо, — я должен сказать тебе еще кое о чем. Я совсем забыл тебе сказать, что я... что у меня есть маленькая девочка. Мой друг умер и оставил мне свою маленькую дочь. Это самый чудесный ребенок в целом свете; я уверен, ты полюбишь ее.

На взгляд Роберты, это ничего не меняло в ее положении. Она приняла его предложение.

Он взял ее за руку и сказал:

— Все будет хорошо, Роберта. Ты увидишь. Все, чего бы ты ни захотела, станет первым моим желанием. Вначале, конечно, мне придется поехать — дела, командировки... Но я буду писать тебе каждый день. Позже, думаю, я смогу уговорить наш директорат закрепить за мной регион Иллинойса и Огайо. У нас с тобой будет много радости, много смеха, особенно когда мы вместе будем мыть посуду. А потом... а потом у нас будет собственный дом. Я хорошо разбираюсь в таких вещах, как электричество, печное дело и прочее хозяйство. А еще я умею плотничать. Я построю для тебя беседку в саду, и ты будешь в ней сидеть и вязать. А Лотти будет приезжать к нам и жить сколько захочет. Лучшего друга, чем Лотти, нам не найти. Не думай, что это всего лишь пустые слова... Ты веришь, что так будет?

Роберта, стоявшая с опущенными глазами, еле слышно сказала:

— Да.

— Я знаю, я иногда бываю смешон, — добавил Браш улыбаясь. — Но это только теперь, когда я еще молод, когда я стараюсь узнать мир и жизнь. Но со временем, когда мне будет, например, лет тридцать, я покончу с этими глупостями и... и все это уладится.

Свадьбу устроили в среду, и фотография сохранила их лица: Куини, Элизабет, Лотти, Роберта и сам Браш. Браш взял в издательстве трехнедельный отпуск, и они сняли четырехкомнатную квартиру в доме, на первом этаже которого была закусочная. Первой их покупкой была подарочная «Британская энциклопедия». В первое же воскресенье после бракосочетания к ним в город приехали всей семьей Уэйерхаузеры, чтобы сходить в церковь и посидеть — теперь уже у Брашей — за воскресным обедом. В церкви они чинно прослушали службу. Маленькая Элизабет захотела спать и положила свою головку Брашу на колени. Ее глазки сонно смотрели на прихожан, подмечая, как другие отцы ведут себя на такой торжественной церемонии.

Когда вернулись из церкви, женщины хлопотали на кухне. Миссис Уэйерхаузер была немного шокирована, услышав, что она уже бабушка. Херб умер, и теперь для маленькой Элизабет родителями стали Браш и Роберта. Поначалу хозяин дома и его тесть держались немного официально, но потом освоились и со временем стали проще относиться друг к другу.

На первый взгляд у молодоженов все было хорошо, но только на первый взгляд. Постепенно стали проявляться и неприятные стороны. Браш, который всю свою жизнь терпеть не мог пустых разговоров, вдруг обнаружил, что не знает теперь, чем заполнить долгие вечера. Днем он мог хотя бы делать мимолетные замечания по поводу их быта, а когда Роберта звала его к столу, на минуту доставал бумажник и пробегал глазами свою коллекцию газетных вырезок, подбирая темы для разговора с женой за обедом. Он старался развивать дальше некоторые из своих теорий, которые беспрестанно возникали у него в голове. И хотя Роберта слушала его опустив взгляд (их глаза постоянно избегали встречи), он обнаружил, что стремление порассуждать тут же оставляет его, стоит ему остаться с женой наедине. Он открыл, что существует только одна тема, неизменно интересующая Роберту: жизнь и быт киноактеров. Тогда он стал делать для Роберты вырезки из газет и об этом, если, конечно, их содержание пристойно было пересказывать в богобоязненной семье.

К тому же вскоре Браш начал понимать, что они с Робертой вовлечены в тайную непрерывную игру, смысл которой состоял в том, чтобы занять первое место в душе маленькой Элизабет. Он замечал, что Элизабет все чаще отдает предпочтение именно ему, а не своей приемной матери. Время от времени Браш делал попытки внушить ребенку любовь прежде всего к Роберте, но каждый раз в глубине души испытывал постыдное удовольствие, когда ему это не удавалось.

Однажды, вернувшись из долгой трехмесячной командировки (в фирме ему объяснили, что стиль его работы больше подходит для южных штатов, нежели для северных, и отказались менять сложившееся положение), Браш застал дома Лотти — она приехала к ним на прощальный обед. Между сестрами произошел долгий серьезный разговор, и за обедом Браш заметил, что у обеих заплаканные глаза. Он с удивлением посмотрел на них, но ничего не сказал. Зато сказала маленькая Элизабет:

— Мама плакала.

— Ешь аккуратнее! — прикрикнула на нее Роберта.

Браш хотел поинтересоваться, что случилось, но, увидев, что Лотти подмигивает ему, удержался от расспросов.

У Браша была одна теория, согласно которой детям надо позволять смотреть на звезды. Обычай укладывать детей в постель с наступлением сумерек не принимал во внимание, по мнению Браша, тот очевидный факт, что вид звездного неба составляет очень важный элемент в системе духовного развития маленького человека. В этот вечер ему разрешили уложить Элизабет в постель позже обычного. Роберта одела ее потеплее, чтобы она не замерзла, и Браш вынес девочку на чердак, к открытой дверце, выходящей на крышу. Он придвинул какой-то ящик к печной трубе и сел, держа Элизабет на руках, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Элизабет с любопытством вглядывалась в темные углы чердака, не проявляя к звездам ни малейшего интереса. Она улыбнулась Брашу, поймав его взгляд, словно намекала на их сообщничество в таком страшном преступлении, как нарушение маминого правила вовремя ложиться спать.

Некоторое время они молчали. Затем Браш спросил у нее то, что спрашивал каждый вечер:

— Как тебя звать?

— Элизабет Марвин Браш, — чуть шепелявя, ответила девочка.

— Что надо делать, если потеряешься?

— Полисмен.

— Где ты живешь?

— Двенадцать-двенадцать, Бринкли-стрит.

— Что ты умеешь делать?

— Говорить правду...

— Так.

— ...любить Бога...

— Так.

— ...и чистить зубы.

— Правильно.

Она могла сказать, в какой стране живет; она считала до двадцати и помнила чуть ли не половину алфавита. После этого Браш дал ей немного отдохнуть. Они долго молчали, Браш думал о предстоящих делах и о том, что между Робертой и Лотти что-то произошло. Потом он посмотрел на Элизабет и увидел, что ее широко раскрытые спокойные глаза устремлены в звездное небо.

В чердачный люк они услышали голос Роберты:

— Ей уже пора ложиться в постель, дорогой.

— Хорошо. Мы идем, — ответил Браш.

Роберта ждала их, придерживая крышку люка. Он спустился по лестнице вниз и тихо спросил ее:

— Роберта, что-нибудь случилось?

Она не ответила. Пока полусонную Элизабет укладывали в постель, Браш сел рядом с Лотти на кухне и налил себе кофе. Лотти была задумчива. Она тихонько постукивала ложечкой по блюду.

— Джордж, — неожиданно сказала она, — нет нужды снимать такую большую квартиру, если у тебя длительные поездки. Почему бы Роберте не вернуться на ферму? У нее там будет все, что ей нужно. И для ребенка это будет лучше, особенно когда наступят жаркие дни.

— Но, Лотти, ведь это наш дом. Я считаю это очень важным, чтобы супружеская пара имела свой собственный, отдельный дом, даже если муж часто уезжает.

— Джордж, ты счастлив с Робертой? — вдруг спросила Лотти и взглянула ему прямо в глаза.

— Да. Конечно. Я, наверное, самый счастливый человек во всем городе. Не помню, Лотти, чтобы раньше ты задавала такие вопросы.

— Роберта хочет вернуться на ферму.

С минуту длилось молчание, затем Браш сказал:

— Я брошу эту работу. Я найду работу без поездок. Потому что семья для меня важнее, чем работа.

— Это не поможет. Джордж, я не хочу тебя обидеть... Мы обе — и я и Берта — чрезвычайно любим тебя, ты сам знаешь, Джордж. Но... — Она замолчала, не в силах продолжать.

— О чем ты? Что ты хочешь сказать? — напрягся Браш.

— Джордж, разве ты сам не видишь? Роберта хочет жить одна.

Браш побледнел, но даже не двинул бровью. Несколько мгновений он пытался осмыслить услышанное и разобраться в своих чувствах. Затем поднялся и сказал:

— Пойду-ка, пожалуй, погуляю немножко.

Лотти шагнула к нему и положила руку ему на плечо.

— Джордж, не сердись на меня. Я только стараюсь помочь тебе увидеть то, что есть на самом деле.

— Вот это-то как раз и ужасно. Я не понимаю, как ты можешь спокойно говорить о таких вещах.

— Джордж, вы оба чудесные люди, но, знаешь ли, на мой взгляд, вы не подходите друг другу. Все устроилось как нельзя лучше: вы поженились, тот ужасный инцидент уже в прошлом и забыт. Не думаешь ли ты, что...

Браш остановился на пороге, сверкая глазами:

— Уж не хочешь ли ты со своими мыслями уподобиться всем этим, с позволения сказать, горожанам? — Он неопределенно мотнул головой. — Мне стыдно за тебя, Лотти. Ты же знаешь закон, положенный для нас Господом. Роберта и я — супруги и будем ими до самой смерти. Ты говоришь так только потому, что сама не была замужем и не понимаешь, как это серьезно... Я пошел. Мне надо побыть на воздухе.

Вдруг в гостиную быстро вошла Роберта.

— Джордж, я в самом деле хотела бы жить одна, — торопливо произнесла она срывающимся от волнения голосом. — Я тебя очень люблю, Джордж, но... — продолжала она, — но мы такие разные! Ты же сам видишь.

Она бросилась в кухню, захлопнув за собой дверь.

Браш замер на пороге, опустив голову, потом глухо сказал:

— Интересно, все, кто женится, проходят через это?.. И как они выходят из положения?

— Джордж! — горестно воскликнула Лотти.

Браш надел пальто, шляпу.

— Почему бы тебе не сказать прямо, — проговорил Браш, не глядя на Лотти, — что ты хочешь довести меня до бракоразводного процесса, уподобить меня всем остальным, — он снова неопределенно мотнул головой в сторону двери, — всем тем, о ком сообщают в газетах, всем сквернословящим и пьющим? Похоже, ты добиваешься именно этого. Ты хочешь, чтобы мы жили подобно... подобно бесчувственным, глупым людям, не имеющим ни принципов, ни религии, ни вообще правильного представления о человеческой природе... Это не важно, что мы с Робертой «разные» люди, как она выразилась. Это совершенно не важно, если мы живем не так, как обыкновенные люди. Мы — муж и жена, и ради общественной пользы и нравственности мы должны оставаться вместе до самой смерти.

— Джордж, — ровным голосом сказала Лотти, — иди в кухню и скажи Роберте, что ты любишь ее больше всего на свете. Больше, чем кого бы то ни было. Иди, иди. Скажи ей. Именно этого она ожидала от замужества.

Они хмуро взглянули друг на друга.

— Ты оставишь ей Элизабет, — продолжала Лотти, — и она будет с ней совершенно счастлива. Но не заставляй ее сидеть одну в этих комнатах по три месяца в ожидании, когда наконец ты...

Поезд Браша уходил в полночь. Его собранный чемодан стоял у двери. Он взял его и вдруг в приступе ярости швырнул в угол.

— Я не хочу уезжать! — закричал он. — Что пользы от моей работы, если у меня нет дома, ради которого стоило бы работать?

Он закрыл лицо руками.

— Мне не хочется жить, — сказал он глухо. — Все не так!

Лотти приблизилась к нему, потянула за руку, но он все прижимал руки к лицу и глухо мычал, словно его мучила сильная боль.

— Джордж, послушай меня, — ласково заговорила она. — Ты самый чудесный человек из всех, кого я знаю... Но это совершенно разные вещи. Будь откровеннее, смотри на вещи просто. Понимаешь? Будь ласковее с Робертой.

Он опустил руки, взглянул на нее.

— Могут ли принципы быть важнее людей, живущих по этим принципам? — спросил он.

— Но никто не живет строго по правилам, Джордж! — воскликнула Лотти, и улыбка слабо проступила на ее суровом лице. — Я полагаю, нам всем позволительно делать время от времени некоторые исключения. Иди же попрощайся с Робертой.

Роберта молча вошла в гостиную. Он поцеловал их обеих и, хотя было еще только девять часов, пошел на станцию. Он бродил по вокзалу, возбужденный новыми мыслями, затем зашел в какой-то магазинчик.

— У вас продаются трубки? — спросил он.

— Да.

— Я хочу купить... хочу купить трубку. Мне еще нужен табак, самый лучший из того, что у вас продается.

Забрав покупки, он отправился в курительную комнату, чтобы взглянуть на свои дела с другой точки зрения.

ГЛАВА 13

Джордж Браш кое-что теряет. Последние новости об отце Пажиевски. Мысли по наступлении двадцатичетырехлетия

По-прежнему Джордж Браш разъезжал по Техасу до самого Абилина и обратно, жил в поездах, автобусах, такси и в полупустых гостиницах — где угодно, только не дома. Свободные вечера он проводил в публичных библиотеках и в неторопливых прогулках по городу, в котором случилось остановиться. Он запретил себе думать о своих семейных обстоятельствах и гнал прочь уныние, охватившее его; он уверял себя, что все вокруг приносит ему радость: и работа, и воскресные дни, и книги, которые он читал. У него остались два утешения, которые отчасти умеряли его отчаяние; одно из них — трубка, другое — немецкий язык: он взялся учить немецкий язык. «Каулькинс и компания» решили издавать самоучитель немецкого для первого и второго годов обучения. Браш, как всегда, захотел проверить его качество на собственном опыте. Он заучивал наизусть примеры и выполнял все упражнения. Он даже нашел три опечатки. Он выучил на память «Du bist wie eine Blume»¹ и «Лорелею»². Он начал разговаривать сам с собой по-немецки. Он не жил больше по закону Добровольной Бедности. С получением денег от Херба он стал почти богачом: у него набралось более восьмисот долларов. Он купил себе портативный граммофон и, пока одевался, брился и т. д., слушал учебные немецкие грамзаписи. Он превратился в горячего поклонника немецкой литературы, особенно классики, и старался разговаривать по делам службы с преподавателями немецкого языка исключительно по-немецки. Каулькинсовский самоучитель разошелся в большом количестве.

Но все эти утешения были скорее кажущимися, нежели настоящими. Они не могли избавить его от глубокой тоски, переходящей почти в физическую боль, которая охватывала его каждый раз, когда во время вечерней прогулки через полузащторенные окна он видел мирное счастье какой-нибудь американской семьи или когда, заходя в церковь, понимал, что старые добрые христианские гимны больше не рожают в нем прежнего неизъяснимого восторга. Порой целые ночи проходили без единого намека на сон; иногда он садился за стол, начинал что-нибудь есть и вдруг обнаруживал, что у него совершенно нет аппетита.

Наконец наступил день, когда Браш совершил последнее открытие: он больше не верит в Бога. Эта мысль отозвалась в нем так болезненно, словно ему ампутировали руки или ноги. Первым его чувством было изумление. Он оглядывался вокруг, будто что-то потерял и потерявшаяся вещь должна вот-вот обнаружиться. Но потеря почему-то никак не отыскивалась, и изумление постепенно сменилось бесстыдной иронией. Перед сном он по привычке становился у кровати на колени, чтобы прочесть вечернюю молитву, но тут же, опомнившись, вскакивал на ноги. Смущенный, с чувством непонятной вины, он торопливо прятался под одеяло и долго лежал, устремив глаза в потолок, мрачно подсмеиваясь над самим собой. «Es ist nichts da, — громко твердил он в темноту фразу из учебника, — gar nichts»³.

На какое-то время это его даже воодушевило и вызвало прилив новых сил. Он стал больше улыбаться и вступал в разговоры со случайными попутчиками в поездах и с соседями по гостиничным номерам. Теперь он чаще гулял по вечерам и смеялся долго и громко по любому поводу. Он начал безрассудно тратить деньги; вместо прежних скромных обедов за шестьдесят центов теперь он заказывал себе солидные долларовые: отбивную с двойным салатом или хороший кусок колбасы с картофелем.

¹ «Дитя, как цветок ты прекрасна» (нем.). Стихотворение Г. Гейне, перевод С. Маршака.

² Стихотворение Г. Гейне.

³ Здесь ничего нет... напротив (нем.) — пример употребления немецкого слова «nichts».

Каждый раз, когда он приезжал в Техас, что-то происходило с ним: он чувствовал самое натуральное физическое недомогание. Однажды в Траубридже, небольшом городке в западной части штата, почувствовав себя весьма отвратительно, он решил сходить в больницу. Врач, обследовавший его, пришел в ужас и забил тревогу. Браш оказался весь напичкан болезнями. У него был амебиаз и показания на синус аорты; выявились ревматизм и явное разлитие желчи. У него отекли бронхи и начинала развиваться астма; в сердце слышались шумы. Весь его организм, казалось, был подвержен невидимому, но неуклонному разрушению, и с каждым днем Брашу становилось все хуже. Ему пришлось на несколько недель лечь в больницу, где он пролежал все эти дни почти без движения, ни слова не говоря, отвернувшись лицом к стене. Он лишь произнес несколько фраз из «Короля Лира», плохо переведенных на немецкий. Браш по-своему понимал все, что с ним происходит, и при случае попытался изложить доктору собственную теорию болезней, но, не сказав ничего вразумительного, закончил свое объяснение словами: «Ich sterbe, du stirbst, er, sie, es stirbt; wir sterben, ihr sterbet, sie sterben, Sie sterben»⁴.

В больнице впервые ему пришлось заполнить учетную карточку: имя, возраст, служебный адрес. Медсестра-регистратор написала в «Каулькинс и компанию» о том, что Браш находится у них на излечении. К нему тут же посыпались одно за другим письма из компании, но Браш оставлял их на своем столике даже не распечатав.

До этого Брашу никогда еще не приходилось лежать в больнице; даже бывать там за всю свою жизнь ему случалось считанные разы. Но у него и на этот случай была своя теория, согласно которой опытные медсестры являлись не кем иным, как настоящими жрицами. Увидев или встретив медсестру, он кланялся ей и взирал на нее с глубочайшим почтением. Мисс Коллоквер, которую закрепили за Брашем, отличалась совершенной безукоризненностью в исполнении своих обязанностей, но она, казалось, совсем не имела склонности выполнять что-либо сверх этих обязанностей, хотя Браш ожидал от нее иного.

Однажды она, облокотившись на ширму, за которой лежал Браш, вежливо спросила его:

— Вы не спите?

— Нет, — ответил Браш.

— Там один *очень хороший* человек хочет поговорить с вами, — сказала она и поправила ему простыню. — Его зовут доктор Бави. Это наш священник из Первой Методистской церкви. Не хотели бы вы побеседовать с ним?

Браш покачал головой:

— Нет.

— Вам будет очень интересно! Это *оч-чень, оч-чень* приятный человек! — продолжала она, нимало не смущаясь. — Позвольте, я немножечко поправлю вам... вот та-а-ак! — нараспев сказала она, слегка пригладив ему волосы неизвестно откуда появившейся у нее в руках щеткой для волос.

— Теперь все в порядке. Вы у меня прямо как агнец! Золото вы мое! Входите, доктор Бави!

Доктор Бави оказался пожилым бородатым человеком в сильно поношенном сюртуке; узкий черный галстук туго охватывал ворот его синей фланелевой рубашки. Он пришел сюда после длительного разговора с директором больницы.

Браш уткнулся в подушку, прижав ее к лицу обеими руками. Лишь на мгновение он чуть поднял голову, чтобы взглянуть на вошедшего, но тут же опять спрятал лицо.

— Что такое? Что с вами, мой мальчик? — ласково спросил доктор Бави, придвигая свой стул к кровати больного.

⁴ Пример спряжения немецкого глагола «умирать».

Браш не отвечал. Доктор Бави понизил голос:

— Вы ничего не хотите мне сказать?

Браш хранил молчание. Лицо доктора Бави стало слегка враждебным, но он держал себя в руках.

— Врач сказал мне, что вы очень больны, очень больны, мой дорогой. Мы с вами должны подумать об этом, да, сэр!

Он достал бланк анкеты, незаметно положил его себе на колени и приготовил карандаш.

— Ваши дорогие родители еще живы, мистер Браш?

Браш кивнул в подушку.

— Не думаете ли вы, что следует отправить им телеграмму о том, что вы больны? Не думаете ли вы, что было бы лучше, если бы ваш отец или ваша мать приехали к вам?

— Нет, — ответил Браш.

— Тогда скажите мне их имена и адрес, где они живут.

Браш назвал имена и адрес своих родителей, и доктор Бави, лизнув карандаш, записал сведения в анкету. Потом выяснилось, что Браш женат, и адрес Роберты был записан тоже, вместе с датой бракосочетания.

Доктор Бави, немного помявшись, задал следующий вопрос:

— М-м... Дети?..

— Двое, — ответил Браш. — Один жив, другой умер. Живой — девочка, Элизабет Марвин Браш. Ей четыре года. Мертвого ребенка звали... звали... — Он замолчал в замешательстве, потом добавил решительно: — Его звали Дэвид.

Доктор Бави поднял брови, но записал и это.

— А теперь не хотите ли вы что-нибудь передать через меня вашей семье, мистер Браш?

— Нет.

Доктор Бави отложил свою анкету в сторону.

— Я хочу, чтобы ты серьезно задумался, мой дорогой мальчик. Конечно, я надеюсь, что Господь скоро вернет тебя к жизни на пользу христианам. Но воля Господа нашего не всегда совпадает с нашей волей. Он призовет нас, когда Ему будет угодно. Какую веру ты исповедуешь, позволь тебя спросить?

Браш оторвал лицо от подушки.

— Никакой, — сказал он громко.

Доктор Бави дернул подбородком и прокашлялся.

— Многие люди, очень многие люди считают за лучшее просить Бога в лице Его священников о прощении за прегрешения, совершенные ими в этой жизни, — да, мой мальчик! Это облегчает им душу, брат мой!

Губы Браша сложились в горькую усмешку.

— Я нарушил все десять заповедей, за исключением двух, — произнес он. — Я никого не убил и не сотворил себе кумира. Хотя много раз я был почти готов убить себя. Да, я не шучу. Я никогда не поддавался искушениям, но уверен, что рано или поздно произойдет и это. Я говорю вам об этом не потому, что сожалею о своей прошлой жизни, а потому, что мне не нравится ваш тон. Я вполне доволен тем, как я жил, и если бы начать сначала, все делал бы точно так же. Просто я очень ошибался, считая, что люди будут делаться все лучше и лучше, пока не станут совершенными...

Браш замолчал. Наступила долгая пауза.

Доктор Бави несколько раз словно что-то глотнул, затем произнес дрожащим голосом:

— И все-таки, несмотря ни на что, мистер Браш, я обязан у постели больного... в критическом положении... произнести несколько... произнести несколько слов молитвы.

Браш поднял голову и свирепо взглянул на него.

— Нет! — отрезал он.

— Мальчик мой, мальчик мой! — в смятении пробормотал священник, подняв руки, словно защищаясь.

— Если бы Бог существовал на самом деле, все это Ему бы не понравилось, — с неожиданной силой крикнул Браш. — Разве вы не понимаете, что не имеете права спрашивать о конкретных фактах? Вы священник, а не полицейский следователь!

— Мистер Браш!..

— Вы можете спрашивать только о вере, и ни о чем больше!

— Хорошо, хорошо... О Господи!..

— Но и это вам ничего не даст! Взгляните на меня. Чем больше я молился, тем хуже мне становилось. Оказалось, что я все делал не так. Все мои знакомые стали ненавидеть меня. Разве это не доказывает, что Бога нет? Когда вы были молоды, думаю, вы молились о том же, о чем и я. А теперь посмотрите на себя, кем вы стали: вы последний глупец! Вы сухой, бездушный человек. Готов спорить, что вы даже станете оправдывать войну.

Доктор Бави вскочил в ужасе и принялся поспешно собирать свои вещи: анкеты, шляпу, плащ, трость, Библию...

Браш продолжал:

— Другое доказательство, что Бога не существует, состоит в том, что Он позволяет таким глупцам, как вы, оставаться священниками. Я давно уже думаю об этом и рад теперь случаю высказаться вслух. Все священники глупы — слышите? — *все!*.. За исключением одного.

Доктор Бави так рассердился, что даже страх у него прошел. Он склонился над Брашем.

— Молодой человек, — членораздельно произнес он, — неужели вы примете смерть с этими самыми словами?

Их взгляды скрестились. Браш, сразу ослабевший после своей вспышки, в изнеможении закрыл глаза.

— Нет, — сказал он. — Извините меня.

— Я понимаю, что вы больны. Я надеюсь, что вы подумаете об этом и поймете, что ваша гордыня смешна. Я приду к вам еще раз.

Он подождал, но Браш ничего не ответил.

— Здесь у вас целая гора писем, — сказал наконец священник. — Если хотите, я вам прочту...

— Не надо. Сейчас мне совсем не до писем, — не поворачивая головы, глухо проговорил Браш.

Вошла, улыбаясь, мисс Коллоквер.

— Доктор Бави, откройте, пожалуйста, эту маленькую посылочку. Наверное, это подарок мистеру Брашу. Можно, он откроет, мистер Браш? Это из Канзас-Сити.

Браш утомленно кивнул.

Доктор Бави раскрыл сверток. Завернутая в тонкую папиросную бумагу, там лежала обыкновенная серебряная столовая ложка.

Мисс Коллоквер любила тайны. Она взяла письмо, приложенное к подарку. Письмо было от Марселы Л. Крэйвен. Она надеялась, что у мистера Браша все в порядке и он доволен своей работой. Парни с верхнего этажа вели себя прилично и не потеряли работу. Роберта, Лотти и Элизабет звонили ей как-то на днях: они пребывают в добром здравии. Марсела Л. Крэйвен надеялась, что мистер Браш скоро вернется домой, потому что маленькая Элизабет скучает по нему.

«Она так любит вас, словно вы ее отец, мистер Браш, истинная правда. Чуть не забыла: отец Пажиевски умер. Я расскажу подробнее, когда вы вернетесь. Мы с миссис Кубински были у него за несколько дней до смерти. Нам казалось, он знал, что умрет, и хотел дать нам что-нибудь на память. Он подарил нам каждой по ложке. Он просил меня передать ложку и вам тоже. Он сказал, что дарить такие вещи не совсем хорошо, но, может быть, она вам пригодится. Я сказала ему, что вы спрашивали о нем,

мистер Браш, и он, кажется, был очень тронут. Это ужасно, что вы так и не встретились».

— Хватит, — сказал Браш. — Дальше не читайте. Спасибо вам.

Он взял в руки серебряную ложку и отвернулся к стене. Затем спросил:

— Какой сегодня день, мисс Коллоквер?

— Сегодня? Пятница, — в недоумении ответила мисс Коллоквер.

— Спасибо.

С этого дня он пошел на поправку. Вначале он был молчалив и задумчив, но постепенно становился разговорчивее и в конце концов смог продолжить свою деловую поездку. Он так быстро объехал намеченные пункты, что у него появилась возможность вновь заглянуть в Веллингтон, штат Оклахома. Это было как раз в тот день, когда ему исполнилось двадцать четыре года. Он нашел тропинку в высокой траве и вышел к пруду возле заброшенного кирпичного завода. И снова там по корягам ползали черепашки; и опять птичьи трели возвещали начало жаркого дня. Он лег ничком в траву; ему захотелось спать, но не потому, что был слишком ранний час. Несколько дней спустя в Килламе один человек услышал, как он пел на открытии благотворительной ярмарки, и предложил ему выступить на радио в Чикаго. Браш ответил, что с радостью принял бы предложение, но его путь не проходит через Чикаго. Человек настаивал. Браш повторил, что с удовольствием спел бы бесплатно, но его путь не лежит через Чикаго. На следующий день в Локберне, штат Миссури, Браш встретил очень милую привратницу, читавшую в свободное время «Путешествие на „Бигле”» Дарвина. Он убедил ее поступить в колледж. Неделю спустя управляющий отелем «Бишоп» в Тохоки, штат Миссури, а также некоторые постояльцы были удивлены, обнаружив, что у высокого солидного молодого человека вдруг пропал голос и он вынужден при общении с окружающими прибегать к помощи карандаша и бумаги. Еще несколько дней спустя в Дакинсе, штат Канзас, тот же путешественник был арестован и провел несколько часов в тюрьме. Однако обвинение оказалось чистым недоразумением; он был освобожден и продолжал свой путь.

Перевел с английского А. Гобузов.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ИГОРЬ ДЕДКОВ

*

«КАК ТРУДНО ДАЮТСЯ ИНЫЕ ДНИ!»

Из дневниковых записей 1953 — 1974 годов

21.12.64.

Будто мчусь с горы, — все быстрее и быстрее. Время жалеет меня только вечером, когда я дома. А утром все начинается сначала. И куда несет меня, и где та стена, о которую суждено разбиться? Говорят про новый политический климат. Я не верю этим разговорам, странное впечатление производят люди, с одинаковым усердием молившиеся четверем или пяти богам за свою жизнь. После такой гибкости убеждений, после такого примера приспособляемости с уважением думаешь о каком-нибудь монархическом или религиозном ретроградстве или фанатизме. Поневоле думаешь, а есть ли у таких приноровившихся людей что-нибудь неизменное, какая-нибудь постоянная величина — или это только физиологические отправления, во имя которых и свершается великая диалектика великого приживальства. Неужели так было всегда — во все эпохи, и всегда мир сохранял свою нечистоплотность, и всегда партия сильных была самой многочисленной и самой растущей? Горе оппозиционерам — им никогда не бывать в большинстве — они всегда гонимы, их всегда мало, потому что принадлежность к ним — в России — никогда не сулила добра, злата и почестей.

Замятин был прав, когда говорил, что нет чести принадлежать к партии правящей, единственной — правящей. Такая принадлежность сулит льготы, а не тяготы, вознесение, а не изгнание. На свет яркой лампы всегда слетается мошкара и комарье. Это дурной образ, не к месту, хотя есть и в нем своя правда, потому что мошкары и в самом деле гибнет несметное воинство. И в правящем роде есть своя иерархия.

Наверное, Розанов и обо мне мог бы сказать: дайте ему в управление департамент, и он перестанет скулить.

Что толку, если я скажу: неправда. Кто проверит мою правоту и как? Мы жалеем ржавеющие, бездействующие механизмы и машины. Но кто сосчитал КПД современного человека? Самую высокую и честную правду о физиках я воспринимаю как сказку. Потому что физиков, даже если все они чувствуют себя хозяевами департамента, — ничтожно мало. Я думаю о тех, кто всегда шел на удобрения, — вот где большинство, и КПД их ничтожен.

24.7.65. <Санаторий под Рыбинском.>

Даже не верится, что так можно жить. На солнечной поляне в лесу под синим небом витает сама беззаботность, сама бесцельность. Лежим в шезлонгах, вытянув бледные ноги, отученные от солнца. Мы подчинены только санаторному режиму и погоде. Остальное — за пределами окружности, очерченной вокруг нас березами и соснами. Босым ногам хорошо в мягкой траве: ни склянки, ни камешка, ни шишки даже, и голове хорошо в покойной тишине и тепле солнца. Стрекоза, которой я не чувствую вовсе, приземлилась на мое плечо, страницы книги слепят глаза. И не звенят будильники, не гудят гудки,

не мешают жить телефоны — почти рай — рай местного значения, как этот санаторий, — но какой искусственный этот рай! Мы зарабатывали его целый год — разве это не страшно?

Боже, как относительноны все ценности мира сего! Для многих такие санатории как место в общем вагоне, а вот для тихой женщины, бледной и худенькой работницы Маруси, которая сидела за нашим столом и так неохотно уезжала, это был рай, неслыханный салон-вагон на одну персону с личным поваром и киноустановкой.

26.7.65.

В 1909 году были «Вехи», двенадцатью годами позже — «Смена вех». Написать бы нескольким собратям «Новые вехи» — вот было бы неплохо. Сижусь в лесу, читаю рассуждения Гершензона о творческом самосознании и думаю: вот чудеса — наверное, во всей России один чудак перечитывает «Вехи» среди сосен, травы, тишины, и мог ли представить себе это Гершензон или Бердяев, что эстафета все-таки продолжается, духовные связи не рвутся, а все длятся и длятся. И пусть я не единомышленник их, но критицизм «Вех» я принимаю охотно, потому что есть в нем не умершая до сих пор правда, но столь же определенно мне чужд их выход из тупика. Может быть, это потому, что нет во мне почтения к религии и нет глубокого ее понимания, которое одно позволяло бы глубоко отрицать, не принимать ее.

Может, я самоуверенно заблуждаюсь, что я один в этот день листаю «Вехи»: мало ли на свете ученых мужей, обличающих период реакции 1907 — 1911 годов! — но что-то заставило меня подумать именно так: ведь длится, живет духовная связь, тянутся невидимые провода духовной общности русской интеллигенции, и в этот июльский день эти провода проходили и через меня.

14.12.65.

Наша критика — мне хотелось бы написать «часть нашей критики», но я не уверен, что существует какая-либо другая часть, — наша критика как-то очень настойчиво и притом непринужденно, естественно игнорирует трагедию отдельного человека, исторически и физически обусловленную. <...>

Иные бьют Достоевскому поклоны при всяком удобном поводе и не понимают, что он достал до дна, как самый смелый пловец. Никто не хочет из нынешних — разве что Солженицын — попытаться достать до дна. Это как-то не принято; мы вроде бы выше этого. Мы стоим на твердом незыблемом берегу давно постигнутой истины.

Выработалась привычка к словам «класс», «пролетариат», «трудовой народ», «трудящиеся всей страны». Даже новомирцы не гнушаются продемонстрировать преданность свою абстракциям: «принцип коммунистической партийности художественного творчества» есть «тот новый эстетический принцип класса, призванного изменить лицо старого мира, которым этот класс практически утверждает себя в искусстве»...

Это нечто мистическое, непостижимое в своей произвольности. Через кого выражает себя класс, каким образом «утверждает себя» — посредством всеобщей подачи голосов?

Вот на эту-то наивность можно великолепно ответить, но весь ответ этот будет игрой слов, издевательством над живой жизнью.

Всякие теоретики (историки, критики) жизнь упорядочивают, причесывают, учат манерам, переодевают, иначе ее не введешь как деревенскую девушку в высокий свет.

Даже поэты призывают: «Вы сумеете сбалансировать минутный сбой и поступь века» (И. Сельвинский). Об этой самой «поступи века» и твердит в большинстве своем наша литература.

В грохоте этой поступи «шум», производимый одним человеком, неслышен. Иванов Карамазовых в нашей литературе и жизни вроде бы и нет. Искания русского духа иссякли, — если судить по печатному слову. Смерти миллионов называют «минутным сбоем». Гибель цвета нации объясняют «печальной необходимостью», с какой гибнут пограничные части.

Какая бездна философствования там, где кричать надо от горя и страха!

И кричать-то теперь — не кричат.

«О, по моему, по жалкому, земному эвклидову уму моему, я знаю ли то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться!» (Иван Карамазов).

20.12.65.

Какие-то чудачки выдвинули Вознесенского на Ленинскую премию. Говорили с Мишей П. об этом. Он хочет писать нечто для газеты <...> Записываю об этом потому, что Миша сказал, что о Вознесенском надо бы написать критический роман. Я ему тут же говорю: а в «критическом романе» есть резон. Почему бы не быть критическому роману? Критика имеет дело с отражением жизни. Кинорежиссеры и режиссеры театра — тоже, но при этом они чувствуют себя достаточно свободно и порою впадают в произвол. Критику творить насилие не стоит. Но почему бы ему не быть свободнее в обращении с материалом, почему бы ему не возводить свое здание по своим законам? У меня, скажем, свое отношение к жизни, определенное знание ее определенных сторон. Соединенные с материалом каких-то литературных вещей, эти знания и отношения позволяют воздвигнуть необходимое тебе сооружение. <...>

8.1.67.

Опубликованные сегодня тезисы Цека о 50-летию Октября удручающи. Впечатление такое, что мы живем в государстве ангелов, воздвигнутом ангельскими средствами. Прошлое написано как икона, настоящее как икона, будущее — как ослепительный лик земного рая. Не понимаю. Умные люди, что-либо знающие о марксизме Маркса и Энгельса, так писать и думать не могут. Это как бы религиозная система, Ленин выступает божеством. Говорить об этом уже банально. Бердяев все это предвидел и понял давно. И каким языком написаны эти тезисы! Русский ли это язык? Когда я читаю, у меня сохнет в горле. Это безудержная абстрактность — это страшный отлет от земли, там трудно дышать.

21.1.67.

Вот уж В. В. Розанов был «сам собой», и настроение, по-видимому, им правило. Но хорошо ли это? Настроение (разорвать кольцо уединения) искренне, достоверно, но важно, какова природа человека (этого). За «восприятием» стоит что-то глубокое, почти неопределимое. Ведь может Розанов совершенно искренне подивиться и легонько возмутиться тому, что вот помнят поэтов, а полководцев — нет. (И слава Богу, что не помнят!) Нужна «великая, прекрасная и полезная жизнь!» — Бессодержательное краснобайство.

Насчет вязанья чулка жизни он вроде бы и прав, но человек-то так вязать не может, шея, спина и глаза устанут. Ему надо иногда распрямляться и смотреть в небо. И ничего не поделаешь с этим, и ничего не переиначишь.

«Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского» (В. В. Розанов).

А ведь это льстит Ключевскому.

15.2.67.

Алексей Иванович Никитин¹ явился сегодня откуда-то, из странствий. Рассказывал, что собирает материалы к книге о Волжской флотилии (1918, Раскольников, Рейснер). Говорит, что встретил 70 свидетелей и опросил. И так ругал Рейснер (наркоманка, истеричка, был якобы специальный пароход для ее мамы — плавучий дом отдыха в боевой флотилии). И Раскольникову досталось: делал карьеру, посылая Ленину телеграммы о победах. Правда — не правда, не столь важно. Истеричка, наркоманка — и это еще не страшно. Но поневоле начинаешь думать о легендах и мифах. О том, что ни одно имя не должно произноситься с почтением, восторгом, пока ты не уверен, что на то есть основания. Вообще восторги надо умерять, потому что мифы — не про-

¹ Никитин А. И. — костромской писатель.

шное, мифы окружают нас, подстерегают за углом. Такие приятные и красивые мифы. Сирены, от них надо затыкать уши.

«Осторожно, человечество!» — названа статья М. Лифшица в «Лит. газете». Там есть одно место, которое не согласуется с ее названием и со всей моей внутренней убежденностью. Вот оно: «Если преступления совершаются во имя истины, добра и красоты, то перед нами глубокое противоречие и есть еще надежда на исправление. Если же они совершаются во имя системы взглядов, которая проповедует «дерзкое неразумие», т. е. утонченный культ хамства, то здесь никакого противоречия нет, это закономерно».

И все-таки преступление есть преступление, а потом уже глубокое противоречие; сначала — наказание, а затем — надежда на исправление. В этой М. Лифшицкой философии исчисление тоже ведется на миллионы. Для убиваемого человека даже обиднее, что его уничтожают ради какой-то надчеловеческой красоты, какого-то добра и проч. Это злодейство и ничего более.

21.2.67.

У Кобо Абэ человека неожиданно обступает песок. У Кафки («Горящий кустарник») человек попадает в «непроходимый кустарник» («Будто кустарник внезапно разросся вокруг меня», «Мне уже не выбраться отсюда, я погиб!»). Песок, кустарник, какая-нибудь трясина и т. п. — все одно. Это стихия чуждого, античеловеческого. Как вата, обступающая, облегающая, душащая в бреду болезни.

<Без даты.>

Очень важно, с какой точки зрения смотреть на мир.

Можно смотреть из окна комфортабельного кабинета в столице.

Можно смотреть из рабочей квартиры в рабочем районе в той же столице.

Можно смотреть из комнаты служащего в областном городе.

Или из убогого жилья уборщицы в этом городе.

Из крестьянского дома в среднерусской деревне, где на заработки не жалуются.

А можно смотреть из другого деревенского дома, где живут трудно, хотя без работы не скучают.

Можно смотреть из низких окон районного городка или села за тысячи верст от столицы.

И еще можно смотреть на мир тысячами разных способов.

Зачем же монополизировать право на истинное видение и понимание мира за обеспеченными, благополучными и сытыми глазами, не умеющими или разучившимися видеть мир еще тысячью других способов, а значит, не способными сострадать и понимать.

Где же истинная точка зрения? Приводить же точки зрения к одному знаменателю еще никому не удавалось. Для такой цели всех нас нужно было бы переоборудовать в автоматы.

1.3.67.

Иногда пропадают силы. И все литературные упражнения кажутся чепухой. И проступает такая тщета во всем: и в службе, и в критических статьях, которые читаю, и в жажде моей и многих — всяких реформ и перемен. Господи, так ли был глуп Обломов? Не благо ли обломовщина в России?

Правители (редакторы, секретари и проч.) делают вид, что ничего не понимают. Не понимают скрытого (не особенно тщательно) оппозиционного смысла статей М. Лифшица, намеков, скажем, Гусева в статье об Евтушенко («Лит. газета», 1.3.67). Кстати, сам факт обнародования и «незамечания» как-то обезвреживает эти сочинения. Тогда-то и приходит мысль о тщете.

3.3.67.

<...> Дни так поспешны, только кофе раздвигает их, что-то оставляет для души и ума, иначе всепобеждающий сон, он не церемонится, и так славно поддаваться ему и оправдывать себя усталостью и всякими подвертывающимися причинами. А нельзя, нельзя.

Надо встать на ноги, не прислоняться к заборам, пора уже, пора, лишь бы успеть.

Или обида во мне на Виноградова, что не оценил, как бы взглядом скользнул; что у Лакшина в глазах ничего не разглядел, кроме равнодушия, — не поток ли писак течет по коридорам? — и иронии? Единственное, что оправдывает меня, — сама рукопись о Башмачкине² — в ней «новомирское» преодолено, уже там не прислоняюсь к заборам.

Крестьянская рукопись должна окончательно утвердить меня в этом — надо писать наперекор идейному правописанию, всему прогрессизму³.

21.3.67.

Они хотели бы сделать из меня «своего», чиновника, мною восполнить пробел в своем образовании и неумении быть человеческими. Но мне уже поздно жертвовать собой, даже сознавая, что это будет не напрасно: кому-то я помогу, в ком-то восстановлю веру в справедливость власти. Но главное все-таки было в другом, в том, что я стал бы «их» человеком, а это невозможно, я изолгался бы, я бы исфальшивился, истеатралился. Помилуй Бог, и так ложью выстланы полы в наших коридорах власти, в коридорах ее вспомогательных служб⁴.

— Поставим на эту темную лошадку, не хватит ли прибедняться?

На темную лошадку — на этот год? Помилуй Бог (как теперь повторяю излюбленно), сколько в нас оптимизма!

2.4.67.

Все читаю А. Григорьева, все надеюсь найти (в книгах!) хоть какой-то выход, решение. Так горько, что ничего нельзя поделать, ничего изменить. Как ни шевелись, ничего в мире не всколыхнется.

«Новый мир» надо преодолевать, расширяя площадь критики, уходя от его ортодоксии.

— Ну-ну, уходи, никто и не заметит.

13.4.67.

Переделываю статейку для «ЛГ»⁵. Мучительное занятие, потому что не смягчать надо, а усугублять. Да и бесполезно, потому что разве угодишь тем, кого ненавидишь. Хвалить надо, хвалить. Вообще «да» больше принято и безопасно в мире, чем «нет».

7.9.67.

До чего омерзела всепроникающая фальшь — не спрячешься, не укроешься одеялом, — горькое время. Нас опять приучают к Сталину, да нас теперь не приучишь — зато других сколько угодно.

Был бы тот свет, где воздавали бы должное <...>. На земле избыток преступлений и малая толика возмездия. <...>

Профессиональный революционер не служил, то есть не работал каждодневно в определенном направлении (как хотел Гоголь). Он не имел навыков организатора, не знал ни одной из отраслей хозяйства, не знал административного ремесла. Он не имел привычки созидать: учить детей, строить заводы, изобретать машины. Россия строилась помимо их. В один прекрасный день они сказали, что все было не так, и стали делать то, что никогда в жизни не делали и не умели делать. У них был огромный опыт разрушения и не было опыта созидания. Никто не доверит строительства избы человеку, не бравше-

² Статья И. Дедкова «Жребий Акакия Акакиевича» (о «маленьком» человеке в современном мире, о прозе Ф. Кафки и др.), отвергнутая в 1967 году отделом критики «Нового мира», была опубликована в кн.: Дедков Игорь. Обновленное зрение. М. «Искусство». 1988.

³ Дедков И. Страницы деревенской жизни. Полемические заметки. — «Новый мир», 1969, № 3.

⁴ Предложение перейти на работу зам. зав. отделом обкома КПСС.

⁵ Дедков И. Великие предметы. Политическая проза юбилейного года. — «Литературная газета», 1967, № 24.

му в руки плотницкий топор. Но государству миллионы людей переходят из рук в руки. Оказывается, это проще, чем строить избу. Эта деятельность мнимая, словесная, это «театр». Профессиональные революционеры пришли к театру. Никто из них не признал своей несостоятельности.

Ю. Карякин, «Правда посюстороннего мира. (К столетию романа Ф. Достоевского „Преступление и наказание“» («Вопросы философии», 1967, № 9).

Все хорошо и правда, но Бердяева сравнивает с Достоевским, забывая о том опыте, который знал Бердяев и которого, к счастью, не знал Достоевский. И выдержал ли бы он его («отвращение к жизни» и т. д.)?

М<аркс> и Эн<гельс> «провозгласили», и следуют ссылки на первый том. Нам доказывают, что М. и Э. ни в чем не повинны, что они прекрасные мыслители.

Но человечество знает реальный марксизм, уже 50 лет воплощаемый огнем и мечом. Знают дело, а не слово. Откуда же должна возникать любовь к слову? Тяга к изучению и проч.? А статья отличная. Только дураки могут не понять ее направления. А дураков таких мало, сыскной нюх — у всех, так в чем же тогда дело?

24.10.67.

Почему-то в современной драматургии нет непосредственности, естественности, столь заметной в лучших произведениях прозы и поэзии. Постоянно чувствуешь сделанность, ощущаешь расчет, умствование. Постоянно различаешь каркас строения, остов. Или такова природа драмы? Но это неправда, это не касается Чехова, Островского (в лучших вещах).

В литературе всегда часть — реакция (на то-то и что-то), часть — собственное открытие. В каждой отдельной вещи — то же сочетание. Есть эпохи реакции (не мракобесия), эпохи, не знающие «своего».

2.1.68.

Насчет пьес я что-то пока не пишу, опять подступило это странное состояние души, когда ни за что не можешь взяться и нет сил <...>⁶ Я-то, кажется, знаю, почему так нервничаю: это ускользает время, оно просыпается меж пальцев, и это непоправимо, и надо бы спешить и работать, а я все чаще считаю, оправдывая себя: одиннадцать с половиной часов я живу для других, встаю, спешу, сижу на службе, и что бы ни делал, жизнь зачеркивается, все меньше светлых клеточек впереди, как в игре «морской бой»: и четырехклеточный потоплен, и все трехклеточные, и настал черед двуклеточных, и все вокруг черно от разрывов, и рождается совсем новое умонастроение, когда с очевидностью понимаешь, как мало ты можешь, и как трудно выявить даже это малое, и как относительноны все высокие понятия — гуманизм, братство, патриотизм, и что есть одно только главное, к чему можно с достоинством стремиться: духовная свобода и ее ощущение, рождающее новые силы.

Из Белого («Начало века»): «Он внимал философии жизни, а не испарениям схем» (к веяниям, о которых я писал).

18.1.68.

Современная театральная драма — лишь малое отражение современной живой драмы, она не потрясает. <...> «Полезно, прогрессивно», — говорим мы, и идем завтра на службу, и повторяем: «прогрессивно, полезно», и скоро веяние это проходит <...>

Чехову был неприятен Львов, очень честный человек, без конца доказывающий свою честность. Он старался внушить зрителю антипатию к нему — исподволь, незаметно, это не было отрицанием отрицателя, это было преодоление бесплодности прямолинейного подхода к жизни, преодоление попытки «разграфить» жизнь. Смерть Иванова не обрекала нас на отчаяние, оставалось воспитанное, сохраненное писателем — в нас, это чувство не удовлетворялось

⁶ Автор дневника работает над статьей «Герои современной драмы». Статья 1968 года опубликована впервые двадцать лет спустя в кн.: Дедков Игорь. Обновленное зрение. М. «Искусство». 1988.

крайними точками зрения, оно искало нового взгляда на жизнь, более емкого и глубокого, чем процветающие.

17.3.68.

Сколько прошло всего — всякого, и хочется вспомнить и писать, и лень, а может быть, и не лень: буду писать сейчас, и получится хроника, сухая, безжизненная, сторонняя. Обступает другое, сегодняшнее: перемены в Чехословакии, студенческие демонстрации в Польше, и жаль, что это недоступно нам, у нас немыслимое, хотя и более необходимое, чем там.

Сесть бы к столу, думаешь, и написать бы что-нибудь этакое — смелое и главное, — справедливое, такое, что неопровержимо.

И. Золотусский прислал свою книжку «Фауст и физики». Очень жалею, что не повидал его в Москве. Надо было бы всех повидать, хотя робость моя вряд ли сослужила мне добрую службу при встрече.

Сейчас у меня пауза, хотя надо переделывать статью для «Н. мира». Пожалуй, будь потверже уверенность, переделал бы тотчас, а так — все медлю, и думаю, что бы этакое начать новое — длинное, для души, для воли. Для стола. Пусть даже так.

Верить в эволюцию, в ее мудрость и единственную разумность — надоедает. Рассудок приемлет только ее, а живое чувство противится, желает перемен сейчас, а не после нас. Иногда трудно не быть революционером.

1.4.68.

Вот ведь как — тревожно стало и горько и так трудно поверить, что может вернуться старое, что всякий розыск и дознание вот-вот войдут в силу. Уже сказано одним маньяком, что между моими сочинениями (в газете) и польскими событиями есть связь. Пока я не воспринимаю это серьезно.

28-го Леонид Леонов произнес прекрасную речь, ее испугались. Речь не о Горьком — о назначении поэта. Дай Бог ему здоровья — старый он уже человек, и жалею я его, хотя жалость ему не нужна. Он гордый и мудрый человек. И искренний.

21.4.68.

Происходит «обострение идеологической борьбы», и необходимо «разоблачение происков». Незначительная переделка старой формулы «обострения классовой борьбы».

Меня уже разоблачали, но первая попытка связать мои писания с польскими событиями окончилась неудачно для организаторов сего благородного дела⁷.

5.5.68.

Как стало известно (очень деликатная формула, между прочим), перед маем поздно ночью в квартиру Виктора Малышева⁸ явились сотрудники КГБ. Увезли его на машине в свое учреждение, предъявили ему какие-то бумаги для подтверждения. Речь шла о некоем А. К.⁹, которого знаю и я, и Виктор, и многие другие. Ничего страшного он никогда собой не представлял — особенно для советской власти. Очевидно, что он в некотором роде аморален. Но в наши дни аморальность порой удачно сочетается даже с членством в компартии. Да и суть не в этом. Беда в этом ночном налете, исполненном в традициях незабвенного 37-го года. Отвратительно всякое возрождение, даже приблизительное, этих традиций! Подслушивание, подглядывание, доноительство — это первейшие признаки слабости и глубокого, не искорененного за полвека недоверия к народу, именем которого клянемся на каждом шагу.

И рядом пример Чехословакии, где наказывают виновных в репрессиях, объявляют преступной систему микрофонов, отменяют цензуру. Некоторым образом это унижает русскую нацию, которая так послушна и несамостоятель-

⁷ На партийном собрании редакции газеты «Северная правда» осудили публикацию И. Дедковым статья в журнале «Новый мир».

⁸ Малышев В. — костромской журналист.

⁹ А. К. — спортивный журналист (Москва).

на. Жаль, что проходит жизнь — наша жизнь, и другой не будет — и эту могут искромсать и отнять.

Какое счастье читать Толстого! А читаю я «Анну Каренину», и понимаю, как это необыкновенно, гениально, есть страницы, от которых хочется плакать. Не потому, что они жалостны, а просто оттого, что они хороши.

17.7.68.

Написать бы про «Три сестры»: «четыре беспощадных акта». Место «высоких слов» в ряду других — обычных. Они («высокие») ввели в заблуждение, их надо произносить всерьез, т. е. с болью и верой — раз-другой, остальное — декламация. Обилие этих слов позволяет играть комедию. Драма потому, что все обречены: их движения, перемещения, переезды — попытки вырваться из-под ее гнета, но верит ли кто в их серьезность, действенность? Эта пьеса (вслед за С. Булгаковым) о слабости человека: о традиции слова и традиции безделья.

Драма слов («Три сестры»). Это надо написать беспощадно: к другим и к себе.

Из «Дуэли»: «для нашего брата — неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах» (Лаевский). К характеристике героев «Трех сестер».

Идеал Лаевского и Надежды Федоровны вначале тот же, что у Ирины: «На просторе возьмем себе клочок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле» и проч.

И я уже здесь одиннадцать лет, и упрямо верю, что моя игра не проиграна. По крайней мере сыграна не напрасно.

А на самом деле, может быть, жизнь нельзя так оценивать (напрасно — не напрасно). То есть можно, но это как-то фальшиво. Говоришь и чувствуешь, что врешь, будто есть что-то более важное (не то слово опять), более истинное, более согласное со смыслом человеческой жизни, с тем, что мы называем смыслом, имея в виду какое-то оправдание наших действий. Не будь «оправдания», мы бы действовали все равно, но приходили бы минуты и часы пустоты, и один на один с бездной человек иной (не всякий) не выдерживал бы. Так хочется, чтобы жизнь была прожита не напрасно. Лучше сказать, чтобы она была осенена и не подчинена, то есть сопряжена с извечной нравственной силой. Приобщена к ней. Герои «Трех сестер» это чувствуют, но ничего не могут. Их «жизнь заглушила» — внешняя, пошлая, масса ее, хотя противостоять должна формула «согласия с жизнью, проникновения в ее суть и мудрое живое начало».

11.8.68.

Скучно сочинял Скабичевский — пересказывал, перекладывал, будто для лентяев или дураков, и как глупо пророчил Чехову подзаборную пьяную смерть — стыдно за русскую критику.

Только для того, чтобы дразнить кого-то, можно вспоминать розановские слова о студенте, мучительно вопрошающем: «Что делать?» Хорошо варить варенье, пить чай с вареньем, топить печь, входить в родной дом с мороза, пить водку с приятелями. Хорошо работать, зная, что это нужно и тебе, и другим, что это согласно твоему призванию истинному, тому дару, которым наделен. Но тот старый вопрос сохраняет свою силу, хотя, может быть, он требует ответа только от тех, у кого нет истинного дела. Надеешься, что это не так, что жизнь и на самом деле требует действия от тех, кто способен к нему, потому что абсурдность, глупость порядка оскорбительны для любого живого ума и совести. Тут и за чаем с вареньем будешь толковать все о том же, и спокойного сна потом не будет, а если и случится, то утро ужаснет и еще раз умалит твою человеческую ценность, унизит тебя новыми вестями и новым насилием, и никакой скептицизм не спасет, не облегчит, не рассеет сомнений. На этот вопрос следует отвечать.

<...> Чехов — это тот случай, когда человек все-таки осмеливается остаться один на один с правдой человеческой жизни (с ее извечным неразрешимым трагизмом, с сегодняшней социальной и нравственной несостоятельностью).

21.8.68.

Исторический день. Войска введены в Чехословакию. Нам стыдно, но мы беспомощны. Таких, как мы, никто не спрашивает. Эти люди знают все. Мы просто подчиненные. Над чехом смеются и издеваются все, кому не лень, — первейшие обыватели, первейшие рабы, к коммунизму отношения никогда не имевшие. Дождались.

24.8.68.

Печальные дни. Мы возвращаемся к сталинским временам. То, что произошло в Чехословакии, отбрасывает нас к тридцать девятому году. Эти дни указывают всему (в том числе искусству) истинную цену. И она ничтожна.

26.8.68.

<...> Про Чехословакию лучше не писать — тут слова плохие помощники. Тут решается и наша судьба.

1968. <Без даты.>

Идея демократии — это, как ни странно на первый взгляд, — идея совместного действия, а не вражды. Наша интеллигенция ничего не добьется, т. к. ее преследует и мучает мысль о размежевании, точнее — почти мистическая тяга к расколу, к выяснению отношений, к закреплению исключительности одной из групп.

Явление Солженицына оттенило ничтожность массовой литературы, ее стыдность.

События 21 августа оттенили ничтожность нашей радикальной общественной мысли, ее трусость. Большого унижения испытать невозможно. Это как насилие над женщиной, совершенное публично при связанном муже. На площади.

Миллион терзаний и миллион компромиссов.

13.9.68,

Перед лицом неизвестности к кому взывать, как не к судьбе, как не к Богу — надежде на светлую судьбу. И в глубине души, втайне или в открытую, вслух, не скрываясь и не боясь публичности, все равно мы молимся, так или этак, потому что опоры у человека нет, кроме веры.

<...> Боже, как жалко мне себя, семилетнего, давнего, невозвратимого!

У человека одно спасение: не задумываться, не останавливаться, не давать воли воображению. Иначе не то чтобы бездна открывается — а такая полнота живого и, казалось бы, бессмертного переживания, что абсурдом кажется его невозвратность и даже напрасность. И так горько становится, и плач подступает, и ничего не поделаешь, и надо идти дальше, вбирая в душу все сущее, все переживаемое, и все-то она выдерживает, все вмещает — бездонная, горькая душа наша.

9.12.68.

Чехословацкий эксперимент подходит к концу. Развеена еще одна иллюзия. И никаких надежд. Гиппопотамы торжествуют. Носороги.

<...> Самое ужасное и постыдное для нас и дела, затеянного в октябре семнадцатого, заключается в том, что советская официальная идеология присвоила себе право на провозглашение абсолютной истины. Всех судим, всех рядим, всех поправляем, все итожим, все приводим к единому знаменателю, и в итоге — те, все, бесконечно неправы, мы — бесконечно справедливы и правы. Водительство миром. Несколько человек ведут мир? Кто же они? <...>

14.12.68.

<...> Гуманизм — это вера в свет и святость, заключенные во всяком человеке. И если не свет явлен нам, а темь и тьма-тьмущая, то виним весь мир и весь род людской, именуемые «средой»; если не святость сквозит во взоре, а пошлость и грязь, то верим, что покаяние уже стучится в его сердце и, показавшись, он будет достоин милости, доброты и восхищения...

На самом деле и гуманизм именуется хамством хамством и быдлом быдлом, потому что в миг сущий они таковы, а оправдания — это потом...

Сущий миг таков потому как раз, что определен торжествующим, невежественным, самодовольным и бесстыдным хамством, плюющим на всякого человека с чертами благородства, спокойствия и чистоты.

«Ему важно, чтоб был прогресс, а куда вы прогрессируете, к звездам или к дьяволу, ему абсолютно безразлично» (Г. Честертон, «Бесславное крушение одной бесславной депутации»).

17.12.68.

Ничего не остается, кроме слов... Я не вспоминаю ни музыкой, ни красками, прошлое не звучит, не сверкает, в лучшем случае оно пахнет — по крайней мере так для меня — не музыканта, не художника. Но все сохраняет слово — иногда, кажется, я страдаю из-за него больше, чем из-за нынешнего факта. Слова говорят, что было что-то и до сегодняшнего дня, что там, позади, не темнота, что жизнь была. И ее жалеешь не потому, что она была лучше, — неправда; жалеешь, что она прошла и невосстановима. Для нас она одна, и так горько, что ничего не удержишь, и мгновенья мгновенны. Только слова, сказанные по-особому — случайно по-особому, т. е. как дорогие слова, — восстанавливают прошлое, чтобы болело, сжималось сердце оттого, что это все-таки было, это с нами, и, пока мы живы, это с нами, и уйдет с нами — это как горят свечи — и тепло, и светло, и не погасить их.

Длинный ряд свечей. Счастье и мир души — ее протяженность. Я в зеркале — это ее отрезок, миг. И вглядываться не надо.

Проклятое мужество. Благословенная нежность. И жалость друг к другу — без нее мужество — качество тупых голов и одиноких людей.

Устроить бы революцию, Господи. Так тошно быть мужественным рабом.

20.1.69.

Чешский студент сжег себя¹⁰. Вчера он умер. Наше радио и газеты молчат. Говорят о чем угодно, только не о Чехословакии. Стыдно жить и делать то, что мы делаем. Наша участь унижительна. Все, что мы пишем, бессмысленно: бездарное, трусливое актерство. И лакейство. И проституция.

«Как чушка — своего пороса» (Блок).

Ах, это актерство, актерство — повальное, бездарное — и в жестах, и в голосе, и во взгляде, — на театр их, на театр!

Пересаживаются из кресла в кресло и принимают его (кресла) форму — тотчас, немедленно, не розовея. Они всегда соответствуют, раз надо соответствовать. И руководят исходя из того, что кресло, пост, чин обязали их быть умнее и дальновиднее прочих. И правят, жуя абсолютную истину и шикарно сплевывая на нас.

Я говорю, что будут трубить трубы, я говорил, вот вернемся за подснежниками.

Ничего не будет. Актеры и фальшивомонетчики учат нас жить. И спасения нет.

Каракозов стрелял в 66-м. Через 102 года стреляли у Боровицких ворот. Неужели мы на дне шестидесятых годов и все только начинается, брезжит заря?

30.1.69.

Иногда я прихожу в отчаяние. Что же мне делать? Мысли о карьере отвратительны, они занимают так недолго, потому что новый чин — это старые занятия в новом ракурсе, а смысл тот же, горечь та же. Почему бы правительству не платить некоторым интеллигентам за то, что они ничего не делают, раз, по мнению правительства, делая, они вредят? Этот опыт уже описан в романе Валё «Гибель 31 отдела» (со шведского).

¹⁰ Речь идет о студенте Яне Палахе, который сжег себя на одной из пражских площадей в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

То, что требует газета (люди, говорящие от ее имени и имени обкома), это тихое насилие: разжимают кулак, и пальцы уже не могут сопротивляться. стыдно, а выбора нет, хотя последнее — неправда.

Дочитываю «Прекрасный новый мир» О. Хаксли («Интернац. литература», 1935, № 8).

20.3.69.

Никакой тебе зари. Никакой тебе надежды <...>.

А на границе с Китаем пальба. Остров 1,5 × 0,5 км, а крови уже избыток¹¹.

Удивляемся «пути Мао к власти», а чего удивительного? Кто только с кого брал пример — не ясно.

Мальчики мои. Отрада наша, надежда, счастье. Когда болеют, все в них, ничего не хочу знать. Вот и рассуждай, что самое главное для человека. Те, кого он любит. Боже, что будет с нами?

Красные флажки — как на охоте.

15.4.69.

Очевидность.

Не воспринимается, так как нормой признано движение идей-приказов, идей-команд, идей-внушений, идей-поучений — сверху вниз.

Как опекуны при малолетнем или умственно отсталом.

Отчуждение твоего права думать, решать, действовать.

Остается слушать и подчиняться. В конце концов, это даже легче, чем что бы то ни было другое.

Ум, честь и совесть отчуждены простым лозунгом. Следует, что раз они уже воплощены, то к чему какое-то индивидуально исполненное воплощение. От него следует освободить, тем более не всегда в нем испытывают потребность.

20.4.69.

Правители, которых можно желать, должны были бы согласовывать свои нравственные, этические принципы (рекомендуемые народу) с принципами и идеалами русской классической литературы, потому что в ней более, чем в чем-то ином, выразилась национальная философия, национальный идеал или, лучше сказать, — истина русской жизни. Иначе образуется (образовался) разрыв между тем и другим и первое не выдерживает сопоставления, которое происходит постоянно, незаметно и неотвратимо. Избежать его можно, лишь запретив русскую классическую литературу, что невозможно.

Этот юноша или провокатор, или действительно думающий и мучающийся оттого человек, в чем-то напоминающий мне меня самого образца 53 — 56 годов. Это знакомство для меня опасно, т. к. становится странным, почему они (все такие) тянутся ко мне. Но что поделаешь. Отталкивать таких ребят мне не позволяет совесть, или как угодно это чувство называй. Но я говорю им — двум за последнее время, — надо учиться, заниматься, работать и Боже упаси от объединений, сходок, сообществ и прочего. Этак в духе пушкинской речи Достоевского.

Боже, как он атаковал меня вопросами! Слишком активно, как неопит. <...>

Возрастающая бессодержательность известных слов. Слова-заклинания. (Откупились за неучастие в воскреснике 12 апреля 1969 года. Не можешь — плати дневной выручкой — зарплатой. Такой налог. Такой почин. Добровольный. Вот выдумщики! Вот мастера!)

5.5.69.

Поют песню: «В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей».

¹¹ Военный конфликт с Китаем на острове Даманском.

Какие мы беспомощные! Оттого, что не играем в хоккей.

Какие мы податливые! Оттого, что не играем в хоккей.

Значит, спасение нации — в хоккее.

Есть игрушки, которые устроены так, что движутся по кругу. Лошади, послушно «повиливая могучими бедрами», скачут по цирковому манежу, музыкально переставляя ноги. Напрасно дети завидуют красоте этих холеных и стройных лошадей. Мы, когда подрастает, не хуже их, а даже и лучше. Мы легче усваиваем маршрут по самой бровке манежа. <...>

Отталкиваясь от статьи О. Михайлова («Наш современник», № 4, 69 г.). Вся эта декламация о патриотизме, корневой системе нации, родословной народа, о духовном подъеме народа в войну — никому, увы, не поможет и никуда нас не передвинет с места, на коем стоим. В декламации о народе всегда упускается, опускается отдельный человек, чья жизнь порою вся выпадает на тот исторический период, который позднее будет признан трагическим недоразумением, искривлением линии, великой эпохой. Но укороченная насильственно жизнь ничего более не означает, кроме самой укороченности. И счет был бы предъявлен, если б это было возможно.

9.5.69.

Печальная повесть Драбкиной о Ленине («Зимний перевал», «НМ», № 10, 68).

<...> От чтения становится тяжелее и тяжелее. И легче только в одном смысле: ты — малая, но частица круга людей, существующих и понимающих, где мы и что с нами... На какой широте, в какой эре, на какой ступени лестницы, под каким номером...

Я чувствую, что отношение ко мне органов госбезопасности переменялось. Заметил я это после рецензии на «Мертвый сезон». Еще до этого я ответил Хромченко¹² (кажется, ныне капитан), что задавать провокационные вопросы Валерию З.¹³ не буду и что насчет времен «культы» говорить и писать следует, потому что это «все было и от этого никуда не уйдешь». Наверное, запомнили и это.

Во всяком случае, интуиция моя говорит ясно: мы им не по душе. И они могут даже за тобой следить, хотя им должно быть известно, что весь мой «вред» только в том, что я пишу в газете. Но, очевидно, я их не устраиваю.

Важно также, что люди там, которые меня знали, уходят. В частности, не работает больше Епихин¹⁴. Может, я наивен, но это плохо. <...>

19.5.69.

Обступают мелочи, жизнь в мелочах, они предлагают себя, они выстраиваются — как столбы вдоль дороги, — они мелькают, и мы поглощены ими.

Жанр — бытовая драма, водевиль, лирическая комедия.

Жанр — не трагедия.

Есть хлеб, нянчить детей, спать, получать зарплату, тратить зарплату, получать повышение по службе, получать понижение, радоваться успеху, огорчаться неудаче, влюбляться, разочаровываться, ждать квартиру, платить за квартиру, ходить в гости, пить водку, смотреть футбол, гулять по улице или лесу, ездить в отпуск и командировку, встречать новорожденных и хоронить стариков, мыться в бане и загорать и далее так, и далее так — тысяча вариантов, — и кажется, это и есть главное — жизнь, клейкие листочки, извечное, лишь меняющее внешность, и — минуты сознания, что это длится трагедия, и простирается под ногами земля страха, двоедушия, лжи, и тысяча вариантов содержит тысячу утешений и оправданий, но трагедия остается трагедией, и есть высший суд, высший счет, и потом сосчитают и распашут наши кладбища, потому что пощады не будет.

Не вспомнят, как мы любили, и пили водку, и служили, и славословили, и верили в свою миссию.

Вспомнят, как научились предавать себя и других, как освоили насилие, как поддались дрессировке, как забыли, что человек рождается для минут сознания и трагедии.

¹² Хромченко — сотрудник Костромского УКГБ.

¹³ Валерий З. — работник музея, на которого КГБ вел «дело».

¹⁴ Епихин — сотрудник Костромского УКГБ.

26.6.69.

Иногда мне кажется, что они ходят вокруг и около. Как у Искандера («НМ», № 6): «комплекс государственной неполноценности».

26.8.69.

Актеры, господа, актеры!

Когда мы работаем молча, это еще на что-то походит. Но когда льются слова, произносятся речи, меня мутит от очевидного актерства. Мне кажется, что все это не всерьез, что это игра, потому что нужно занять как-то время, предназначенное для жизни. Иначе будет скучно.

Какие величественные жесты! Какая в них значительность! А всего-то на-всего кувшинное рыло в калашном ряду.

Из меня тоже делают актера. То есть все актерское во мне находит вовне поощрение.

Те актеры серьезны. Их ошибкой — тебя поволокут на дознание. Они не прощают, когда им говорят, что они актеры. Они выдают себя за героев. Они настолько талантливы, что играют без грима и в костюмах нашей эпохи.

<...> Михайловский считал «убеждения, выработанные человеком в результате умственных и душевных исканий», «его духовной святыней, и подчинять их взглядам какого бы то ни было класса, хотя бы всего народа, по его мнению, значило бы совершать грех против духа, своего рода идолопоклонство» («Голос минувшего», 1922, № 1).

Михайловский: «У меня на столе стоит бюст Белинского, который мне очень дорог, вот шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою комнату вломится «русская жизнь со всеми ее бытовыми (подробностями) особенностями» и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги — я не покорюсь и людям деревни. Я буду драться, если у меня, разумеется, не будут связаны руки» («Русское богатство», 1914, № 1). <...>

29.9.69.

Чехословацкая история завершилась. А пожинать посев еще предстоит. Надо бы плакать, да что толку. Мне жалко тех людей. Они пытались сделать почти невозможное. Остальное время жизни, если ее не укоротят, они будут вспоминать этот год. Ничего зазорного в этом нет. Бездействие — мудро, но действие — свято.

Лицо как маска из папье-маше. За ним пустая кассета. В нее вдвигают нужный диапозитив.

Надо показать новоявленный «аристократизм», чисто словесное моление на «рабочего и крестьянина».

Жажда «героя» и — потому борьба с «дегероизацией».

26.10.69.

Очень печальное настроение. Работа идет туго (статья). Но не потому — печальное.

Лет — 35.

Покорные судьбе и произволу.

Организация «третьей действительности». Первая действительность пугает. Она дает факты для подтверждения «теории». То, что не подтверждает, и есть «фактики».

19.12.69.

<...> Времена такие тяжкие. Стони не стони, да ничего не выстонешь.

Они не хотят видеть и признать очевидность. И потому они строят здание словесно, из слов, словесный коммунизм. Они надеются, что, переименовав, они преобразуют вещи и людские отношения. Слова порождают слова, слова,

воспроизводящиеся сами по себе. До людей им (словам) нет дела. Это параллельный мир, с которым нужно совладать, хотя бы словесно. Не подчиняешься словам — пеняй на себя.

21.12.69.

«Правда» стыдливо отметила 90-летие со дня рождения Сталина. Даже название статье не дали. Не решились. А все одно — пакость. Ответственность, которую несет этот умерший человек, безмерна и беспрецедентна. Увы, от суда он ушел, хотя заслуживал его более, чем кто-либо из тех, кто стоял перед господином Вышинским в тридцатых годах.

<Январь 1970.>

Не нужно, потому что бесполезно и бессмысленно, определять, что такое провинция. Чтобы знать, что она такое, надо в ней жить. Или бывать часто — по любви, приязни, но не по долгу службы.

Провинция, или всеобщий закон: в просмотровом зале первый секретарь обкома и пред<седатель> облисполкома с супругами, запершись, без посторонних, без «плебса», смотрят новые фильмы. После них на столике в холле бутылка коньяка (вестимо, уже пустая) и баночка от икры.

(Рассказ об этом я слышал в дни, когда в городе не хватало мяса, в нашей семье оно бывает раз в семь — десять дней. А какой у икры вид и вкус, я уже забыл. Говорят, что икра полезна детям.)

6.2.70.

<...> Я не понимаю, когда возносят бескомпромиссность и справедливость писателя, который умеет стоять на своем, не принимая в расчет интересы и судьбу близких (т. е. жертвуя ими). См. В. Белов о Яшине («НМ», № 12). Какая уж тут может быть справедливость! Не пожалейте близких — кого же тогда сможешь пожалеть и защитить. Вот почему нет для меня первее крепости, чем дом. Сдал ее — ну, тогда — твой черед. А с домом и в доме — все остальное не так страшно.

14.2.70.

Вчера в «Лит. России» странно так, очень случайно как-то наткнулся на маленько набранное и неприметно заверстанное сообщение о том, что освобождены от обязанностей членов редколлегии «НМ»: Виноградов, Лакшин, Кондратович, И. Сац. Назначены Д. Большов, Косолапов, Рекемчук, О. Смирнов, Овчаренко.

Так узнают обычно о несчастиях. Сразу. То, что произошло и что еще произойдет (отставка Твардовского и др.) — собственно, это одновременное, как бы ни хотели отделить Твардовского от других, — это происшедшее еще трудно оценивается, но на душе скверно, как при встрече с неизбежным. Едет огромное колесо — верхнего края обода не видно — и давит. Для меня, столь трудно устанавливающего и поддерживающего деловые журнальные связи, это вообще как катастрофа. Так мало печататься и теперь не печататься вовсе.

Статью о «маленьком человеке» теперь напишу начисто — для себя.

Жаловаться на обстоятельства, на судьбу, на кого-то, что-то даже здесь, на этой бумаге, трудно, не то — неприятно, противно, или — недостойно. И надо бы — чтобы осталось и было прочитано потом мальчишками моими — чтобы знали, как все складывалось, а вот не могу, рука не поднимается. Будто и так ясно. А может, и так будет ясно на самом деле, потому что скажут же правду о наших днях — рано или поздно, а значит, и о нас, живших тогда — или лучше сказать, — не умеющих жить тогда — неприспособленных, бесталанных для этого приспособления. <...>

Во все времена под любым государственным небом писателю может быть задан строгий вопрос: почему вы предпочли такого героя всем остальным, наличествующим? Неужели нет ничего в нашей жизни — более достойного, более талантливого, более значительного? Изображение, скажем, дворника лицом первостепенным (если он не переодетый принц) всегда покажется нарочитым, смещающим установленный порядок. Дворник потому и дворник, что

от природы не хватало ума и таланта. Ведь смог же Михайло Ломоносов... Но логика доказательства может быть и иной, менее ханжеской. И дворника литература вправе писать, но ведь в ту же пору здравствовали и трудились на благо отечества морские офицеры типа Невельского, офицеры декабристского толка, чиновники, честно делающие свое дело... Почему не они?

16.3.70.

Раздражающе бессмысленный недельный визит Н. Д. С тяжким трудом, почти с физическим нежеланием написана статья, которую там, в «Комсомолке», и не подумают напечатать. Писал же и написал лишь потому, что пожалел.

Добрых новостей давно нет ниоткуда.

6.4.70.

А статью-то напечатали, что принесло мне много одобрительных слов от разных людей¹⁵. Получается, что и на Н. сердился зря. Не настаивала бы — ничего бы не написал.

Ничего записывать не хочется, хотя вроде бы есть о чем. (Речь С. Викулова и т. п.)

Такие люди, как мы, видимо, не нужны нынешним регулировщикам русской жизни.

Спрос на послушных, на поддакивающих, остальные — опасны.

26.4.70.

Ничего обнадеживающего. Только дом всему противостоит, только там светло и оттого просто и ясно. <...>

В редакции плохо. Я вроде бы как постоянно подозреваемый. Это, конечно, не очень способствует моему сочинительству. Стасик Л. сказал точно о глубоком разочаровании после великих иллюзий пятьдесят шестого.

27.4.70.

Статья о фильме «У озера», — может быть, одна из лучших моих подобных газетных рецензий¹⁶. Редактор произвел правку — грубую, бесцеремонную, какую я не знал уже лет пять-шесть. Любопытно, что выправлены места, в которых правящие чиновники чувствуют укор и выпад против себя. Эта критика (правка) со стороны Ивановых Иванов Сергеевичей (см. фильм). Это правка с позиций не коммуниста, а функционера правящей привилегированной группы: классовая, этическая, социальная сущность группы уже не имеет значения. Это просто правящие, а флаги и словарь использованы популярные и привычные большинству.

6.5.70.

В этих idiotских сочинениях (Шевцов, Кочнев, Кочетов) надо бы рассмотреть сначала систему ценностей, защищаемых и рекомендуемых (тип человека, нравственные и политические принципы и т. д.). Затем важно само содержание изображаемой действительности (иерархия, противоречия, настроение и т. д.). И, наконец, система ценностей отвергаемых и развенчиваемых. То есть анализ должен не касаться по возможности мнимой «художественности» вещи. Сочинения эти важны как идеологические документы времени.

25.5.70.

Зачем я ходил к Архипову¹⁷? Зачем я вступаю в разговоры с начальниками (нечасто), когда все это на разных языках?

Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.

Я чаще устаю. Старею? Или обстановка недоверия меня доканывает? Недоверия и гнета. Но можно сказать, что я не заслуживаю доверия (имею в

¹⁵ Дедков И. О провинции — без иронии. — «Комсомольская правда», 1970, № 68.

¹⁶ Дедков И. Там, у далекого озера... (К/ф «У озера», реж. С. Герасимов). — «Северная правда», 1970, 30 апреля. С. Герасимов откликнулся на эту рецензию письмом Дедкову.

¹⁷ Архипов Б. С. — секретарь Костромского обкома КПСС по идеологии в те годы.

виду то, что я на самом деле думаю). Это неверно: то, что пишу, не приносит вреда и не противоречит моим взглядам. Вред наносится некоторым временщикам, хотя их и немало. Но — временщики.

1.7.70.

<...> Вот жизнь, в коей ни воли, ни денег. Унизительно, но последние полгода особенно как-то приходится задумываться о деньгах — на жизнь. (Наверное, это первое упоминание о деньгах в моих записях.)

Вчера нападки за мою статью «Фильм и жизнь» (30 июня): проповедь религиозной морали и буржуазной педагогики.

18.7.70.

Прошла половина отпуска. Скажем так: сегодня мне намекнули, что Чесноков сотрудничает с ГБ. Это делает понятным, откуда берется его уверенность. У собаки хороший хозяин с крепкой палкой. Писать об этом тошно — рука не хочет, но что поделаешь, если в моей практической жизни все эти грязные подробности имеют значение.

Как и 13 лет назад, передо мной стоит проблема ухода из газеты. Но как и куда? Не ждут же на порогах, раскрыв объятия.

Всякий раз, когда пишу в этой тетради, испытываю странное чувство, хочется писать, пока не начинаю писать. Хочется записывать подробно и хорошо, но не могу. Или душа не хочет быть переведенной, или просто, зная нынешние нравы и нынешнее отношение к закону, я не хочу доверяться бумаге. Хотя понадобится — так используют, зачитают, здесь уже много написано всякого. Вольно им. Вот отчего иногда так желаешь Страшного суда. Где-то должно же быть воздано господам!

<Без даты.>

Чего только не пишут о провинции и провинциализме!

Провинцию ругают за провинциализм, за подражание столичной моде, столичному прогрессу, за отсутствие собственных идей.

Провинциала ругают за неумеренную восторженность, за то, что он суетлив и бестолков у московских прилавков, за его образ жизни, за то, что мыслит не концепциями, а их отголосками.

Обличают провинцию в человеке, а не человека в провинции или из провинции.

Укоряют Москву провинцией, а провинцию — Москвой.

Заявляют, что провинции нет вовсе, и слово это умерло. Но вещи и явления надо как-то называть, и тогда изобретают периферию и периферийщика.

Но в слове «провинциал» есть поэзия. Провинциальный и провиденциальный ходят рука об руку. «Провинциальные страсти» — это фельетон, «провинциальная рампа» — прекрасная газетная рубрика.

Наконец, провинция — это все то, что не Москва. Например, Тбилиси. И это в высшей степени справедливо, если Москва — Рим (третий!), а все остальное тогда — провинция.

О провинции легко рассуждать, труднее в ней жить. Но как сказал один крестьянин в Государственной думе: «кто-то должен жить и в Чухломе». В той самой Чухломе, которую распротакали на всех публицистических перекрестках. Или в Костроме, хотя иной московский русак способен спутать ее с Кустанаем и Калугой. И жизнь эта столь же серьезна и значительна, как и жизнь тех самых публицистов. Не менее.

Я не вижу смысла в суетном подсчете числа книг, проданных на душу населения в той же Чухломе, или же в установлении цифры, означающей, сколько раз в год чухломич ходит в кино. Именно с этой арифметики начинают доказывать, что с провинцией у нас покончено. К счастью, провинция остается сама собой. Общий аршин тут, кажется, не пригоден.

По Ивану Аксакову, провинция интересна не как противовес столице, а как «охранительная» сила, «охранительный упор».

Современный критик с сожалением отмечает присущий Бунину некий духовный — провинциализм, активный консерватизм вкусов.

Бедный Бунин!

Человек иного мира Ханс Магнус Энценсбергер пишет: «...я предпочитаю называть эту контрсилу, призванную нас спасти, силой провинциализма. Я понимаю это так: провинциализм означает ощущение дома, родины».

Как бы там ни было, провинция остается провинцией, а ее консерватизм существеннее ее высмеянного запоздалого «модернизма». «Консерватизм» — это не Катков и Леонтьев, это, может быть, устойчивость быта, близость почвы, удаленность от ветров и веяний, это вообще тормозная система. Но провинция пестра, наши определения ее ненаучны; передовой и могучий Новосибирск, глядишь, и обидится, если усмотреть в нем «охранительный упор», но все-таки, может, и есть, правда, и вовсе не обидный смысл в этом «усмотрении».

Бог с ней — этой пестротой. Вот она, моя провинция — недалняя, поволжская, тихая, с купеческими рядами — с Красными, Мясными, Мучными, с Молочной горой, с Иваном Сусаниным спиной к городу, лицом к проплывающим туристам, к главной улице России; с памятью об Островском, Писемском, Кустодиеве.

12.10.70.

Странно, неприятно чувствую себя в чужих городах, даже угнетенно.

Лишь однажды мне жилось, ходилось, дышалось легко и славно не дома — в Светлогорске. Правда, я там был не один... Может быть, если все будет хорошо, мы поедем уже все вчетвером куда-нибудь, и опять вернется то светлогорское ощущение жизни.

Пока же здесь (в Горьком, на курсах переподготовки. — Т. Д.) я чувствую себя, как в ссылке, подневольным¹⁸. Впрочем, так оно и есть.

<...> Лекции, кои слушал сегодня, в первый день пребывания тут, меня удручили. Это курс политграмоты, от коего я давно ушел. И потому он меня угнетает. Может быть, потому и город кажется угнетающим... Или дает себя знать моя провинциальность, т. е. привычка к маленькому городу, к своему в нем положению, к домашности быта...

14.10.70.

Было ли у тебя такое чувство, что вот сейчас, сию минуту — жить не хочется? Таким отвратительным покажется мир и обступающие люди, что не хочется, и все тут. <...> и притом не в те минуты, когда тебя и впрямь мучают ненавистью, злобой, прямыми нападками на твое достоинство и твою жизнь, т. е. на то, как ты жил и живешь, <...> а в часы, минуты серости и тупого гнета. Вдруг тебя озаряет, что ты теряешь контакт со средой, что ты вроде как здесь вовсе не нужен — и чужой, чужой, как из другого века, другой страны. И приходит сухой такой, тоскливый страх и то самое нежелание быть тут. Да, как из другой — иноязычной страны... Я всегда помню и порою невольно твержу есенинские строки о том, как летит румянец на щеки впалые, и о том, что в стране своей — как иностранец...

25.10.70.

Мне недостает одиночества. Один, молчащий, я бы чувствовал себя лучше. И не слушающий других — тех, кого не хочется слушать. Когда я один, в комнате, на улице, я слышу, как во мне начинает что-то звучать, разговаривать, рассуждать и даже бывает там — музыка. Тогда я на что-то гожусь, что-то могу, многого хочу. А так, как эти дни здесь, плохо. Бессмысленность и пошлость — рука об руку.

Читал Евтушенко о Вознесенском в восьмой книжке «Нового мира». Все, что он пишет «прозой», — статьи его, — гораздо хуже поэзии. И по языку, по словарю даже, они погружены в те дни, что уходят и не остаются. Это какой-то домашний, для издательства отзыв. И в то же время я опять почувствовал, как и они (Евтушенко, Вознесенский и др.) находятся в пределах

¹⁸ Обком партии посылал журналистов на курсы повышения квалификации в Высшей партийной школе в обязательном порядке.

некоего черного квадрата, из которого нет выхода, и они уже неоднократно натыкались на каждую из четырех сторон квадрата. «Покоя нет, уюта нет, нет спасенья от спасенья, — для поэта». И верно, и неверно («покоя сердце просит»), а главное, что спасенье должно быть, и спасенье от него — это игра, театр, экзальтация, вполне допустимая и дозволенная в пределах того квадрата. И удивительное чувство: то, что в статье Евтушенко кажется смелым и на самом деле вроде бы смело и широко, ощущаешь, как ручную, как прирученную смелость. Видимо, настало время, когда дозволенное перестает быть смелым, и единственно смелым остается — недозволенное, то, что вне черного квадрата.

Уже давно приходит мне мысль, что мы все — как в ящике или банке. Открытое пространство только вверху.

Вот идешь, явственно чувствуя, что это не обман, что движение на самом деле происходит, а потом упираешься в стену. Отправляешься в другом направлении — тот же результат. При этом я подразумеваю чисто духовные искания, чисто духовное движение. Поставлены пределы — порою незаметные глазу, утвердиться в их существовании можно только «на ощупь». Они как стеклянные, эти пределы. Они очень удобны, так как те, что не ищут ничего, думают, уверены, что находятся на свободе. Способ борьбы — личное неучастие в наращивании этих стен, в наращивании и укреплении несвободы: «отказываюсь быть — с волками площадей».

28.10.70.

Как бездарно все это устроено, без проблеска ума, живого, творческого, без какого-либо уважения к знаниям и опыту слушателей. И так я трачу ежедневно несколько часов жизни — без смысла, без значения: концентрированное убийство месяца жизни. «У нас в запасе — не вечность», — крикнуть бы этим уверенным и спокойным гражданам-распорядителям. Да к чему это — кричать, возражать? Смысла не было и нет. <...>

29.10.70.

В Горьком я жил на улице Пушкина в общежитии партийной школы. Улица была очень грязная. По ней ходили трамваи. Трамваи тоже были грязные. И ходили плохо. Из-под дуги и колес летели искры. Будто ремесленник точил ножницы на точиле. Дом был населен молодыми и не очень молодыми партийными кадрами, которые и впредь очень хотели быть кадрами и стоять во главе кадров. У этого населения был прекрасный аппетит и сытые лица. А улица все-таки была грязная чрезмерно. Стоит ли описывать грязь. Это была обычная нижегородская грязь. Разве что более жидкая, чем во времена Алексея Пешкова, потому что тогда не было автозаводов и их продукции; а население Нижнего сильно уступало нынешнему...

Из разговора в коридоре партшколы: «Своих руководителей надо одевать красиво, — раз всех так одеть нет возможности».

Из лекции руководителя курсов, некоего И. А. Макарова, бравого, веселого, холеного: «Ленин учил: надо идти вширь и... (пауза). И что, товарищи? Вглубь. Правильно».

Он же рассуждает об участии женщин в руководстве: «Так что подумайте, товарищи мужички, как нам тут быть?»

Товарищи мужички веселятся.

28.11.70.

Когда нашему дому грозит болезнь, беда, горести, я хочу затаиться, как мышь, когда ее ищут. Может быть, пронесет... Не заметят. «Всем жертвовать ради таланта...» Талант не талант, но что-то поднимающееся над средним уровнем во мне есть. А вот «жертвовать всем» — не могу. «Всем» — это значит интересами семьи. <...> Это никак не могу. Следовательно, увы, не талант.

17.12.70.

Забастовки, демонстрации, беспорядки, поджоги, стрельба, жертвы в Гданьске, Гдыне, Сопоте. Плюс комендантские часы в Щецине и других местах. Речь Циранкевича по радио сегодня, обращение к народу и т. п.

8.1.71.

Ничего, все обошлось, полный порядок. Впрочем, за 14 лет поляки — сами, миром, народом, — смеяют второе правительство. Польша не згинела. Нам такое недоступно.

«Несвоевременные мысли» Горького, от которых он, вероятно, отказался позднее, или же о них просто постарались забыть, очень точно говорят и о наших днях.

Нами правят — без идей, без дара, без лица, без языка — не правят, а взнуздывают.

Народ постоянно отвлекают. Если же помнить, что он отвлекается и сам в силу законов жизни (быт и т. д.), то это двойное отвлечение и служит лучшей гарантией нашего общего надежного и — не вечного ли спокойствия и стабильности сущего.

Прославленный в веках русский человек способен скорее избить женщину, чем сказать дерзость начальствующему над ним лицу.

Гордимся терпением, тем, что винтики, что послушны и безответны. В глаза плюют, а мы знай — утираемся и еще спасибо говорим. И хвалим. Хороши же мы.

19.1.71.

Нечто случилось в ночь на минувший понедельник с дверями горсовета. Их взорвали. Вот как! Все было восстановлено к утру. Ночью же, говорят, заседали те, кому следует. Остались только слухи.

Из Якова Акима («Юность», № 12, 1970):

Кто-то к истине горькой приблизясь,
Пишет, пишет — и все невпопад.
Вечно он виноват, летописец,
Летописец во всем виноват.

15.2.71.

Анекдот, который я слышал в двух вариантах. <...> Приблизительно. Изобрели живую воду. Заседает Президиум. Кого оживлять? Решили: Ленина.

Оживили. Он заперся в своем кабинете и не выходит. Идут недели и месяцы. Тогда оживили Дзержинского. Чтобы помог. Д. взломал кабинет. Ильича нет, на столе записка: «Эмигрировал в Швейцарию. Начинаем сначала». (Другой вариант: «Я в Симбирске. Начинаем сначала».)

Прочитал венгерскую пьесу «По техническим причинам» (Телевизор, средний человекозритель и Христос), а также пьесу Фридриха Горенштейна «Волемир». Герой — почти «шизофреник». (Человек из ванной: «Кто-то должен рваться в облака, иначе телега погибнет в трясине».) Лебедь — Волемир. Правда, он рвется в облака — искренностью, тем, что говорит все. (А пьеса, конечно, талантливая, хотя западные влияния ощутимы.)

Опубликованы очередные Директивы. По этому поводу с утра в кабинете редактора был большой театр.

Жизнь людская разогнана по углам, посреди — большой Театр. Большой фарисейский театр.

18.2.71.

Без Иосифа Прекрасного заскучали.
Почему бы, однако, не пожалеть человека?
Он так много сделал для всех нас.
Он спал, накрываясь шинелью.
Без него мы бы погибли.

Надо вырыть и сжечь останки, зарядить ими пушку и, повернув ее на Восток, выстрелить, немедленно.

Надо бы собрать и издать хрестоматию «Великий Сталин», где были бы приведены выдержки из газетных статей, речей, из писательских сочинений, а также списки произведений изобразительного и прочих искусств, ему посвященных. Это была бы Розовая книга.

А потом увидела бы свет свой Красная книга.

И обе — они стали бы настольными книгами трудящегося человека. И не было бы на свете ничего поучительнее.

2.4.71.

О Г. Шелесте (из рассказа бывш. ответств. секретаря читинской окружной военной газеты): арестован после возвращения из Испании за агитацию против колхозов. Отбывал десять лет. По истечении срока вместе с большой группой заключенных (жена Косарева, секретарь Саратовского губкома Губельман и др.) был отправлен на барже в неизвестном направлении. Думал, что во Владивосток (из Магадана). Прибыли же в Одессу: по дороге многие умерли. Из Одессы поездом в Среднюю Азию, узнал по пейзажу; там воевал с басмачами. Привезли в зону, а думал, что в ссылку, на поселение. Выкликнули по алфавиту — последним. В комнате, куда привели, увидел полковника. Признал в нем своего бывшего взводного. Обнялись, и тот показал ему бумагу, где ему, Шелесту, причиталось еще десять лет. По старой дружбе получил Шелест подарок в десять коробок «Казбека» и прошлогоднюю подшивку «Большевика» и пошел отбывать новый срок.

У Шелеста была сломана кисть одной руки. Он объяснял так, что руку зажимали дверями и приказывали подписать показания. Он не подписал.

У Губельмана был голый череп весь в шишках. О его лысину гасили папиросы.

Восстанавливаться в партии Ш. должен был в Ленинграде, там, где вступал. Первый его визит в райком был безуспешным: нужного человека не оказалось на месте. В назначенное время на другой день ему опять ничего не сделали. Тогда он, старый человек, посмел возмутиться и сказал, что ехал сюда шесть тысяч километров и это надо как-то принять во внимание. В ответ одна из дам сказала: «Много тут всяких ходит». И тогда Шелест сказал, что в такой партии восстанавливаться не желает. Повернулся и был таков. Так и не восстановился.

Вскоре ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В военкомате его попросили принести шесть фотографий в генеральской форме. Он ответил, что таковой не имеет. Ему посоветовали сшить. Шелест же заметил, что ради фотографирования шить форму он не будет.

Так он и не оформился в генерал-лейтенанты.

При похоронах была растерянность. То ли на лафете везти, как генерал-лейтенанта, то ли попросту. Решили после консультаций с Москвой, что на лафете¹⁹.

13. 4. 71.

Теперь все молодые пишут хорошо, один лучше другого, но от этого ничуть не легче. То есть и не должно быть легче. Должно быть менее одиноко. Каждому.

Беда в том, что молодые герои молодой прозы неинтересны.

Если по-старому относиться к художественному произведению, как к свидетельству о жизни, то свидетельства, представленные молодыми, вызывают сомнения. В этих свидетельствах сильно ощущается элемент организованности, продуманности, расчета. Это свидетельства чрезмерно взвешенные.

27.5.71.

Последние годы показали, что слова, даже те, которых боятся, беспомощны. Они утешают людей, их произносящих. Я среди этих людей, хотя круг моих читателей мал.

Я видел сегодня по телевидению чехословацких рабочих на митинге в честь советской делегации. Это страшное и горькое зрелище; оно напоминает о том, что человек в нашем веке в основных своих общественных проявлени-

¹⁹ Шелест Г. И. (1903 — 1965) — русский писатель, печатался с 1924 года; был репрессирован. Лучшие рассказы и повести, посвященные Гражданской войне, собраны в книге «Горячий след» (1-е изд. — 1958, 2-е изд. — 1966).

ях несамостоятелен. Он опутан, оплетен; его голова затуманена. Против него слова и сила власти. Против таких стихий он бессилен. Он устал, он разуверился, он помнит, что он не один и несет ответственность: за семью, прежде всего.

<Июнь 1971.>

В качестве эталона, чьими копиями мы должны быть, нам предлагают — с помощью средств массовой информации и массового искусства — человека без воображения.

Выхваченные из Горького слова о том, что человек звучит гордо и надо его уважать, а не жалеть, давно уже употреблены во зло нравственности и психологическому состоянию русской нации и всего советского народонаселения.

Обличения «нытиков», «малOVEROV», «чистоплюев», «мягкотелых интеллигентов», бесконечные доказательства «жизнеутверждающего характера» того или иного произведения искусства являются самым поверхностным, но вполне серьезным выражением официального презрения и недоверия к малейшей слабости и дару воображения. Эти «пороки» опасны, потому что за ними скрываются «от всевидящего глаза и от всеслышащих ушей» элементарная самостоятельность мышления, не менее элементарная вроде бы способность видеть и предвидеть, а также самые естественные и самые многообразные реакции на «раздражители» внешней жизни. Именно эта «порочность» мешает превращению человеческих общностей разного толка в стадо крупного и мелкого скота, что наносит вред дальнейшему совершенствованию человеческой породы.

Похороны космонавтов, показанные телевидением всей стране с неутоенными подробностями прощания близких, дали нашему народу не меньше, чем торжественные репортажи о радостных всенародных встречах победителей космоса²⁰. Люди увидели, что страдание не отменено, что вся бесчеловечность бесконечного порядка и холодного чиновного актерства, радости и горя по утвержденному сценарию и тексту рушится при одном только прикосновении к живому непосредственному человеческому переживанию. То, что знал, вероятно, каждый, но таил, как свою слабость, вдруг обрело равные и даже бóльшие права рядом с героической стойкостью и безграничным мужеством.

7.9.71.

Сегодня — 14 лет, как я в Костроме. Целая жизнь.

28.9.71.

Мое новое положение началось (зам. редакторство)²¹. И вот уже думаю: а зачем все это? Зачем это молчание при негодовании, при глубоком внутреннем неприятии всех этих бесед, болтовни начальства, недомолвок, подозрительности, мелких злобных чувств? Грустно, тошно, противно. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!»

<Лето 1972.>

Лето было жаркое и сухое, — очень жаркое и очень сухое, — удивлялись, как удивляются необычно крепким морозам, ливням, ветрам, и разговоров об этой жаре хватало; они будто потеснили все остальные разговоры, отодвинув даже служебные темы куда-то поодаль; лень расплывалась, как пятно пота.

Погода была под стать настроению великой эпохи: она поддерживала нарастающий в обществе интерес к метеорологическим сводкам. Их готовы были слушать ежечасно.

²⁰ Похороны космонавтов В. Н. Волкова, Г. Т. Добровольского, В. И. Пацаева, погибших при завершении полета «Союза-11» и орбитальной станции «Салют».

²¹ С 16 сентября 1971 года по 20 февраля 1976-го И. Дедков работал заместителем главного редактора газеты «Северная правда».

<Июль 1972.>

Для устойчивости я говорю себе: ты прав, ты хорошо работаешь, ты медленно, но надежно поднимаешься; но приходит миг, и, кажется, уверен, будто глаза открыты, что все не так — не прав, работаешь мало, никуда не поднимаешься — ты обычен и мал и твои писания — не нужны. Потом является другой миг и приносит облегчение. Так и живешь, вслушиваясь то в один, то в другой голос.

17.1.74.

11 января <...> мы возвращались с Архиповым из Галича на машине. Разговаривали о том о сем. Главное было сказано еще там, в кабинете первого секретаря (райкома), которого Б. С. попросил оставить нас одних. И тогда он сказал, что был звонок из ЦК, что все откладывается, но я остаюсь в «резерве». Архипов прокомментировал это так: «Сами напугались своей революционности». Он считал, что повинна тайная информация. Я не знаю, что повинно. Такие люди, как я, им не нужны. Бог с ними. На душе у меня спокойно. Тома приняла эту новость тоже спокойно, я благодарен за это. Так легче, и все, может быть, к лучшему²².

21.2.74.

Оказывается, — вот без радости открытие, — я нигде не жил так долго, как в этом городе: ни в Смоленске, откуда родом, ни в Ухтомской, ни в Москве, ни тем более — в Липецке, Саратове, Фрунзе, — нигде так долго: более шестнадцати лет.

Вот думал: временное житье, затянувшаяся командировка, а теперь ясно: то и была сама жизнь, лучшие ее годы, и здесь вторая твоя родина, наверное, здесь я и умру. В другом месте даже хуже, хотя и говорят, все равно.

В сорок лет поднимать голову? Не пора ли ее опускать. И уж вовсе поздно писать дневник.

Хотел бы я знать, живет ли где-нибудь, скрипит ли пером какой-нибудь тихий и скромный летописец Новой Российской Канцелярии?

Будущим людям пригодились бы эти свидетельства для того, чтобы всему и всем воздать должное.

Послезавтра — областная партийная конференция. Работникам газеты дали пропуска на вход в здание, но не в зал конференции: для журналистов нет мест, журналисты приравнены к буфетчикам, уборщицам, охране. Так распорядился первый секретарь, что по-старому равнозначно губернатору. Чем он занят в эти дни, не ясно: доклад для него писали другие — так бывает всегда, а сегодня секретарь по идеологии сочинял ему «заключительное слово»: это означает, что содержание прений предрешиено. Я не нахожу более меткого слова, чем театр, притом ремесленный, но с безупречным знанием текста.

В субботу, 26 февраля, утром Тупиченков то ли по собственной инициативе и глупости, то ли по указанию сверху распорядился добывать отклики на изгнание Солженицына. Старый художник Рябиков на просьбу по телефону ответил согласием, и позднее по телефону был согласован текст. Главный режиссер театра Слюсарев на предложение Александрова откликнуться ответил словами: «Не впутывай ты меня в это дело». Отказался откликаться и Бочарников, сославшись на то, что ему не до того: умирает теща. В те же дни отказался писать о С. для молодежной газеты и Шапошников²³.

Прошло чуть ли не две недели, и вдруг из обкома звонок за звонком. Сначала звонит зам. зав. отделом пропаганды и агитации, затем зав. отделом и, наконец, секретарь обкома. Архипов: как все было? Спрашивают Александрова: как все было? Александров удивляется, он сам этому делу хода не давал, но

²² И. Дедков главным редактором журнала «Проблемы мира и социализма» К. Зародовым был приглашен на работу в Прагу. В обкоме КПСС уже оформили выездные характеристики, но поездка была приостановлена, скорее всего Комитетом госбезопасности в Москве и аппаратом ЦК КПСС.

²³ Тупиченков В. А. — редактор «Северной правды» в те годы; Александров В. С. — ответственный секретарь газеты; Бочарников В. А., Шапошников В. И. — местные писатели.

при телефонных разговорах присутствовал редактор (в субботу других людей в редакции нет). Оказалось, что редактор сначала сказал о происшедшем в обкоме, а потом написал докладную (все это спустя более недели). Работники обкома, которым он рассказал, рассудили так: если он рассказал нам, то может с успехом рассказать и на бюро, тогда будут спрашивать за примиренчество с нас. И они дали делу ход. Сегодня были вызваны в обком Александров, Слюсарев и Бочарников. В свое оправдание Слюсарев стал говорить, что не воспринял просьбу всерьез, т. к. Александров был пьян. Бочарников, спрашиваемый отдельно и ждущий «допроса» в другом кабинете, сказал, что просьба Александрова была высказана ясно и не было похоже, что он пьян. В доказательство своей «невинности» Бочарников предъявил свидетельство о смерти тещи (специально взял с собой), и это было сочтено уважительной причиной. Объяснения Слюсарева, явно струсившего, и Александрова (пьяным он не был, т. к. утром в 11 часов он не пьет, а занимается этим позднее) были безобразными. Ирония судьбы в том, что оба человека, «пострадавшие» за Солженицына, никакого отношения к такому кругу идей и взглядов не имеют и попали как куры в ощи. Хотя сам по себе отказ знаменателен: подписывать — признак дурного тона. История пока не кончилась, м. б., Слюсарева еще будут склонять на обл. идеологическом совещании, которое предстоит. Ожидается и обсуждение на собрании писателей Шапошникова, как беспартийного. Он отказался, сославшись на то, что этих книг не читал.

В этой незавершенной истории многое любопытно: донос Тупиченкова, трусость Слюсарева, многоопытная осторожность Бочарникова, порядочность Шапошникова, суета власти.

8.3.74.

К картине нравов.

Недавно в «СП» была опубликована статья по истории гражданской войны (А. Никитина). Вдруг на другой день начальница областной цензуры (обллита) прибегает к тому, кто статью готовил: «Что вы наделали!» — «Что?» — «Там упомянут Каменев». Пауза. «Но это же другой Каменев. Сергей Сергеевич» (следует пояснение, кто такой). Вздых облегчения.

С тем же испугом тот же вопрос задавал и редактор. Он тоже не знал, что был еще один Каменев, хотя знать следовало бы. Характерен и все же испуг.

Недавно был и другой любопытный случай. На планерке объявили назавтра статью о семье Языковых. Глава семьи был старым большевиком ленинской поры, дипломатом. Младший его сын был репрессирован. Отец вступился за него и тоже погиб. Старший сын в возрасте 20 лет погиб на гражданской войне. Языков-отец был первым председателем костромского горсовета и редактором костромских «Известий». И вот редактор усомнился в том, что такая статья нужна. И в ответ на мое недовольство разразился глупым и тупым рассуждением (притом показательным) о том, что ежегодно Цека утверждает списки людей, чьи дни рождения (круглые даты) следует отмечать в газетах. Я, конечно, усомнился, опять-таки вслух, на планерке в самой возможности существования такого документа и в его смысле. Но он, как всегда, когда он говорит о чем-либо, исходящем сверху, был значителен и таинственен, но снять статью не посмел. Как потом сказала нам Мария Семеновна Виноградова (вдова Я. Кульпе)²⁴, статью она отправила в Москву костромскому землячеству, и старые эти люди сожалели, что статья мала, т. к. Языковых до сей поры уважают и помнят.

11.3.74.

Я записываю все это, чтобы не забыть, и о форме записи не забочусь. Сегодня в редакцию заходила Мария Семеновна Виноградова, напоминала, что в этом году предстоят «юбилеи», «круглые даты» ряда крупных костромских большевиков: Языкова, М. В. Задорина, Растопчина, Богданова и т. д. В разговоре, который я пытался подвинуть в желанном направлении, было несколько интересных подробностей. М. С. немного рассказывала о встречах в Москве, где она была недавно и разговаривала со старыми друзьями-земляками из костромско-

²⁴ Виноградова М. С. — старый член партии; муж ее, Я. Кульпе, руководитель крупной стройки на Дальнем Востоке, был репрессирован в 1937 году.

го «большевистского землячества» в столице. В частности, на обсуждении книги по истории гражданской войны на Дальнем Востоке она встретила женщин, которые работали под ее началом в женотделе при крайком партии. Одна из них — фамилии я не запомнил — соавтор, кажется, книги. Два вечера они поговорили. Та дальневосточница рассказывала о горемычной своей судьбе: муж работал в НКВД, судьба известна, ее также, сын погиб на фронте, дочь умерла в детдоме. В этот момент я удивленно спросил: «Значит, воевать все-таки разрешали?» — «А почему нет, — сказала М. С. — Мой сын тоже погиб тогда, в первом же бою» (ему едва исполнилось восемнадцать: в день его рождения они были отправлены на фронт, недоучившись в училище). Далее эту тему в разговоре не трогали. М. С. махнула рукой, дав понять, что вспоминать это тяжело, и стали говорить о наших делах. Зашла речь о диссертациях, которых мы, увы, не пишем. Я к слову сказал о статье Китайгородского в «ЛГ» о театральности, игре, которые налицо в нынешней процедуре защиты. Когда М. С. уходила и сочувственно сказала, что нам, должно быть, трудно здесь работать, то припомнила мои слова о театральности: «Ведь и партийные конференции ныне — такой же театр». Всплыло и имя Евтушенко (М. С. видела афишу с его именем в Москве). Я сказал, что Евтушенко, не соглашаясь с Солженицыным по многим вопросам, поддерживает критику Сталина и пафос разоблачения его преступлений, о которых не знает, в частности, молодежь. И в этот момент М. С. махнула рукой, потому что этот разговор для нее тяжел и ее отношение к сталинским «подвигам» для нас должно быть ясно.

Любопытным было и ее замечание о том, что в Москве ее старые сотоварищи лишены информации (новой), и ее рассказ об одном старом большевике, который все видит в черном свете и к которому редко кто теперь ходит, так как для споров все реже находят достойные аргументы.

Эти настроения, интонации кажутся мне знаменательными.

17.3.74.

Вот звонили из «Журналиста»: Каменецкий. «Не хотите ли работать у нас: заведовать отделом критики и библиографии». Я сразу же сказал, что самое сложное тут — житейские проблемы. В ответ услышал, что нужно подумать об обмене квартир и т. п. Разговор закончился тем, что договорились снова созвониться после того, как я подумаю над предложением. Записываю это не для того, чтобы вдаваться в обсуждение предложения: хорошо ли это, принимать ли, соглашаться ли? Опять чувствуешь себя в глупом, унижительном положении. Мы, выехав однажды из Москвы для честной работы, не имеем права в нее вернуться, даже прожив в провинции семнадцать почти лет. Но даже не это более всего задевает: человек должен в своей стране иметь право жить там, где он захочет. М. б., я и не хочу жить в этой — навязшей в зубах — столице, но я должен знать, что я могу ехать туда и жить там и работать, если захочу, хоть завтра. (Вот устройство — дело индивидуальное.)

Входить в рассмотрение того вреда, нравственного и общественного, который приносят подобные запреты и ограничения, характерные отнюдь не для демократического государства, мне не хочется. Этот вред очевиден, но запрет отвратителен, даже если безвреден.

М. б., самая характерная черта нашей общественной жизни — послушная трусость, пытающаяся выглядеть мужественно и прикидываться самостоятельностью.

20.3.74.

Из П. Владимирова («Особый район Китая»): «Я не смею думать, кто, где и как воспримет мои корреспонденции и доклады. Я должен помнить о тех, кто сражается и погиб. Помня о них, нужно писать так, словно пишешь не чернилами, а кровью замученных и погибших».

Владимирова — по опубликованному тексту — я воспринимаю как умного, проницательного и честного человека²⁵.

²⁵ Имеется в виду дневник военного корреспондента ТАСС и связного Коминтерна при руководстве ЦК КПК в Яньани П. Владимирова («Особый район Китая. 1942 — 1945». М. 1974).

После этой книги возникают вопросы, на которые существуют самые печальные ответы. «Мы сами вырастили это чудовище — это так» (о Мао).

24.3.74.

Вечером — вечер поэзии в филармонии. Окуджава. Также М. Квливидзе, Е. Храмов, А. Николаев. Два поэта, один стихотворец-профессионал (Е. Храмов) и стихотворец-комиссар (А. Николаев): кожаная куртка, осуществляет присмотр и уравнивает своей идейностью «безыдейность» Окуджавы (т. е. другую идейность).

«Молитва Франсуа Вийона», «Моцарт», «Полночный троллейбус», «Ленька Королев», песня из «Белого солнца пустыни», «Капли датского короля» (читал), «Вы слышите, грохочут сапоги». На душе было печально, многое старое поднимается, да и новое с горечью. Знаю, ездит, читает, поет, от Костромы до Австрии. Но трогает до слез. Особенно «Вийон».

Послезавтра (26) я должен ехать в Москву, а 28-го — в Болгарию: по направлению Союза журналистов (обмен). Никогда и нигде я не бывал, это смущает и стесняет меня, и будь возможность вернуться, я бы это сделал: дома мне лучше. Дурак дураком, но что поделаешь, если так устроен, и с годами эта привязанность к дому, к семье все крепнет. Если ничего не стрясется — поеду: две недели переживаний перед сорокалетием.

30.3.74.

Второй час. София. Вот и мы за границей. <...> Думают, Россия — сверхдержава, а большинство в России — не избаловано, утеснено, утишено, — уважение нормальное, само собой разумеющееся, — нам чуть ли не в диковинку.

Здесь, где я — в гостинице «Балкан» (построена в 1956 г.), — ковры, ванна, радиоприемник, холл метров в двадцать, кровать как на троих.

Мы были в клубе журналистов — сидели, ели, пили. <...> Братья болгары, конечно, добры, но и мы принимаем их так же.

31.3.74.

Был прекрасный день. Мы ездили на водохранилище в Самоковском ущелье. <...> Вечером гулял один более часа по Софии. Это было то, что надо...

27.4.74.

Я думал, что вот-вот вернусь к обычному состоянию, т. е. буду работать, писать, но возвращение происходит трудно и не без горечи. Выбился я из колеи и никак не могу вернуться. И ездил-то недалеко и к «братьям». Никуда меня нельзя пускать, надо привязать в стойле. Вот апрель так апрель, даром что сороковой, — напереживался, как дурак или как чрезмерно умный. Но если есть в нас душа, то моя душа изболелась, и как ее винить, и корить, и презирать?

И читается плохо. Ничего не идет — все перебираю и откладываю. Вот только записки Басаргина и Волконской (из сб. «Декабристы в Сибири») читал потрясенный. Так могли жить люди, мы против них слабые и непоследовательные и несчастные. Они даже не знали, что жили так, что память о них нетленна. Да, да, нынче много дворни, объявившей себя господами положения, жизни, но они остаются дворней неизбежно.

29.4.74.

Мои болгарские миражи вот-вот развеются. Они будто существовали и до-существовывали в другом измерении, пересекаясь с этой жизнью в одной точке, если это можно назвать точкой, — в моей душе. <...> Пусть это отболит во мне, это какое-то прощание — с молодостью, да? с мальчиком во мне? — не знаю, не знаю, но это прощание дало мне новую остроту восприятия жизни, не домашней, общей, и мне кажется, я стал другим. М. б., все дело в том, что во мне после всех сорока с лишком сохранился мальчик <...> — чистая, безгрешная душа, и эта душа так остро и взволнованно откликнулась на незнакомый и добрый мир. То было только соприкосновение с этим миром, только

касание и — никакого, по сути, знания, но все дарованное небом наитие, вся смута и смущение неясных ощущений — все рванулось навстречу этому миру, чтобы остаться в его памяти, не промелькнуть, не исчезнуть, потому что это исчезновение показалось, воспринялось кощунством, смертью <...>

14.5.74.

Около двух ночи. Все пишу о Шукшине, даже не знаю, зачем, для кого. Но давно собирался, хочется, вот и сижу, хотя вдуматься, так и не знаю — не сизифов ли труд. Как писал В. Шефнер («Юность»), катим, катим бочку, закатали наконец, пора торжествовать, а там, на горе-то, бочек полным-полно — тесно и пусто²⁶.

Как на морском берегу — ничего не остается. Пиши тысячи раз по одному и тому же месту. Ни памяти, ни следа, ни знака. Ничего.

15.5.74.

Около часу ночи. Сегодня пришло письмо Виталия Моева²⁷. Я всегда сам перед собой гордился, что умею рассчитывать все варианты, которые возможны при какой-либо перемене. Оказывается, напрасно гордился. Вариант, о котором пишет Моев, прост и естественен, он не приходил в голову, потому что все еще веришь в порядочность и правдивость людей, с которыми имеешь дело. Теперь явилось еще одно подтверждение тому, что фальшь и страх и ложь растворены в самом воздухе, которым дышишь.

Боже мой, думаю, зачем ты бывал и бываешь искренен и отзывчив, зачем принимаешь за чистую монету — лицедейство, фальшь, игру, — доколе будешь ребенком!

Все-таки горечь после письма осталась, хотя лучше все знать твердо, никаких иллюзий. Голый провод правды.

16.5.74.

Опять за полночь. Будто в подтверждение, что в письме Виталия — правда, сегодня вечером, т. е. вчера, мы с редактором обменялись любезностями, особенно любезен был он, потому <что> таким грубым и хамом быть я не умею. И было вечером тошно и горько, потому что, кажется, я никогда не забуду, что отдал этому городу, в самом же деле, лучшую молодую пору своей жизни и жизни самых родных мне людей — семьи. И выслушивать сейчас всякую хамскую речь — противно.

Чехи формулировали: «социализм с человеческим лицом». Я бы добавил: с умным лицом, социализм умных людей, а не властолюбцев, не корыстных и трусливых прислужников власти.

14.6.74.

Эта служба все более угнетает меня. Унижение, всегда в ней бывшее, становится все заметнее, очевиднее. Сбежать от нее, из нее, но куда? Вот и ждешь, когда она сама меня исторгнет как чужеродного, бесполезного ей, несовместимого. Тут даже не механизм службы повинен, а управляющие механизмом. Их выбирают будто нарочно — в раздражение, в оскорбление, в унижение — нам, прочим, полагающимся, надеющимся на ум, знания, культуру. Такие, по сути, не нужны.

И писать-то про это тошно. И думать — тошно. Будто жалуешься, но — кому? с какой целью? Оправдаться? Но удел избрал сам, сам и покинь, если больше не можешь.

9.8.74.

Читаю курс русской истории XIX века А. Корнилова (М., 1918, ч. II).

Из адреса государю от московской городской думы (1870): «Да, государь, Вашей воле, — скажем мы в заключение словами наших предков в ответе их

²⁶ Дедков И. Последние штрихи. О творчестве В. Шукшина. — «Дружба народов», 1975, № 4.

²⁷ Письмо сотрудника журнала «Проблемы мира и социализма» о мотивах отказа И. Дедкову в праве работать в этом периодическом издании.

первовенчанному предку Вашему в 1642 году, — Вашей воле готовы мы служить и достоянием нашим, и кровью, а наша мысль такова».

Прекрасно.

5.10.74.

Вчера сообщение о смерти Василия Шукшина.

После Твардовского ни одна смерть так не задевала меня.

Перечитал статью свою о нем и — несмотря на новые обстоятельства — утвердился в мысли, что написал правду.

16.10.74.

Как трудно даются иные дни! Заполненные бессильными, бесполезными разговорами — видимостью дела — требуемым делом, представлением, и жизнь вся кажется напрасной, и страшно от мысли, что отдано семнадцать лет этому месту, будто ни на что лучшее не был годен.

Вечером сидишь, будто тебя выпрягли, и желанная свобода только здесь, за письменным столом, но ведь и сесть за него в такие вечера непросто. Вся вера в себя, в пользу свою для других — пропадает. Сидишь, как на берегу, на высоком, поджав ноги, над черным пространством и смотришь вперед, и только ту черноту видишь — ничего более. Вот и выходит: без надежды.



В. НЕПОМНЯЩИЙ



УДЕРЖИВАЮЩИЙ ТЕПЕРЬ

Феномен Пушкина и исторический жребий России

Я считаю наше положение счастливым...

Чаадаев.

1

Известно, что как явление всемирного масштаба Пушкин осознается и признается лишь теми, кто хорошо знает русский язык и, более того, Россию. Дальше — пропасть: остальной культурный мир лишь уважает его — веря нам на слово, из пиетета к литературе Толстого, Достоевского и Чехова. Отдельные, пусть порой значительные в тех или иных частных отношениях, удачи переводчиков общей картины не меняют: в переводе невозможно совместить дух и букву оригинала, а вне этого единства величайший наш гений — прекрасная музыка, сыгранная рядовым музыкантом; в лучшем случае он выглядит безусловно даровитым и занятным писателем, и только, в худшем — оставляет впечатление тривиальности либо пустоты.

Это знакомо нам самим — раньше переводчиков. В частности, мнения о неглубокости Пушкина возникли именно у нас, еще при его жизни (вспомним изумление Баратынского, обнаружившего в его поздних стихах «силу и глубину мыслей»), получили радикальное развитие (вспомним известные суждения о нем как о «поэте формы» — Чернышевский и другие; «нашем маленьком Пушкине» — Писарев) и благополучно дожили до нашего времени («пустой» Пушкин Абрама Терца и проч.). А полуторавековая, продолжающаяся и сегодня, борьба за, против и вокруг Пушкина — это, в сущности, история попыток каждой из «сторон» перевести его на близкий себе «язык».

Работу толкователя, будь то переводчик, артист или, наконец, исследователь, можно уподобить работе портного, перешивающего платье: все распарывается по швам, детали кроя подгоняются по другой фигуре и сшиваются заново. Творения разных писателей поддаются подобной операции в разной степени; с Пушкиным она не удастся вовсе — то есть может давать результаты наиболее фантастические, что скрыть невозможно, и отсюда распространенность формулы «мой Пушкин». Пушкин и впрямь «сделан» как-то особенно, без швов. «Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху» (и воины сказали: «не станем раздирать его, а бросим о нем жребий» — Иоан. 19: 23 — 24).

На этом основании некоторые предлагают вообще отказаться от попыток что-либо «понимать» и призывают изучать «Пушкина как он есть»: никаких «толкований», никаких «смыслов», «только факты» (для одних это факты биографии и проч., для других — механизмы поэтики, но суть одна); иными словами, предлагают распустить ткань, иметь дело с нитью. То есть изъять из рассмотрения проблему Пушкина как целостного явления, предоставив тем самым каждому составлять из «фактов» свои комбинации. Но как раз это и происходит в пушкиноведении на каждом шагу: оно густо заселено «моими Пушкинами».

Обозначаемое этой притяжательной формулой культурное явление само по себе полно смысла и замечательно уже своею уникальностью (мы, кажется, не слышали ни о «моем» Шекспире или, скажем, Сервантесе или Ду Фу, ни о «моем» Гоголе или Достоевском) — но оно естественно лишь в области при-

ватных предпочтений. Претендуя же на статус в науке — и явочным порядком его уже обрета, — оно отменяет понятие истины, а значит, по определению, и самое науку: наука становится областью споров не об истине, а о вкусах, что смахивает уже на безумие.

Ведь никакое изучение, никакой вообще диалог невозможны без хотя бы некоторых ключевых и фундаментальных представлений о предмете, не зависящих от вкусов и истинных для всех: даже воины сошлись на том, что хитон не сшитый, а тканый, и согласились не «раздирать» его. Расхождения во мнениях касательно Гоголя или Толстого, Достоевского или Чехова могут быть сколь угодно глубоки, но в каждом случае и спорящим, и читателю ясно, что речь идет об одном и том же предмете. С Пушкиным иначе. Мы на каждом шагу расходимся в моментах именно ключевых и фундаментальных; и каждый из «моих Пушкиных» — результат попыток «разодрать»-таки целое, чтобы переделать по своему вкусу.

А оно каждый раз не раздирается — оно растягивается, облекая любую фигуру, сохраняя намек на правдоподобие, но приобретая чуждые пропорции и очевидным образом выдавая особенности той фигуры, на которую натянуто.

Тут в безумии и угадывается «система». «Мой Пушкин» — не просто мой взгляд, мое мнение, или научная концепция, или отражение моих специальных интересов и частных пристрастий; «мой Пушкин» — это мой автопортрет, моя система ценностей в практическом приложении, как она есть на самом деле; «мой Пушкин» — это ворота в мой духовный мир, это моя вера. И все сколько-нибудь серьезные споры на пушкинские темы суть в конечном счете споры аксиологические, противостояния разных образов мира, жизненных позиций и вер.

Это значит, что в духовной, в широком смысле религиозной, сфере именно и лежит то ключевое и фундаментальное, что необходимо для более или менее адекватного, не зависящего от вкусов, понимания Пушкина как текста и как феномена.

Поэтому некорректно распространенное в ученой среде обыкновение отвергать попытки исследования духовного мира самого Пушкина как «субъективистские» и «ненаучные» поползновения, лишенные серьезного методологического обоснования. Такие упреки выглядят солидно лишь при материалистическом решении «основного вопроса философии» — но и тут уязвимы: ведь наука много старше философского материализма. Что касается методологии исследования духовного мира художника, то это вещь не менее твердая и не более подверженная опасности субъективизма, чем любая другая методология.

Духовный мир личности, в том числе художника, — область, конечно, сложнейшая и неисчерпаемая, но по природе не туманная, не броуново движение чего-то непостижимого, безотчетного и безответственного, называемого в обиходе «психологией»; тут есть «несущая конструкция» — ценностная система личности, проявляющаяся в ориентациях ее относительно окружающего мира и людей, в отношениях с самой собою, в иерархии предпочтений и неприятий, в характере и уровне идеалов. Все это вещи очень конкретные и в значительной мере постижимые — если только при исследовании мы будем правильно соотносить декларируемое с поведенческим, делая упор на последнем: ведь прежде всего поведение (в том числе творческое) реализует нашу ценностную ориентацию, диктуется ею, и каждый из нас знает это по себе. Пушкин не составляет исключения.

Оговорюсь наперед: почти любой из многочисленных «моих Пушкиных» — в Пушкине есть. Но простое смешение красок спектра не дает белого цвета: нужно еще что-то — назовем это алгоритмом. Применительно к Пушкину это и есть его ценностная система, и она — как целое и как процесс — вся на виду, это реальность, явленная на деле («Слова поэта суть уже его дела»¹) и потому в принципе доступная разумению.

Все дело — в каком контексте, в каких координатах и масштабах рассматривать духовный мир Пушкина: с точки зрения моих личных вкусов и пристрастий, моего образа мира, моей «психологии» — или в соотношении с опытом, ценностями, историческим «жеребием» той культуры, которая породила пушкинский гений и которой этот странный феномен был определен вряд ли по капризу истории.

2

В мире существует представление о некоей особой «русской духовности», присущей, в частности, нашей литературе и особенно ярко сказавшейся в русской классике. Представление это не нами изобретено и не мы его внедрили; никто также не отрицает при этом духовности, скажем, германской, итальянской или японской. Но в каждом из подобных случаев разумеется более или менее обозримая специфика. Характер же «русской духовности» осознается как нечто из ряда вон выходящее: то ли включающее в себя различные «специфики», то ли просто что-то совсем другое..

Находясь вне русской культуры, вряд ли можно составить о ней достойное представление, не зная или не принимая во внимание этой ее особенности.

Находясь же внутри ее, этого нельзя сделать, не учитывая также явления Пушкина.

Напрашивается мысль, что перед нами два феномена, сходных сущностно и функционально. Особость гения Пушкина и его места в отечественной культуре — такая же из ряда вон выходящая, как особость русской духовности среди иных типов духовности. Вспомним, далее, ту универсальность, открытость, всечеловечность, которую Достоевский считал неповторимым, неподражаемым собственным свойством Пушкина — но одновременно и коренной принадлежностью русского духовного склада вообще. Или общепризнанная неопределимость «специфики», «своеобразия» пушкинского гения — не «дублирует» ли она подобную же черту русской духовности? Известно, что русский склад часто воспринимается как расплывчатый и аморфный — и столь же известны мнения об отсутствии у Пушкина как писателя «индивидуальности». Можно проводить и другие параллели, наталкивающие на мысль, что оба феномена — «русская духовность» и явление Пушкина — находятся, так сказать, в одном порядке — не случайно ведь оба они, пожалуй, равным образом загадочны не только для окружающего культурного мира, но и для нас самих.

Здесь надо заметить, что одно определение пушкинской «индивидуальности» все-таки существует — и приложимо оно только к нему, ни к кому другому. Найдено оно было — сразу после гибели поэта — В. Ф. Одоевским: «Солнце нашей поэзии». То же слово (уже без «поэзии») вырвалось у Алексея Кольцова: «Прострелено солнце!»

«Солнечность» — свет, тепло, жизнотворность, центральность — вот единственное общепризнанное у нас определение «специфики» явления, носящего имя Пушкин. Его центральная в культуре роль вне сомнения — но никто не задавался вопросом: почему, собственно, — а точнее, зачем — в русской культуре есть такой центр? Данте, Шекспир, Сервантес, Гёте и другие — величайшие гении, родоначальники и основоположники, образцы художественной глубины и пределы совершенства, — но все это действительно в полной мере лишь для более или менее узкого (либо широкого) общественного, «культурного» круга: ни одна из этих сверкающих вершин не занимает в самой жизни и нации места, подобного месту Пушкина в нашей; среди гениев великих мировых культур Нового времени он — единственный, кто является не только символом, но и актуальным фактором единства своей культуры и ее самосоответствия, вызывающим самые живые, трепетные и пристрастные чувства, ее сердечным средоточием, точкой отсчета, предметом притяжения и отталкивания, поводом для единения и неистовой порою борьбы, народным героем, персонажем легенд и анекдотов, национальным мифом и в известной мере национальным идеалом, ценностью характера чуть ли не религиозного, — оставаясь при этом живою личностью во всей полноте неповторимости и интимной, если не фамильярной, доступности.

Все это на сторонний взгляд должно бы выглядеть просто провинциализмом, следствием исторической и национальной ущемленности и культурной замкнутости, — но речь идет о культуре, завоевавшей мир и, в свою очередь, необычайно открытой: откуда же и зачем у нее свое собственное солнце? Тут не ущемленность или замкнутость — скорее какого-то особого рода одиночество в истории, в «составе человечества» (Чаадаев). По-видимому, необычность феномена Пушкина, его места и роли в национальном сознании, в культуре — той же природы, что и исторический жребий породившей его земли; и, может быть, дело не в субъективных качествах Пушкина самих по себе, а в той исто-

рической функции, или миссии, какая ему в этом жребии была определена и, в свою очередь, определила их, этих качеств, направление и раскрытие, — говоря по-пушкински, дело в при з в а н ь е.

Спустя ровно сто лет после некролога В. Ф. Одоевского Иван Ильин дерзновенно развил мысль о «солнечном» призвании поэта: «Он дан был нам для того, чтобы создать *солнечный центр* нашей истории» («Пророческое призвание Пушкина», 1937)².

Писатель, «создающий» — ни более ни менее — центр национальной истории! Такое суждение возможно только в России и применительно только к ней, это русское суждение; у желающего понять Россию уже одно это должно вызвать пристальное внимание — даже если бы Ильин в данном случае преувеличил. Но он не преувеличил. Он сформулировал как раз то безотчетное общенародное отношение к Пушкину, о котором шла речь. Формула Ильина ставит вопрос в контекст, помогающий прояснить характер связей между обсуждаемыми феноменами: Пушкиным и «русской духовностью», — найти те координаты, в которых наша заглавная проблема относительно постижима.

3

История любой культуры — как и история вообще — изобилует переломами, потрясениями и революциями. Но далеко идущие изменения происходят все же эволюционным порядком и внутренним образом. Постепенно шла эллинизация культуры Рима, затем христианизация культуры Римской империи, так же происходило образование романских и германских культур. Крещение Руси повлекло такой же внутренний и эволюционный процесс (сосуществование и слияние языческих праздников с христианскими — один из примеров). Имманентным и постепенным процессом был Ренессанс; так же формировалась протестантская культура — в отличие от Реформации как акта революционного.

И только однажды в истории европейских культур произошло нечто из ряда вон выходящее: когда культура России, ставшей к тому времени оплотом православия, претерпела исторически мгновенный надлом своего направляющего стержня, в течение нескольких десятилетий изменивший ее ориентацию и облик, — революцию Петра.

Культурная тяга России к Европе была естественной и осуществлялась постепенно. Этот порядок неторопливо-сдержанного (хоть и усилившегося в XVII веке) сближения, осторожного «притирания», был нарушен: все было произведено вдруг, насильственно и одним махом. И, что самое главное, революционный характер этого акта наложил неизгладимую печать на все последующее: после него развитие русской культуры представляет собой, говоря терминологически, катастрофу, только растянутую на века — включая наше время. Борьба коренных начал культуры с привнесенными — дело в истории обычное; но нигде в Европе подобный конфликт не был столь радикальным, длительным и всеобъемлющим, не определялся столь глубокими внутренними расхождениями, тем более острыми, что борьба шла внутри одного, христианского — но уже не единого, — мира.

Христианизация Руси произошла, как известно, исторически быстро: в «греческом» исповедании было опознано нечто словно бы предвечно свое, Крещение оказалось актом самопознания, духовной самоидентификации и национального самоопределения, результатом чего стал столь же быстрый процесс формирования Руси как единой — при всех внутренних противоречиях — нации с общей по духовной устремленности культурой. Вера, пленившая, по преданию, княжеских послов («...и не свемы: на небе ли есмы были, ли на земли... Мы убо не можем забыти красоты тоя...» — «Повесть временных лет»), обнаружила, по-видимому, глубокое соответствие идеальным сторонам и тяготениям откликнувшегося на «красоту» душевного склада, при котором акт постижения и выбора есть прежде всего акт целостного переживания, и умозрение не имеет цены вне откровения. Такие, к примеру, христианские истины, как «Царство Мое не от мира сего» (Иоан. 18: 36) или «Не хлебом одним будет жить человек» (Мф. 4: 4), понимались не в богословском только (или отвлеченно-философском) смысле, а прямо, актуально и конкретно; здесь и давнее наше непростое отношение к богатству, к «палатам каменным»,

к культу земных благ, традиционная непритязательность и простота житейского уклада — при неизменном, однако, стремлении к величию и красоте храмовой архитектуры и иконописи, богатству и изобилию церковного убранства, не терпящему пустот, — что говорит о понимании красоты как вещи неотмирного происхождения и одновременно символизирует сакральность бытия как сплошную пронизанность его красотой. Что касается древнерусской литературы, то ее, как писал в свое время Д. С. Лихачев, «можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет — мировая история, и эта тема — смысл человеческой жизни»³.

В «обратном» переводе на религиозный язык это значит, что литература свидетельствовала об истории падшего мира в свете учения о спасении. Даже светские сочинения начинались нередко с событий Священной истории — от сотворения мира и грехопадения до Боговоплощения, жертвы Спасителя и начала христианской эры, — и на этом фоне разворачивался сюжет. Каков бы он ни был сам по себе, конечный смысл его перерастал преходящую данность наличной действительности и вписывался в перспективу абсолютной картины мира, в котором человек пал, но обрел возможность спасения через жертву Сына Человеческого. Нисколько не утаивая трагизма наличной действительности, эта литература в целом была необычайно светлой, гуманной (говоря понынешнему) и полной надежды: при всех слабостях и падениях человека, она видела в нем искру Замысла, черты образа Божия и, говоря горькую правду о нем, в то же время призывала милость к падшим.

Знаменательно, что у истоков этой литературы стоит одно из празднично радостных ее произведений — Иларионово «Слово о законе и благодати» («О законе, данном через Моисея, и о благодати и истине, явленной [Иисусом] Христом...»), где главная тема — христианская иерархия ценностей, отношение между наличной действительностью человеческого существования (отраженной в законе) и благодатью божественного Замысла о человеке: «Прежде [был дан] закон, а потом — благодать, прежде — тень, а потом — истина. Прообраз закона и благодати — Агарь и Сарра, рабыня Агарь и свободная Сарра: прежде — рабыня, а потом — свободная, — да разумеет читающий!»⁴

«Отсчет» ценностей производится здесь не «снизу», не от условий «действительности» падшего мира, пусть и упорядочиваемой «законом», а «сверху», со стороны идеала — высокого призвания человека, «благодати и истины», явленной человеку Христом. Явлен этот идеал после «закона» («потом»), но в Замысле он — «прежде»; так идущий за Предтечей Иисус на самом деле был «прежде» (ср. также: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» — Иоан. 8: 58). Человек как образ и подобие Божие — это Замысел; стало быть, и идеал, и отправная точка, и цель, и мера.

Подобная телеологическая, а не детерминистская, творческая, а не натуралистическая ценностная ориентация, когда критерий — высоко впереди, за пределами наличного состояния людей, и определила характер нарождающейся русской литературы, ее высокий счет к человеку, высокую любовь к нему и высокое милосердие; здесь истоки ее «идеализма», ее светлого колорита и других «своеобразных» особенностей — всего того, что получит со временем «этническое» наименование русской духовности, — будучи, однако, выпестовано вероисповедно.

Ведь та система ценностей, о которой говорит Иларион, — не этнического характера, наоборот: «Иудеи ведь соделывали свое оправдание в [мерцании] свечи закона, христиане же созидают свое спасение в [сиянии] солнца благодати... В иудействе... оправдание, а в христианстве — спасение. И оправдание — в сем мире, а спасение — в будущем веке. Потому иудеи услаждались земным, христиане же — небесным. И к тому же оправдание иудейское... не простиралось на другие народы, но свершалось лишь в Иудее. Христианское же спасение — благодатно и изобильно, простираясь во все края земные»⁵.

То есть речь идет не о какой-то особенной и «своеобразной» духовности, но — собственно и универсально христианской, в известном смысле собственно и универсально человеческой — постольку, поскольку прав Тертуллиан в том, что душа человеческая по природе христианка. Потому-то так «всемирно отзывчива» всемирно притягательна и в то же время типологически неуловима «специфика» того, что называется «русской духовностью»: у этого качества всехристианская «закваска».

Тем не менее мир квалифицировал это качество как национально русское. Лестное для нас, определение это, однако, появилось в мире, что называется, не от хорошей жизни.

4

Крещение Руси произошло в эпоху, когда на Западе тоже назревал, так сказать, свой «выбор веры». Внутри христианского мира складывалось два типа культуры, две системы ценностей, имеющие одно происхождение, сходные, а во многом и одинаковые по составу и формальной иерархии, но решительно различные в практической ориентированности, в отношениях (говоря в привычных литературной науке терминах) с «идеалом» и «действительностью».

Характерны, как известно, различия в отношении к праздникам Рождества и Пасхи.

Для «восточного», православного сознания Рождество Христово — как для всякого христианского сознания — событие особое и величайшее; однако оно все же вписано в цепь событий, предвечно определенных быть таинственным актом спасения погрязшего в грехе человечества крестной жертвой Сына Божия. Пасха же вбирает в себя всю полноту акта спасения, от Благовещения и Рождества до Распятия и Воскресения. Вочеловечение Бога, рождение Христа — акт участия Бога к человеку и в судьбе человечества, Пасха же, предваряемая страданием и смертью Христа, — сверх того указание пути к спасению и вечной жизни: «Последуй за Мною, взяв крест» (Мр. 10: 21). Рождество — акт Божественной любви к человеку, Пасха же — сверх того призыв к ответной любви человека к Богу, к осуществлению и торжеству христианского идеала, Божественного Замысла о человеке. Поэтому Пасха в православии — «праздников праздник и торжество есть торжество».

На Западе же Пасха — праздник в ряду других: мистическое его содержание воспринимается менее актуально и гораздо абстрактнее, зато акцентируется «натуральная» сторона события — Распятие и крестные муки, притом тем настойчивее, чем меньше эта сторона импонирует сознанию, ориентированному на мирское благополучие, «заботы века сего». На роль «праздников праздника» такое событие не годится; зато Рождество резко выделяют из цепи событий — его локальное содержание особо актуализируется, становясь самодовлеющим: Бог так любит меня, что уподобился мне. Такой акцент льстит самолюбию, оправдывает и утверждает самодостаточность моего «я», которое словно бы по праву получает санкцию свыше какое есть, в своем наличном состоянии. Оттого на Западе, по немецкой пословице, «нет гнезда выше орлиного, нет праздника выше Рождества».

В одном, стало быть, случае главное событие — призыв к человеку уподобиться Богу, в другом — наличный факт уподобления Бога человеку. «Отсчет» производится с противоположных «концов» и, соответственно, в разных направлениях — «спасения» и «оправдания», в разных перспективах — «будущего века» и «века сего». Не случайно икона — с ее мистической, так называемой, условно и неверно, «обратной перспективой» (символизирующей наше предстояние перед тайной горнего мира) — в православии сохранилась, а в культуре Западе упразднилась, сменившись картиной с ее натуральной линейной перспективой (которая утверждает дольний, эвклидов взгляд на неотмирное как на нам предлежащий физический объект).

Описанные ценностные ориентации — и основанные на них культуры — можно условно определить как пасхальную и рождественскую. Такая типология позволяет оставаться в пределах понятий, общих для всего христианского мира, и тем самым (нисколько, разумеется, не умаляя величия события Рождества) нагляднее представить суть и масштабы происшедшей в этом мире драмы.

Ведь христианство есть, по определению, религия не земного, а небесного, не устройства и оправдания в мире сем, а спасения «в будущем веке»; идеал христианства божествен, а не гуманитарен, его аксиология — не прагматическая, а творческая, не «закона», а «благодати», не необходимости, а свободы, — она рождена вольной крестной жертвой Богочеловека, она телеологична, она, по определению, пасхальна — и в иной, более «натуральный», более гуманитарный и удобный, порядок «отсчета» не переводится:

Иисус ведь не внял предложению «оправдаться», сойдя с креста; «хитон» христианской системы ценностей не «раздирается». Тем не менее «центр тяжести» ее был оттянут из «пасхальной» сферы в «рождественскую», из области небесного идеала в область «реальной» действительности с ее земными критериями.

Разумеется, такое перемещение центра вниз помогло христианству как системе взглядов прочнее укрепиться в «дольней» жизни и стать основой мощной новоевропейской цивилизации; но осложнились отношения с «горним» — и это сообщило данной цивилизации доминанту нарастающего трагизма: от отчаянного вертикального порыва готических соборов и распятия с провисшим телом, с руками, тяготеющими к тому, чтобы символ призывного крестного объятия превратился в ту же вертикаль, символизирующую главным образом муку тела, — до душераздирающего монолога Гамлета о «красе вселенной», оборачивающейся «квинтэссенцией праха», и дальше — к скепсису, фатализму и грядущим разнообразным «цветам зла».

Исторический «жеребий» России состоял в том, что она — пока в Европе зрели предпосылки «христианства с человеческим лицом» (использую ошелмляющую формулу одного из наших нынешних церковных модернистов) — встретила, в «восточном», «греческом» исповедании, с Божественным ликом христианского учения, исторически мгновенно его приняла и на протяжении веков удерживала как исповедание пасхальное.

«Жеребий» этот оказался не очень выигрышен с точки зрения земного устройства, скорее наоборот. Исповедание было таково, что ни сытость, ни богатство, сила, слава и успех, ни индивидуальная и иная свобода, ни прочие земные утехи не находили места в ценностной системе как сфере, связанной с христианским идеалом: идеалом была праведная жизнь, в пределе — святость. Между тем на деле люди Святой Руси были не лучше западных: так же любили земную жизнь и ее удовольствия, так же стремились к богатству и благополучию, успеху и славе, так же воевали, грешили и безобразничали, как и везде, а порой и похлеще; для нашего народа, чувствительного, сурового и страстного, с его медлительным, но огненным и взрывным темпераментом, с его способностью равно к безбрежной широте и упрямой односторонности, со склонностью как к мечтательному созерцанию, так и к «безудержу» во всем, от унижительной подчас покорности до «русского бунта», до преступления, идеал праведности и святости был столь же органически влекущим, сколь и неимоверно трудным. Но исповедание было таково, что несоответствие этому идеалу осознавалось не как нейтральная «исходная данность», терпимая и приемлемая в качестве некой «общей нормы», а как грех и вина. «Исходной данностью» был (мыслился) человек не «каков он есть», в наличном состоянии, а как образ и подобие Бога; нормой было не «оправдание в сем мире», а «спасение в будущем веке», — нормой был идеал. Притом труднодостижимость его вовсе не означала принципиальной недостижимости (святые и праведники были, как есть они и везде, и это было всем известно, об этом говорили история, предания, непосредственный народный опыт: «Не стоит город без святого, село без праведника»); и мыслился идеал не как нечто туманно-далекое и отвлеченно-долженствующее (нынче же лишь противостоящее роковым образом мрачной «действительности»): идеал был то, что должен я, и притом здесь и сейчас, и был сверхконкретен и сверхактуален: «последуй за Мною, взяв крест»; а это-то труднее всего.

Крест — то, что и соединяет, и разделяет «рождественскую» и «пасхальную» системы ценностей, это общая реальность, вызывающая с обеих сторон мучительные, но разные переживания. Для «рождественской» культуры крест — прежде всего символ страждущего естества, символ трагического и скорбного в человеческом бытии; для «пасхальной» — трагедия человеческой вины перед Бытием, перед Богом скорбящим и страдающим, перед Христом распятым и распинаемым постоянно мною; но одновременно — и символ победы благодати и истины Христа над «чином естества», а потому орудие спасения, «благое иго» (см.: Мф. 11: 30) на пути к жизни вечной, где нет ни «печали, ни вздыхания».

Не думаю, чтобы из сказанного вырисовывался сусальный образ России; ясно, что речь идет не о полноте наличной практики, а об уровне идеалов и мере ответственности. Нельзя говорить, что в культуре Запада нет «пасхального» начала, — оно есть везде, оно было «прежде Авраама», и без него ничего

великого не было бы в европейской культуре — как, впрочем, и культуры как таковой: одна цивилизация. Не говорю также, что в русской светской культуре не было начала «рождественского» — тогда не было бы русской светской культуры, была бы только церковная. Сама культура, собственно, и есть оформление отношений «пасхального» и «рождественского» в общественном мироощущении, и варианты тут многообразны. У нас речь идет лишь о доминантах, при том что предмет культуры преимущественно «рождественской» есть прежде всего отношения с «действительностью», а преимущественно «пасхальной» — прежде всего с идеалом.

«Пасхальный» характер культуры Руси predetermined целый ряд коренных особенностей русской литературы⁶, в частности главную проблему ее — проблему совести (во всей широте этого понятия), проблему, переживаемую как драма вины. В сосредоточенности на этой драме (русский человек тем только, может, и хорош, что недорого себя ценит, обронил противник всяческих «идеалов» Евгений Базаров) — природа того, в чем обвиняют русскую культуру, говоря о свойственном ей «культе страдания»; но в этой сосредоточенности — парадоксально претворенное русской историей наследие пасхальной светлости культуры Святой Руси, которая, приняв христианский идеал в качестве нормы, тем самым заложила протоколлизацию литературы, названной западным писателем XX века святой. В совестном страдании — главный нерв этой литературы, источник ее метаний и вдохновений, ее крест и основа ее человеческого кредо, которое своею светлостью прямо противоположно западному — по сути дела, глубоко трагическому — культу успеха и счастья и которое гласит:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Все это, собственно, и есть природа того, что именуют «русской духовностью».

Революция Петра была попыткой изменить эту природу, сломать хребет «старой», православной культуре, оставить ее в историческом прошлом; попыткой протестантского переворота, имевшего целью переделать нацию в «рождественском» духе, переориентировав на «заботы века сего». И делалось это с поистине русским размахом.

Но семь веков, прошедшие после Крещения, не могли сразу провалиться в небытие, православная закваска дала себя знать в самой той — уже чисто светской — культуре, что возникла в петровскую эпоху; и это происходило тем активнее, чем благодарнее Россия, с ее «всемирной отзывчивостью», оформившейся в полную меру на почве ее универсально-христианского исповедания, осваивала европейские достижения. Параллельно процессу приобщения к Западу бурно возрастает интерес к собственной истории — гражданской, церковной и культурной, тяга к национальному и духовному самоосмыслению, самоутверждению, самостоянию.

В поле наибольшего напряжения этого сотрудничества-борьбы и возникает — исторически немедленно, как бы сразу в ответ на попытку «разодрать хитон» национально-духовного склада России, — Пушкин.

5

Воспитанный смолodu в духе западного Просвещения, имея в качестве основного культурного обеспечения ценности, традиции и критерии Европы, он, словно солдат с укладкой, стремительно, к двадцати пяти — двадцати шести годам, проделывает длинный и сложный переход в «обратном» направлении — против течения нарастающей секуляризации культурного сознания, к праматеринской почве ценностей, пренебрегаемых петровской цивилизацией. В нашем контексте первостепенно важен тот факт, что происходит это неумышленно, без соответствующих идеологических, литературных, вообще программных заданий и даже намерений (поскольку учили его совсем другому и задания были противоположные), по чисто внутренней, а именно — творческой потребности. Неумышленность пути хорошо видна, к примеру, на фоне знаменитого письма об «уроках чистого афеизма»⁷ (понятого нашей наукой столь же превратно, сколь и жандармами, его распечатавшими), кото-

рое раздирающе противоречиво изнутри: атеизм, «система неутешительная, но к несчастью более всего правдоподобная», признается умом, но скрепя сердце.

На первых порах это движение «вспять» побуждается, помимо прочего, именно «национальным самолюбием», сказывающимся уже в первой поэме («Смирись, покорствуй русской силе!»). Не в каких-либо предусмотренных видах, а в рабочем, что называется, порядке (так ученик убеждается ненароком в справедливости «пройденного» научного закона) он заново оценивает для себя, в теоретическом плане, тот факт, что «есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки и проч.» (12, 192), открывает, что «в России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических... Мы обязаны нашим монахам Историею, следственно и просвещением» (11, 17; первое предвестие приближения к Пимену. Пишется чуть ли не одновременно с «Гавриилиадой» и богохульством кишиневского послания В. Л. Давыдову, за которыми вскоре последуют стихи, где он изнывает над бездной проблемы смерти и бессмертия души). Тогда же, в оде 1821 года «Наполеон», возглашается: «Хвала! он русскому народу / Высокий жребий указал», — за этой романтически-вызывающей «хвалой» узурпатору, который «человечество презрел», — предчувствие того, что в мире все совершается для чего-то, и не столько людьми, сколько через людей. Вопреки «французскому» воспитанию (которое он позже назовет «проклятым», рассказывая в письме о том, что слушает сказки няни), наперекор урокам Вольтера и Байрона его несет к «Борису Годунову», который есть первое полное и явное свидетельство «возвращения».

Дело вовсе не в самих по себе исторической тематике и материале трагедии; дело в том, что в ней он является, «отказавшись от ранней своей манеры» («Je me présente ayant renoncé <à> ma manière première» — 11, 387), — ни об одном из своих произведений он ни раньше, ни позже не высказывался в столь определенном и решительном духе и так часто. «Манера» изменилась не по внешним обстоятельствам и не в узкоэстетическом смысле — здесь был поворот радикальный. «Достойный ученик» просветителей, изучая — в глуши и тиши михайловской ссылки, в среде людей, живших и думавших, в общем, так же, как столетиями до Петра, — русские летописи, старинных писателей и «Историю Государства Российского», он попал в иную «систему отсчета» — ту, которой владеет Пимен и которую усвоил Карамзин.

«Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апоффегами хронике» (11, 120). Эти апоффегмы — «простодушные» религиозно-нравственные суждения, постоянно сопровождающие рассказ в «Истории Государства Российского», мотивирующие, поясняющие, оценивающие и предсказывающие события с христианской точки зрения («...но сей человеческою мудростию наделенный Правитель достиг престола злодейством... Казнь Небесная угрожала Царю-преступнику и Царству несчастному» — финал 3 главы X тома), воплощают понимание рассказчиком истории, ее логики и телеологии, ее смысла и цели; это — используя блоковский образ — «острия», на которых растянута полотно Истории. В отношении между трудом Карамзина и «Борисом Годуновым» есть что-то от духовного отцовства, отдаленное подобие влияния преп. Сергия на замысел и создание «Святой Троицы» Рублева. Здесь не место подробно показывать, что подход Карамзина к истории как единому и целенаправленному процессу и, в частности, к месту человеческой совести в нем сыграл очень большую, не исследованную еще роль в том, что Пушкин создал «сей труд, Гением его вдохновенный» (как сказано в Посвящении «Годунова» Карамзину), — труд, представляющий (что тоже серьезно не изучалось) пушкинскую художественную концепцию истории, «модель» ее «механизма». История в «Борисе Годунове» есть функция больной, искаженной совести людей (как «Царя-преступника», так и народа, попустившего избрание его на царство), она есть процесс противления людей Высшей правде, извращения ими порядка ценностей; однако, пока люди, по выражению Карамзина, думают «не об истине, но единственно о пользе» (т. XI, гл. 2), «истина» царствует и управляет, устремляя тот же процесс к иной «пользе, к исполнению Высшей правды».

Концепция эта воплощается, соответственно, в совершенно новой «драматической системе», которая включает в себя опыт мирового театра, в том чис-

ле античного и шекспировского, но глубоко отлична и от того, и от другого и к тому же не чужда оттенка мистерии (в средневековом понимании). Дело здесь отчасти в том, что в сюжете скрыта «двухэтажность»: на уровне персонажей и отдельных событий действие развивается по обычной, натуральной причинно-следственной логике; на уровне же общего «сюжета» Истории как одного сверхсобытия «логика» уже другая: здесь провиденциально осуществляется высший смысл происходящего и ход действия телеологичен: то, что происходит, происходит не только «почему-то», но — «для чего-то»⁸. Причинно-следственные отношения в некотором смысле инвертируются (благодаря, в частности, как бы плавающей композиции сцен, которые порой могли бы, кажется, быть размещены и иначе). Так, если говорить о заглавном герое, то во всех шести сценах, где появляется Борис, его главное действие — замкнуть слух от голоса совести (раздается ли он в собственных мрачных предчувствиях, или в известии о появлении Самозванца, принесенном Шуйским, или в монологе Патриарха и т. д.), — и каждый раз после (в результате?) этого Самозванец делает — в следующей или ближайшей сцене — очередной шаг к успеху, а все действие — к краху Годунова и к безмолвию, в котором заговорит совесть народа. Иначе говоря, состояние души и совести человека влияет на внешние события, на ход окружающей жизни; «сознание» определяет «бытие» (ср. в лирике этого времени: «Душе настало пробужденье: / И вот опять явилась ты»; «Духовной жаждою томим... я влачился, / И шестикрылый серафим... явился»).

То есть сюжет строится по принципу не детерминистски-линейной, а «обратной перспективы».

В итоге автор, только что бравший «уроки чистого афеизма» и субъективно их не преодолевший (ср., к примеру, письмо 1826 года к Вяземскому о судьбе как «огромной обезьяне» — 13, 278), создает, в видимом противоречии с «убеждениями», произведение, где в понимании истории, «судьбы человеческой, судьбы народной» (11, 419) обнаруживается, говоря словами С. Л. Франка, «истинно русско-христианское» (православное, проще говоря) «религиозное начало»⁹. «Борис Годунов» — единственная, пожалуй, в мировом театре трагедия, где процесс истории обзревается как бы сверху, извне ее хода (притом без всяких приемов поясняющего посредничества автора) — извне истории. Такой взгляд и в самом деле должен бы принадлежать ортодоксально православному человеку — такому, как Пимен, — видящему историю в свете Божьего Промысла, или, как говорили на европейский лад, Провидения — как нечто целое и целенаправленное.

«Манера» и перспектива, найденные в «Борисе Годунове», оказались для зрелого Пушкина определяющими. Это можно увидеть и в «Евгении Онегине», который есть — повторю собственную формулировку — «русская картина мира»¹⁰, возникающая в процессе художественного исследования проблемы человека на фоне обстоятельств послепетровской России (выражения, может, и сухи, но ведь не многим более, чем, скажем, «энциклопедия русской жизни»). Причем процесс этот — соиздание такого романа — служит еще и предметом наблюдения со стороны автора, осознающего себя словно бы не вполне, не абсолютным автором — скорее героем выплескивающегося в жизнь романа, выполняющим функцию автора. Иначе говоря, процесс строительства произведения — и одновременно себя самого — наблюдается снова как бы извне, в перспективе некой сверххудожественной цели. В дальнейшем я надеюсь показать, прочитывая роман главу за главой, что сюжет его, строящийся на притяжении-противостоянии ушибленного «европейским» воспитанием «полурусского героя» (6, 462) и уездной барышни, русской несмотря на французский язык и английские романы, сюжет, где героиня — авторский «верный идеал» человека — влюбляется в идеал человека, каким представляется ей герой, и шаг за шагом познает меру невоплощенности в нем этого идеала, — что сюжет этот складывается необычайно телеологично, так что все действие устремлено (как и в «Борисе Годунове») к безмолвствованию финала, в котором, может быть, брезжит надежда на прозрение безмолвствующего.

Та же «манера» в «маленьких трагедиях», истории болезни человечества, идущего по пути разрушения иерархического порядка Бытия, извращения и эгоистической утилизации высших ценностей — по пути «присущего всякому греху подчинения высшего низшему»¹¹. Здесь мистериальный характер проис-

ходящего особенно явствен в контексте всего цикла, варьирующего тему трагических отношений временного и вечного, земного и небесного в человеческой душе, а степень бытийственной символичности каждого сюжетного поворота, реплики, а подчас и ремарки не имеет себе равных в светской словесности — все происходит словно перед лицом вечности и наблюдается с высоты неба¹². Примечательны варианты общего заглавия цикла: «Драматические изучения», «Опыты драматических изучений», — автор драмы, «цель» которой «судьба человеческая, судьба народная» (11, 419), и романа, представляющего русскую картину мира, художественно «изучает» теперь сам жанр трагедии и постренессансной Европы как феномен одинокого трагического сознания новоевропейского человека — сознания, порожденного подменой низшего высшим, с ее безнадежными последствиями, и как нарочно выходит — в «Моцарте и Сальери» — прямо к теме «закона и благодати»¹³.

Тот же «большой стиль» у всего зрелого пушкинского творчества, вплоть до явно эсхатологической окраски «Медного всадника», «Сказки о золотом петушке», «Анджело», «Странника» и других произведений последних лет. Вообще мир Пушкина, особенно зрелого, полон священных смыслов¹⁴, это, вероятно, самый сакральный из всех созданных светской литературой художественных миров — хотя (или, скорее, в силу того, что) качество это ни у кого не реализуется столь молчаливо и в столь — почти сплошь — светском материале. Священные смыслы у Пушкина — это рисунок не наносимый на готовую ткань, а ткущийся в процессе создания ткани; они сказываются не столько через отдельные элементы, из которых строится художественный мир и которые можно, что называется, потрогать руками, сколько через их связи и архитектуру, в которых — истинная жизнь этого мира как целостного организма. Отсюда беспрецедентная, до аномальности, «свобода» наших толкований одного и того же у Пушкина: каждый имеет дело главным образом с отдельными элементами и комбинирует их на свой вкус, словно речь идет не о готовом сооружении, а о стройматериале.

Правду сказать, это и неудивительно — настолько природно различны «алгоритмы» пушкинского сплошь осмысленного мира и непостижимо правильного (согест) художественного мышления, с одной стороны, и нашего прерывчатого и субъективного разума — с другой. Да и самому Пушкину эта пропасть была очень знакома, о чем говорят глубокие порой расхождения между словесно выражаемыми «мнениями» — и свидетельством творческого акта (ср. хоть приведенный выше пример с «Годуновым») и изумленное отношение к собственному творческому процессу («К моей чернильнице»: «Заветный твой кристалл / Хранит огонь небесный» и проч.; описание момента вдохновения в «Осени» и т. д.) и к своим возможностям («Ай да Пушкин, ай да сукин сын» — 13, 239). Здесь, вообще, такое положение, когда масштабы и характер данного человеку гения почти не оставляют места для неизбежного при позитивистском подходе превознесения носителя гения — когда, например, в Пушкине видят демиурга «надсистемы, воспринимаемой как иллюзия самой действительности»¹⁵, в то время как «сама действительность» понимается в качестве «внесистемной реальности», «мира объекта»¹⁶.

На самом деле для Пушкина действительность — вовсе не «объект» в ренессансном духе (постоянно, кстати, приписываемом поэту на правах «знака качества»); действительность для него как раз осязаемо системна: она воспринимается его художественным гением как живое, упорядоченное и одухотворенное произведение, цельное и целостное, — ибо предполагающее цель, каковую в мире Пушкина выглядит человек, «вкруг» которого «вращается весь мир» (3, 431). Мир у Пушкина, собственно, и создан, и существует для человека¹⁷ (что целиком соответствует и Книге Бытия, и святоотеческой традиции¹⁸); человек же, «по своему высшему, свободному свойству» — если употребить пушкинское выражение (11, 201), — и венчает Творение, и уродует его, то есть (и в этом онтологическая драма мира) препятствует осуществлению цели — которая, однако, неотменима.

Это, в сущности, макросюжет Пушкина — если, конечно, рассматривать его творчество и художественный мир не как сумму спонтанных творческих рефлексов и человеческих мнений. Перед нами не авторское «мнение» о мире, а «послушное» интуитивное опознание и художественное воссоздание названной выше драмы, нелюбимое свидетельство о ней — но притом не

просто в наличной данности ее, а и в телеологии, в устремленности к торжеству Замысла; в противном случае мир Пушкина был бы безысходно мрачным миром.

Из современников, кажется, один Иван Киреевский ощутил в пушкинской поэзии качества беспристрастного свидетельства о мире и его драме: «Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосторонен, слишком объективен, чтобы быть лириком»¹⁹. Вторая часть суждения ошибочна, но ошибка эта драгоценна: считая, как и полагается, что лирик свидетельствует прежде всего о своем взгляде на мир, молодой философ чувствует, что у Пушкина — не так, что у его поэзии иные законы. Вывод отсюда следует неверный, но это, вероятно, и потому, что отсутствует историческая дистанция, идет только 1828 год.

Зато спустя полтора с лишним столетия странно слышать, когда, ссылаясь на общие «законы лирики», умудряются видеть в Пушкине безбрежную субъективность, в его лирическом мире — не единство целостного, пусть противоречивого и драматического, духовно-творческого процесса, а широкий набор разнообразных импрессионистических наитий, связанных между собой лишь совершенством выражения. Сомневаюсь, вообще говоря, чтобы все лирики творили по одним и тем же «законам лирики», но даже если так, стало быть, Пушкин — поэт не как все (в противном случае, кстати, он не создал бы единственный в своем роде роман в стихах), его лирика — другая, существующая по другим законам, ею самой «над собою признанным» (13, 138).

Привычный — практически общепринятый (включая сюда и свой опыт) — подход к стихам диктуется кое в чем спецификой самого предмета — особенностями лирического мышления. Исследователь оперирует смысловыми фрагментами текста, как лирик фрагментами мира, и, комбинируя их в известную модель, достигает порой высокой степени аутентичности: ведь «односторонняя» и «субъективная» природа лирики заставляет важнейшие смыслы текста предъявлять себя отчасти в готовом виде. У Пушкина же из целого ничто не выступает; оттого исследователю Пушкина, если он пользуется описанным подходом, приходится выделять смыслы, представляющиеся важнейшими, руководствуясь «не уставом, — как говорил Пушкин о цензуре, — а своим крайним разумением» (16, 160), и комбинировать их в такую модель, какая отвечает «разумению», то есть понятиям исследователя, его образу мира. Возможность аутентичности здесь никаким «уставом», то есть методологически, не обеспечена и не предусмотрена, она равна возможности интуитивного совпадения или вероятности случайного «попадания» в пушкинский образ мира, который методологически от исследователя закрыт. В результате исследующий имеет дело с «моим Пушкиным», то есть с самим собой.

Выскочить из этого круга (относительно, конечно) можно, только опираясь не на отдельные элементы и смыслы пушкинского текста сами по себе, не на их даже сумму, сколь угодно значительную и называемую обычно «контекстом», а на то, что является настоящим контекстом, а именно: как связываются у Пушкина между собой элементы и смыслы, образуя сплошное архитектурно устроенное целое, в каком порядке следуют эти элементы, смыслы и их «сцепления» (Толстой). Другими словами, текст следует рассматривать во времени — как музыкальную (музыкально-архитектурную) систему, которая на наших глазах возникает, разворачивается и завершается (или «не завершается», что у Пушкина очень часто). Пушкинский текст — не готовая статичная «структура», а воплощенная динамика лирического переживания: процесс сцепления смыслов в создаваемом художественном целом, где каждый из смыслов постижим лишь в своей зависимости от разворачивания предыдущих, в своей функции разворачивать последующие, в своей включенности в порядок движения. Если лирический текст — обычно и по преимуществу — есть лирический акт, где время присутствует как элемент внешний (часто и безразличный) по отношению к поэтике самого акта, то пушкинский текст есть лирический процесс, и время в нем — фактор формо- и смыслообразующий.

Короче говоря, сама поэтическая установка Пушкина определяется лирической, поэтической, творческой ролью времени — в его онтологическом значении, противоположном вечности и потому полном драматизма. «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3: 8); в

Небесном Граде, в жизни вечной «времени уже не будет» (Откр. 10: 6); время — условие тварного мира и конвенция тварного человеческого сознания, оно отграничивает человеческое от божественного, смертное от бессмертного, на времени лежит печать онтологической драмы отпадения человека от Бога, породившей смерть; отсюда трагическое переживание феномена времени, свойственное практически всем. Вместе с тем божественная природа человека сохраняет ему чувство и жажду бессмертия, память об утраченной вечности, тяготение к ней — «к лучшему, то есть, к небесному» «отечеству» (Евр. 11: 14 — 16), и здесь причина и основа всякого творчества — она же и онтологическая его трагедия «у времени в плену».

В лирике последнее особенно наглядно. Бытие, безграничное и вечное, переживается и «отражается» лирическим субъектом в его масштабе, личном и наличном, с его точки зрения, «субъективной» и локализованной в границах лирического мгновения. Лирический акт есть свидетельство о бытии постольку, поскольку бытие вмещается в лирическое «я», в его чувства и представления; это своего рода присвоение бытия, формируемого (и, соответственно, деформируемого) субъектом по своей личной и временной мерке. В этом отношении к бытию — как объекту «отражения» и «присвоения» — лирическое «я» самовыражается, самоутверждается, самовоспроизводится — адекватно «мгновению», то есть таким, какое есть сейчас, — и именно в этом наличном своем качестве стремится, в жажде бессмертия, себя продлить; так Фауст хочет остановить мгновение в надежде, что из него получится вечность.

Лирическая установка Пушкина — иная, и «цель» поэтического высказывания — тоже. Более того, как ни парадоксально, «слишком объективный» Пушкин в некотором роде едва ли не более «субъективен», чем «обычный» лирик: тот «присваивает» мир, вмещает в свой миг бытие — пушкинское же «я» движется внутри времени и мира, но свидетельствует Пушкин — прежде всего о себе; предмет подавляющей части его лирики, особенно зрелой и поздней, — само авторское «я» и тревожащие его вопросы (даже если «я» грамматически отсутствует, а предметом выглядят вторые или третьи лица. Необычайно, кстати, показательное стремительное количественное убывание — у поэта-лирика на четвертом десятке лет! — стихов на любовные темы и взамен сосредоточение на «последних вопросах», на «я» *sub specie aeternitatis*, перед лицом вечности). Иначе говоря, «объективность» Пушкина-лирика в том, что, в отличие от лирики «обычной», «субъективной», для него объектом является не бытие в «моих» масштабах и «моем» мгновении и не «я» само по себе, но — «я» в масштабе вечности, перед лицом бытия; и лирическое высказывание рождается жаждой самого себя в этой коллизии понять и, таким образом, «присвоить».

Драматизм этой жажды очевиден. Ведь если свидетельство о себе в бытии есть свидетельство об идущей в бытии драме отношений между прекрасным предвечным Замыслом о человеке и наличной практикой человека, которая искажает Замысел, отторгает человека от вечности, порождает смерть, то «объективность» свидетельства будет прежде всего в том, чтобы увидеть свое «я» в качестве не только жертвы, но — участника и делателя этой общемировой драмы, несущего за нее личную ответственность; а поскольку «я» есть главный лирический объект, то — участника главного, на первом плане находящегося. «Объективность» требует увидеть себя так, как об этом говорится в читаемой перед евхаристической Чашей молитве «Сыну Бога Живаго», пришедшему в мир «грешных спасти, от них же (из коих. — В. Н.) первый есмь аз». Обязанность внять такому требованию — не «моральная», а творческая, — сама по себе есть драма, тем более — для светского сознания, светского человека и художника.

Драма — конфликтный процесс, протекающий во времени; от того, как сказано, лирическая поэтика Пушкина — поэтика не акта, запечатлевающего миг, а процесса, текущего во времени и только во времени постижимого. Более того. Субъектно-объектное отношение человека к бытию, порожденное отпадением от Бога, является почвой лирики, лирика зиждется на этом отношении, она им живет, — пушкинская же лирика сам феномен такого отношения к бытию, к вечности переживает как драму — и на этом строится поэтика. Киреевский в глубине опять-таки прав: пушкинское лирическое «я» стремится преодолеть лирическую «субъективность», точнее,

субъектность отношения к бытию как объекту, преодолеть лирическую выключенность из времени (ради локального субъективного «мгновения»), стремится увидеть себя в общем времени, в общей драме человеческого бытия как действующее лицо этой драмы, несущее ответственность перед вечностью. С долей условности можно сказать: поэтика лирики Пушкина подчиняется законам драмы (потому, конечно, не случайны частые вторжения в лирику диалогов и целые лирические диалоги — «Разговор книгопродавца с поэтом», «Сцена из „Фауста“», «Герой» и др.).

Именно по законам драмы пушкинское лирическое свидетельство — о себе ли, о мире ли — свидетельство не столько «наличия», сколько устремленности, свидетельство принципиально творческое, ибо всегда не готовое, всегда вопрошающее (нетрудно убедиться, что пушкинский лирический текст почти всегда формируется и движется вопросом, и таковой нередко повисает в финале — что, кстати, относится и к драме). Именно по законам драмы пушкинское «я» — начиная примерно с «Желания» 1816 года («Медлительно влекутся дни мои...») вплоть до «Памятника» — никогда, или почти никогда, не воплощает себя в лирике остановленным и готовым (отчего столь безуспешно бывает внеконтекстное цитирование); по законам драмы, это «я» стремится всегда к разрешению, к преодолению некой драматической коллизии, в конечном счете — к «присвоению» своего идеального «я». «Духовной жаждою томим» есть самая точная характеристика такого лирического «я». Оттого пушкинский текст — «организм», всегда открытый в окружающее смысловое пространство, которое иногда называют «будущим», то есть — в вечность; всегда «томящийся» жаждой то ли вобрать это пространство в себя, то ли распространиться в нем. Это система, настроенная не на «отражение» или «выражение», а на преобразование «я».

С этим и связана природа сакральности пушкинского мира — не объявленной, а пронизывающей, не откровенной, а сокровенной, не эстетизированной, а эстетичной по своему существу, ибо воспроизводящей сплошную священность Бытия, передавая его иерархию, его совершенство и красоту, его драму и его цель. Сакральность эта, с одной стороны, уходит корнями в архаическую древность, в язычество, для которого ничего не сакрального в мире просто не существовало, и в ветхозаветную картину мира²⁰; с другой же — свойственное Пушкину ясное ощущение в Творении некой светлой цели, которая связывается с человеком, целиком принадлежит сознанию христианскому. Связанная с этим ощущением «эстетика преобразования» сама по себе не сакральна (в ином случае Пушкин был бы церковный писатель) — она онтологична, и это христианская онтологичность. Эстетика Пушкина не сакральна — его сакральность эстетична: она передает и воплощает красоту христианской онтологии как красоту «благодати и истины», любви Творца к Творению и его цели — человеку. Думается, слова одного из героев Достоевского: может быть, весь мир наш создан в совершенной форме пушкинского стихотворения, — отчасти предвосхищают смелый ход мысли о. Павла Флоренского: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог»²¹, — где пафос состоит не в возвеличении преподобного Андрея, при всем понимании дарованного ему гения, а в утверждении верности свидетельства, достигнутой человеком по Божественному смотрению.

В итоге можно говорить об онтологическом реализме²² Пушкина, свидетельствующем — «послушно» «веленью Божию» — об осмысленном и одухотворенном порядке Творения и о драме взаимоотношений человека с этим порядком.

Вероятно, здесь природа некоторых «непостижных уму» особенностей пушкинского художественного мышления и языка. Например — ни за что не дающей ухватиться сферичности, неприметности перетекания одного в другое, недостижимости «идейного» горизонта, отсутствия «швов» (ведь в человеческом бытии «швы» тоже отсутствуют — благодаря свободе человека, ее «амбивалентности») и, конечно, его способности выглядеть «моим» автопортретом. Тут и удивительное сочетание, с одной стороны, «объективности», общезначимости, «общеприменимости» пушкинского лирического высказывания, в котором каждый может «узнать себя», а с другой — столь же очевидной предельно личной конкретности переживания, в котором «узнается» именно Пушкин. Или — неисчерпаемость, универсальность, антиномичность пушкинской кар-

тины мира, где не просто «благо смешано со злом» (6, 649), но зло связано с благом (таковы, к примеру, характеры пушкинских злодеев и преступников — в отличие, скажем, от Ричарда III, от Эдмунда и других героев «Короля Лира» и т. д.); зло есть у Пушкина превращение блага, как труп есть превращение тела, как «тиран» есть превращение «героя»: «Оставь герою сердце! Что же / Он будет без него? Тиран...» («Герой»).

(«Сердце» занимает ключевое место в пушкинской системе ценностей — здесь поистине сердце пушкинской картины мира, что воспроизводит онтологическую пронизанность Творения созидательным началом любви.)

Онтологизм — то, что и побудило Киреевского к его глубокой мысли, и ввело в заблуждение относительно ущербности пушкинского лиризма; то, что заставляло одних видеть в Пушкине одну лишь «форму», а других — отсутствие индивидуальности. В онтологизме — природа второстепенной, служебной роли «психологизма», отсюда же — неуязвимая органичность пушкинских сюжетов, даже их маловероятных на внешний взгляд моментов («Метель», «Пиковая дама» и проч.); и характер динамики действия, его сплошная целостность и поражающая натуральностью провиденциальная устремленность; и на диво постоянная огромная роль финалов, словно вбирающих в себя (наподобие главного нашего праздника) всю событийную цепь, все объединяющих в единый и целостный смысл — и в то же время открытых, тревожно или с надеждой вопрошающих; и характер пушкинского фрагмента, потенциально заключающего в себе весь состав отсутствующего «целого»; и многие другие стороны пушкинского художественного мира — «перевода» реального мира²³ на язык человека, — до метафизики которых у науки руки еще не дошли.

Здесь — следствие нашего материалистического воспитания и позитивистской методологии: привычка путать Божий дар творчества с тем, кому он, по слову Баратынского, поручен, рассматривая дар в одном порядке с личными качествами художника, его «убеждениями», мнениями и проч., в одном евклидовом пространстве с его натурой²⁴. Но существует более древняя и в пушкинское время авторитетная традиция, породившая, в частности, слово вдохновение. Дар действует, несомненно, через посредство некоторых личных качеств художника, но изначально он принадлежит иному измерению (я резец в руках Твоих, Господи, говорит в одном из сонетов Микеланджело), — и поразительно совершенный художественный мир Пушкина не есть целиком производное его личных качеств или «мнений», каковы бы они ни были. Дар, сообщаемый художнику, связан, по-видимому, с возлагаемой на него миссией, для которой индивидуальные качества суть лишь начальные условия, представляющие возможность вместить. В то же время художник — не пассивный медиум: дальше начинаются отношения личности с даром, который постоянно требует от своего обладателя духовного соответствия, «навязывая» новые уровни высоты и, в свою очередь, реагируя на поведение личности. Качество и степень того, что Пушкин дерзко (но, может, и смиренно) назвал в своих созданиях «нерукотворностью», зависит не в последнюю очередь от этих отношений. «Нерукотворность» пушкинского художественного мира необычайна, порой чуть ли не до надличности, — и тут кстати напомнить, что потрясенность своим даром, не раз испытанную, когда творился «Годунов», Пушкин сохранял постоянно (С. Л. Франк считал это «первым и основным мотивом... религиозности поэта»²⁵) — иначе не было бы ни «Пророка», ни «Поэта», ни целого ряда других произведений, где явственно ощущение как бы «не своей ноши». В том, что дар не личное имущество, поэт отдавал себе отчет, думается, с той же мерой адекватности, как и в том, что зазор между ним самим и его гением остается, что полного соответствия нет (об этом говорит «Пока не требует поэта...», это же, вероятно, одна из важных причин «комплекса Чарского», с личной болью описанного в «Египетских ночах»).

Сущность любых человеческих отношений — отношения человека с Божьим образом в себе, на которых лежит неизгладимая печать драмы отпадения человека от Бога. Пушкин переживает ее (по крайней мере явственным для нас образом) глубже всего на бумаге — в творческом процессе, в прямом и слепящем свете вдохновения, открывающем художнику всю силу собственных его переживаний, которая в обычной жизни приглушается и смазывается ее суетой, — и оттого с особенной, порой невероятной остротой, до спора, борь-

бы и бунта²⁶. Об этом говорит прежде всего лирика, этот процесс непрерывно совершающейся «внутренней, духовной работы»²⁷, драматизм и противоречия которого свидетельствуют об органичности, непредумышленности и целеустремленной свободе руководимого «духовной жаждой» движения.

Рассуждая о природе творчества, говорят, чаще всего и преимущественно, о стихиях, с которыми приходится иметь дело художнику: об их буйстве, игре — или, по Блоку, «реве», — об их мощи, своеволии и своевласти; о трагическом одиночестве художника перед их грозным ликом. При этом редко учитывают, что «стихии» суть лишь необходимое сырье для творчества²⁸ (как, по В. Соловьеву, сильная чувственность есть материал гения) и что художник в своем творчестве онтологически не так уж одинок. Одиночество художника акцентировано определенной идейной установкой, известного рода сознанием. Принято говорить, особенно после Бердяева: творя, человек продолжает дело Бога — что, по существу, означает: за и вместо Бога, идя как бы дальше (Бога). При таком понимании Бог остается «за тактом» человеческого творчества, Он не столько есть, сколько уже был; творчество оказывается делом вполне суверенным, художник — существом вполне эмансипированным. Тут-то, натурально, и возникает почва для lamentаций относительно одиночества перед лицом «стихий». Однако поскольку сознание, о котором идет речь, клонясь к неоязыческому мифологизму, в то же время не желает упускать из-под себя религиозную (христианскую) почву, то выходит, что «стихии» — это, с одной стороны, как бы и стихии, а с другой — как бы и не совсем, и даже совсем наоборот, именно — явления Святого Духа, ведь Он дышит, где хочет. В итоге художник творит хоть и без (за, вместо, после) Бога, но... не без Святого Духа, Который может проявлять Себя и в «напоре стихий» (Г. Федотов²⁹), — а перед таковыми художник «беззащитен», почему и «песни поэта часто оказываются песнями греха»³⁰. Необходимость уяснить, каким же образом связь с проявлениями Св. Духа может породить «песни греха», как раз и упирается в языческую метафорику и фаталистические мифологемы: «Музой является только Св. Дух, но гарпии похищают и оскверняют божественную пищу»³¹. Это не только изящно снимает ответственность с человека-творца, упраздняет роль совести художника, его человечности и достоинства, но и прямо изымает «творческую индивидуальность» (превозносимую в других случаях выше облака ходячего) из творческого процесса. Бог и совесть, ответственность и достоинство отступают перед наглой силой факта, перед наличной судьбой, исследование природы творчества (по неслучайному слову Г. Федотова, «гадание») превращается в философическое нытье.

Все это — наш «серебряный век» с его горделивыми изысками и языческим поклонением «натуральной» действительности в импозантном образе «стихий»; наше «новое религиозное сознание» с его пристрастием к метафизическому удобству теории «трех эр» истории — Отца, Сына и Духа, — отменяющей нераздельность Троицы и подчиняющей Божественное историческому; все это вновь модно сегодня — но Пушкин к этому, я убежден, отношения не имеет. Не только потому, что он — человек другой эпохи, когда не расцвела еще вполне гордыня «творцов», ощущающих себя солью земли (главный, наверное, грех интеллигенции, особенно нашего века), но и по личным особенностям: при всех вольностях своих, он, по старинке, всегда чувствовал, где Бог, а где порог, и не посягал вторгаться в то, что не нашего ума дело. Он, разумеется, как никто знал и обаяние, и жестокий нрав «стихий», на себе испытывал счастье и трагизм удела творца, но в его картине, центр которой — «Пророк», расстановка сил иная, в ней Божий мир целостен, Бог не отстранен и не расчленен, в этой картине все на своих местах: «И дух прошел надо мною; дыбом встали волосы на мне; ...тихое веяние, — и я слышу голос: человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца своего?..» (Иов. 4: 15, 16, 17; разрядка моя. — В. Н.).

«И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаяю» и другие, более сокровенно выражаемые, покаянные чувства говорят о муках совести, драме вины, неизбежной в отношениях человека с Богом (рефлектируются они как таковые или иным образом). Чувства эти были присущи Пушкину в высокой степени — оттого он, взявшись за «Бориса Годунова», так точно попадает в унисон «православной старине», находит общий язык с допетровской Русью, общий с Пименом взгляд на историю — и в результате является, «от-

казавшись от ранней своей манеры». В этой новой манере роль совести чрезвычайно важна — не только как постоянной темы и одной из центральных проблем, но — как творческого элемента, позволяющего озарять светом Правды падший мир без помощи «моральных» оценок, как бы в полном молчании.

В первую очередь тут вспоминается — если разуместь повествовательный план — обилие у Пушкина «немых сцен», в том числе «немых» финалов, где безмолвие героя или героев — знак внутреннего события, глубина и масштабы которого не могут быть осмыслены на языке привычных ценностей героя, ибо само событие требует их переоценки; где, говоря иначе, молчание уст есть голос совести. Что касается плана поэтики, то здесь в прямом родстве с молчанием — прославленный пушкинский лаконизм, «нагая простота», аскетически строгая функциональность каждого штриха, различного рода умолчания, пропуски, пробелы и незавершенности, наконец, беспристрастная, почти — повторюсь — надличная объективность картины мира, где ничего «от себя» — как у эха, которое, собственно, есть звучание тишины. Творческая роль молчания — поистине «Шиболет» (яркая отличительная черта — см. 6, 522) пушкинского гения, особенно его зрелой манеры. Это то свойство, в котором, кажется, стираются границы между индивидуальным и онтологическим в творческом акте; основа тихого, чуждого всякому напряжению могущества почти идеальной эстетики, работающей как бы на очищении от собственно «эстетического», с годами тяготеющей едва ли не к бездне белого листа. В конечном счете и радикально важное для позднего Пушкина: «цель художества есть *идеал*, а не *нравоучение*» (12, 70) — правомерно осмыслить как противоположение молчания и говорения. Все это вместе не может не приводить на память библейского: «...и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» (3 Цар. 19: 11 — 12; разрядка моя. — В. Н.).

В «Пророке» над «шумом и звоном», «наполняющим» уши героя, возносится «неба содроганье», — и это не «стихия». И все совершающееся в «Пророке» совершается в безмолвии, из которого не «стихии» режут, а *зывает* Бога глас: «Исполнишь волею Моей».

Умение Пушкина дать слово этому говорящему безмолвию, «исполниться» им — это умение смиренно отступить со своею «творческой индивидуальностью», со своим «шумом и звоном», довериться и внять — не «стихиям», а «тихому веянию». В таком молчании — встреча относительного с абсолютным, временного с вечным, человеческого с божественным, — и вопрос Пилата, и безмолвный ответ Христа. Такое *внимание* — акт мужества, сильной творческой воли, истинное мерило «индивидуальности»; в таком смирении нет «беззащитности» художника, им «испытываются духи» — «от Бога ли они», в нем победа над «стихиями», здесь «невозможное человекам возможно Богу», и никакие гарпии ничего не могут похитить и осквернить; здесь, наконец, тот момент, в котором явственнее всего обнаруживается отвергнутое «новым религиозным сознанием» на попрание «стихиям» онтологическое родство таинственного дара художества с даром совести, который есть у всех.

Дар молчания как знак творческого «послушания» настолько выделяет нашего поэта среди всей новоевропейской словесности, что это можно было бы принять за редкостное личное свойство — если бы нам не был известен нрав Пушкина-человека, чуждый всякой благостности и смирности, его человеческий и творческий темперамент и иные бросающиеся в глаза черты, а главное — если бы упомянутый «Шиболет» не был действительно «народным» (6, 522). Другими словами — если бы не духовная генетика, заданная культурой Святой Руси (где давно нашло неслучайный отклик и смелое развитие такое глубокое, строгое и утонченное направление духовной культуры, молитвенного опыта, гнозиса восточного христианства, как исихазм, — от греч. «исихия» — безмолвие, сопряженное с *вниманием*, «вслушиванием»). В этой генетике была интуиция совести как чувства богосыновства человека, которое ему прирождено и заставляет, пусть помимо воли, соотносить себя наличного с собою идеальным, то есть с замыслом Бога, — и в результате испытывать «отвращение» (см. «Воспоминание»), боль, *жжение* (см. финал

«Пророка»); интуиция совести как присутствия — и «содрогания» — неба в «сердцах людей»: «Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну» (то есть всегда; Пс. 50: 5). Совесть есть взгляд человека и человечества на себя с той высоты, которая задана человеку при Творении и которая достижима (в противном случае это был бы сатанинский соблазн «бескрылого желанья» для «чад праха»); она есть слышание «Бога гласа», говорящего: цель, ради которой создан человек, есть идеал, цель жизни есть идеал, «цель художества есть идеал...» (12, 70).

Цель эта и есть «точка отсчета», из которой строится пушкинская картина мира³². Автор «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина» смотрит на жизнь не из задаваемых ею условий, условий «адской бездны» («Ангел») падшего мира, но с точки зрения идеального человеческого назначения, как бы из иного пространства, где взгляд не затемнен и не искажен логикой падшего мира, его «необузданными страстями и жалкими корыстями» (Чаадаев³³); откуда все видно иначе — в свете божественной сущности человека, попираемой на каждом шагу, но все-таки живой даже в самой темной душе; в той перспективе христианского идеала, которой новоевропейская логика определила название обратной.

Отсюда — в полном смысле слова уникальная особенность художественного мира Пушкина (о ней я писал в свое время в «Новом мире»³⁴), ставящая его особняком, по крайней мере в литературе Нового времени: беспримерно катастрофичный, могущий поспорить с самыми мрачными из созданных этой литературой художественных миров по концентрации трагических коллизий и зла, мир Пушкина в целом производит впечатление столь же беспримерно светлого и совершенно отвечает эпитету, который из всех писателей, пишущих трагическую «правду жизни», только к Пушкину и применим: **солнечный**.

«В чем тайна искусства русского художника? Как могут они заставить нас верить в невероятное, как могут они дерзать искать веры в действительности, оправдывающей только неверие?» — спрашивал французский критик Ж. Леметр³⁵ (и вот пример «рождественской» позиции, отсчета «снизу», ориентации на «действительность» падшего мира, на такую «веру», что требует «оправдания в сем мире»). Он писал это не о Пушкине, а о Толстом, пораженный в нем той особенностью русской литературы, что проблема «действительности», проблема судьбы и счастья, будучи в ней столь же мучительной, как и в литературе Запада, не столь суверенна, не так самоцельна, что она всегда чревата проблемой идеала, проблемой человеческого предназначения и поведения. Отвечая на подобные недоумения, Лев Шестов писал: «Пушкину нужно показать нам, что идеалы существуют на самом деле (разрядка моя. — В. Н.), что правда не всегда в лохмотьях ходит и что наряженная в парчу неправда на самом деле, а не только в мечтах, склоняет свою надменную голову перед высшим идеалом добра. Пушкин нашел в русской жизни Татьяну, и Онегин ушел от нее опозоренный и уничтоженный в своем бессмысленном отрицании. Он знает теперь, что ему нужно возвыситься, а не снизить к Тане. В этом — его спасение, и наша великая отрада»; «Там, в Европе, лучшие, самые великие люди не умели отыскать в жизни тех элементов, которые бы примирили видимую неправду действительной жизни с невидимыми, но всем бесконечно дорогими идеалами, которые каждый, даже самый ничтожный, человек вечно и неизменно хранит в своей душе. Мы с гордостью можем сказать, что этот вопрос поставила и разрешила русская литература, и с удивлением, с благоговением можем теперь указать на Пушкина: он первый не ушел с дороги, увидев перед собой грозного сфинкса, пожравшего уже не одного великого борца за человечество. Сфинкс спросил его: как можно быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом, как можно, глядя на жизнь, верить в правду и добро? Пушкин ответил ему: да можно, и насмешливое и страшное чудовище ушло с дороги...»³⁶.

Здесь менее всего — о «тайне искусства». Тому, о чем проникновенно говорит Шестов, нет, думаю, иного объяснения, как то, что пушкинский художественный мир покоится на основании, положенном исповеданием и культурой допетровской Руси с ее исполненным надежды взглядом на человека в свете христианской истины о нем, с ее ясным пониманием драмы отпадения, но и с упованием на образ Божий в человеке (здесь родослов-

ная «чувств добрых» и «милости к падшим», исток того свойства, которое Белинский наименует «лелеющей душу гуманностью» и которое есть «перевод» на земной язык лежащей в основании мира Любви). Великий и прекрасный монолог Гамлета, завершающийся словами о «квинтэссенции праха», эта монументальная эмблема культуры, вера которой взыскует «оправдания действительностью», немислим — по крайней мере в качестве эмблемы — ни в творчестве Пушкина, ни в начатой им великой литературе, от Гоголя и Лермонтова до Блока и даже дальше — в наиболее высоких и совершенных произведениях последующей литературы. Он не отвечает той неистребимой интуиции нашей культуры, тому — уже в подсознании укорененному — убеждению, что трагизм человеческого бытия в падшем мире («На свете счастья нет»), что страдание человеческое — вовсе не непостижимое роковое недоразумение самого Бытия, а свойство падшего мира, неизбежный в таком мире крест и в этом смысле норма — и оправдательная, и спасительная, ибо не дающая «угасить Дух» «духовная жажда» и есть жажда преобразования.

Эта интуиция — неотъемлемый элемент «русской духовности», присущей — пусть произвольно, пусть порой в трансформированном или даже искаженном виде — российской культуре как неразстворимая субстанция православной традиции.

6

Слово «православие» сегодня часто вызывает раздражение. К этому дело шло давно, с той же петровской революции с ее стремлением превратить православие в форму, в идеологию. Что наглядно видно в продолжившей дело Петра уваровской формуле «Православие, самодержавие, народность», которая, кажется, ничего худого не говоря, была в то же время актом превращения вопроса веры, свободной совести, «благодати и истины» в вопрос «закона», в обязанность благонадежного гражданина³⁷. Дальнейшая наша — и Русской Православной Церкви в том числе — трагическая история привела к тому, что именно как идеология и понимается в нашем секуляризованном обществе (не исключая и многих священнослужителей) православная вера. Тем более что прижившееся у нас, на фоне либерально-экуменических веяний, слово «конфессия» обнаружило, в русском употреблении, секулярный, идеологический, чуть ли не партийный смысл.

Но православие — не «конфессия»: в своей неизменившейся догматике это — христианство до схизмы, с его неотмирными, «слишком высокими» (на «мирской» взгляд, недостижимыми) идеалами. Воспринятое Русью при Крещении, удержанное ею в своем пасхальном качестве в течение нескольких веков, пока на Западе оформлялось и развивалось христианство «рождественского» толка, оно было брошено под каток петровских реформ, сущность которых состояла в том, чтобы Россия совершила акт вхождения в «европейский дом» не по естественной логике собственного развития, а — оставив свой крест, перестав быть собою — странной страной, которая — если снова вспомнить Чаадаева — «как бы не входит в состав человечества, а существует лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок»³⁸.

Трудно удержаться от мысли, что с этим вот жребием, указанным Чаадаевым, связано то, что Россия, при всем историческом смирении (которое тот же Чаадаев назвал «отсутствием свободного почина в нашем социальном развитии» и повиновением не «нормальным законам нашего разума», а «верховой логике провидения»³⁹, — что она, при всей своей «переимчивости» (Пушкин) и «отзывчивости» (Достоевский), в духовном своем «самостоянье» всегда упорствовала и, более или менее покорно принимая спускаемые сверху или извне приходящие политические либо социальные изменения, внутренне свое отстаивала твердо и самыми разнообразными способами: от бунтов, саможжений и бегств на окраины Империи до того массового пассивного, наподобие сидячей забастовки, сопротивления, которое принято именовать и безразличием, и бессловесностью, и косностью, и тупостью, и еще менее лестными словами и которое Пушкин определил как безмолвование.

Внутренним, духовным сопротивлением и ответила Россия на попытку царя-преобразователя преобразовать ее душу и идеалы. Рана была нанесена, нужно было ее залечить, восстановить нарушенную петровской революцией

духовную преемственность и национальную культурную родословную — чтобы уйти от опасности уподобления, равной опасности исчезновения. Организм реагирует на травму или грубое хирургическое вмешательство, вырабатывая в себе самом залечивающие вещества, — «верховная логика провидения» заставила силу национального самостоянья проснуться, встряхнуться и породить — в недрах самоновейшей русской секулярной культуры — гений, которому оказалось по плечу подхватить и удержать ускользающую в океан прошлого национальную духовную традицию, почувствовать в ней источник энергии — живой, творческой, устремленной из времени в вечность, возобновить и обновить эту традицию и с помощью орудий, выкованных, так сказать, европейским молотом из русского материала, устранить опасность уподобления. Это помогло нации сохранить, удержать себя «над самой бездной», связать «концы» своей духовной истории, разрубленной петровской революцией, и воссоединить эту историю в целое — теперь уже тысячелетнее.

Так, думаю, можно уяснить провиденциальный характер феномена, называемого Пушкин, природу его центральности, его «солнечной» роли в нашей культуре и, как считает Ильин, в нашей истории.

Вместе с тем мнение, что Пушкин не только европейский, но «самый европейский из европейских писателей»⁴⁰, представляется верным, и вот почему. То, что Петр пытался сделать «внизу», на уровне цивилизации, Пушкин совершил «вверху», в области культуры, — на тех высотах европейского культурного опыта как опыта прежде всего христианского, которые самою Европой во время оно стали утрачиваться, и чем дальше, тем стремительнее. В русском опыте, воплощенном в светском искусстве Пушкина, была явлена возможность истинно европейской культуры как подлинно светской и подлинно христианской, притом христианской не в силу идеологического или морального намерения, а в меру готовности внять «содроганью неба». С этим напоминанием о том, чем должна бы быть для Европы ее культура, с этим «важным уроком» (Чаадаев), дорогою ценой купленным, русская литература вошла в семью европейских на правах не только равной, но и, как говорится, власти имеющей: «Он (Пушкин. — В. Н.) расчистил путь для всех дальнейших писателей... и к нам, еще так недавно робко учившимся у европейцев, пришли... эти самые европейцы за словом утешения и надежды»⁴¹.

Таким образом, в феномене Пушкина телеологически осуществляется связь общечеловеческих судеб с судьбой России и тем самым — своеобразие ее исторического жребия: быть не только «буфером» между Западом и Востоком, этими глубоко различными, но и глубоко связанными между собой сущностями (в Пушкине же и демонстрирующими необыкновенно ярко творческий потенциал своих сложных отношений), быть не только полем между двумя половинами ядерного заряда, предотвращающим взрыв, но — резервуаром жизненной, творческой, духовной энергии, заключенной в «старой» пасхальной системе ценностей.

По сути дела, именно к такому пониманию призвания России пришел Чаадаев: «Я считаю наше положение счастливым, если только мы сумеем правильно оценить его; я думаю, что большое преимущество — иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения... мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом...»⁴²

7

И вот — трудно представить себе более трагический опыт: находясь в том «положении», о котором говорит Чаадаев, обладая такой «возможностью» и таким «преимуществом» — воплощенными в вероисповедании, в «русской духовности», явленными миру в Пушкине и им основанной светской культуре, — пренебречь этим, превратно истолковать свои духовные идеалы и, соблазнившись безбожной утопией, ринуться в нее первыми⁴³.

Эту драму рассматривают по большей части все в той же позитивистской манере, «отсчитывая снизу» и все объясняя внутриисторическими причинно-следственными «механизмами» — будь это мысль отечественная или западная, марксистская или модернистская. По логике либерально-прогрессистского де-

терминизма, судьба России — какая-то странная, сама себе довлеющая «структура», локальный акт истории, без коего история могла бы, в конце концов, и обойтись, что было бы, разумеется, к лучшему. На самом деле эта драма — неотъемлемый от общемировой истории Нового времени процесс, заключающий в себе сверхобщезначимый смысл, — ибо он наглядно, опытно демонстрирует и трагический, катастрофический характер этой истории, и телеологическую направленность ее хода к сверхисторической цели.

Говорить так — не значит идеализировать Россию; в противном случае (который, к сожалению, имеет место слишком часто) действует логика, может быть, и «патриотическая», но все та же новоевропейская, эвклидова. Миссия и ее носитель не одно и то же, как не одно и то же гений и его обладатель. И гений, и историческая миссия — не заслуга, а бремя и работа; не достоинство, а задание; не «судьба», а крест. И гений и миссия не заслуживаются и не навязываются — они даются по силе, по «возможности» вместить (так, пушкинская «хвала» Наполеону вовсе не то означает, что Наполеон молодец, а лишь то, в каком направлении его сила и его возможности были промыслительно употреблены; и Гришка Отрепьев становится бичом Божиим не в силу достоинств, которыми обладают благородные мстители Шекспира Макдуф или Ричмонд, а в силу необходимых для такого жребия данных; и Моцарт — не «бог», как не на шутку убежден Сальери — иначе не убил бы, — а слышащий Божественную гармонию «слепой скрипач»).

Задание России согласовано с нашими силами и природными «возможностями», направление которым было указано православным вероисповеданием, теми качествами «русской духовности», которые, собственно, и имел в виду Чаадаев, говоря о «нашем преимуществе».

Это задание, этот крест России как христианской страны и христианской культуры, я думаю, в том, что самим своим существованием назначена она опровергать «рождественский» идеал благополучного устройства в падшем, во зле лежащем мире — идею сооружения (на путях ли научно-технических свершений, или социального прогресса, или революционного переустройства) безблагодатного эдема, рая без покаяния, без преображения, без спасения; назначена, храня веру в Христову правду, в образ Божий в человеке, томясь по Небесному Граду, удерживать мир, пока он еще не растерял все человеческое, от ожидающей на утопических путях позорной катастрофы.

Поставить преграду этой миссии и была объективно — всеми силами «прогресса» — призвана революция Петра. В первую — точнее, в главную — очередь были предприняты меры, чтобы насколько возможно придушить, подранить Церковь, перекрыть артерию, обеспечивающую духовное здоровье и внутреннее равновесие национального организма. Это в значительной мере удалось (конечно, не без опоры на многие и давние недуги Церкви как человеческого института). Последствия известны. Нашлись другие сосуды, жизнетворный ток разделился, и часть его хлынула по путям светской культуры, давая ей дух, уже незнакомый новоевропейскому сознанию и в дальнейшем получивший определение «русской духовности»: возникла великая русская культура (литература), которая стяжала название святой потому, что волею истории взяла на себя, в стремительно секуляризирующемся мире, крест своего рода миссионерства, труд напоминать о том, что человек создан как образ и подобие Бога, что не устраиваться он должен в падшем мире, не приспособляться к нему, не «оборудовать» его всеми силами «для веселия», словно ничего не случилось, — а «мыслить и страдать», преображаясь духовно «по Христову евангельскому закону» (Достоевский, Пушкинская речь), и что без твердой веры в это у человечества нет будущего.

Процесс был столь же велик и свят, сколь опасен. Главная артерия была прижата так, что другие сосуды чем дальше, тем меньше выдерживали напор духовных сил, призванный уравнивать нарастание физических сил Империи. В тот краткий момент, когда ток духовных сил уже разделился, а равновесие еще не успело нарушиться, явился Пушкин, — в его личном пути духовная миссия светской культуры воплотилась во всей прозрачности противоречий, иерархически безупречно и потому гармонически совершенно. Этот драматизм пути, его распахнутая, исповедальная явленность во всех этапах и тонкостях, внятная всякому, кто хочет внять, говорит о том, что гармония пушкинская — не итог и не акт, что она осуществляется в процессе, и

выше уже упоминалось, как дорого ему стоила такая гармония. «Читатель услышал одно только благоухание; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать»⁴⁴.

Гоголь так уверенно сказал это «никто не может услышать» потому, что Пушкин был еще совсем близко, что в Гоголе было еще много романтизма, что еще не разразилась его собственная трагедия, что опыт русской послепушкинской литературы был еще впереди. Драма отношений Пушкина с Богом и верой, бывшая для поэта глубоко личной и в качестве таковой удерживаемая внутри его творчества, в дальнейшем развернулась вовне. Элементы, складывавшиеся у Пушкина в гармонию, стали разделяться, началось нечто вроде ядерного распада, выброс гигантской энергии, взрыв, который и есть послепушкинская литература и культура. Стало слышно, какие вещества перегорают, чтобы издать благоуханье. Личная драма Пушкина обнаружила себя как общественная, национальная драма послепетровской России, введенной в «европейский дом»; и накал ее был тем сильнее, чем прочнее была удержанная и обновленная Пушкиным связь, генетическая и ментальная, с исповеданием, создавшим Россию как нацию, помогшим ей обрести себя, связь с интуицией совести, веры в образ Божий в человеке — веры, которая в России существует невзирая ни на что, вопреки «действительности, оправдывающей только неверие» (Ж. Леметр), и которая, напротив и более того, жаждет, требует и стремится «действительность» привести в соответствие с верой, человека — в соответствие с его высоким предназначением.

В этом пункте, как известно, и произошла — на основании, заложенном петровской реформой, — фундаментальная подмена, которая у Пушкина, с его органической способностью к «различению духов», «от Бога ли они», была невыносима: подмена духовного преображения социальным, веры в Царство Небесное — утопией земного рая, дела созидания — стихией разрушения. «Сосуды» светской культуры, на которую отступившееся от православной веры «образованное общество» возложило «бремена тяжелые и неудобноносимые» (Мф. 23: 4) — «освободительную борьбу», а затем еще и «продолжение дела Бога» в творчестве, функцию «мирской церкви», — не выдержали и стали лопаться; страна-миссионер оказалась в положении врача, заразившегося во время эпидемии; Октябрьский переворот 1917 года, истребление царской семьи в 1918-м (словно напророченное автором трагедии о Смутном времени «Борис Годунов»), террор против Церкви и веры и основание атеистического государства с «мирской церковью» во главе (но теперь уже в лице партии), океан крови, ГУЛАГ и проч. — все это реализовало и продолжило дело Петра (как мы помним, стукнувшего себя в грудь со словами: вот вам Патриарх!), первого облеченного высшей властью «западника», которого М. Волошин назвал первым большевиком, а Запад («прогрессивные круги» которого бурно приветствовали социалистическую Россию) мог бы назвать «победителем-учеником», поскольку в строительстве рая на земле Россия после революции считалась впереди прогресса.

Этот ни на что не претендующий экскурс сделан лишь в порядке намека на то, что нужна духовная история русской литературы, которая может составить основу целостной концепции русской культуры как мирового феномена и тем самым — осмысления нашего духовного пути. Такое осмысление невозможно — явление и роль Пушкина показывают это лучше, чем многие примеры лобового характера — вне соотнесения с вероисповедной природой «русской духовности» (без лобового же, конечно, столкновения светской культуры с догматикой, понятой как буква). Вся история русской культуры с ее взлетами, подвигами, отклонениями и ересями, все ее победы и внутренние драмы совершаются относительно этой неизменной — православной — оси. Духовный путь Пушкина, трагедия Гоголя, богоборчество и «демонизм» самого, может быть, религиозного, самого верующего русского поэта Лермонтова; ересь Льва Толстого как ересь воспитанного в православии человека по отношению к православию; тяжкая драма Блока, его отношений поэта, соблазненного сверхчеловеческим, с идеалом Богочеловеческого; «Разговор с товарищем Лениным» другого необычайно религиозного поэта, Маяковского, как подмена вечерней молитвы; коммунистические идеалы, пропагандировавшиеся советской культурой, как оборотень православной соборности; «пролетарский интернационализм» и «социалистический реализм» как «превращенные

формы» христианских ценностей, «оторвавшиеся от неба»⁴⁵, и проч., и проч. — в любом из этих и многих иных подобных явлений, везде бьется, корчится и изнывает «русская духовность», с кровью отрываемая от своих вероисповедных корней и отчаянно сопротивляющаяся.

Трагизм такого рода, таких масштабов, постоянства и непрерывности — явление, кажется, исключительное среди великих мировых культур Нового времени. Этим русская литература примерно так же отличается от других новоевропейских литератур — занятых (за исключением величайших гениев и величайших творений) больше «действительностью» и «судьбой» человека, чем идеалом и назначением человека, — как бунтующий в отчаянии Вальсингам отличается от Молодого человека и других участников пира во время чумы. Вальсингам страдает потому, что он человек высокого духа, от своего предназначения отступившийся, его страдание — тоска по тому, что предано («Святое чадо света! вижу / Тебя я там, куда мой падший дух / Не достигнет уже...»), — это совестное страдание.

Трагизм русской литературы, о котором идет речь, — печать ее миссии, о которой шла речь. Его острота — оттого, что миссия не снята и, несмотря на отступничество, продолжает исполняться и поневоле, ибо миссия — не личное имущество, не заслуга, не достоинство, а крест по силе, дело вечности, исполняемое «у времени в плену», Россия отступала от тех идеалов, которые была призвана воплощать и проповедовать, — «но промысл лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам»⁴⁶. И задание продолжало исполняться — коли не примером следования христианской вере и правде, так очевидно устрашающими, постыдными и неслыханно кровавыми результатами отступничества, разразившимися в нашем столетии, которые должны бы были показать человечеству, куда ведет путь, вымощенный «заботами века сего», а нам самим послужить, хотя бы отчасти, к искуплению, к Вальсингамову прозрению — если бы заставили «падший дух» содрогнуться.

8

Полтора десятилетия назад, готовя к сдаче в набор мою книгу о Пушкине «Поэзия и судьба» (ее первое издание, 1983), я был нечаянно, просто логикой изложения, поставлен перед необходимостью обозреть в самом общем виде историю отношений русской культуры (литературы) с Пушкиным на протяжении полутора веков. Обзор был беглым, лишь по основным вехам, как они мне виделись, и совсем не затрагивал современного (шел 1981 год) состояния культуры; да я и не был к этому готов. Однако в конце получившихся нескольких страничек вышло вот что:

«Смею думать, что мы сейчас находимся на пороге... исторического акта самосознания русской культуры, ее отчета перед своею совестью, определения ею своего дальнейшего пути, или — уже присутствуем при этом акте и участвуем в нем. Со временем значение этого момента станет очевиднее: большое видится на расстоянье. Но это уже началось...»⁴⁷

Надо мною посмеивались, думая, что я решил сделать нашей культуре комплимент: была эпоха «застоя», пассаж выглядел красивой отвлеченностью. Остается удивляться, что же это за материя такая, Пушкин, если, соприкасаясь с ней под известным, что называется, углом, можно ненароком угодить в зону предвидений. Ведь прошло всего несколько лет — и все оправдалось и продолжает сбываться, и непредвиденная некрасивость происходящего не мешает, а, может, как раз помогает видеть, что пришло время, и впрямь требующее от культуры и акта самосознания, и совестного самоотчета, и, наконец, выбора пути. И делать этот выбор надо в обстоятельствах мало сказать некрасивых — жестоких и, даже по меркам много претерпевшей русской культуры, каких-то уж очень непривычно подлых.

А основывалась моя невольная догадка как раз на сделанном на тех же страничках первым наброске идеи относительно роли Пушкина, творчество которого «оказалось центральным моментом русского культурного развития. То, что Петр разъединил и разрушил в русской культуре, воссоединил и восстановил Пушкин»⁴⁸. И в голову тогда не пришло, что вот-вот наступит эпоха, сходная с петровской — и даже с превышением, что она-то и потребует от нас

того отчета и выбора, необходимость которых связалась у меня только с ответственностью перед пушкинскими традициями русской культуры. И вот все сошлось.

Второй раз в истории России ей предлагается бросить свой крест и начать жить «как люди»; второй раз совершается покушение на ее внутреннее, на духовный и душевный строй и систему ценностей, продолжающие, невзирая на наше отступничество, определять наше самостоянье; второй раз предпринимается попытка заставить Россию освоиться в общем беге к пропасти, научить ее не «созерцать и судить» мир и себя самое, не озираться вокруг, не сомневаться в необходимости наживать «палаты каменные», не погружаться в раздумье, не жить, не мыслить, не страдать — а перейти на другие обороты, чтобы в их мелькании как-нибудь расплылась, растворилась, сгинула и не мешала прогрессу «русская духовность».

Решительно никто не содрогнулся, увидев результаты передового опыта «победителей-учеников»: и нашу чумную прививку общемировой болезни, и кровавые итоги этого эксперимента на себе — все это продолжают считать нашим собственным опытом, внутренним делом, специфической национальной особенностью, цивилизационной отсталостью, выпадением из истории и проч. «Цивилизованный мир» продолжает строить свою потребительскую «империю добра», уже очевидно чреватую — об этом внятно свидетельствует западная культура — пресыщением, смертельной тоской и страхом, — продолжает, словно не подозревая о том, что «хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу» (14, 197), и что не мечтать надо о том, чтобы «разодрать» и перекроить наш духовный строй по общепринятым меркам, причислить Россию по-иному и приспособить к интересам «цивилизованного мира», а Бога молить о том, чтобы она оставалась такою же странной, такою же неудобной для этого мира страной, ибо —

«Ибо тайна беззакония уже в действии, только *не совершится* до тех пор, пока не будет *взят* от среды удерживающий теперь...» (2 Фес. 2: 7).

Однако главный спрос — не с них, а с нас: мы и сами не содрогаемся и ничему не научились; сами не пытаемся по совести осмыслить нами же данный миру «важный урок» (Чаадаев) — урок христианской страны, пошедшей по ложному пути, — а продолжаем, попав на этом пути в катастрофические обстоятельства, либо роптать на свой жребий и ждать, когда все будет так, будто ничего не случилось, либо править пир во время чумы, опьяняясь на нем помоями.

Но ведь ничто так не испытывает на прочность, не проясняет сущность, не способствует в такой мере самопознанию, самосознанию, самоотчету, как катастрофические обстоятельства; и потому нынешние обстоятельства пришли нам, и в первую очередь нашей культуре, очень кстати. В итоге многих и многих десятилетий безрелигиозного мировоззрения, в ходе кризиса, подавления и искоренения христианской веры русская культура, орган национального самосознания, сама перестает себя сознавать — понимать, что она такое. Между тем ясно, что в наше время существует лишь два рода культуры: волящая и безвольная; свободная от диктата «мира сего» и порабощаемая им. Судьба человечества и его сверхисторическое будущее зависят сегодня от того, перейдет ли культура целиком на увлеченное воспроизведение мрачных и чудовищных сторон «наличной действительности» очумелого от своих «постоянно растущих потребностей» мира, на обслуживание, воспроизводство и возбуждение этих животных «потребностей», — или в культуре, при всей честности взгляда на падший мир, будет удерживаться вера в образ Божий в человеке и воля к нему. На рубеже третьего — а для России как нации второго — тысячелетия христианской эры, на рубеже, для нас ознаменованном еще и двухсотлетием Пушкина («странное сближение!»), встает перед нами с необходимостью экзистенциального усилия, духовного поступка задача заново постигнуть себя, обрести целостное понимание феномена русской культуры как такого явления, которое вне религиозной своей природы и традиции не имеет смысла, а значит, и необходимости существовать — что грозит опасностью, выходящей за национальные пределы, — «ибо тайна беззакония уже в действии».

Целостное понимание явления и миссии нашей культуры, а значит, и России невозможно, как я пытался показать, без осмысления центральной роли

Пушкина. Не случаен, кстати, тот удивительный факт, что мы так плохо понимаем (еще при жизни Пушкина начали не понимать) своего величайшего поэта, главу и знамя национальной культуры, расхотеться и путаться в толкованиях самого в нем коренного, фундаментального и простого, раздирать и дробить его на множество мелких и часто кривых отражений. Это потому, что утрачен — еще при жизни Пушкина утрачивался — тот образ мира, который Пушкин унаследовал от духовной культуры Руси, который он сообщил, в качестве основы, светской культуре России; тот образ мира, который одновременно подвергался истреблению, начавшемуся задолго до рождения поэта, и подменялся другими, чужими и чуждыми, образами. Примечательно, что наибольшая путаница относительно коренного и простого в Пушкине сопутствует обычно безрелигиозному, нехристианскому или деформированному, с христианской точки зрения, сознанию; а несравненную высоту и чистоту, граничащую порой с конгениальностью, в передаче пушкинского образа мира я не раз слышал в чтении стихов Пушкина учениками обыкновенных воскресных школ, для которых этот образ в определяющих чертах совпадает с верой, основой которой они только начали постигать. Кто-то не поверит, факт этот и для меня самого выглядит чудом, но это факт русской культуры сегодняшнего дня.

Чудо состоит в том, что русская культура, русская литература в XX веке не выродилась окончательно и во многом подтвердила свой всемирный нравственный авторитет, оставаясь в лучших своих явлениях человечнейшей культурой мира, продолжая в меру сил наследовать ту совестную, духовную традицию, преемником которой два века назад стал Пушкин. Соответственно и он, невзирая ни на что, в том числе на нынешние обстоятельства и моды, на все наше непонимание, продолжает — в силу своего призвания и в очередной раз переборов, по своему обыкновению, течение истории — еще оставаться нашим центром. Это значит, что Пушкин и судьба России связаны между собой связью особой, обоюдной и нерушимой — что называется, насмерть; что сквозь пародии то и дело проглядывает подлинник; что духовная закваска, подвергнутая и подвергаемая испытаниям почти невыносимым, еще не истощилась, «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоан. 1: 5), что нить нашей духовной преемственности — эту ленточку, преграждающую вход в тот самый рай, что ведет в ад, — не так-то легко перерезать еще раз.

Жаловаться на нашу судьбу нам грех. Ведь если бы после всего, сотворенного на Руси отцами, дедами и нами самими, все у нас пошло хорошо, словно ничего не случилось, — пошло по костям и крови, по лжи и безверию, по всходам нераскаянного отступничества, по гибели Русской земли, и мы, чья «русская духовность» призвана, по Чаадаеву, быть для мира «совестным судом», вовсе, стало быть, не должны были бы сами, первыми перед этим судом предстать, — то ведь это значило бы, что не существует ни совести, ни суда, что все это условности, что правды нет — ни «на земле», ни «выше».

Но все складывается так, чтобы мы могли убедиться — если захотим, — что правда есть. Это значит, нам дается и возможность осмыслить задание, которое мы исполняем — исполняем если не свободным подвигом, то «бедой, злом и болезнью»: Промысл действует не мытьем, так катаньем.

С этим заданием — при всем ужасе и позоре, подлости и пошлости заслуженной нами «действительности» — положение, в котором находимся мы, — лучше, чем «в других местах» (Чаадаев), где живут «как люди», платя за это утратой памяти о том, «для чего люди живут»; без такой памяти — по слову Валерия Гаврилина — мучения жизни потеряли бы смысл.

9

Существуют опасения, что размышления, подобные тем, из коих составила эта работа, могут быть невнятные и даже забавны для людей новой эпохи, что сам даже язык этих представлений и этих ценностей, не говоря уж о словах, новой эпохе чужд и не нужен. Может быть, на некоторое время это окажется справедливым. Но, повторяю, нечто подобное в нашей истории уже было: пришло совсем новое время — с париками, табаком и всешутейшим собором, с Вольтером и «безнадежным эгоизмом» (6, 56), с новыми людьми, новыми идеалами и новым, французским, языком, — а то, что было до того, становилось ненужным и забавным. Но тогда и явился Пушкин.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работа предназначена для сборника, который готовится Советом по истории мировой культуры Российской академии наук по материалам конференции «Пушкин и современная культура» (январь 1995 года), и выполнена при поддержке Международного научного фонда, а также Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

¹ Фраза Пушкина в передаче Гоголя (см.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 8. Изд-во АН СССР. 1952, стр. 229. Дальше — *Гоголь*).

² Ильин И. А. Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции. М. «Искусство». 1993, стр. 68. (Курсив в цитатах — авторский, разрядка моя.) За те же сто лет до Ильина возможность перемещения Пушкина из «Поэзии» в Историю возмутила министра просвещения С. С. Уварова, который по поводу некролога Одоевского устроил скандал: «...что за выражения! «Солнце Поэзии»!! Помилуйте, за что такая честь?.. разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?» (цит. по кн.: Вересаев В. Пушкин в жизни..., II. Изд. 5-е. «Academia». М. — Л. 1932, стр. 302). Здесь мог быть вполне конкретный мотив: людям, знакомым с житиями русских святых, слова «Солнце нашей Поэзии закатилось» должны были напомнить слова, сказанные (в 1263 году) с амвона во Владимире митрополитом Кириллом: «Братия, знайте, что уже зашло солнце земли Русской», — после полученного им во время службы видения о кончине Александра Невского (см.: «Избранные жития русских святых. X — XV вв.». М. «Молодая гвардия». 1992, стр. 215).

³ В кн.: «Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси)». М. «Художественная литература». 1969, стр. 9.

⁴ Цит. по кн.: «Златоструй. Древняя Русь X — XIII веков». М. «Молодая гвардия». 1990, стр. 107. Толкование Иларионом ветхозаветной истории Агари и Сарры (Быт. 16) опирается на Евангелие от Иоанна, 1: 15 (слова Иоанна Крестителя: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня») и 1: 16 — 17 («...ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»).

⁵ Там же, стр. 109.

⁶ Характерна, например, стойкая приверженность к мотиву постепенного, а чаще внезапного преобразования героя. В. М. Маркович («О значении чудесного в русской литературе XIX в.». — «Российский литературоведческий журнал», 1993, № 3, стр. 11 /на титуле — 1994/) справедливо пишет: «В самой психологии героев Толстого, Достоевского, Лескова и даже Чехова (следовало бы назвать и А. Островского. — В. Н.) то и дело дает о себе знать логика прорыва, скачка, метаморфозы, логика, родственная законам чудесного...» Успешно демонстрируя сказанное на примерах и высказывая тонкие соображения, автор при этом ссылается на «постоянную близость классического русского реализма к романтизму», то есть замыкает дело в узкие, чисто литературные рамки, что, на мой взгляд, мешает заглянуть в глубину явления. С более перспективной — метафизической и духовной — точки зрения к той же теме подходит И. А. Есаулов, автор двух работ, помещенных в сб. «Евангельский текст в русской литературе XVIII — XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр» (Петрозаводск. 1994); там же см. статью В. Н. Захарова «Русская литература и христианство». Из непереходящих праздников Преображение — наиболее связанный с грядущей Пасхой: см. кондак праздника («На горе преобразился еси...»). Судьбу темы преобразования в нашей литературе (включая, пожалуй, и последний по времени пример — повесть А. Варламова «Рождение» /«Новый мир», 1995, № 7/) следовало бы проследить подробно. Применительно к Пушкину такое исследование важно еще и потому, что мотив преобразования у него част, особенно в «латентном» или полускрытом виде, в плане возможности либо ожидания (например, финалы «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Пира во время чумы» и др.), играет важную роль и в лирике (об этом ниже). «Поэтический дух Пушкина, — считал С. Л. Франк, — всецело стоит под знаком религиозного начала *преобразования* и притом в типично русской его форме» (Франк С. Л. Этюды о Пушкине. Париж. «YMCA-PRESS». 1987, стр. 11; в дальнейшем — Франк).

⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. 13, стр. 92. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте (том и страница).

⁸ Подробнее об этой особенности «драматической системы» Пушкина я писал в моей кн. «Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина» (изд. 2-е, доп. М. «Советский писатель». 1987, стр. 282 — 302). В дальнейшем — *Поэзия и судьба*.

⁹ Франк, стр. 91.

¹⁰ См.: *Поэзия и судьба*, стр. 351.

¹¹ См.: Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский). Православный катихизис. Изд. Московской Патриархии. М. 1990, стр. 23.

¹² См.: Новикова Марина. Живые, мертвые, бессмертные («Пир во время чумы»). — «Вопросы литературы», 1994, вып. 1; то же (а также работа «Вещее зеркало») в кн.: Новикова Марина. Пушкинский космос. Языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина. М. «Наследие». 1995 (серия Пушкинской комиссии ИМЛИ «Пушкин в XX веке»).

¹³ Этот момент затрагивается в статье М. Косталевской «Дуэт — дуэль («Моцарт и Сальери»)» («Вопросы литературы», 1994, вып. II). Сальери, остроумно и точно пишет автор, «требуется себе благодати по закону». В поле проблемы «закона и благодати», Иларионова противопоставления «рабыни Агари» и «свободной Сарры», дается Пушкиным и сама постановка вопроса о «гении и злодействе» (автор пишет об этом — опираясь, впрочем, главным образом на Канта, а потом уж на богослова XI столетия). В самом деле, то, что для Моцарта является свободной совестью убежденностью, то есть предметом веры («...две вещи несовместные. / Не правда ль?»), для Сальери именно проблема, то есть вопрос не веры, не свободы и «благодати», а — «закона», «правила», в конечном счете — санкции: так совместны или несовместны?!

¹⁴ На эту тему — вся упомянутая выше книга М. Новиковой «Пушкинский космос».

¹⁵ Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М. «Искусство». 1970, стр. 333.

¹⁶ Там же, стр. 53.

¹⁷ Чувство это, по моему убеждению, один из главных смыслообразующих факторов в «Пророке» (см.: «Новый мир», 1987, № 1; то же — *Поэзия и судьба*, стр. 13 — 34.).

¹⁸ См., например, у Григория Паламы: «Ибо до того, как мы пришли на свет, Он уготовал нам вечное наследие Царства, как Он Сам говорит, — «прежде сложения мира»... Прежде нас, ради нас Он простер над всем этим чувственным миром небо... Ради нас, прежде нас Он сотворил великое светило в начале дня, и — меньшее в начале ночи, и установил их и прочие звезды на тверди небесной... Ради нас до нас Он основал землю, простер море, над ним богато излил воздух и над ним затем премудро свесил стихию огня...» («Беседы (омилии) святителя Григория Паламы». Часть I. М. «Паломник». 1993, стр. 32 — 33).

¹⁹ Киреевский И. В. Критика и эстетика. М. «Искусство». 1979, стр. 54.

²⁰ «В идеях Пушкин — наш ровесник, плоть от плоти современной культуры. Но странно: творя, он точно преображается; в его знакомом, европейском лице проступают пыльные морщины Агасфера, из глаз смотрит тяжелая мудрость тысячелетий, словно он пережил все века и вынес из них уверенное знание о тайнах», — правда, которая есть в этом ощущении М. Гершензона («Мудрость Пушкина». М. 1919, стр. 13), невнятна, думаю, только для безнадежно секуляризованного сознания, ограничивающего себя горизонталью связей со злобой и модой дня. Мне трудно поэтому принять всерьез задиристые строчки, имеющие вполне понятный современный адрес, но будто именно Гершензоном навеянные: «Там под духовностью пудовой / Навек затих вертлявый Пушкин» (Тимур Кибиров): замечательно талантливый поэт делает вид, будто пушкинская «мудрость тысячелетий» ему либо невнятна, либо, что называется, «до лампочки», будто Пушкин хорош для него лишь тем, в чем он «ровесник» нынешних вертлявых. Поэту неподдельному не может быть не ясно, что Пушкин если и «вертляв», то — «не так, как вы — иначе» (13, 244), что он «вертляв» как огонь. Вспоминается устное замечание художника, в неподдельности таланта которого сомневаться не приходится, — Э. Никрошюса: на поверхности Пушкин легок, а заглянешь в глубину — там свинец лежит; смертельной тяжести материал.

²¹ Свящ. Павел Флоренский. Собр. соч. Т. 1. Статьи по искусству. Париж. «УМСА-PRESS». 1985, стр. 205.

²² Термин этот пришел мне в голову в конце 80-х годов и употреблялся в устных выступлениях; вскоре я познакомился с рукописью работы Е. Д. Тмарченко, который пришел, хоть и другими путями, к такому же определению пушкинского реализма, — это меня вдохновило, о чем я писал автору. Позже работа была напечатана (см.: Тмарченко Е. Д. Факт бытия в реализме Пушкина. — В кн.: «Контекст. 1991». М. «Наука». 1991).

²³ См.: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М. «Наука». 1974, стр. 80. Конечно, любая поэзия есть такого рода «перевод» — только отношения с «подлинником» и степени приближения к нему различны. Сходным образом и законы пушкинской лирики, о которых говорилось выше, есть законы всеобщие, но — «идеальным» образом; другое дело — как, насколько и как часто эта всеобщность, явленная в Пушкине максимально, воплощается у других поэтов. Вспоминается мнение Гоголя (да и не его одного): «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт...» (Гоголь, стр. 381), — а также загадочная пушкинская фраза: «Ошибочное понятие об поэзии вообще и драматическом искусстве в особенности» (11, 177).

²⁴ Этим объясняется, к примеру, тупиковый характер давней дискуссии теоретиков (так называемых «благодаристов» и «вопрекистов») о роли мировоззрения в творчестве художника; того же происхождения живучая, в силу вульгарной доступности, концепция «двух Пушкиных», выдвинутая в свое время Вересаевым, а также непреодолимая тяга к обожествлению Пушкина как личности.

²⁵ Франк, стр. 21.

²⁶ См.: Непомнящий В. Дар. Заметки о духовной биографии Пушкина. — «Новый мир», 1989, № 6.

²⁷ Сурат И. «Жил на свете рыцарь бедный...». М. 1990, стр. 149. У нее же: «...религиозное чувство вступало в противоречие с творческой стихией, со страстями, с воспитанием и привычками светского человека...» (Сурат И. «Стоит, белаясь, Ветилуя...». — «Новый мир», 1995, № 6, стр. 208).

²⁸ Вызывает большие сомнения корректность расхожих выражений: «стихия творчества», «творческая стихия»; можно ли, к примеру, сказать: «стихия строительства», «стихия упорядочения», «гармонизирующая стихия»? Стихия разрушения — это понятно, но — «стихия созидания»?!

²⁹ Федотов Георгий. О Св. Духе в природе и культуре. — «Вопросы литературы», 1990, № 2, стр. 208 (публикация статьи 1932 года).

³⁰ Там же.

³¹ Там же. Пушкин «духов стихий» знал («Какой-то демон обладал / Моими играми, досугом...» — 2, 325, и др.), но ответственность никогда не валил на гарпий. А Лермонтов высказался уж совсем просто и предельно ясно — черным по белому: «И часто звуком грешных песен / Я, Боже, не Тебе молюсь» («Молитва», 1829). Слово по-детски бесхитростно отозвался сразу на два текста: один — Г. Федотова с его декадансным трепетом перед «духами стихий» и «песнями греха», а другой — Иоанна Богослова: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Иоан. 4: 1). Мое недавнее напоминание об этом завете духовной ответственности («Новый мир», 1993, № 6) вызвало категорическую критику замечательного филолога С. Бочарова в посвященном моим работам письме «О чтении Пушкина» («Новый мир», 1994, № 6) — ярком, страстном и поразительно для столь тонкого и добросовестного ученого путаном, ибо поразительно небрежном, а потому неадекватном именно в «чтении» текстов — не только моих, но и почти всех остальных, привлеченных к делу. Характерным и в своем роде определяющим примером является как раз приведенный мною завет ап. Иоанна, который С. Бочаров цитирует скороговоркой, в мимоходом усеченном виде — опустив, между прочим, как нечто малосущественное как раз самое важное: «...от Бога ли они». Соответственно выходит нечто фантастическое: призыв ап. Иоанна различать тех духов, что «от Бога», и духов иных подменяется учением ап. Павла на совсем другую тему: о дарах Св. Духа, которые «различны» («Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом... иному чудотворения, иному пророчества...» и т. д. — 1 Коринф. 12: 8 — 11). В итоге у моего оппонента (взявшего в союзники Г. Федотова в качестве авторитета вне конкуренции) получается, что слова ап. Павла: «Дары различны, но Дух один и тот же» (1 Коринф. 12: 4) относятся не только к дарам Св. Духа, но и ко всем «духам» вообще, в том числе тем, которые, по ап. Иоанну, не «от Бога». Иными словами, оказывается, что не так уж, в сущности, важно, «от Бога» те или

иные «духи» или нет, — «страшнее гасить Дух» (Г. Федотов). Получается окончательный нонсенс, по крайней мере с христианской точки зрения, — но именно он подпирает всю философию письма С. Бочарова.

³² Центр этой картины, как уже говорилось, — сердце, реальность, причастная небу и небесной любви. Вскоре после «Пророка», в «Ангеле» (1827), поэт даже своего Демона пытается приобщить к такому взгляду, сообщить ему жажду идеала: взирая на Ангела — необычайно, кстати, похожего на ангелов Рублева, — Демон «жар невольный умиленья / Впервые смутно познавал».

³³ Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М. «Современник». 1989, стр. 157. В дальнейшем — Чаадаев.

³⁴ «Новый мир», 1987, № 1.

³⁵ В кн.: Шестов Лев. Умозрение и откровение. Религиозная философия Владимира Соловьева и другие статьи. Париж. «YMCA-PRESS». 1964, стр. 343.

³⁶ Там же, стр. 337, 334.

³⁷ «Я стал умен, [я] лицемерю — / Пощусь, молюсь...» — писал Пушкин в послании 1821 года В. Л. Давыдову. Подневольная вынужденность говеть и причащаться, считая себя неверующим, безусловно сыграла свою раздражающую роль: «Гавриилиада» написана в том же году Великим постом, на один из дней которого падает к тому же праздник Благовещения, спародированного в поэме.

³⁸ Чаадаев, стр. 44.

³⁹ Там же, стр. 151.

⁴⁰ Выражение Р. И. Хлодовского.

⁴¹ Шестов Лев. Умозрение и откровение, стр. 334 — 335.

⁴² Чаадаев, стр. 157.

⁴³ Не могу не вспомнить здесь неоконченную сказку гениального Ефима Честнякова, подготовленную и опубликованную В. А. Сапоговым в «Литературной учебе» (1988, № 1), — поистине миф о России XX века, устремившейся в «летучий дом... из такой богатой заморской страны, что самый бедный жил там, как царь все равно...» (стр. 137).

⁴⁴ Гоголь, стр. 382.

⁴⁵ Каграманов Ю. Империя и ойкумена. — «Новый мир», 1995, № 1, стр. 156.

⁴⁶ Гоголь, стр. 390.

⁴⁷ Непомнящий В. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М. «Советский писатель». 1983, стр. 142 (2-е изд. — стр. 185).

⁴⁸ «...удержав при этом все подлинно творческое и конструктивное, что было в созидательной работе Петра» (там же, стр. 132; 2-е изд. — стр. 175). Не развив эту тему здесь, рискую навлечь упреки в односторонности — но что поделаешь: ясность нередко требует жертв. К тому же и Пушкин в отношении к революции Петра (кстати, это его выражение) двигался от «односторонности» восторженной к совсем иной. Но это особая тема.

МАРИНА НОВИКОВА



СОБЛАЗНЫ

1

Статья предполагалась иная, с иным названием: «Ужасы». Она обдумывалась и даже вчерне писалась для цикла, первые две части которого уже опубликованы в «Новом мире» (1994, № 1; 1995, № 2). Речь в ней должна была идти о море разливанном фильмов, видеолент и романов «ужасов», затопляющем наше сегодняшнее жите-бытие. О том, почему нынче «непрестижно» чуть ли не любое, с позволения сказать, «творение» литературы и искусства, где никто не матерится, никто не раздевается и не валится в обнимку на кровать (желательно — не позже чем через полчаса после знакомства с «партнером»). Не только это «непрестижно», а и другое: если (тоже эдак через полчаса) не застучат по комнате непостижимые стуки, не проступит сквозь безмозгло-миленькую мордашку героини или мужественно-потасканное лицо героя — зеленца, не потянутся из рукавов вместо рук омерзительные клешни или киборговые «хватательные устройства». А уж ежели зазвонил телефон или скрипнула дверь — будьте покойны: сейчас пожалуют гости от т у д а.

Откуда — оттуда? Да откуда придется. Из загробья, из параллельной Вселенной, из Черного Вигвама, из эпохи динозавров, из преисподней, из космической дыры какой-нибудь, из астрала. Единственное, но непреклонное условие: чтобы гости были пострашней. Оптимально — до нашего с вами взвизга. Чем жутче, тем лучше. Одно слово — у ж а с ы...

Не само по себе нашествие ужасов ново. Культура всех времен и всех народов знала об ужасном, памятовала о «ночной» стороне бытия — может, покрепче, а главное, поглубже нас, нынешних. Но объясняла, но оценивала эти ужасы, это вторжение хаоса и зла по-другому. Нова наша сегодняшняя за в о р о ж е н н о с т ь злом: страхами, бедами, взрывами, террористическими актами, побоищами, катастрофами. В пределе — за в о р о ж е н н о с т ь к о н ц о м с в е т а, бодрая — налегке, походя — уверенность в нем.

Концом какого света? А опять же — какого придется. Всякого. На любой вкус. «Света» русского — но можно и западного. Природного — но возможно и технотронного. Земного (варианты: столкновение с кометой, ошибка с ядерным оружием, а не то «мирная» экологическая гибель планеты). А уж для гурманов, для самых больших ценителей ужасного предлагается блюдо поосновательней, космическое — конец света вообще. И не то чтобы старомодный, евангельский, по Откровению Иоанна, а — современный. Переиначивая отчаянные строки Тютчева («И нет в творении Творца! / И смысла нет в мольбе») — Апокалипсис, в котором нет Творца и потому нет смысла. И после которого — по той же причине — никакого будущего.

Ну а где конец света, там жди нашествия (и торжества!) чудовищ. Это то как раз и древние ведали. Там не просто «сидят чудовища кругом» (как в про-

роческом, глубинно-мифологическом, образцово-фольклорном сне пушкинской Татьяны). Чудовища, хаос, антинорма делаются нормой. Вот в чем состоит печальная новинка нашего времени.

Язык наш, вешнее зеркало тоже всякого времени и всякого народа, отреагировал на эти «ужасы в законе», на превращение ненормального в норму — молниеносно. Вы только вслушайтесь в нашу обиходную речь да вдумайтесь в услышанное.

Крутой у нас нынче не берег речки. («Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой», — долетает из фольклорного, нормального еще мироощущения и словоощущения песня М. Исаковского.) Э-э, нет, теперь «крутой» — это нечто иное: коммерсант с криминальным отливом. И чума — не бич Божий (как писала уже богоборческая, но еще боговерческая М. Цветаева). Другие времена — другие песни. Нынче «чума» — это обозначение суперхита, созданного для Аллы Пугачевой (о чем с очаровательной улыбкой поведала на пресс-конференции сама певица). И статья наркоманом — всего-навсего «сесть на иглу» (как сесть на шляпу по недосмотру или сесть на хвост кошке — дело, сами знаете, житейское).

Тогда — и только тогда — понятен нефигурально чудовищный ответ обаятельного карапузика из детской передачи ТВ. На вопрос: «За что ты любишь видиковых чудовищ?» — прелестное дитя без запинки ответствовало: «Они же такие симпатичные...»

Чудовища аплодируют...

Об этом, повторим, и замышлялась статья, которая, даст Бог, еще будет закончена и напечатана. Однако чем дальше углубляешься в «лес чудовищ», тем крепче ощущение, что это все вершки. А корешки притаились поглубже. Что главный ужас — не в ужасах. Даже не в том, что мы с ужасами как бы обвыклись, сжились и подружились. Все это — следствие; причина же в чем-то ином, неизмеримо более масштабном.

И вот, кружа по компасу литературы, публицистики, культуры, среди «перестроечных» и «постперестроечных» (а затем — все шире — и более давних наших) книг, журналов, газет, передач — пытаюсь уловить центр магнитной (то есть нравственной, то есть бытийной) аномалии, — мало-помалу начинаешь осознавать: «ужасы» пришли потом. Закономерно, неотвратимо, но — потом.

Они пришли вслед за соблазнами.

Слово и понятие это пережило схожую эволюцию. Вначале, в Библии и в старинной душевспасительной (без кавычек!) литературе, оно именно и несомненно означало нечто ужасное — внутреннюю духовную опасность. Потерю глобальной, вселенской, но и сокровенной, интимно-личной ориентации в добре и зле. Попущенное самим человеком вторжение хаоса в его душу (а не только лишь во «внешнюю среду»). Лучше Пушкина, впрочем, не объяснишь: «Мутно небо, ночь мутна», «В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам», — потому что «сбились мы».

Но время шло. Быт, «нравы», а с ними — и в обгон их — язык и литература менялись: расставались с обременительными (ибо — требовательными) нормами «древлего благочестия». Жить становилось лучше, жить становилось веселей. Умный, доброжелательный, но повязанный привычной концепцией «прогресса» ученый написал о России XVII века: приводит-де ее исторический процесс «к росту творческих сил народа». А проявляется этот рост сил в том, что усиливаются «демократические тенденции» (вот ведь молодец: еще в 1980 году такое подметил!). А уж демократические тенденции порождают известно что: «обмирщение и литературы, и культуры в целом»¹.

Веселится и ликует весь народ. Чем дальше, тем больше и облегченней. «Обмирщение» захватывает все новые и новые участки. Вот уже «старые», ужасавшие слова (и то, что за этими словами стояло в жизни) делаются не такими и страшными. «Стертыми». А там, глядишь, и «амбивалентными». (Хороший, весьма и весьма удобный термин, означающий, что Добро и Зло различать уже не требуется.) А там и подавно — меняют свой смысл на противоположный. Бесовская «прелесть» становится комплиментом. «Очарование»

¹ Пушкирев Л. Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче. М. 1980, стр. 46.

(исходно значившее «колдовство» — от «чары») — тоже комплимент. «Божественный» — ну, это так, гипербола. «Ангела» с «дьяволом» вообще можно поменять местами, говоря, например, о красивой и притягательной женщине. «Как Бог свят» — выражение «разговорное» (а скоро уже и «устарелое»). «Где тебя черти носят?» — выражение шутливое. (Очень милая шуточка, если поразмыслить да кое-что припомнить... Так ведь некогда: за «обмирщением» и «прогрессом» только поспевай.)

Положим, веселился не весь «народ». Были старообрядцы, которые помнили. Ладно, эти из дебрей и «времен глухого Керженца» (Н. Асеев), — что с них возьмешь? Были монахи и «попы», которые тоже помнили. Ну, так это «специализированная прослойка» (недавно говорили прямой: разносчики опиума). Да и среди них не все было ладно: Помяловский-то с Лесковым много чего про то написали. Были (далеко не все) крестьяне и вообще отсталые элементы...

Проблему решили капитально: отреклись мы от старого мира. И сразу жить стало категорически веселей. Кажется, до «постперестройки» единственной ситуацией, в которой все без вычета «обмирщенные» и обезбоженные граждане нашего отечества на полном серьезе продолжали употреблять слово «Бог», были партсобрания и партсъезды. Когда пелся партийный гимн, с его директивно памятными словами: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой...»²

На сей счет настойчиво идет на ум старинное присловье: «Обстали черти святое место». Ибо «стертые», ставшие «амбивалентными», уже непонятные, или лжетолкуемые, или пародируемые «святые слова» были и остались не словами. Они — святыни, воплощенные в слове.

Так что происходило все обратно материализму. Не оттого ужасы, соблазны и святотатства пришли «в слова», что они ворвались «в жизнь». Наоборот: «в жизнь» они вползли оттого, что сперва мы впустили их в слово. Нет-нет! — конечно, не я, не вы, не мы, нынешние, а они: плохие, другие, большевики, демократы, буржуи, гебисты, разночинцы, соратники Петра I, или, пораньше, патриарха Никона, или, еще раньше, ордынцы, или... кто-то. Именно! «Кто-то» все это безобразие над нами, бедными и безвинными, сотворил.

А может быть, все же не кто-то? Может, все-таки мы сами? И я, и вы (каждый лично), и предыдущие «мы», тоже из множества конкретных «я» состоящие?

Тогда сдвигается ракурс и масштаб. Каждый соблазн, каждый «микроакт» забвения святынь, стирания черты между добром и злом в слове, а не только «в деле» (последнее — сфера уголовного кодекса, этого евангелия Остапа Бендера), каждый такой толчок, шажок, сдвигок есть событие не маленькое, не «словесное» и не попутное. Каждый — не результат, а причина и исток будущих социальных и нравственных обвалов.

2

У «великих слов» в наше странное время и в нашем странном пространстве складывается странная судьба. Впечатление иногда такое, будто мы переболели амнезией, потерей памяти. Звучание слов — помним, смысл их — забыли. И, повторяя их — императивно, агрессивно, неотвязно, — все тщимся, да никак не можем припомнить тот великий «забвенный» смысл. Все перетолковываем его по нашему расхожему, съезжившемуся и усохшему карманному словарю — не столько словарю «лингвистическому», сколько духовному.

Одно из таких слов — «покаяние». О нем уже приходилось писать. И даже трижды. Первый раз — давненько уже (если отсчитывать время по нашему ускоренному, участившемуся социальному пульсу): четыре года назад. Второй

² Интересно: «бог» при этом печатался в песенниках с маленькой буквы. Получался бог, которого на самом деле и нет. Чего же, спрашивается, клясться, что он не даст нам избавленья? (Царь, как-никак, в иных странах еще существовал.) «Интернационал» адресовался верующим неверующим.

раз — тогда же. Третий раз — недавно, в прошлом году³. Так что, выстраивая суждения хронологически, получим примерно следующую «перестроечную» биографию слова. Фильм Т. Абуладзе «Покаяние» (кстати, надолго испарившийся с киноэкранов и до последнего времени не повторявшийся на ТВ — почему бы это? или зачем? Зачем заперт, упрятан, заархивлен?). Далее — обсуждение фильма и горько-пророческая, не назад — вперед смотрящая фраза С. Ломинадзе: мы фильм не поняли, он о том, что покаяния-то и не произошло. Затем — «покаяние» сползает в модный лексикон, однако адресуется диагностически-зловеще всегда другим: покаяйтесь вы! Или он. Или она. Или они. Но не «мы», и подавно не «я». Затем выясняется, что каяться вообще уже поздно: время на покаяние «мы» упустили, пора не каяться, а действовать... В изумлении и тревоге пришлось спросить: куда же это заведут нас наши «действия», прежде не очищенные и не освещенные покаянием?

Теперь видно, увы, куда. Покаяние, понятое как «приказ по армии» (пусть не армии «искусств», так сказать, «армии спасения», но все равно — приказ), превращается в покаяние-приговор.

Он и сформулирован: «Страшное покаяние». И о том же:

«О, как сцепилось, сошлось, соединилось все в этом грузинском фильме — все, что ослепляло и жгло, вело и грело нас в светлых 60-х <...> Позднее покаяние у шестидесятников, позднее прозрение <...> Шестидесятники недаром «воскресли» в восьмидесятых. Иногда история любит дотолковывать невнятное. В таком случае имеющий уши да слышит»⁴.

Аминь, — хочется произнести в ответ. Совсем не шутейно, не фиглярски, но — в особом, ином смысле.

Давайте прислушаемся к этой сцепке слов — несомненно вырвавшейся стихийно и потому-то вдвойне показательной: «страшное покаяние». Ничего не царапает, ничего не задевает вам слух? Духовный слух, а не акустический? Что ж, подзабыли мы, подзабыли...

Так вот: страшным покаяние быть не может. Никогда. Ни у кого. Ни при каких поводах, бедах и обстоятельствах. Страшной может быть — и есть — лишь нераскаянность.

Отчего же так оговорился — нет, проговорился — ажурно-филологичный и бурно-публицистичный критик? Оттого же, отчего «проговорился» на политдебатах перед выборами в Госдуму (1995) представитель КПРФ, общаясь на телеэкране с лидером другой, «правой» партии. «Покайтесь», — возопил даже с кресла привскочивши. Тут бы и перекреститься зрителям: слава те Господи, снизошла благодать даже на патентованных атеистов... Ан не тянется рука ко лбу. Потому что понимаешь (у критика — драматически ясно, у политдея — ясно комически): говорится — покаяние, подразумевается — признание вины. А это — на том, исконном христианском, языке, откуда и явилось к нам само слово, — не одно и то же.

Ибо за «виной» стоит ошибка. Или мягче — иллюзия. Или круче — преступление. А за «покаянием» стоит одно, исключительно и только одно понятие, одно событие — грех. Вина способна быть политической (на ней-то, политической вине, и сошлись, собственно, оба поборника «покаяния»). Грех политическим не бывает (бывают — последствия греха). Грех — он из другого словаря: необъятно-вселенского и глубинно-сокровенного. Из словаря истории, но истории священной, где нет ни «партий», ни «поколений», зато реально, не метафорически наличествует Бог, вечность, мироздание и человеческая душа.

Повторим вслед за критиком: «О, как сцепилось, сошлось, соединилось все!..» История действительно дотолковывает невнятное. Однако, чтобы ее — самую что ни на есть «здешнюю», актуальную, злободневную — понять, нужно «воскресить» прошлое. Но и прошлое не одних лишь «поступков», а и — проступков. Но проступков не просто физических, а и — метафизических. А воскресив их, покаяться. То есть воистину покаяться невозможно, если сначала не вспомнить: что же это такое — грех?

³ Новикова Марина. Христос, Велес — и Пилат. — «Новый мир», 1991, № 6; Новикова Марина. При свете совести. — «Новый мир», 1992, № 3; Новикова Марина. Символы. — «Новый мир», 1995, № 2.

⁴ Аннинский Лев. Шестидесятники и мы. Кинематограф, ставший и не ставший историей. М. 1991, стр. 239.

Не посягая на роль богослова (и даже на более скромную роль «религиоведа») и держа в уме тот факт, что читатели у литературно-общественного журнала не те же, что, например, у «Журнала Московской Патриархии», попробую все же заглянуть в этот многотысячелетний колодезь. В бездну, у которой, по-ломоносовски, нет дна. И обопрусь, как Данте, на двух главных путеводителей. На Владимира Даля, чей «Толковый словарь живого великорусского языка» был словарем для всех, а для нас уже стал — ниже мы это увидим — памятником неизвестному языку. И митрополита Антония (Блума) Сурожского, чьи проповеди, интервью, беседы рассчитаны не на рафинированно-«специализированную» аудиторию, а именно на всех⁵.

Итак, мы входим в «сумрачный лес» греха — одного из наиболее темных, но и наиболее важных «бытийных слов» человечества.

А начнем с мелочишки, казалось бы. Пустяковины. К а з у с а. Один из современных наших авторов бросает походя словосочетание «бытовой грешок»⁶. Вскоре, правда, выясняется, что толкует он о прелюбодеянии (как непозволительно-строго и старомодно-торжественно именуют «бытовой грешок» Ветхий и Новый Завет, явно не доросшие до нашего широкого и терпимого взгляда на вещи). Теперь вопросы к читателю — для его самопроверки.

Может ли грех (какой угодно) быть грешком? Есть ли у греха размер, и каким портновским сантиметром его мерить (на предмет малости или крупности)? Напоследок — вопросы читателю эрудированному, «европейски мыслящему», «культурному». Первый вопрос: грех — это нечто из области этики, не правда ли? И второй вопрос: грех — это результат зла (злой воли, злого дела, злой мысли), не так ли?

Не будем тянуть с «отгадками» — для пушшего эффекта — до конца статьи. Скажем не обинуясь: «грешка», с позиций канонического христианства, не бывает — есть только грех. В принципе — один. Тот самый: первоначальный, первородный, «Адамов». Все прочие грехи — от него производные.

Объема у греха тоже нет. (Древние, если и пытались как-то «пластически» изобразить его природу, предпочитали образ бездны — «в бездне греховней валяясь».) И уж ни при каких условиях грех не может быть мелким — хотя бы по той простой причине, о которой сию минуту говорилось: он (любой) — лишь побег, ответвление, а верней, метастаз одной, но неописуемо грандиозной предысторической раковой болезни человечества — первого грехопадения.

Последние циклопические глыбы, которые обрушивает на нашу беспечную, короткомысленную «новоевропейскую» головушку бескомпромиссное вероучение: грех — категория не этическая, а бытийная⁷. И является он не результатом, а источником зла. Не зло порождает грех, а «мировой», всемирный грех породил мировое зло. Результат же он — ложно понятой свободы, свободной воли, исконно заложенной не только в ангелах (что сделало возможным их мятеж против Бога), но и в человеке.

Чтобы дать читателю полнее ощутить, насколько забыли мы масштаб этого понятия (и события), греха, приведем выдержку из словаря не столь уж давнишнего. И вовсе не «элитарного». Вот она.

Первый человек был «совершенным по своей природе, в нем не было и тени греха, ему была дарована способность к беспрепятственному, постоянному и нескончаемому совершенствованию». Зачем же тогда первый, «райский» еще, запрет вкушать плоды от древа познания добра и зла? «...для упражне-

⁵ «...к словам владыки Антония прислушиваются как простые грузчики английского порта, так и, например, передовые богословы современной Франции...» Его слово «выходит далеко за пределы прихода, епархии, Русской Церкви и даже православного мира» (Лосский Николай. Предисловие. — В кн.: Антоний, митрополит Сурожский. Проповеди и беседы. М. 1991, стр. 3).

⁶ Источники отсылок и цитат, привлекаемых для иллюстраций, в статье, как правило (кроме отдельных случаев), не указываются: для нашей темы важно не кто сказал, а что и как. Попутно приносим искреннюю благодарность проф. Г. А. Лилич (Санкт-Петербург) за предоставленную нам картотеку библеизмов в современной прессе, а также за возможность ознакомиться в машинописи со статьей В. Хлебды, речь о которой ниже.

⁷ Собственно, для всех религий, а мировых в особенности, этика и прикладная мораль — явления вторичные (вопреки обиходной убежденности в том, что главная заслуга религии — обучение человека «хорошо себя вести»).

ния <...> нравственной свободы и решительного утверждения ее в добре...» И эта же свобода отягчила грех: люди «нарушили заповедь не из-за притеснений и угнетений, а по решению собственной свободы; они обладали всеми средствами, чтобы противостоять всем ухищрениям и обольщениям». (Отметил ли читатель эти рефреном идущие «вся», «всеми», «всем»? Ни малейшей лазейки не оставлено для идеи Бога-тирана или Бога-неумехи, бросившего свое детище «без шелома и без лат» перед соблазнами.) Поэтому, кроме видимой, внешней стороны (мотив вкушения плодов с запретного дерева), суть греха заключается в «горделивом разъединении» человека «со своим Творцом», в желании — через уравнивание себя с Богом — «достигнуть <...> полной независимости от Него». Отсюда — «чрезвычайная тяжесть» греха, «столь великая, что для искупления его потребовалось такое средство, как воплощение и смерть Сына Божия»⁸.

М-да... От этого греха до мелкого «грешка» три года скачи — не до скачешь. Ибо не три года, а годы и годы, десятилетия и десятилетия расширялась, расползалась, змеилась все более и более роковая трещина между этими двумя — якобы «теми же» — словами: между тем, как их разумели. Мороз пробегает по коже, как подумаешь: уж не при конце ли, не «при дверях» ли мы всемирной человеческой истории, если в начале ее грех явился на свет Божий, а теперь вот мы теряем самую память о грехе (ибо утрачиваем для себя самый смысл греха). Некое сверхисторическое, бытийное манкуртство...

Но позвольте, позвольте, — будет защищаться грамотный читатель, — зачем так преувеличивать именно нашу вину? Вы нам выдержку — мы вам другую. Из вами же помянутого Вл. Даля. Ничего еще не было: ни революции, ни официального атеизма, ни нравственности как «надстройки» над экономикой и социологией, ни словесного шалтая-болтая в беллетристике и средствах массовой информации. Сорок сороков церквей в первопрестольной еще стоят; Закон Божий по школам дети учат, — а раскройте том Даля на слове «грех», и что? Вот он, знакомец наш, — «мелкий грешок».

Есть. Есть такой грех (не грешок). И не спишешь его ни на большевиков по профессии, ни на атеистов по должности. Но есть и разница — громадная.

Беспристрастный Вл. Даль, опирающийся к тому же в основном на речь народную, не журнально-газетную, честно свидетельствует, как в народе же и расплывается, зыблется, профанируется разумение «греха». (Напомним: словарь впервые вышел в свет в 1863 — 1866 годах, а накапливались материалы к нему еще раньше.) Уже просачивается в монолитную некогда семантику греха многозначность. Грех уже начинает не определять накапливаемые им последствия, а, напротив, сам определяться и оцениваться ими. Так складываются дикие дотолем комбинации смыслов: удачливый или неудачливый грех. Первый, куда ни шло, перетерпим как-нибудь, а уж от второго надо всенепременно увернуться: «Денег много — великий грех; денег мало — грешней того».

Вообще, внешние, видимые, «шкурные» результаты греха явно беспокоят все больше; внутренняя сущность его — все меньше. Рядом с первым (все-таки первым еще) значением: грех — проступок, противный Закону Божию⁹, — приведена одна только присказка-пример: «Грехи любезны, доводят до бездны». Рядом со вторым значением: вина, ошибка, — примеров погуще. А возле третьего значения: беда, напасть, несчастье, включая убытки, — примеры собрались толпой: «Грех пополам» (убыток), «Экой грех стался, деньги пропали» и т. д. и т. п.

И все же, все же, все же... Да, грех видится все утилитарней и прагматичней; да, он дробится и подпадает под градацию (тогда-то и проюркивают мелким бесом «грешок», «грешки»); да, воспринимается он народным сознанием уже как неизбежность («от греха не уйдешь»), а следственно, делается всеобще-извинительным («кто Богу не грешен, царю не виноват»). И, однако же, вина отходит еще к тому, что кесарево, к сфере «царей», к компетенции

⁸ «Полный православный богословский энциклопедический словарь» (репринт). Т. 1. М. 1992, стр. 690.

⁹ Впрочем, некая формализация, «декосмизация» греха присутствует уже и в этой формуле. «Закон Божий» можно еще прочесть как космическую гармонию, а не как космический уголовный кодекс, однако для этого приходится уже делать усилие.

властей и начальств. А Богу еще остается Богово: за грех ответ пристало держать перед Ним.

Бытийственность греха, связь греха со всеми сторонами человеческого существования (а не с «узкой» лишь моралью), покамест еще в сознании жива. Мощно звучит еще мысль о грехе как источнике зла, а не побочном эффекте зла. И самое броское отличие от «нашего» греха: граница между грехом — не грехом, между нормой — антинормой еще не разрушена.

Не зря «грех» так часто рифмуется в присловьях со «смехом». Устойчивые рифменные пары в фольклоре, в народной речи всегда фиксируют устойчивые ассоциации, постоянно «рифмующиеся» смыслы. Смех — сигнал отклонения от нормы, но и грех — тоже: «В чем смех, в том и грех».

По этому словарю можно еще догадаться о подлинных психологических (на самом деле — онтологических) открытиях и шедеврах наших пращуров. Кто разделит бы сейчас ласковую самоиронию, смиренную, благодарную доброту и непоказную мудрость прадедовского ответа на привычный вопрос «как живете?» — «живы, своими грехами, вашими молитвами»? Кто ныне освоил бы бескидочную, но безмерную диалектику духовного ума, «бездну премудрости» в немудрящей поговорке: «Согрешили попы за наши грехи»?¹⁰

Пора, однако, оторваться от Вл. Даля и посмотреть, до чего нас довел исторический прогресс.

Год 1952-й. На излете целой сталинской эпохи выпускается второе издание, «исправленное и дополненное», самого массового, самого общедоступного «Словаря русского языка», составленного С. И. Ожеговым. Тираж — 150 тысяч экземпляров (по одному на каждого сотого гражданина СССР). Участвует в издании цвет отечественной науки, список фамилий — как праздничный салют. И что? Как там обстоят дела с многовековым «грехом»?

Негоже из безопасного нашего будущего хихикать над «проклятым», но и опасным, смертельно опасным нашим прошлым. Неприлично выставлять на посмешище дежурные цитаты в предисловии к словарю — из «гениальных трудов И. В. Сталина во вопросам языкознания». (Кто сам был тогда без цитат, пусть первый бросит камень.) Но две цитаты необходимы.

Первая не из Сталина, от автора: «Особенное внимание было обращено на уточнение формулировок в определениях значений общественно-политических терминов». (Понятно. Старые значения из старых словарей сосланы в ГУЛАГ: в закрытые фонды немногих библиотек. Нет человека — нет проблемы. Нет у слова его векового значения — нет проблемы, есть «новояз».)

Вторая цитата все же из Сталина. Зато какая! Оказывается, «И. В. Сталин учит, что современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина»¹¹. Утешенный этим единственно верным учением, читатель открывал искомый грех (в надежде на «язык Пушкина») — и получал...

Первое значение. «Уверующих: нарушение религиозных предписаний, правил». Второе значение: «Переносное. Предосудительный поступок». Третье: «Разговорное. Нехорошо». Иллюстрации: пять примеров. (Сравните: у Вл. Даля — две трети страницы огромного формата, убористым шрифтом.)

Сами примеры: «Грех пополам» — придется обоим отвечать за какую-нибудь вину, ошибку. Просторечное. «Как на грех» — как будто нарочно. Разговорное. «С грехом пополам» — кое-как, еле-еле. Разговорное. «Что (или нечего) греха таить» — нужно, следует признаться. Разговорное. «Грешок» — см. второе значение. Уменьшительное.

«Грешок» и замыкает поредевший строй примеров, загнанных за колючую проволоку ограничительных помет. Пушкин, надо полагать, издали глядит, смущением томим.

Во время не столь давнего визита в Москву Воланд беседовал, помнится, с Берлиозом насчет некоторых богословских (а значит, и «общественных») «терминов». Бога, к примеру. Которого, как обнаружилось, нет. На что мессир съехидничал: что, мол, у вас такое, чего ни хватишься, всего нет? ... Читатель убедился, что и у «греха» 1952 года много чего нет. Бога уж, во всяком случае,

¹⁰ Трудно лучше, достойней ответить на ходкие сегодня «разоблачения» грехов Русской Православной Церкви, и не только ее.

¹¹ От автора. — В кн.: «Словарь русского языка». Изд. 2-е, испр. и доп. Сост. С. И. Ожегов. М. 1952, стр. 3.

нет точно. Свободной человеческой воли — также. Гордыни и попытки самообожествления — тем паче. Да и зачем? Бога-то «упразднить» отпала нужда: упразднили уже. Как мечтал пушкинский безумец: «И я глядел бы, счастья полн, в пустые небеса».

Где пустеют небеса, там пустеют и словари; где пустеют «небесные» уровни словарей, там счастье заведомо безумное.

Получается прогресс наоборот. Не приобретали мы, не углубляли нашу совесть и наш разум от десятилетия к десятилетию, а уплощали, урезали, обкрюмсывали — теряли. Причем теряли даже не замечая этого жуткого, невидимого и неслышимого, ракового процесса — перерождения нашего духовного бытия на «клеточном» уже, повседневном и повсечасном уровне. То-то «запировали на просторе» беспамятства нашего темные страсти и наглые соблазны: мера и отсчет поступков утратились; граница и преграда, отъединявшие зло от добра, — рухнули.

Да что десятилетия! Нищими, душевно оскуделыми предстаем мы перед лицом тысячелетий. Достаточно открыть совершенно «внеидеологический» словарь М. Фасмера, чтобы в том удостовериться¹². Не только живая народная фразеология, но и вековая этимология русского языка свидетельствует против нас, обвиняет нас на суде истории. М. Фасмер уходит в первоисточки и праглубины, привлекает индоевропейские параллели к слову «грех» (древнеиндийские, литовские, латышские, прусские — балтийская группа языков удержала в себе многие архаичнейшие корнесловья). И в конце концов делает вывод: общеславянский «грех», вероятнее всего, возводится к глаголу «г р е т ь». Первоначально означавшему не комфортное тепло, а жар, ж ж е н и е. Грех — это то, что жжет изнутри, что обжигает огнем совести¹³.

И еще об одном думаешь со стыдом и печалью. Те — неуследимо далекие — предки наших предков, наверно, куда быстрее уяснили бы и ближе приняли бы к сердцу слова, сказанные еще на исходе 60-х, только не долетавшие тогда до нас: «Какая дивная и какая страшная эта притча о блудном сыне, которую мы так хорошо знаем, так хорошо помним» (охо-хо-нюшки! — если бы!..) «и которая каждый год возвращается к нам с новой силой, — <...> и от более тяжелого, мучительного опыта греха, и от более изумленного сознания Божией милости и того, как нас принимает и восставляет Господь».

Это притча о многообразном грехе и одновременно о самой сущности греха. Открывается притча грехом в его наготе, в его абсолютности, в его дикой беспощадности. Младший сын приходит к отцу: он полон сил, полон желаний <...> И не может он ждать больше, и отцу своему он говорит: Отец, ты зажился; пока ты умрешь, во мне увянет жизнь <...> Умри, умри для меня, будь как мертв! Ты мне не нужен, но то, что я от тебя могу получить, я могу т е п е р ь получить <...> Так говорим мы и по отношению к Богу; не так грубо, не так прямо, но так же жестоко. Все от Бога берем и уносим <...> растратить, прожить. Забываем даже, что Он есть, для нас Он словно мертв <...> когда мы от Него получили все, что нам нужно, <...> и идем, и живем, и богаты какое-то время <...> А пока мы богаты тем, что Отец дал, нас окружают такие же, как мы, которым до нас никакого нет дела, лишь бы поживиться — любовью ли нашей, <...> человеческим теплом, умом, сердечностью, тем, что у нас есть <...> А когда истощится все, когда все, что из отцовского дома, от Бога было получено, начинает ветшать, тогда от нас отходят <...> Нам до Него не было никакого дела, лишь бы получить то, что Он может дать, — и другим до нас никакого нет дела, лишь бы попользоваться тем, что у нас есть <...> И как часто мы даем самое драгоценное

¹² Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах, т. 1. М. 1964, стр. 456.

¹³ Здесь не место вдаваться в обширные культурологические изыскания, однако из этимологии М. Фасмера явствует, что понятие «греха», переживание «греха», ожог «греха» были запечатлены славянским сознанием задолго до принятия христианства. И не только славянским сознанием. Англоязычный словарь Н. Уэбстера тоже отсылает «грех» («sin») к индоевропейскому первоисточнику. Иное дело, что дохристианская индоевропейская архаика ставит акцент на физической мучительности своего «греха» («предгреха»). Космический титанизм, равно как личную и личностную духовную боль, придадут «греху» Библия и христианство.

за бесценок, такие вещи, которые надо бы хранить в сердце как самую святыню нашей жизни, — легко отдаем <...>: вот грех»¹⁴.

Остановимся. Вслушаемся — верующие ли, неверующие. Не отзывается ли что-то в измученной глубине каждой души на это простое, «не богословское» напоминание? То, что надо бы хранить как святыню, отдаем за бесценок. Святыни тысячелетий (от Отца-Бога до просто отца, от Родины до родных и близких, от дара творить до дара любить) превращаем в объект вымогательства или звонкую монету транжирства... Неужто этот диагноз задевает за живое только «конфессионалов»?

И если уж искать определение главному соблазну, Соблазну с большой буквы, то вот оно: обесценивание святынь.

3

Известный польский языковед, библеист и славист Войцех Хлебда с 1988 года вел примечательную картотеку: выписки из советской периодики с различного рода библейскими словосочетаниями. Были среди них и прямые цитаты, и цитаты скрытые, и оставшиеся в первоизданном виде, и трансформированные почти до неузнаваемости. К началу 90-х годов ученый подбил некоторые предварительные итоги — на его тогдашний взгляд, радостные и оптимистические.

Радовало все. Назвали «перестройку» Пасхой («Семьдесят лет мук, жертв, истязания себя и других... И вдруг — нынешняя Пасха. Как будто мир перевернулся») — радость. Нарек журнал «Огонек» — тогдашний, перволевейший — демократию и политическую свободу «запретным плодом», а советских людей Адамом и Евой — тоже радость. Да притом двойная: у верующего католика-библеиста — за журнал и за отсылку к Библии; у журнала — за советских людей и за первый демократический партсъезд.

Это для нас сейчас (по Далю) и смех и грех читать: «Съезд дал то, без чего не может развиваться никакая демократия, — вкус свободы. Вкусив от этого вчера еще «запретного плода», советские люди, подобно библейским Адаму и Еве, вероятнее всего, уже не смогут и не захотят жить в стерильном мифическом раю, а отдадут предпочтение «греховному миру» демократии».

Это нам бросается в глаза прежде всего: рай-то в цитате не то что не библейский, но антибиблейский. Ложный («мифический») — во-первых, скучно-пресный («стерильный»), как у богоборца В. Маяковского, — во-вторых. Зато грех и запретный плод — самое то. Даже зловещее приравнивание партсъезда и «перестройки» ко грехопадению, от которого, согласно Библии, как раз и ведут начало все беды последующей истории, не замечается и потому не пугает.

Это нам теперь видны кавычки, конвоем оцепившие библеизм («запретный плод») и лишаяющие его подлинности — вполне в духе атеистических словарей, где религиозные понятия и церковные реалии окружались исключительно кавычками, а также сторожевыми, овчарочьими словами-оговорками «якобы», «будто бы», «с точки зрения верующих» и т. п.

Автор же статьи мало того что радуется — он еще и причисляет последнюю цитату, с плодом, к фразам «библейским реально» (выделено автором. — М. Н.). То есть к таким, «в употреблении которых присутствует или оживает смысловая <...> соотнесенность с их библейским источником».

Уместней, кажется, было бы сказать не «соотнесенность с», а «унесенность от...». И унесенность на изрядную дистанцию.

Другими (но подобными) примерами предлагаем читателю насладиться без комментариев.

О Соловецком монастыре: его стены символизируют Ноев ковчег, так что спаслись не только праведники в ковчеге — «спасутся души российских интеллигентов — узников СЛОНа (1990)¹⁵.

¹⁴ Антоний, митрополит Сурожский. О блудном сыне. — В кн.: «Проповеди и беседы». М. 1991, стр. 16 — 17 (выделено здесь и далее в цитатах автором. — М. Н.).

¹⁵ Не комментарий, но справка: на Соловках погибала отнюдь не одна интеллигенция, и далеко не только русская.

И Иоанн Креститель нам намекает <...> на то, что мы и сами потихоньку усекли <...>: я-то ладно, я — на переходный такой, перестроечный период, но вот тот, кто придет следом за мной, — вот за ним-то и сила, и Царство Божие» (1990)¹⁶.

«И если бы тов. Михеев хотя бы однажды с должным тщанием прочел книгу Екклезиаста...» (1989).

На этом перле, где «тов. Михеев» соседствует с Екклезиастом, оборвем цитацию. Умри — лучше не скажешь.

В. Хлебда был совершенно прав, когда напоминал нам: «Это происходит в стране, в которой за 70 лет советской власти было опубликовано лишь 450 тысяч экземпляров Священного писания (данные на 1990 год. — М. Н.), в которой, по данным опроса, проведенного ВЦИОМом в декабре 1989 года, только 7 — 8% населения считает себя «твердо верующими», 52% считает себя неверующими, причем 20% с полной определенностью отрицает существование Бога, а 28% безразличны к религиозной проблематике». Прав он и тогда, когда подчеркивает: сквозь призму «библейских образов, символов и сравнений <...> видится, мыслится, описывается судьба государства и народа». Прав он даже тогда, когда заключает: «Налицо явная демократизация этого явления, охватившего как популярную публицистику, так и, судя по письмам читателей, мышление многих обыкновенных смертных».

Не прав же ученый, пожалуй, лишь в одном — в том, что видится нам на расстоянии. (А на расстоянии видится не только большое, но и плохое.) Энтузиастически приветствует он воскресшие «святые слова». Жертвует во имя «демократизации этого явления» даже Хомяковым, Достоевским, Розановым, Бердяевым, Волошиным, Пастернаком, с их традицией «понимать Россию и говорить о ней — особенно в моменты крутых исторических поворотов — именно в библейских категориях», поскольку всех перечисленных писателей и мыслителей он считает «элитарными». Все так, все можно простить и списать на те, давнишние уже, социальные упования и чаяния. Одна загвоздка: Хомяков, Достоевский, Розанов и прочие знали прямой смысл библейских слов. Кто хуже, кто лучше, но знали. Знали они и другое, не менее (а скорей — равно) важное: вес, весомость, взыскательность, священность этих слов.

Те — знали. Процитированные публицисты и читатели — не знают.

Для «старой» литературы, «старого» искусства нарушение канонических значений и смыслов было чаще всего кощунством: сознательным, демоническим, или условным, игровым, стилистическим. (За «игру», впрочем, приходилось тоже платить высокой ценой и тяжкими последствиями¹⁷.) Для «нового мышления» это уже даже не кощунство — это профанизирование.

А в чем тут разница? — осторожно спросит неискушенный читатель. Разница кардинальная.

Кощунник еще ведает, что он нарушает; профан — уже нет. «Кощун» и в самых черных, мятежных, отрицающих святыню выражениях и словах помнит, что он попирает или отрицает. Профан (по притче о Вавилонской башне) «жжет глину для сожжения». Употребляет эти слова, ссылается на эти понятия, воскрешает — якобы — эти смыслы просто так. Для «моды». Для «красоты». Для «экспрессии», в лучшем варианте. И тем самым получает вариант наихудший. Исконные, истинные смыслы не просто забываются, «стираются», они подменяются (в упаковке «тех же» слов) другими смыслами — неистинными.

Нельзя сказать, что соблазнам профанизирования первой поддалась «перестройка». Она лишь вывела на обозримую поверхность соблазны шестидесятиничества: его неискоренимую социологичность, озабоченность лишь «правдой на земле» — не выше, его «пустые небеса» (по-другому, нежели в эпоху сталинизма, — но все же пустые). Когда на развале «оттепели», в 70-е, самые чуткие — или самые бойкие — поэты повернут к иным ценностям, заговорят об

¹⁶ Не комментарий, но констатация: кавычки вокруг Царства Божия исчезли. Стало быть, «потихоньку усекли».

¹⁷ О том, во что отлилась пушкинскому Моцарту «стилистическая игра» — кадамбур со словом «Бог», см.: Новикова Марина. Пушкинский космос. Языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина. М. 1995, стр. 189 — 190, 225.

иных, не «гражданских», святынях, тут-то и выявится недостаточность их языка. «Грешного», ибо если не «лукавого», так «празднословного». «И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый», — это и кровавой операции, коей подверг шестикрылый серафим пророка, они, как неоспоримо окажется, не подвергались.

«Какое время на дворе — таков мессия», — воскликнул тогда один поэт. Тут кстати напомню, что у «естественной», как бы самим языком подсказываемой, а потому весьма популярной среди литераторов рифмы «Россия — Мессия» зачастую складывалась трагическая судьба — судьба имени, как и в нашем примере, поминаемого всуе.

Однако и адресат этих поэтических строк, «златоустый блатарь России», тоже не избежал роковых обмолвок похожего рода. «Вот только жаль распятого Христа», — пел его всероссийски чтимый, хриплый голос с миллионных кассет. И, конечно же, по-человечески эта строка пронзительна. Канонически же, метаисторически (в перспективе «священной» истории) «жалеть» распятого Христа, с одной стороны, неуместно: жертва Его вольная и спасающая все человечество. С другой же стороны, жалость — слово (и чувство) здесь слишком малое.

Вот как описывает иное чувство от «распятого Христа» иной человек, в пору первой своей встречи с Ним еще далекий от всякой богословской премудрости: «...меня тогда поразило, что <...> Бог так нас умеет любить, что готов с нами разделить все без остатка: не только <...> ограничение всей жизни через последствия греха, не только физические страдания и смерть, но и самое ужасное, что есть, — условие смертности, условие ада: боголишенность, потерю Бога, от которой человек умирает. Этот крик Христов на кресте: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил? — <...> эта готовность Бога разделить нашу обезбоженность <...> Меня это так поразило, что, значит, нет границы Божней готовности разделить человеческую судьбу, чтобы разыскать человека. И это совпало <...> с опытом целого поколения людей, которые <...> потеряли все — и Родину, и родных, и часто уважение к себе, какое-то положение в жизни, дававшее им право жить; которые были ранены очень глубоко и поэтому так уязвимы, — они вдруг обнаружили, что по любви к человеку Бог захотел стать именно таковым: беззащитным, до конца уязвимым, бессильным, безвластным, презренным для тех людей, которые верят только в победу силы». И тогда пятнадцатилетнему мальчику-эмигранту, почти умиравшему с голоду в Париже 30-х годов, открылось, что Бога «можно не только любить <...>, не только поклоняться Ему потому, что Он — Бог, а поклоняться Ему по чувству глубокого уважения, другого слова я не найду»¹⁸.

4

Собственно говоря, на этом — воистину оптимистическом — заключении можно было бы и поставить точку. Большого и выстраданнейшего уже выговорить невозможно. И никакие профанации, ужасы и соблазны «постперестроечного периода» ровным счетом ничего к этому не прибавят — точней, ничего от этих слов не убавят.

Ну, ляпнет очередной публицист 1995 года про «здоровые нравственные ориентиры», которые «давно закреплены <...> и в Библии, и в моральном кодексе строителя коммунизма», — так и что с того? Сие есть давно (с конца «перестройки») не новый и хорошо обьеженный конек определенных политических сил. Ну, бабахнет другой автор про «Таис Афинскую» Ефремова: что «мы держим» ее «чуть ли не за женскую Библию», — так ведь и вправду есть такие «мы», которые-таки «держат за...». А сама Библия откочевала для этих «мы» в метафору — что-то вроде энциклопедии или универсального справочника по утилитарным вопросам. И не стоит скорбеть по одной лишь заблудшей России: есть и в «христианском» западном мире «библии географов» или даже «библии беременных», с отнюдь не душестроительными, а сугубо медицинскими и диетическими рекомендациями.

¹⁸ Антоний, митрополит Сурожский. О встрече. СПб. 1994 (запись 1973 года), стр. 38 — 39.

Прибавить можно не это, а совсем-совсем другое.

За последние, «постперестроечные», годы искаженные «святые слова», обернувшиеся словами соблазна и профанности, повели себя таинственно-странно. Все четче сквозь их поздний, «авторский», обмирщенный и испошленный смысл проступает, подобно древней церковной фреске сквозь «воинственно атеистическую» забелку, смысл прямой и буквальный. Похоже, вопреки говорящим и помимо их сознания. Вчитываешься — и охватывает тебя некий священный ужас.

Произнес один из лидеров «перестройки» в 1991 году — так, «для красоты»: «Задача момента — не построить храм демократии...» Оказалось — точно: не построили. Потому что у демократии не бывает храма, а у храма нет демократии.

Сказанул другой, уже критикуя непоследовательность «перестройки»: так хорошо начали, кооперативы поддерживали, а потом — на тебе! Вышла «совсем другая линия: кооперативы — демоны перестройки». Про кооперативы судить не беремся, а вот насчет демонов перестройки... тут поневоле задумаешься.

И в довершение этой властно-таинственной реставрации, до подлинного воскресения замазанных было смыслов, приведем признание первого лидера «перестройки», ее отца (не хочется шутить — крестного): «Распад СССР — моя боль и крест до конца жизни». Сказано в 1994 году.

Знаете, а ведь это уже не смешно. Это уже страшно. Ибо, не взвешивая даже пропорций искренности говорившего, неопровержимо слышно: да, все именно так. Именно крест. Именно его крест. И в точности — до конца жизни. Крест в том бесконечно давнем, святоотеческом значении, о котором первые подвижники говорили: как ни тяжел крест человека, но он воздвигается только на почве его собственного сердца.

В этом «воскресении из мертвых», убиенных ценностей и слов и заключается особый — метафизический и метаисторический — оптимизм нашего не чересчур оптимистического времени. И поскольку уж мы затрагивали притчу о блудном сыне, закончим выдержкой из проповеди о нем:

«...если вы заметили, <...> отец не дает ему сказать этой последней фразы, он ему дает договорить до «я не достоин называться твоим сыном» и тут его перебивает, возвращая обратно в семью <...>, — потому что недостойным сыном ты можешь быть, достойным слугой или рабом — никак: сыновство не снимается»¹⁹.

На то и остается надеяться.

¹⁹ Антоний, митрополит Сурожский. О встрече, стр. 38.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР



ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Михаил Соловьев, брат Владимира Соловьева, сделал в 1900 году приписку к письму Фета В. Соловьеву от 10 июля 1892 года: «Во время спора с М. И. Хитровым и Говорухою-Отроком и защиты ими христианства Фет вскочил, стал перед иконою и, крестясь, произнес с чувством горячей благодарности: „Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица, благодарю вас, что я не христианин”».

«Крестясь, произнес...» Все это было облечено в нелепую, парадоксальную, ни на что не похожую фетовскую форму. Отставной поручик, воробьевский помещик Фет — Юлиан Отступник нашей поэзии.

Над грудой мусора, где плещ тоскливо вьется,
Над сводами глухих и темных галерей
В груди моей сильней живое сердце бьется
И в жилах кровь бежит быстрей.

При этом он чувствует себя не римлянином, а эллином и, совсем как Юлиан Август, не прощает Риму измены эллинскому духу: «Напрасно лепетал ты эллинские звуки: / Ты смысла тайного речей не разгадал...» Будь его воля, Фет привил бы русской поэзии поклонение богам-олимпийцам, культ Гомера и Платона, а то и содействовал бы приобщению ее к элевсинским таинствам.

И ящериц, мелькающих кругом,
И негу их на нестерпимом зное,
И страстного кумира под плющом
Раскидистым увечье вековое.

Горячее дыхание этих стихов не одиноко в нашей поэзии. С одной стороны, тот же тайный жар веет в пушкинских стихах о «Дельфийском идоле» и стоящем по соседству с ним «женообразном, сладострастном», с другой — вспоминается «дева белая, а вокруг густые травы» Анненского. «Сладкое обаянье» этих стихов говорит о таинственной живучести античного мифа и сознания в поэзии вне зависимости от времени и места, климата и языка. То, что Юнг назвал коллективным бессознательным, переживает народы и цивилизации и присутствует в мире, как незримое облако, полное волшебных образов, молний и Овидиевых метаморфоз. Поневоле подумаешь, что легендарный Орфей никуда не делся, умирая, рождается вновь: ни Дионису, ни Аполлону смерть не суждена; нет мертвых языков; один и тот же поэт приходит на землю в новом облики, просвечивает время от времени то в Гёте, то в Гёльдерлине, то в Китсе, то в Батюшкове, Пушкине, Фете. И эти проблески, вспышки древнего духа, спонтанные проявления самого существа поэзии тем убедительней, чем случайней, чем меньше над ними «думают», стараются, сознательно воспроизводят и культивируют (А. Майков, Вяч. Иванов). Подлинный зной не поддается подделке и имитации.



Несколько лет назад на научной конференции один глубоко почитаемый мною филолог спросил меня, что я могу сказать о религиозной концепции Ходасевича.

Постановка вопроса показалась мне крайне неудачной и характерной. Не знаю ни одного действительно замечательного поэта, во всяком случае в новые времена, с религиозной концепцией. Обзавестись готовым или законченным мировоззрением очень соблазнительно, но поэт интуитивно избегает этого соблазна. Поэзия (а может быть, и душа?) растет до тех пор, пока у нее нет надежных формулировок: каждое новое стихотворение, как каждый новый день, — поле невидимой битвы за глубокий смысл, который дается напряжением сердечных сил — и только на этот раз, на этот миг, чтобы затем, на следующий день, в других стихах, другой ситуации, — быть опрокинутым, дополненным и исправленным, опровергнутым, возобновленным.

«Мой ум упорствует, надежду презирает: / Ничтожество меня за гробом ожидает... / Как! ничего? — Ни мысль, ни первая любовь!..» Без этих стихов жизнь оскудела бы так же, как без преданно и благодарно любимых нами «Отцы-пустынники и жены непорочны, / Чтоб сердцем возлетать во области заочны...». Утверждать, что их автор обрел в конце жизни религиозную концепцию, невозможно: это означало бы исчерпанность творческих возможностей и наше согласие с его преждевременной гибелью.

Меня же глубоко волнует, что среди последних стихов есть и «Памятник» с пронзительным и таким печальным, земным утешением: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит», и «От меня вечер Леила...» с анакреонтической беспечностью, омраченной словом «гробам»: «Камфора годна гробам», и «Художнику»: «Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс, громовержец, / Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир...». Есть что-то по-детски трогательное и подлинно поэтическое в этом посещении мастерской, близкое к «Вновь я посетил...»: «Вот опальный домик...», «Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал...». Так же задумчиво, тем же шагом... Посещение, обернувшееся прощанием поэта с любимыми образами, такими яркими, что они способны вызвать в памяти ощущение, возникающее при эйдетизме: человек не воспроизводит в памяти воспринимавшиеся им предметы, а продолжает как бы видеть их. Недаром Набоков был влюблен в строку: «Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...»

Отметим заодно, что сказано здесь о «добром Дельвиге»: «В темной могиле почил художников друг и советник». В темной могиле... Сказано безоговорочно и горько, не так, как пять лет назад до этого: «Зовет меня мой Дельвиг милый».

Поэт (впрочем, и любой мыслящий и чувствующий человек, в том числе и религиозный) говорит «да», потом «нет», потом опять «да»... И разве невыдуманная, выстраданная вера не отличается от всех видов ее имитации сомнением, отчаянием, горячим обращением к Богу? «И оправдается Незримый / Пред нашим сердцем и умом», — осмелился сказать Баратынский, и, думаю, эти строки достоверней неразмышляющей готовности и многословной философской теодицеи.

Муза поэзии как будто заключает с поэтом договор, как в детской игре: «да» и «нет» не говорите. Поэт и не говорит, он не знает этих слов. У него есть другое слово: «да-нет», с ударением то на первом, то на втором слоге.

«Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую...», «Весело мне...», «Грустен гуляю...».



Интересно, читая Пруста, ловить его на повторах. Вот он говорит, кажется, уже в первом томе, что мы всю жизнь влюбляемся в один и тот же тип женской красоты, и повторяет это и в связи с Эльстиром, и сравнивая Альбертину с Жильбертой (в «Беглянке»), и еще несколько раз. Мало того, к концу он все небрежней — так человек в старости забывает только что сказанное. С ним, прозаиком, происходит то же, что случается с поэтом, возвращающимся всю жизнь к одним и тем же мыслям, мотивам, предметам. И это еще раз наводит на мысль, что Пруст — поэт и его герой — не Сван и не Шарлю, а поэтический взгляд на мир (как потом у Набокова).

Так ведь и читать Пруста можно, как Фета, как Тютчева, с любого места, открыв книгу наугад. «Воскресение от сна — после благотворного умопомешательства, какое представляет собой сон, — по существу, мало чем отличается

от того, что происходит с нами, когда мы вспоминаем имя, стих, забытый напев. И, быть может, воскресение души после смерти есть не что иное, как проявление памяти».

*

Можно писать стихи о том, о чем думают сегодня все, но вряд ли это лучший способ писать стихи; лучший — писать о том, о чем сегодня никто не думает; периферийные темы — самые оригинальные и неожиданные, в конце концов наибольшую радость и удивление внушают именно они. В первом случае мы общую мысль делаем своей, во втором — свою делаем общей.

*

«Нет, нет, ничто чужое его не интересует. Это не Осип, который носился по городу с каждой чужой строкой, как собака с костью. Этот ничего чужого не может слышать», — говорила Ахматова Л. К. Чуковской о Пастернаке. И примерно то же самое — через полгода, в августе 1956-го, после чего Л. К. восклицает: «Я нуждаюсь в том, чтобы они друг друга любили: Ахматова и Пастернак. Мне без этого худо».

Все мы в этом нуждаемся, и этого почти никогда не бывает. Неверно, что «ничто чужое его не интересует». В автобиографии «Люди и положения», написанной Пастернаком как раз в это время, из пятидесяти страниц текста семь посвящены Маяковскому, более трех — Цветаевой; Есенину Пастернак приписывает даже «моцартовское начало». Носится с Асеевым, не забыл А. Белого, Северянина...

Зато Мандельштам назван лишь один раз, скороговоркой, в общем списке: Багрицкий, Хлебников, Мандельштам, Гумилев. Интересно, что впереди — Багрицкий, а дальше не по алфавиту: Хлебников, Мандельштам, Гумилев.

И нигде ни разу не названа Ахматова. Нет такого поэта. (Нет и Кузмина, хотя когда-то Кузмин хвалил Пастернака и тот живо откликнулся на эту похвалу. Правда, Кузмин к 1956 году был забыт, вычеркнут из списков, уже и Ахматовой казалось, что Кузмина никогда не вспомнят.) Но она-то была под боком, в Ленинграде, пережившая ждановские поношения, лишенная средств к существованию.

Можно догадаться, с каким чувством прочла она эти мемуары. Не просто несправедливость, а жестокий и обдуманный удар.

Интересно, что тогда, в начале шестидесятых, читая эти записки, никто из нас этого не заметил (автобиография ходила в списках).

Так вот они, подлинные отношения, — мрачные, тяжелые, убийственные, не достойные «небесного» дара.

В чем дело? Л. К. Чуковская пишет: «А. А. между тем обнаружила подкладку своей обиды».

— Я послала ему свою книжку с надписью: «Первому поэту России». Подарила экземпляр «Поэмы». Он сказал мне: «У меня куда-то пропало... кто-то взял...» Вот и весь отзыв».

«Подкладку своей обиды» Ахматова «обнаружила». Хотелось бы найти подкладку его обиды. Возможно, до него дошли критические отзывы Ахматовой по поводу его романа: у нее к этому времени была возможность прочесть его в рукописи.

И все-таки дело не в обиде, не только в ней. Ему не нравилась «Поэма без героя». Ивинская в своих воспоминаниях записала, как Пастернак говорил ей о поэме: «„ти-ти-ти“ — а что — неизвестно». Цитирую — по памяти, поэтому, возможно, не вполне точно. Ему вообще не нравилась поздняя Ахматова. Да и ранняя — не очень, как и весь акмеизм.

Другое дело — Маяковский. Так зависеть от него, так всю жизнь быть задетым его снисходительным вниманием... Такой парадоксальной и трудно объяснимой бывает рабская зависимость ученика-отличника от старшеклассника-подростка с хулиганскими замашками и взрослой папиросой во рту.

Можно бы предположить, что футуристическая поэтика Пастернаку была ближе акмеистической, классической. Отсюда, допустим, его интерес к Маяковскому, Асееву. В конце концов, и Цветаева с ее ломкой привычной метрики

и стиха подходила под эти вкусы и представления. Но тогда как быть с Есениным? А. Белым? Как быть с отказом от собственной молодой манеры и переходом на классические позиции в сороковые — пятидесятые, с любовью к Блоку?

Может быть, все объясняется совсем просто? Среди тех, кого Пастернак называет в автобиографии, в основном — москвичи, те, кто мелькал перед глазами, те, рядом с кем прошла его молодость. Он не называет не только Ахматову и Кузмина, но и Заболоцкого, все они — петербуржцы, ленинградцы. Точно так же ему чужд Мандельштам (и восхищенное письмо по поводу «Стихотворений» 1928 года — лишь эпизод, им забытый). В Москве поэтов так много, что московскому поэту петербуржцы уже и не нужны. В Петербурге тоже могут обойтись без москвичей. По сути дела, это не два города в одной стране, а два самостоятельных поэтических государства. И разве не то же самое наблюдаем мы сегодня?

Есть еще одно соображение. Пастернака (как и любого поэта) волновал механизм чужого успеха: вот почему для него был так важен Маяковский, Есенин, даже Асеев¹. Вот почему в начале сороковых, когда у Ахматовой вышла книга «Из шести книг», он откликнулся на это событие: «Не удивительно, что, едва показавшись, Вы опять победили. Поразительно, что в период тупого оспаривания всего на свете Ваша победа так полна и неопровержима. Ваше имя опять Ахматова...» В пятидесятые, увы, имя было опять поставлено под сомнение.

Все это очень грустно, но так устроен мир и человек в нем, и поэты в этом смысле не составляют исключения.

И разве Ахматова не ревновала Пастернака к его славе? не считала его везунчиком, счастливым? «„Какие прекрасные похороны“, — говорила она о стихийных похоронах Пастернака, когда Рихтер, Юдина, Нейгауз, сменяя друг друга, играли на домашнем рояле. Какие прекрасные похороны... Оттенок зависти к последней удаче удачника», — записывала Л. Я. Гинзбург в дневнике.

И посылать свою книжку с надписью «Первому поэту России» — значит признаваться в соперничестве: он первый, я вторая...

Ахматова разбегалась навстречу Пастернаку — и, как это часто бывает в таких случаях, нарывалась на сдержанную благосклонность, изволили благодарить.

Не так ли Цветаева дарила Ахматовой в 1916 году «свой колокольный град... и сердце свое в придачу!», всего же посвятила ей тринадцать стихотворений — и не получила при жизни в ответ ни одной стихотворной строки. Спихватилась Ахматова лишь в 1961 году, когда имя Цветаевой было уже у всех на устах, и читать этот «комаровский набросок» неловко: «Темная, свежая ветвь бузины... Это — письмо от Марины». Не думаю, чтобы Цветаева захотела написать ей еще одно письмо.



Дневник М. Кузмина 1921 года. Его как будто писала женщина. Мелко накрошенные будничные эпизоды, имена, погода, настроение, головные боли и недомогания — и почти демонстративное отсутствие какого-либо осмысления.

Но встречаются любопытные самохарактеристики, например: «Чтобы самому относиться к своим писаниям с аппетитом и любовью, нужно благоустроенное житье, обеспеченная еда и чай, светлая теплая комната, книги, вещи, возможность путешествий и отличные канцелярские принадлежности. Написанные торопясь, кое-как, на отвратительных клочках, впроголодь, оборванцами — как они могут быть интересны? Конечно, это глупая слабость, но вот она у меня есть. Я совершенно не имею вкусов пролетарских, аскетических или богемных, хотя волею судьбы и вел все почти время именно такую жизнь».

Все очень добропорядочно, кротко, с «жалостью и пониманием» к Юрочке, влюбившемуся в это время в О. Н. Арбенину-Гильдебрандт. Гомосексуа-

¹ «Я много бы дал за то, чтобы быть автором «Разгрома» или «Цемент»... Поймите, что я хочу сказать. Большая литература существует только в сотрудничестве с большим читателем», — говорил он А. К. Гладкову в Чистополе.

листу трудно набрести на размеренную, тихую семейную жизнь, годы проходят в богемном дыму и случайных связях — вопреки подлинным сердечным склонностям и желаниям.

Дневник ужасает, конечно, советским бытом: холодом, клопами, голодом, теснотой, обувью с гвоздями, «от которых на ногах у меня глубокие рыжие дыры».

Антисемитизма как будто нет. Жидами называет тех, кто ему неприятен. Сам же смеется над «мамашей» (матерью Юркуна): «О. Н. долго сидела... Юр. пошел ее проводить. Мамаша ворчала и проклинала, зачем «голый и босый хлопец» провожает в 2 ч. ночи такую «корову»... (к сожалению, не могла сказать, что «жидувка»)». И вообще дружит с И. Б. Мандельштамом и его женой Марьей Абрамовной, с издателем Каганом и др., особенно — с Яковом Ноевичем Блохом, который подкармливал Кузмина (секретарь правления издательства «Petropolis»).

Иногда, очень редко, сквозь записи просвечивают потенциальные стихи, например: «Хотел бы я в теплом, уютном доме выздоравливать после долгой болезни, и чтобы была весна, масленица и пост». У Ахматовой такие стихи есть: «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду...» Как видим, у людей, имевших счастье «посетить сей мир в его минуты роковые», — мечты общие.

Вот еще подтверждение добропорядочности Кузмина. Он упрекает Юрочку в «нравственной распущенности, неделекатности, болтанье и каком-то хамстве от влияния О. Н.»: «Тот же мелкий и поганенький демонизм, что побуждал Оленьку отдаваться Князеву на моих же диванах, руководит и этой другой Ольгой. Я чуть не застал их *en flagrant délit*. Юр. потом, смеясь, рассказал, что она его заставила раздеваться, посмотреть, но это делать у меня или нечистоплотность, или ненужный демонизм и издевательство». И дальше: «О. Н. все киснет и дебелиет. Скоро совсем станет тетехой вместо шекспировского мальчонки». Приятно узнавать речевые обороты Кузмина, известные по стихам: «Скоро люди двухлетками станут совсем». Трогательные жалобы. И никакого «демонизма».

Интересно это совпадение в поведении О. Глебовой-Судейкиной и О. Арбениной-Гильдебрандт (они и имена и сдвоенные фамилии получили, как будто сговорились). Эти девочки, похожие на шекспировских мальчиков, и психологически устроены одинаково. Их, по-видимому, влечет постель мужчигомосексуалистов, они себя идентифицируют с античными мальчиками, выбирают ту же роль.

А вот очень «женская» фраза: «Рано легли спать. Клопы очень кусаются».

«В интонациях Кузмина мы узнаем мягкую интеллигентную манеру речи, протяжно-сомневающуюся, неуверенную и слегка запинаящуюся на паузах. Из нее полностью исключена ораторская риторика, энергия внушения, настойчивость... Такая речь произносится тихим голосом, когда говорящий имеет возможность заглянуть в глаза собеседнику», — пишет в работе, посвященной поэтике Кузмина, современный исследователь.

Спокойно ль? Ну да, спокойно.
Тепло ли? Ну да, тепло.

И вот я недавно набрел на такую запись в записных книжках В. Шаламова: «Сомнение, нерешительность — это и есть признак человечности». Уж он-то, с его страшным, самым страшным в нашей истории опытом, знал, что говорил. Уж он-то, рассказавший о том, как из человека в нечеловеческих обстоятельствах «бессмысленного ужаса» выбивается, как пыль из ковра, все человеческое, и прежде всего — сострадание и любовь, знал, кто в этом мире хорош, а кого надо бояться. Замечательно, что эта шаламовская фраза записана им отдельно, как нечто глубоко выстраданное, без всякого комментария.

Не потому ли мнение Ахматовой о Кузмине («Перед ним самый смрадный грешник / — Воплощенная благодать») всегда казалось мне поверхностным суждением и несправедливым?

И еще я благодарен Шаламову за такую запись: «Учить людей нельзя. Учить людей — это оскорбление».

Учительство, «ораторская риторика, энергия внушения, настойчивость» — это именно то, чего не было у Кузмина, но что так насаждалось в нашей ли-

тературе («Крепи у мира на горле / Пролетариата пальцы!»), и не только с «пролетарской», но и с другой, по смыслу — как будто противоположной стороны.

Однажды Тютчев вопрошал «волшебного призрака», явившегося ему: «Кто ты? Откуда? Как решить, / Небесный ты или земной? / Воздушный житель, может быть, / Но с страстной женскою душой».

Так вот, не вызван ли особый, неподражаемый мягкий призыв, нежный изгиб, делающий поэтическую речь Кузмина «протяжно сомневающейся и неуверенной», его инвертированностью?

Не у чайки ли спросишь: «Летишь ты зачем?»

Думаю, что такое объяснение неточно, отнюдь не «воздушно», а даже слишком заземлено. Все настоящие поэты рождаются «с страстной женскою душой».

*

Торжество массовой культуры неизбежно, неотвратимо и, по-видимому, совершенно справедливо. Большинство человечества имеет право на утверждение своих вкусов и на то, чтобы с ними считались. В Москве поставили уже три памятника Высоцкому: на кладбище, что понятно; перед театром, что тоже естественно, и, наконец, на одной из центральных площадей.

Памятника Тютчеву нет ни в Москве, ни в Петербурге.

Сказать по правде, я и не хотел бы, чтобы такой памятник был. Ни Тютчеву, ни Баратынскому, ни Фету, ни Мандельштаму... Почему? Наверное, потому, что любовь к ним не нуждается в бронзовом оформлении. И делить это чувство с первым встречным не хочется. Еще затеют чтение стихов под памятником Тютчеву, как под Маяковским, бр-р...

Между прочим, год назад ко мне заходил гость из Колпина с просьбой поддержать проект создания «сада поэтов» с бюстами всех выдающихся творцов. Я спросил его: как вы себе представляете этот сад? Аллея — и на ней друг против друга Ахматова и Цветаева, Блок и Гумилев? Как в страшном сне. Бальмонт и Сологуб.

*

Существует особое искусство выдергивать из поэта цитату, как перо из птицы, — и затем размахивать ею.

Ну, Маяковский, понятно, сам напрашивался, раздавал направо и налево такие перья: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...», «Читайте, завидуйте, я — гражданин...».

Но, например, из Пушкина наши мастера пропаганды и декламации тоже понадергали немало: «Да здравствует солнце, / Да скроется тьма!», «Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы!...».

Из Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан...», «То сердце не научится любить, / Которое устало ненавидеть...» и т. п.

Из Тютчева? Пожалуйста: «Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить...», «Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты роковые...».

Нет, разумеется, ни Пушкин, ни Некрасов, ни Тютчев не виноваты, что их стихами смогли воспользоваться агитаторы и публицисты в своих нечистых целях. Интересно другое: чем можно поживиться, а что сопротивляется нажиму, идеологической обработке и недобросовестной интерпретации?

Нетрудно заметить, что легкой добычей искусников становится одическая интонация, ораторский пафос, — они важнее «содержания», потому что содержание вообще легко поддается подтасовке. «Товарищ, верь, взойдет она, / Звезда пленительного счастья...» — это произносилось так, словно поэт предвидел Октябрьскую революцию — и его мечта реализована ею. «И вечный бой! Покой нам только снится...» — даже эти блоковские стихи звучали как перифраз кавалерийской песни: «И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!»

Вспомним, что попадало в советские поэтические антологии из Ахматовой. «И мы сохраним тебя, русская речь, / Великое русское слово...», «Мы детям клянемся, клянемся могилам, / Что нас покориться никто не заставит!».

Цитированию подлежит и поэзией по преимуществу считается монументальная стилистика, вообще любая дидактика, тяготеющая к чеканной расстановке слов, — все, что просится быть начертанным золотыми буквами на постаменте памятника.

Например, на памятнике Пастернаку: «Быть знаменитым некрасиво» — с одной стороны, с другой: «Не спи, не спи, художник...»

Ранний Мандельштам с его стилизованным под классицизм торжественным слогом: «Поляки! я не вижу смысла...» — тоже мог бы претендовать на особое внимание. И тем более поздний, замученный страхом, затравленный, пытавшийся заговорить на чужом языке: «И то, что я скажу, заучит каждый школьник: / На Красной площади всего круглей земля...»

Стихи при этом все равно могут быть прекрасными.

Отметим, что и глубоко лирические, посторонние, если можно так сказать, мотивы, выраженные в афористической форме, приобретают оттенок назидания и становятся «притчей на устах у всех»: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...»

Вдруг стихотворная строка начинает жить самостоятельной жизнью (при этом мало кто помнит все стихотворение) — и этот успех одной строки наводит на подозрение, иногда обоснованное, что с ней не все в порядке: есть в ней что-то, потакающее общему вкусу.

Повторю, трудно найти поэта, который не предоставил бы нам возможности использовать его стихи в посторонних, не имеющих отношения к поэзии целях.

И все-таки несколько авторов, в силу особого склада своей поэтической речи, с ее причудливыми, индивидуальными, не присваиваемыми коллективом модуляциями, сумели увернуться. Фет, например.

Не напишешь же на гранитном цоколе золотыми буквами: «Моего тот безумства желал, кто смежал / Этой розы завоби, и блески, и росы...», или: «Вчера, при блеске свеч, в двенадцатом часу, / Ты слушала меня с улыбкою участия...», или: «Чем тоске, и не знаю, помочь...».

Кажется, «ничего не выжмешь» (пользуюсь пушкинским оборотом) из Анненского.

Кузмин тоже совершенно непригоден: «Я жалкой радостью себя утешу, / Купив такую шапку, как у Вас...» Самые чеканные у него стихи разве что эти: «Где слог найду, чтоб описать прогулку, / Шабли во льду, поджаренную булку...»

— Да-с, как-то не очень нам это подходит... Странный пафос.

— Извините.



Он кажется нам таким независимо-отдельным, оригинальным, ни на кого не похожим. Можно, конечно, проследить французскую линию пристрастий Анненского: Шарль Кро, Леконт де Лиль, Бодлер и другие. На поверхности лежит его переключка с Тютчевым, Пушкиным... Но никто, кажется, не обратил внимания на А. К. Толстого. Между тем как это похоже на Анненского:

Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит;

Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд:
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.

А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча;
Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча.

.....

Совершенно очевидно, что «Тоска маятника» Анненского, написанная полстолетия спустя, связана с этим стихотворением. У Толстого «где-то пес далеко лает», у Анненского: «Где-то тяжко по соломе / Переступит, звякнув, конь». У Толстого «ходит маятник, стуча», у Анненского: «Ходит-ходит, вдруг отскочит, / Зашипит — отмерил час».

Полусон-полуявь (у Толстого: «Грустно так; не знаю, право, / Наяву я иль во сне?», у Анненского: «Тело скорбно и разбито, / Но его волнует жуть, / Что обиженно-сердито / Кто-то мне не даст заснуть»), тягостное состояние меж сном и бредом — здесь общий мотив. Тем замечательней, что «Тоска маятника» вовсе не копия, не слепок с чужого стихотворения: все поразительные, только Анненскому свойственные «сцепления» между человеческой душой и вещным миром, типично анненские речевые обороты и рифмы, прерывистость лирического сюжета делают это стихотворение ослепительно новым, оно никак не могло быть написано в середине XIX века:

И лежу я околдован,
Разве тем и виноват,
Что на белый циферблат
Пышный розан намалеван.

Здесь Анненский протягивает руку своим последователям, прежде всего Пастернаку.

И еще пример удивительного совпадения — стихотворение А. К. Толстого «Он водил по струнам, упали...» (1857):

В них рассказ убедительно-лживый
Развивал невозможную повесть,
И змеиного цвета отливы
Соблазняли и мучили совесть...

или:

И так билось сердце тревожно,
Так ему становилось понятно
Все блаженство, что было возможно
И потеряно так невозвратно...
.....

наконец:

Звуки пели, дрожали так звонко,
Замирали и пели сначала...

Здесь все: и лексика («невозможная повесть», «змеиного цвета отливы», «обвиняющий слышался голос»), и особая смысловая нагрузка на наречии «так», и составной эпитет («убедительно-лживый»), и рифмы («совесть — повесть»; «тревожно — невозможно»), и трехстопный анапест — предвосхищает Анненского, его неуверенно-неотвязную, недоуменно-обиженную интонацию.

И уж вовсе неожиданным может показаться тот факт, что «Колокольчики» Анненского с их почти уже хлебниковской заумью:

...Дидо Ладо, Диди Ладо,
Лиду диду ладили,
Дида Лиде ладили... —

тоже пришли к Анненскому из А. К. Толстого:

По вешнему по складу
Мы песню завели —
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!

(«Святость», 1871)

О том, что поэзия А. К. Толстого Анненскому была небезразлична, можно судить и по его высказыванию в статье «Бальмонт-лирик»: «Говорить ли о судьбе Алексея Толстого, которого начинают понимать лишь через 30 лет после его смерти...»

Упомянув статью «Бальмонт-лирик», замечу, что Анненскому пригодился и Бальмонт, хотя сейчас нам это может показаться странным и даже обидным. У Бальмонта в стихотворении «Дождь» (1901):

А бодрый, как могильщик,
Во мне тревожа мрак,
В стене жучок-точильщик
Твердил «Тик-так. Тик-так».

Равняя звуки точкам,
Началу всех начал,
Он тонким молоточком
Стучал, стучал, стучал...

Ср. у Анненского:

Цепляясь за гвоздочки,
Весь из бессвязных фраз,
Напрасно ищет точки
Томительный рассказ...

Мало того, Анненский в похвалу Бальмонту называет его строки «прерывистыми». Не исключено, что «Прерывистые строки» Анненского, столь любимые нами, как-то перекликаются с этим его высказыванием о чужих стихах.

Я бы мог продолжить, показать, как повлияли на Анненского и Блок, и Брюсов, и Сологуб, но обрываю этот разговор. Как там у Лермонтова... «Но я боюсь вам наскучить...»? Боюсь.



Разве мы прочли наших современников? Знаем их? Нет, наши лучшие друзья — те, кто жил до нас, чьи стихи, прозу и даже письма мы читаем. «Жизнь моя, моя горячо любимая, единственная моя, мое самое большое и предсмертное. Зина, ликование мое и грусть моя, наконец-то я с тобою». Пастернак — и Чехов, и Блок, и Мандельштам — все они пришли бы в ужас, увидев свои письма в наших руках.

Самые интимные мысли, утаенные любви, обиды, в которых они едва ли себе признавались, — все нам доступно, известно: мы читали мемуары, вникали в черновики и ранние редакции, располагаем документами. Вот Кузмин, как женщина сбавляющий себе возраст; вот Г. Иванов, подправивший свое «социальное происхождение»; о фетовской биографической тайне и психическом надломе уж и не говорю; Тютчев с его «роковыми» любовными «поединками»; Пушкин, чья трагедия и гибель расчислены по минутно.

«В чтении дружба внезапно обретает первоначальную чистоту, — писал Пруст в эссе «О чтении», — с книгами любезности ни к чему. Если мы проводим вечер с этими друзьями, значит, нам действительно этого хочется».

К славе предшественников не ревнуют, наоборот: горюют, когда им ее не хватило, как Прусту, когда она их, как Анненского, обошла.

Может быть, мы отчасти и пишем для них, безмолвных, потому что им должно быть любопытно, как они повлияли на нас.

И вот почему мы не можем с уверенностью судить о том, кто из живущих рядом с нами будет нужен потомкам. «И внуки скажут, как про торф: / Горит такого-то эпоха». Ни Вяземский, ни Дельвиг, ни Катенин, ни Гнедич, не говоря уже о Грече или Сенковском, не догадывались, что их эпоха будет называться пушкинской.

И кто из современников Шекспира мог предположить, что Англию XVI — XVII веков назовут шекспировской Англией?



С. Лурье в эссе о Тютчеве доказывает, что тот никого не любил, — лишь позволял себя любить, — и в этом состояло его несчастье. «Не раз ты слышала признание: / «Не стою я любви твоей». / Пускай мое она создание — / Но как я беден перед ней...» Или: «И самого себя, краснея, сознаю / Живой души твоей безжизненным кумиром».

Мне кажется, С. Лурье способность Тютчева посмотреть на ситуацию глазами любимого человека, зайти не со своей — с другой стороны, то есть высшую форму любви, на которую если не в жизни, то в поэзии мало кто способен («Не говори: меня он, как и прежде, любит, / Мной, как и прежде, дорожит...»), обратил против автора.

Его версия неверна, но я благодарен Лурье за нее — так он увлечен своей догадкой. Как это часто бывает с нами, мы прикладываем к поэту свою беду или свое знание, свой опыт — и это помогает нам не только понять его, но и самих себя; помогает жить.

И разве мы воспринимаем все, что сказал поэт? Нет, по кусочкам, фрагментарно, в зависимости от собственных вкусов и склонностей, ситуации, сегодняшних мыслей о жизни.

Но поэт, сказавший: «О, как убийственно мы любим! / Как в буйной слепоте страстей / Мы то всего вернее губим, / Что сердцу нашему милей!..», сказавший: «Я очи знал, — о, эти очи! / Как я любил их — знает Бог!» — неужели лгал перед Богом?

И разве можно написать: «О, как на склоне наших лет / Нежней мы любим и суеверней...» — не любя?

В том-то и дело, что в стихах невозможно солгать. Ничто так не выдаст человека, как стихи. Вот приходит к нам как будто умный человек, интеллигентный, все понимающий, но показывает стихи — и как будто крышку снимает с кастрюльки, а там такое... лучше бы никогда не вдыхать этот запах.

В конце концов, и наше восхищение стихами определяется правдой чувства, которое невозможно подделать. А выражается эта правда такой «технической» малостью, как нарушение метрики в четырехстопном ямбе:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...

Будьте уверены, Тютчев не стремился к этому, не ставил перед собой задачи обновления стиха: так получилось, так сказалось.

Тургенев, Некрасов портили тютчевские стихи, исправляя их.

Тютчевскую строку «Души его, ах, не встревожит / И голос матери самой» Некрасов исправил на «Увы! души в нем не встревожит», — с тех пор она так и печатается, и очень жаль.

Самые замечательные обновления стиха происходят на глубинном, интонационном, иррациональном уровне; любая сознательная, лежащая на поверхности, очевидная ломка стиха по сравнению с подспудной, едва заметной, — примитивна. В XX веке мы стали свидетелями таких эпохальных преобразований — и наш слух подавлен ими. В результате современный читатель похож на подростка, испортившего слух «тяжелым роком». Слишком близко он стоял рядом с гаубицей: она стреляла, а он не догадывался затыкать уши! Ему подавай Маяковского; он и в современной поэзии ищет и находит взломщиков и революционеров. Цивилизация подростков.

«Души его, ах, не встревожит...» — это тютчевский вздох, принадлежащий только ему: в стихе запечатлено дыхание поэта, и оно, благодаря чужому вмешательству, было заменено на общепозетическое, усредненное сожаление: «Увы! души в нем не встревожит...» Тоже неплохо, но уже не то.

Тютчев знал, что любовь и жизнь катастрофичны, что нельзя загадывать и на день вперед («Кто смеет молвить: До свиданья / Чрез бездну двух или трех дней?»). В отличие от современных американцев, записывающих в своем календаре деловую встречу на полгода вперед, в его словаре, как в словаре ирокезов, не было слова «послезавтра». Любовь кончается («Любовь есть сон, а

сон — одно мгновенье...»), любовь — не просто «союз души с душой родной», но «и роковое их слиянье, и... поединок роковой».

И вообще уж если кто натерпелся от любви, настрадался от нее, всю жизнь был ее данником, и рабом, и воином, и пленником, и палачом, и жертвой, — а все эти роли неизбежны, — так это он.

«И старческой любви позорней / Сварливый старческий задор» — уж он-то знал, что это такое. Как воскликнул, восхищаясь его стихами, Панаев в письме к Тургеневу: «Каков изломанный старичок!»

А Дарья Федоровна писала Екатерине Федоровне о семидесятилетнем отце: «Бедный папа потерял голову. Страсть как будто бичует его. Эта особа пытается его медленным огнем...»

Но я благодарен Лурье, потому что он посмотрел на Тютчева под неожиданным углом, и как этот угол ни заужен, он по крайней мере не похож на общее, плоское место. И если устный разговор заменяю здесь письменным, то делаю это потому, что в беседе за столом мысли разбегаются, стихи перевертываются: истина, как правило, в устном споре не рождается, а умирает, еще не родившись.



Евгений Рейн в «Разговорах за пазухой» с Татьяной Бек вспоминает: «Однажды, давным-давно, был у меня разговор с Давидом Самойловым, и он сказал: „Вот говорят: талант... талант... А в общем, талант — как пороховой склад, а взрыватель — это характер“». И Рейн, хотя и с оговоркой, соглашается с этим утверждением: «Вот и мне кажется, что все дело в характере, не обязательно примитивно сильном, но обязательно — выраженном. Чтобы поэт состоялся, надо иметь особый характер, который был бы в гармонии с типом таланта и стал бы его взрывателем или двигателем, назови как хочешь. Нужна капиллярная связь между характером и даром. Когда она есть, мы ее даже не замечаем. Скажем, у Слуцкого эта связь была — болезненная, но мощная».

А я не уверен, что характер столь важен для поэта. Он выходит на поверхность, когда дар ничтожен: характером заменяют его недостаточность. Надуваются, как лягушки. Таких поэтов, особенно в советское время, было слишком много. Они-то и вырывались вперед, на авансцену, расталкивая локтями настоящих поэтов, не умеющих, как водится, постоять за себя, полагающихся на свой дар — и только.

О, конечно, не только советские поэты. Брюсов, например, уже имел такой характер — железный, направленный на самоутверждение. Его задача, как писал Ходасевич, состояла в том, чтобы в истории мировой литературы ему были посвящены две строки, и этих двух строк он добился.

Слуцкий, не в пример Брюсову, был человек добрый, без купеческих замашек, но тоже имел четкое представление о субординации в литературе. Он хотел быть начальником, не официальным, но фактическим. При этом грандиозно ошибался и покровительствовал малоодаренным, а то и сомнительного толка подопечным, затем с удовольствием предававшим своего мэтра.

Думаю, он заблуждался насчет своего характера. Характер у него если и был сильный, то подточенный изнутри особым рода безумием. Бывают такие сумасшедшие с преувеличенно рациональным складом ума. Безукоризненная логика, вырастающая из ложной посылки. Такой ложной посылкой в его случае была, например, вера в социализм с человеческим лицом вопреки отталкивающей очевидности. Он мечтал о рациональных отношениях в иррациональном, абсурдном мире. Его догматизм был симпатичным, может быть, потому, что не имел ничего общего с реальностью. «Бодливой корове бог рог не дает». Было ясно, что забодать он не может, его обманут, оттеснят, обведут вокруг пальца.

Эпизод с его участием в осуждении Пастернака — следствие догматического мышления, исходящего из ложной установки. С остальных участников проработки позорная акция сошла как с гуся вода; Слуцкий на ней надорвался. Рейн вспоминает, как Слуцкий, встретясь в ЦДЛ с ним и Бродским, сказал: «Перед тем, как мы начнем разговаривать, я сразу хочу сказать, что я был тогда на трибуне всего две с половиной минуты».

Мне в Коктебеле, если не ошибаюсь, в 1966 году (а до этого мы виделись с ним в Ленинграде в пятидесятые) первое, что он сказал, было: «В истории с Пастернаком я был неправ», — и мы с ним больше на эту тему не говорили.

Приезжая в Москву, я иногда заходил к нему в его маленькую квартиру в хрущевской, кажется, пятиэтажке. Приходил к нему, потому что знал: ему это нужно. Не потому нужно, что мои стихи ему близки (как раз наоборот — чужды), а потому, что, как генерал наносит на карту флажки, рисует стрелы и овалы клещей и котлов, так и он хотел быть в курсе всего, что происходит в поэзии. И меня он учитывал, по-видимому, как мелкую военную единицу, отдельную мотострелковую часть. Я проходил у него под рубрикой «любимец ленинградских литературоведов».

При первом знакомстве в Ленинграде он, кстати сказать, советовал мне взять псевдоним: «Иначе вы всю жизнь будете играть без ферзя». Слава богу, я его не послушался: в русской поэзии немало неблагозвучных имен, фамилия Слуцкий тоже не радуется чуткий слух негодяя.

Мне его поэзия казалась сильной, но топорной, неуклюжей, и была даже какая-то привлекательность в этой неуклюжести и отсутствии полутонув. А так как в стихах ничего скрыть нельзя, то в них отразилось несомненное человеческое благородство автора.

Можно согласиться, что характер Слуцкого «был в гармонии с типом его таланта». И все-таки, как мы видим, сильный характер при ближайшем рассмотрении нередко оказывается слабым. Сильным характером, как правило, обзаводятся слабые люди. Известно, например, что они не способны исправлять запутанные отношения, искать выход, идти на компромиссы, — куда легче порвать отношения, что они и делают. А мы эту слабость ошибочно именуем силой.

У кого был сильный характер: у Батюшкова? у Баратынского? Чего не было, того не было. «И задрожавшие уста / «Бог с ней!» невнятно лепетали». Невозможно и представить, чтобы Слуцкий, я уже не говорю о других, менее талантливых мастерах советского поэтического цеха, мог что-нибудь «пролепетать» «дрожащими устами». У них и стихов о любви-то нет, а если есть, то какие же они все молодцы и умельцы в этом победоносном деле!

Может быть, сильный характер был у Пушкина? «Каков я прежде был, таков и ныне я: / Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, / Могу ль на красоту взирать без умиления, / Без робкой нежности и тайного волнения...» Я не знаю, что такое — сильный характер, и вообще что такое характер? Приложимо ли семейное, бытовое, житейское, затрапезное слово к событию, явлению, носящему имя Пушкин?

А Тютчев? Как насчет характера у Тютчева? Безвольный, не имеющий сил отказаться от светских раутов, на которые он брел «с изнеможением в кости», избегающий, по свидетельству И. С. Аксакова, «оставаться наедине с самим собою», не способный, как писал о нем М. П. Погодин, «к постоянному занятию, к срочной работе», не желающий не только собрать собственные стихи в книгу, но даже прочесть ее перед отправкой рукописи издателю. «Поэзия в конце концов прекрасная вещь — надо с этим согласиться», — как бы против воли проговаривается он в одном из писем. Какой уж там «взрыватель», подключенный «к пороховому складу»? Что за неумное стремление к уподоблению поэзии военной практике? И потом, как я понимаю, пороховой склад нуждается не во взрывателе, а, наоборот, в неукоснительном соблюдении противопожарных и противоударных мер.

«Чтобы поэт состоялся, надо иметь особый характер...»

Чтобы поэт состоялся, надо быть поэтом.



Высокую культуру прошлого некоторые авторы связывают с авторитарным строем и, приветствуя демократию, скорбят по поводу неизбежного упадка искусства. Другие, наоборот, даже приветствуют этот упадок, потому что свобода дороже литературных шедевров. Б. Парамонов, например, пишет: «Но ведь за эту красоту, за эту культуру платили непомерно высокую цену. Герцен сказал: Пушкин стоит псковского оброка. Но это Герцен так думал, барственный эстет, а человечество отказалось выплачивать оброк красоте».

Получается, что высокая культура может возникнуть только на фоне общей нищеты и несправедливости.

Между тем еще Мандельштам знал цену «серной спичке» и одним из первых восстал против символистского, романтического противопоставления цивилизации культуре. Он понимал связь домашней утвари Эллады с Алкеем и Еврипидом. «Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу».

Да и кому, как не нам в России XX века, осознать всю несостоятельность надуманной антиномии. И если русский XIX век одарил человечество великими достижениями, то не по той причине, что псковские крестьяне платили оброк, а потому, что Россия, возвращаясь на европейский путь развития, в ускоренном темпе пустилась наверстывать упущенное.

Стыдно, тем более живя на благоустроенном Западе, пугать Россию, где и сегодня деревенская жизнь лишена элементарных удобств и гигиены (в шестидесяти километрах от Петербурга, в Вырице, нет ни водопровода, ни канализации — «А мы живем, как при Екатерине...»), призраком упадка культуры в связи с демократическими перспективами.

Можно подумать, Набоков, останься он в России, писал бы лучше оттого, что жил бы в коммунальной квартире с общим клозетом в доме на улице Герцена (бывшая Большая Морская), если бы его еще оставили в живых!

И разве Пруст, Матисс, Шёнберг, Стравинский, Оден, Чаплин, Эйнштейн, Планк, Фолкнер, Камю... обрываю список... жили при авторитарном строе? И лучшие наши авторы, замученные режимом, состоялись не благодаря, а вопреки ему. Думаете, поэт должен быть благодарен советской власти за то, что она помогла ему написать Воронежские стихи? Поговорили бы на эту тему с Н. Я. Мандельштам, она в своей книге на этот вопрос ответила. Уж не перечитать ли нашим «любителям искусств» пушкинский «Ответ анониму» — в этих стихах кое-что сказано на сей счет. Представим, что вождь еще раз позвонил автору «Дней Турбиных» и отпустил его на Запад. Почему вы думаете, что он перестал бы писать? Не потому ли, что ему не пришлось бы сочинять «Батум»?

Золотой табакерке с брильянтами из монарших рук (Ф. Булгарин получал брильянтовые перстни за «Димитрия Самозванца» и «Петра Ивановича Выжигина» еще в 1831 году) Пушкин предпочитал договор с книгоиздателем.

Выводить качество культуры из общественного устройства не следует: здесь нет прямой зависимости. Самим своим существованием настоящее искусство подавляет то, что искусством лишь прикидывается, отменяет его, можно сказать, обладает репрессивными возможностями. «Так ложная мудрость мерцает и тлеет / Пред солнцем бессмертным ума». С удовольствием приведу выдержку из статьи А. Пурина «Конец штиля (о культурологии Б. М. Парамонова)»: «Культура же, как и всегда, — возделывание и обработка. Именно та зона общества, где не действуют законы демократии и равноправия... участь сорняков здесь, увы, печальна. Нельзя выскочить из человеческой экзистенции и начать борьбу за «право» чумной бациллы. Жизнь — не утопическая безынтенционность. Кишащее многообразие — синоним инфекционной горячки и огорода, заросшего лопухами».

В самом деле, суррогат и подделка не потому сегодня идут в одну цену с настоящими вещами, что этого требует демократия, а потому же, почему Булгарин затмевал Пушкина, а Бенедиктов Баратынского еще полтора столетия назад. И критики, поощряющие «чумную бациллу», знающие все на свете, но не способные, по причине отсутствия художественного вкуса, отделить «овец от козлищ», тоже не виноваты. Можно подумать, что они когда-нибудь умели это делать! Как будто в предыдущую эпоху овцам было хорошо, а козлищам плохо!

Время — вот тот пастырь, который исподволь осуществляет необходимую работу. Уж как боролась критика с Фетом, но мы читаем его, а не Мачтета и Надсона.

Что касается жалоб и причитаний по поводу культурного упадка Европы и Америки, живущих при демократии, то хочется спросить: а когда этих жалоб не было? Между тем англоязычная, французская, немецкая проза и поэзия, эссеистика, философия, живопись, музыка XX века ничем не уступают XIX веку. И если мы не знаем сегодняшних великих имен, то думаю, это происходит не потому, что их нет, а потому, что подлинные голоса заглушает

массовая культура, настоящие художники работают в одиночку и сидят по своим углам. То же происходит и в России. Должно пройти время, чтобы произведения были оценены, а имена услышаны.

А кто, собственно, знал Тютчева как поэта — при его жизни? Несколько десятков человек, не больше. В Мюнхене он встречался с Гейне, сиживал с ним за одним столом, и вряд ли Гейне догадывался, что его остроумный собеседник — не дилетант в поэзии, а замечательный поэт, написавший там же, в Германии, и «Silentium!», и «Цицерона», и «Как океан объемлет шар земной...». Мировая слава пришла посмертно и к Достоевскому, и к Чехову.

Что и говорить, у жалующихся на сегодняшнее состояние европейской поэзии есть резон: отказавшись от рифмы и метрики, она превратилась не то в газетный текст, не то в словесную шараду. Это печально и время от времени случается в искусстве. Но невозможно представить, чтобы поэзия вымерла, как экзотическое животное, прекратила свое существование. Тысячи лет она сопутствовала человеку и вдруг — нате вам — приказала долго жить. Долго жить без нее не получится: смерть поэзии означала бы конец жизни. Эта парочка пребывает в неразрывном единстве: кто-то позаботился о том, чтобы поэзия освещала бытие. Что прикажете делать с любовью или солнечным лучом, заглянувшим в комнату? Не заметить? Не у всех получается. Будучи укоренена в самой жизни, поэзия требует поэтического осмысления в слове. В противном случае человеческое существование, как говорил Фет, превратится в зловонную псарню — не спасут ни хайвеи, ни супермаркеты, ни всеобщая компьютеризация. Надеюсь, человечество не готово опуститься на четвереньки.

И сетования по поводу «профессорской поэзии», как назвал стихи сегодняшних американских поэтов-профессоров Л. Наврозов, хотя и понятны, и интересны, также вызывают сомнение. Лучше состоять при университете, вести семинары и читать лекции, чем умереть «под забором, как пес», тем более что метафорический сутроб у нас превращался в обледенелые нары.

Жуковский воспитывал наследника, Анненский преподавал в гимназии, Тютчев служил в цензурном комитете, Кафка — в страховой компании, Ф. Ларкин, прекрасный английский поэт второй половины века, работал в лондонской библиотеке... Ничего страшного. Бездарные профессора-поэты так же неискоренимы, как бесталанные поэты — члены Союза писателей.

Культура Европы и США не уступает культуре России: какой-нибудь дядя Миша из Могилева приезжает в Бостон и жалуется на отсутствие культуры. Можно подумать, что в Могилеве было лучше. Откуда ему знать, что делается в театре на Бродвее, в нью-йоркском концертном зале, на кафедре Гарвардского университета? Он там не бывает.

Недавно мы смогли наконец увидеть фильм Вуди Аллена «Манхэттен» и с радостью обнаружить сходство американской жизни шестидесятых годов, суждений, любовных хитросплетений и взглядов на мир с нашими — тех же лет. Как будто нам показали нашу молодость, и это при всей разнице в интерьере и ландшафте.

В одном из последних рассказов Ю. Трифонова «Опрокинутый дом» речь идет примерно о том же: «Спустя три года я получил письмо от Рут: Лола вышла замуж за служащего страховой компании и уехала в Бостон, Бобчик разбился на спортивном самолете, Сузи лечится в клинике, у Стива все в порядке».

А мне хотелось бы рассказать дяде Мише из Могилева, удрученному американской культурой, об одной моей знакомой — пожилой американке из Бостона, изучающей на пенсии русский язык, читающей в подлиннике Ахматову и Чехова, регулярно, накопив деньги, приезжающей в Россию в компании таких же пожилых соотечественников. В последний раз, нынешней осенью, одна из них, восьмидесятилетняя дама, упала в гостиничном номере с инсультом. Рассказ мог бы называться «Смерть в Петербурге».

Специалисты знают, что лучшая исследовательская книга о Мандельштаме написана американцем Омри Роненом, а лучшая книга о Баратынском — норвежцем Гейром Хетсо.

Что касается культурологии, она живет общими соображениями, парит, как демон, «над грешною землей» и всегда, как демон, мрачно настроена; ей, имеющей дело сразу со всей мировой культурой, не угодишь.

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



...И ПРИВЕТСТВУЮ ЗВОНОМ ЩИТА

В конце 1995 года произошло давно ожидавшееся событие: в ярославском Верхне-Волжском издательстве был выпущен первый том собрания публицистики Александра Солженицына, включивший практически все «главные» солженицынские сочинения в означенном жанре — от «Нобелевской лекции» и «Жить не по лжи» до «Как нам обустроить Россию» и «Слова о Вандейском восстании». (За пределами, насколько я понимаю, остались материалы важные, но дополнительные — стенограммы интервью и публичных выступлений последних лет.)

Российский читатель наконец-то получил возможность проследить путь солженицынской мысли, понять ее динамику — при всей верности Солженицына кругу однажды заявленных им идей и позиций. Он, читатель, вправе теперь беспримесно принять систему солженицынских взглядов на устройство мира, на участь России — именно как систему, а не как феерический набор раздерганных высказываний на разные темы. Он вправе согласиться с нею только отчасти — уловив внутренние противоречия, сбои, несообразности; или вообще не принять ее и оспорить — но именно как целое, неразложимое в своем разнообразии и неизменное в своем движении. Он вправе отнестись к солженицынской цельности принципиально иным образом — как к некоему интеллектуальному взаимопорядку своих собственных размышлений, чтобы в отталкивании от чужой силы обрести — свою. Единственное, чего отныне нельзя, — это делать вид, что ничего не произошло, что публицистического собрания «неудобного» Солженицына по-прежнему нет под рукой, — и продолжать полемику не с ним, а с цитатами из него.

Впрочем, если нельзя, но очень хочется, то — можно. В № 6 ежедневной московской газеты «Куранты» за 1996 год появились «полосные» заметки Льва Аннинского «Руки творца. (Читая «Публицистику» А. Солженицына)¹, которые с этого рассредоточения солженицынских сил, по сути, и начинаются: «...на семи-стах страницах... рассыпано множество мыслей, которые хочется подхватить, проверить, оспорить... я подхватываю немного и в основном то, что хочется оспорить (разрядка моя. — А. А.)».

Занудливо повторю во избежание недоразумений: само по себе намерение оспорить сколь угодно великого писателя непредосудительно; отвергать политическую философию Солженицына — полностью или отчасти — совершенно нормально; принимать его суждения о социуме на веру совсем необязательно. (Мне и самому многое в нынешних солженицынских проектах не близко, а «гайдариномику» я вообще оцениваю принципиально иначе.) Но речь о другом. О намеренном распылении глобального целого, о сознательном умалении несомасштабного оппонента, в-конечном счете — об оглушении его.

Чего, собственно, ради? Думаю, единственно ради контраста солженицынских обломков — с проглядывающей «из-под глыб» цельноблочной жизнестроительной конструкцией самого Льва Аннинского. Чем более наивным предстает в статье «Руки творца» вермонтский моралист, тем более практичным оказывается московский реалист; чем абстрактнее «математические» схемы первого, не учитывающие

¹ Воспроизведены в журнале «Дружба народов», 1996, № 3

кривизну жизненного пространства, тем оправданнее податливость и гибкость второго. Пусть «реалистическая» позиция не столь возвышенна, пусть она выглядит менее симпатично, зато посмотрите, как хорошо притерта к российским обстоятельствам, да и к мировому опыту двадцатого столетия.

Такова первая из сверхзадач Аннинского. И потому сначала он жадно выхватывает из старых статей Солженицына примеры неподтвердившихся американо-европейских прогнозов. Где обещанное «великое расстройство» Соединенных Штатов? где захлебнувшаяся жадная цивилизация «вечного прогресса»? где «мировая война», без выстрелов проигранная свободным миром? Нету всего этого в помине; Запад не захотел жить «не по лжи» — и все равно (а может статься, именно поэтому) победил. По праву сильного, а не по праву честного.

Затем, не оставляя читателю времени для раздумий (не потому ли Европа и «победила», что успела внять штормовому предупреждению, которое не один Солженицын ей делал? что левой мягкотелости, розовым иллюзиям в отношениях с СССР в конце концов предпочла изворотливую жесткость — и, подкупая совдепию притворной лаской, исподтишка ввергала ее в разорительную гонку вооружений?..), солженицынский оппонент перебирается с Запада на Восток и задается излюбленным своим вопросом: да и к чему вообще было бороться с «вождями»? разве от них хоть что-нибудь зависело? Все шло своим чередом, мимо лжи и правды, мимо проблемы выбора и воли; все совершалось само собою, как это вообще в истории принято.

Тут сочинитель статьи «Руки творца» показывает себя заядлым историком. Солженицыну понадобился десяток томов «Красного Колеса», чтобы очертить спектр возможных путей выхода России из предреволюционного тупика. Аннинскому хватает абзаца, чтобы констатировать: в семнадцатом году имелись только две идеологии, «за которыми реально было повести массу»: большевизм и черносотенство. А коли так, то не о чем и жалеть: казарма под красным флагом не хуже казармы под хоругвями. Если — не лучше. Ибо марксисты оказались заведомо менее принципиальными, нежели черносотенцы; они готовы были выворачиваться сообразно практическим нуждам, а значит, куда легче и полнее адаптировались к переменчивой беспочвенной русской почве, чтобы та, в свою очередь, успешно и навсегда адаптировалась к марксизму. Зачем-то пародируя местечковый акцент, публицист восклицает: «...если уж «Капитал» оказался тем топором, из которого сварили суп, так этот суп и есть реальность». И продолжает: «Раз вокруг какого-то стержня скрепилось, значит, это уже реально».

И отсюда легко перебрасывается смысловой мостик от прошлого через современность к возможному ближайшему будущему. Блистательный стилист и литератор, наделенный тонким грамматическим чутьем, Лев Аннинский вряд ли случайно использует в «великом споре» о 70-х годах форму настоящего времени. Он словно заранее готовится к переходу России в новую, но до боли знакомую по доперестроечному опыту политическую реальность — и приветствует эту «прошлобудущность» звоном щита. Только так я могу понять его маргиналию на полях солженицынской книги: «„Отдайте им (китайцам. — Л. А.) эту идеологию!“ Отдали. Им хорошо, нам опять плохо». Оно конечно: Льву Александровичу, посетившему Китайскую Народную Недемократическую Республику с официальным дружественным визитом непосредственно после бойни на площади Тяньаньмэнь, когда весь мир бойкотировал китайских правителей, — ему лучше знать, сколь уютно китайцам живется под коммунистическим колпаком. Спорить с ним на эту тему я не решаюсь — тем более, что он (вопреки очевидности) уверен: «Дэна-миротворца» вырастили именно советские вожди, к которым Россия притерпелась и с которыми ей лучше было бы не расставаться. Но понятно, что дело совсем не в Поднебесной империи, а в нашей родной, Полунощной. О ней думает Аннинский, ей пророчит, ее перспективы обсуждает.

Ее — и свои. Потому что есть у антисолженицынских заметок и другая сверхзадача. Именно: описав «слепоту» исторического рока, неумолимость жребия, который «метают» человечеству невидимые Руки, и осторожно намекнув на то, какие времена наступают, — заново обосновать старую философию безвольной изворотливости, к которой Аннинский охотно прибегал в 70-е годы и которую готов опять применить на практике, если обстоятельства сложатся сходным образом. †

Логика его зигзагообразна, но проста; откровенность предельна; страх уподобиться адвокату Фетюковичу из «Братьев Карамазовых» отсутствует начисто.

П о с ы л: что бы там ни твердил Солженицын о мужестве, правде, верности, об интеллигенции как социальной силе, способной противостоять общественной лжи — коллективно и лично, — все это сколь математично, столь и умозрительно. Реальность же не знает деления на свет и тьму, истину и ложь; более того, если народ признает ложь правдой, если ложь становится «жизнью, жизнью множества людей», — она может «ПОЭТОМУ быть правдой».

Л о г и ч е с к о е с л е д с т в и е: если бесполезно устанавливать, «где кончается ложь и начинается правда», то и призыв «Жить не по лжи» есть «сплошная абстракция».

В ы в о д: интеллигенция не призвана ни к чему, кроме как к добровольно-самоусладительной жертвенности и «побеждаемости» любым режимом, который пожелает ею обладать. И не смейте спрашивать с нее — с нас, с меня — отчета в действиях, без-действиях и со-действиях; не устраивает бессовестность образованщины — выйдите из рядов интеллигенции, только учтите: выйдя из нее — либо сольетесь с народом, превращающим правду в ложь, а ложь — в правду, либо угодите во власть, от которой «ни черта не зависит», но которая вправе бить и активный народ, и пассивную интеллигенцию.

...Нетрудно понять, как я отношусь ко всему этому. Еще легче догадаться, что я не Солженицына от Аннинского прикрываю, тем более не призываю известного критика «измениться в лучшую сторону». Во-первых, потому что автор «Архипелага ГУЛАГ» в моих оборонительных услугах не нуждается; во-вторых, потому что не мне обвинять кого-то в излишней склонности к компромиссам. Я толкую совсем о другом. О том, что не Солженицыным придумано — и только применено им (хорошо ли, плохо ли) к той реальности, которая, как среда, заела автора заметок «Руки творца». О праве сохранить человеческое достоинство в любых внешних обстоятельствах; о праве, оступившись, пойдя на сделку с совестью, опомниться, принять на себя вину — перед Богом и перед судом собственной совести — и вновь пойти наперекор «реальности». О первом стихе первого Псалма: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», переведенном на современный язык в названии статьи «Жить не по лжи». О евангельском императиве — «да» должно значить «да», а «нет» — «нет»; о всечеловеческом отвержении теплоты; о том, что есть свой отец у лжи, как есть свой Отец у правды.

И о том, что слишком разнятся между собою Руки, некогда передавшие человечеству священный дар творчества, о которых говорил в Нобелевской лекции Солженицын, — и ловкие руки словесного жонглера.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПОЕТ БЛАТНЫЕ ПЕСНИ

В нашу гавань заходили корабли. Песни. М. «Омега», «Денис Альфа». 1995. 384 стр.

Листая эту книгу, меньше всего хочется писать на нее рецензию. Хочется вспоминать.

Таково, наверное, свойство любых песенных текстов. А уж этих — особенно. Не могу вообразить своего сверстника, городского мальчишку 60-х, который не знал наизусть ну хотя бы нескольких песен из тех, что составили сборник. При том, что ни по радио, ни по телевизору, ни с эстрады услышать их было невозможно, а о пластинке (тогда еще не было в ходу слово «диск»), не говоря уж о книге, смешно было и мечтать.

Однако же были тетрадки. Где-то с год назад, разрывая бумажные завалы, я откопал свою. Пропыленный коленкор, 96 листов, цена 44 коп. ... На странице, долженствовавшей изображать титульный лист, выведено: «Блатные песни». «Таганка», «Ты была с фиксой — тебя я с фиксой встретил» и прочие шедевры действительно «блатной» лирики перемежаются песнями Окуджавы, Визбора, Галича, а на последних страницах — Высоцкого.

Что, видимо, тоже характерно для тех времен. Почему? Думаю, все потому же: «бардовская» песня официально не существовала — в точности так же, как и «блатная».

Первая пластинка Окуджавы вышла в 1976 году, пластинки Высоцкого по-настоящему стали выпускать лишь после его смерти, а для того, чтобы всплыло имя Галича, понадобилась перестройка...

Такие тетрадки были практически у каждого в нашем классе: от «шпаны» до «киндюшников». Впрочем, вернее было бы сказать наоборот: от «киндюшников» до «шпаны» — именно таким, по моим наблюдениям, был путь этих песен. (Слово «шпана» я употребляю здесь без всякой оценки и лишь оттого, что просто не знаю, каким иным обозначить ребят из рабочих или люмпенизированных семей, которым до настоящих «блатных» еще далеко, но которые всю «канают под блат», — таких у нас в округе, и в частности в школе, было довольно много. «Киндюшниками» же — или, короче, «киндой» — звали ребят «культурных», из более-менее благополучных семей — таких тоже было немало, однако кому охота называться «киндюшником»? Вроде как «вшивый интеллигент». Слово, должно быть, происходило от «вундеркинд».)

«Киндюшникам», ясное дело, было непросто завоевать авторитет у «шпаны». Давно уже и не нами сказано, что законы «воли» в СССР являлись продолжением законов «зоны». В «зоне», как известно, весьма ценилось умение «тискать романы», то бишь ублажать уголовников разными красивыми историями, якобы прочитанными в книгах. Умелых рассказчиков не давали в обиду и опекали.

Среди нас ценилось знание «блатных» песен. Думаю, что это, в общем-то, были явления одного ряда. Вернее, одно и то же явление.

Знание блатного фольклора оказывалось в некотором плане охранной грамотой. Чем больше знаешь «блатных» песен — тем ты заметней, тем выше престиж. В смысле — тем меньше шансов, что поколотят в своем же районе.

Потому что они — всегда кодлой. А ты — опять же всегда — один.

Впрочем, если бы мне кто-то сказал в ту пору, что я увлекаюсь «блатными» песнями из чувства самосохранения, я бы наверняка оскорбился. И, в принципе, был бы прав. Потому как оно, конечно же, хорошо — чувствовать защищенность, но разве в этом дело? Что может быть прекрасней — петь в компании «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела», «Я был душой дурного общества», «По тундре, по железной дороге» и еще много всякого разного, мешая бесшабашную удаль с тоской, душевный взрыд с практическим расчетом, где надо — входя в образ, где

надо — над ним же иронизируя... А потом, когда станут приставать: «Спиши слова», так это небрежненько, через плечо бросить: «Могу тетрадку дать. Сам спишешь».

Ответ — вполне в стилистике только что спетой песни, даже как бы ее продолжение.

В голове вертится слово «театр».

«Блатная» песня и была театр. Общедоступный и общепонятный. Где нет разделения на сцену и зрительный зал, где каждый — во мгновение ока! — может перевоплотиться и сделаться настоящим героем, таким Бывал Бывалычем, которому — что «костюмчик новенький, ботиночки со скрипом», что «халатик арестантский» — все едино. И который, главное, всегда ощущает себя свободным — и тогда, когда для любимой швыряет «хрусты налево и направо», и даже тогда, когда «квадратик неба синего и звездочка вдали» мерцают ему «последнею надеждой». В ней был размах; в «блатной» песне. Романтика. Юмор. И масса других прекрасных качеств. К тому же, столь часто повествующая об арестантской доле, она и сама находилась как будто бы под арестом — воистину «ворованный воздух»! И еще: ею насыщалась, быть может, самая ненасыщаемая потребность — тоска по братству, по причастности общей судьбе. Пусть ненадолго, пусть иллюзорно — но все-таки...

Ты помнишь тот Ванинский порт
И рев парохода угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт
В жолодные мрачные трюмы, —

господи, как же много вмещало в себя это «мы» и как же хотелось тянуть и тянуть эту песню, «обнявшись, как родные братья»!..

Думаю, что великая любовь «киндюшников» к «блатной» песне объяснялась, помимо прочего, еще и желанием слиться с массами.

Но хотели ли массы — в данном случае «шпана» — сливаться с «киндюшниками»?

Большой вопрос.

Я рассказываю о своих ровесниках — в ту пору мы учились в последних классах. Но и старшие поколения, которые отрясали с себя «последствия культа личности», привлекало в «блатных» песнях наверняка то же самое.

Речь — о позднехрущевских временах, на которые, как мне кажется, пришлась самый пик популярности «блатной» песни. Вот типичная картина тех лет. Коктебель — место, где под шелестенье морской волны ускоренными темпами стиралась пресловутая грань между «детьми» и «отцами». Небольшая площадка перед столовой Дома творчества писателей, центр курортной жизни, тогда это называлось «балюстрада». Вечер. Отовсюду слышны гитары. Группки. Из одной доносится: «Товарищ Сталин, вы большой ученый», из другой: «Как в Ростове-на-Дону попал я первый раз в тюрьму», из третьей: «Когда мне невмочь пересилить беду». Если на какое-то время покинуть балюстраду, а потом вернуться, то можно быть уверенным, что там, где пели про Сталина, теперь уже поют про Ростов, а там, где пели Окуджаву, слышится, например, «Вышли мы на дело, я и Рабинович». А вот кто-то на своей «Спидоле» (батареечные магнитофоны были еще большой редкостью) поймал твист, включил на полную громкость, гитары подхватили ритм, и балюстрада начинает плясать. Милиция и дружинники, до сей поры как-то сдерживавшие себя, дождались своего часа — начинается разгон. Крики, свист, улюлюканье. А дальше — толпа либо разбегается, либо выходит на бой кровавый, святой и правый — в зависимости от настроения и баланса сил...

Впрочем, стражи порядка могли взорваться и на какой-нибудь из «блатных» песен — всякое бывало.

Тот редкий случай, когда западный модный танец был уравнен в правах (вернее, в бесправии) с продуктом отечественного — куда уж отечественней! — производства. И то и другое шло по статье «нарушение общественного порядка».

Что, естественно, лишь подогревало популярность.

Вообще, удивительные, странные стояли времена! Все вдруг бросились учиться играть на гитаре. По дворам пронесся слух: в красном уголке такого-то дома начинаются занятия, прием неограничен. Кого только не набежало! Объявился даже Манюха, известный тем, что он главарь кодлы и что в свои семнадцать так и не смог перешагнуть границы пятого класса. Гитарист, молодой довольно парень, на-

чал, однако, не с песен, а с нотной грамоты. «Вот это — «до», — говорил он. — А это — «ми». А так обозначают «бемоль». Поняли: «бемоль»?.. Что это такое?» — обратился он почему-то к Манюхе. «Бемоль», — глядя куда-то вверх, замороженно проговорил Манюха.

Это было похоже на то, как если бы кабан кукарекнул.

Между прочим, листая свою тетрадку, я так и не нашел ни одной песни, услышанной от какого-нибудь Манюхи. Странно, но факт. Наверное, совсем уж в своем кругу они пели какие-то другие песни. Или вовсе не пели — кто знает.

Откуда же песни приходили к нам?

Магнитофоны. Которых у «шпаны», кстати, в ту пору еще не водилось. Первая «блатная» пленка, которую я услышал, состояла из песен в исполнении артиста Николая Рыбникова. «На Дерибасовской открылась пивная», «Ах, какая драма Пиковая дама», «Тихо лаяли собаки в затухающую даль» и прочая «Одесса». Эта пленка, которую я услышал у своего друга, Сеньки Завеловича, насколько понимаю, принадлежала его отцу, по профессии ученому-химику.

Потом... Впрочем, мой случай несколько особый, хотя, может, именно поэтому в чем-то и показательный. Поскольку отец мой, Владлен Бахнов, был не только писателем-сатириком, но и автором некоторого числа песен, которые довольно быстро ушли «в народ» и сделались как бы «фольклором» (см. статью Б. Сарнова «Интеллигентский фольклор» — «Вопросы литературы», 1995, вып. 5).

В силу этого обстоятельства мне посчастливилось видеть (и, разумеется, слышать) не только прекрасных исполнителей, но даже и авторов кое-каких песен, считавшихся безымянными.

...Итак, потом была пленка Анатолия Аграновского. Как же замечательно, проникновенно, с какой сдержанностью и вкусом пел «журналист номер один»! И какой дуэт выходил, когда к делу подключалась его жена Галя! Жалко, так и не спросил его, откуда же он брал эти песни.

Потом были пленки некоего Фридмана (кажется, его звали Алик), по профессии адвоката, — пел он, конечно, похуже Аграновского, зато брал неисчерпаемостью репертуара. Потом появилась пленка Высоцкого — наверное, одна из его самых первых, — где добрую половину составляли не его собственные песни, а блатной фольклор. (Открыл как-то изданный в начале 80-х на Западе толстенный том Высоцкого, заглянул в начало — ба, да это же моя пленка! Видимо, какая-то копия попала к составителям, и они решили: раз голос Высоцкого, значит, и все песни его.)

А потом стало ходить столько пленок, что все попросту не упомнишь.

Так, мало-помалу, заполнялись наши тетрадки.

Говорят, «блатные» песни хлынули в город из лагерей — когда начали выпускать. Наверное. Этого я не застал. Однако подхватила и разнесла их по стране интеллигенция. Для нее эти песни символизировали свободу, непокоренность, отчаянное противостояние фальши и лжи. Что с того, что героями были урки, — иначе комыслие тут выражалось на понятном всем языке.

Уже в 70-х годах Евтушенко написал: «Интеллигенция поет блатные песни». Подмечено было точно, хотя и с сильным запозданием. Поворот, впрочем, был такой: «Поет она не песни Красной Пресни», — вот, значит, что волновало поэта. Но тут он как раз ошибался: тема Пресни в песнях присутствовала, да еще как:

А завтра рано покину Пресню я,
Уйду с этапом на Воркуту.
И под конвоем в своей работе тяжелой,
Быть может, смерть себе я найду.

Что уж тут поделаться, Евгений Александрович, если у народа по ходу истории Пресня стала ассоциироваться не с баррикадами, а с тюрьмой.

На эти мотивы интеллигенция отзывалась очень чутко. Думаю, мода на «блатную» песню была последней романтической попыткой интеллигенции слиться с «народом».

А «народ», как всегда, оказался себе на уме.

Что же до авторов, которых мне повезло видеть лично, то вот вам сюжет. Помните, у Трифонова в «Доме на набережной» подгулявшая компания начинает петь: «Отелло, мавр венецианский, в один домишко забегал»? Эту песню певали и

у нас в доме, ходила она и среди моих сверстников. Так же как «Жил-был великий писатель, Лев Николаич Толстой», «Вот ходит Гамлет с пистолетом», «Я был батальонный разведчик»... И вдруг оказалось, что автор, вернее, один из авторов этих песен — не кто иной, как Сергей Кристи (для меня — «дядя Сережа»), ближайший друг моих родителей. Человек редчайшего обаяния, артистизма и остроумия. Всего же их было трое, авторов этих песен: Сергей Кристи, Алексей Охрименко и Владимир Шрейбер, — и дружили они со школьной скамьи.

Трифонов обозвал эти песенки словом «дребедень», и это тот редкий случай, когда я не могу с ним никак согласиться. Во-первых, потому что не только я, но и многие другие помнят их по сей день, во-вторых — и в главных, — потому что вижу, какое развитие ожидало эту самую «дребедень»: из нее выросли песни Галича, Высоцкого, Кима...

Между прочим, в школе будущие соавторы организовали что-то вроде подпольного кружка под названием «Суздальский узник». Каждый вступающий в него обязан был спустить в унитаз вырезанный из газеты портрет Сталина.

Мальчишество, ерунда? А на дворе-то шел год 1937-й, и ребята прекрасно осознавали, чем могут обернуться их «детские шалости». В кружке было несколько человек — практически, гарантия, что узнают, — но их так и не засекли.

По-моему, это кое о чем говорит. И за ернические песенки типа «Жил-был великий писатель» или «Батальонный разведчик» тоже ведь можно было хорошо загреметь. Кто их не слышал — посмотрите, они есть в книге.

Песни, о которых я только что говорил, принадлежат, наверное, к разряду «интеллигентского фольклора». Но, если честно признаться, я вообще не думаю, что самые знаменитые из «блатных» песен вышли из блатной же среды. Вспомним, например, «Мурку», вспомним «Марсель» («Стою я раз на стреме, держуся за карман...»), «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела», «Споем, жиган, нам не гулять по бану» и многое другое, — легко ли вообразить себе урку, сочиняющего подобные тексты? Уж слишком они «техничны», слишком сильна в них струя стилизации и иронии. А трагедийно-торжественный «Ванинский порт»? Вот уж шедевр, достойный любой поэтической антологии.

Полагаю, что эти песни были рождены в недрах интеллигенции. И что авторами их были вполне профессиональные, а может, даже известные поэты. Которые, по понятным причинам, не слишком-то стремились афишировать свое авторство.

Быть может, когда-нибудь выплывут и их имена.

Под конец оттепели авторы (они же, как правило, и исполнители) неподцензурных песен осмелели настолько, что имена свои прятать перестали. Так на смену безымянной «блатной» пришла «авторская» песня.

Впрочем, не совсем «на смену». Какое-то время они сосуществовали как бы на равных. И лишь постепенно, с годами как-то вдруг открылось, что лейтмотивом обращения к «блатной» песне давно уже сделалось что-то вроде «тряхнем стариной» или «вспомним молодость».

Вот и сейчас, листая книгу, я то и дело ловлю себя на том, что «переживаю» не тексты, а собственные воспоминания.

Передо мной — родная сестра наших рукописных тетрадей. По сути — огромный кусок моей жизни.

Можно ли рецензировать свою жизнь?.. Трудно, разумеется, не отметить — быть может, не без досады — подчас довольно значительные текстуальные расхождения: памятный тебе вариант песни нередко оказывается иным, чем тот, что представлен в сборнике; опять же с некоторым недоумением замечаешь отсутствие кое-каких песен, которые тебе всегда казались «классикой». Однако, как отмечено в предисловии: «...наш сборник не научный, он не имеет отношения к фольклористике... Наша задача вернуть людям то, что у них было отобрано партийной официальнойщиной».

Потому не стану ничего добавлять. Кроме, пожалуй, надежды, что и сборник, который «имеет отношение к фольклористике», все же появится. И, разумеется, глубочайшей благодарности составителям Эдуарду Успенскому и Элеоноре Филиной, а также поэту Валентину Берестову и другим участникам радиопередачи «В нашу гавань заходили корабли», которая дала название и жизнь этой замечательной книге.



ПАМЯТИ ЧЕРЕПАХИ

Сева Новгородцев. Рек-песевы. Радиораесказы с картинками. Том 1. «Классика». М. «СКНТ». 1995. 264 стр.

К исходу музыкального столетия, коренным образом изменившего представления о методах организации звука, типах коммуникации со слушателем, выразительных, суггестивных, семантических, символизирующих возможностях музыки, наконец, о ее жанровой иерархии, два главных нефилармонических течения обнаружили любопытное противоречие. Джаз на протяжении восьмидесяти — девяноста лет своей истории постоянно усложнялся, изоцря стилистику, делался все более виртуозным и шлифовал свою характерную ментальность. Не однажды ему случалось принимать на себя роль экзистенциального и культурного идентификатора американских черных. Но и при этом джаз никогда не претендовал на большее, нежели быть собственно музыкой. Панк-стилистика — то есть демонстративная, нарочито грубая примитивизация, хаотизация, вырождение музыкального языка, обусловленные и оправдываемые определенным образом социально и психологически окрашенной внешней задачей, — в джазе, по определению, невозможна (исключение — разве что опыты В. Чекакина в середине 80-х; но в доживавшем СССР и не такое еще рождалось на седьмом месяце, чтобы умереть прежде первого зуба; к тому же тогда это остерегались называть джазом, говорили о «новой импровизационной музыке»). Несуществующее словосочетание «джаз-культура» (по аналогии с распространившимся — «рок-культура») обладало бы таким же соотношением смысла и бессмыслицы, как, скажем, «кино-культура», — то есть при желании можно приписать ему определенное значение, но крайне произвольное и расплывчатое.

Несмотря на такую скромность, а может, и благодаря ей, джаз сумел отрезонировать буквально во всех существующих объемах. «Еbony Concerto» Стравинского, «Преследователь» Кортасара, фильм Тавернье «Около полуночи» — лишь наиболее известные примеры, и характерно, что каждый из них интересен не просто обращением к джазовой теме и материалу, но и в своей области искусства — произведение значимое. Джаз вырастил собственные критику и музыковедение (кое-что доползло и до нашего читателя, во вполне официальных переводах), даже собственную литературу: например, «Автобиография» Майлса Дэвиса представляется книгой, интересной и в художественном отношении.

Не то — рок. Сей громогласный вечный юноша — беда ли, что уже с седьмой и брылями! — напитавшийся некогда от смутных молодежных недовольства и агрессии, ставший в событиях шестьдесят восьмого чуть ли не мировой политической силой и постоянно трактованный журналистами как явление более чем музыкальное, как новый культурный феномен, претендующий на тотальность, — рок тем не менее загадочным образом умудрился не отразиться ни в одном зеркале. (О российских прецедентах опять-таки говорить не станем.) Существуют только маркировки, как, например, почти обязательные в поздних фильмах Вендерса съемки рок-концертов, — но ими режиссер лишь обозначает свою принадлежность рок-поколению, общим замыслом фильма они никоим образом не заданы. За четыре десятка лет так и не появилось книги, фильма или спектакля о рок-музыке или рок-музыкантах — и речь не о новом «Докторе Фаустусе», — хотя бы что-нибудь, способное задержаться в памяти. Положение довольно-таки фантастическое: самое полноводное (просто в количественном отношении), самое популярное и востребованное музыкальное течение второй половины века, так или иначе — без шуток! — формировавшее сознание миллионов людей; наконец, одна из двух (наряду с кино) сверхприбыльных областей шоу-бизнеса осталась попросту незамеченной! Можно по пальцам сосчитать всех, кто вообще обращал на рок внимание «со стороны».

Казалось бы, лишенный внимания извне, рок должен особенно настойчиво стремиться к тому, чтобы осмыслить себя изнутри. Речь не о музыкантах — им-то есть чем заняться, — а об «инфильтрованных» культурологах, социологах и обладателях теоретических музыкальных знаний (примем правила игры, по которым при слове «музыковед» немедленно должны занять зубы). Но и тени подобного не воз-

никает. Уровень анализа не продвинулся далее обыкновенной бульварной или клановой журналистики, муссирующей светскую жизнь, сексуальную ориентацию, марки автомобилей и размеры доходов звезд и в лучшем случае парь стандартных оборотов отмечающей достоинства или недостатки очередного альбома или концерта. Некогда, в советские времена, рукописные журналы «Рокси», «Сморчок» и «Урлайт» мешали в веселую кучу джаз, панков, Вертинского и... Константина Леонтьева. Не обсуждая вопроса, был ли во всем этом какой-нибудь смысл, можно констатировать, что сам тип подхода, способность рассматривать одни вещи на фоне других и соотносить их друг с другом для остальной мировой рок-критики так и остался недостижимым.

Ситуация затянувшегося ожидания как бы и не предполагает уже разрешения. Открывая всякую новую книжку «про рок», в сущности, знаешь уже наперед все, что там может быть написано. Преподнести какие-нибудь сюрпризы могла бы как раз книга Новгородцева. Речь не об углубленном культурологическом анализе — наивно было бы требовать такого от радиоведущего, даже популярного и по-своему влиятельного. Но можно было ожидать хотя бы новой интонации: Новгородцев, в отличие от большинства нынешних обозревателей, относится, с одной стороны, к поколению, для которого эта музыка, просачивавшаяся под железный занавес, становилась чем-то куда большим, чем способ развлечения или предмет отвлеченного интереса; с другой же — достаточно долго живет на Западе, чтобы узнать механику шоу-бизнеса и освободиться от провинциального неофитского воодушевления («драйв — кайф»). Увы, здесь даже не скажешь — «не получилось», ибо автор и не попытался. Книга являет собой дотошный конспект пяти циклов радиопередач, которые Новгородцев запускал в эфир в 1985 — 1987 годах. Персоналии: «Led Zeppelin», Elton John, Eric Clapton, «Jethro Tull» и «Pink Floyd». Данный набор обозначен как «классика»; очевидно, предполагаются и следующие тома («Авангард», надо думать, или «Железо», или «Новая волна?»). Текст передач воспроизводится с академической скрупулезностью; Новгородцев, судя по краткому его вступлению, во второстепенной рок-хронике тех лет (как и шуточках насчет тогдашнего советского общества) усматривает некую историческую ценность. Что ж, когда автор этой заметки посещал среднюю школу, инструкторы из райкома ВЛКСМ действительно объясняли ему, почему нельзя слушать музыкальные передачи на вражьих «голосах»: коварные ведущие умудряются даже в невинный с виду комментарий зашифровать враждебную пропаганду. Ныне есть возможность разобраться, что они имели в виду. «Один мой дальний родственник... заводил, бывало, разговор о современной музыке: „Ну что за песни нынче поют, — говорил он, — вы вдумайтесь только, ради Бога, в слова: „Каховка, Каховка, родная винтовка...“ Ну где здесь подлежащее? Где сказуемое?“» (это 1987 год!). А вот наиболее суровое: «...в отечественной рок-музыке может появиться жанр... политпесни протеста, на Западе, как известно, очень распространенный. Нет, пожалуй, я выразился неточно, жанр этот в отечественной рок-музыке существует, и существует давно, не только песни — целые рок-оперы сочинены, только все они — импортного содержания, все написаны на заграничном материале, как будто дома ничего достойного внимания не происходит. Свой-то материал можно, как говорится, руками потрогать, а о заграничье пишут большей частью понаслышке, вот и получают такие произведения, о которых великий пролетарский писатель сказал: „Мертворожденный ни ползать, ни летать не может!“» (тоже 1987 год). В начале каждой передачи присутствует что-нибудь подобное: ответственно отрабатывает Новгородцев грязные доллары (фунты?), вырученные за предательство. Имеют место трогательные сноски, разъясняющие намеки, смысл которых со временем затуманился.

В остальном — где живой, где унылый пересказ рок-энциклопедий, газетных заметок, интервью, мелькание фамилий продюсеров, хроники гастролей, суммы доходов, тиражи пластинок. Где-то излишне подробно, где-то чересчур кратко. Читателю, который равнодушен, скажем, к Эрику Клэптону, все это попросту ни к чему, а поклонник его давным-давно этой информацией обладает. Неплохое графическое оформление. Приличные черно-белые фотографии. Негодные цветные. Пара забавных анекдотов о музыкантах, неполные дискографии. Ни слова, в сущности, собственно о музыке. Все.

Или почти все. Одна-единственная зацепка позволяет предположить, что сам Новгородцев интереснее, чем его писания, и мог бы раскрыться иначе, когда бы не следовал правилу (говорят — непреложному), по которому распродают лучше

всего вещи, сделанные под самый средний уровень. Видимо, следует личным его пристрастием объяснить, почему группе «Led Zeppelin» (кстати, единственной из героев книги, не превратившейся в конце концов в реанимированный автомат для производства денег) посвящено вдвое больше передач, чем любому другому персонажу. Здесь за мельтешением фактов все равно на заднем плане, но уже угадываются контуры самой «классической» рок-эпохи (всего-то ее было лет семь или восемь), непредсказуемой, как страна Оз, часто оскорбительной и дикой с точки зрения обывателя. Почти волшебные и вместе с тем трагические судьбы совсем молодых людей, буквально в несколько недель взлетавших от безвестности и полупролетарского существования на гималайские вершины творческого и коммерческого успеха. И не за счет одной лишь умелой раскрутки — но благодаря огромному, зачастую неоформленному, нутряному таланту, с которым порой они не умели обойтись точно так же, как и с полуреальной своей жизнью, превращенной, в сущности, в детскую игру (удивительно, насколько не оставляют рассказы Новгородцева о лед-зеппелиновских «распутствах» угнетающего впечатления, а напоминают скорее о нежных юношеских влюбленностях и восторге перед ставшими доступными очень дорогими игрушками). Жизнь заявляла себя через отрицание: передозировки наркотиков, надорвавшиеся сердца, нервные срывы, автокатастрофы... Странная атмосфера недолгих странных лет — и по-человечески, вероятно, она Новгородцеву наиболее дорога: когда не продюсеры навязывали публике то, что она должна полюбить, но публика выбирала сама — и обманывала зачастую любые прогнозы. Стоило бы написать еще и о том, что рок только и мог существовать в созданном тогда поле экзистенциальных и культурных напряжений. Что чем дальше, тем безнадежнее сходит оно на нет. Что новому уже не быть.

Блюзовый исполнитель Биг Билл Брунзи рассказывал, как еще мальчиком он вместе со своим дядей поймал однажды большую черепаху: «Принесли мы ее к дому, и дядя велел мне что-нибудь сделать, чтобы она высунула голову. Я взял палку и стал махать этой палкой перед ней. Черепаха схватила палку и не выпускала ее из зубов. Дядя взял топор и отрубил черепахе голову, после чего мы вошли в дом и находились там некоторое время. Когда мы возвратились, то черепахи во дворе уже не было. Мы стали ее искать и нашли снова на берегу моря, вблизи того места, где мы ее поймали. И мой дядя сказал: „Эта черепаха мертва, но еще не знает об этом...”»

Михаил БУТОВ.



ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО КРЕСЛО ПРЕЗИДЕНТА США

Том Клэнси. Все страхи мира. Роман. М. «Мир». 1993. 767 стр.

Том Клэнси. Реальная угроза. Роман. М. «Мир». 1994. 664 стр.

Том Клэнси. Кремлевский «Кардинал». Роман. М. «Мир». 1994. 518 стр.

Том Клэнси. Без жалости. Роман. М. «Мир». 1995. 640 стр.

Судьба писателя Тома Клэнси — наглядное подтверждение нетленности Великой Американской Мечты, согласно которой любая американская Золушка, начав свою карьеру с уличной чистки обуви где-нибудь на Пятой авеню, имеет шанс в один прекрасный день выйти замуж за Рокфеллера. Если, конечно, упомянутая Золушка ударно трудится и разумно откладывает цент за центом на покупку собственных хрустальных башмачков...

Итак, скромный страховой агент Т. Клэнси из Богом забытого городишка в штате Мэриленд, с детства мечтающий сочинять приключенческие романы и зарабатывать много-много долларов, однажды читает в газете заметку о восстании на советском военном корабле «Сторожевой». В том далеком 1975-м корабль не удастся увести из советских территориальных вод, мятеж подавлен с помощью артиллерии, политрук «Сторожевого» Валерий Саблин (он и есть главный бунтовщик) расстрелян по приговору военного трибунала. Страховой агент Клэнси понимает, что перед ним — готовый сюжет для политического детектива. Остается только превратить ординарный крейсер в секретную атомную подлодку (так интереснее), сделать бунтовщика литовцем (так понятнее), подключить к делу спасения беглой подлодки американский ВМФ плюс ЦРУ (так патриотичнее) и завершить все хеп-

пи-эндом (так принято). Будущий автор не спешит, тратит больше года на одну только техническую оснастку будущего произведения, однако игра стоит свеч. Роман «Охота за „Красным Октябрем”» за короткий срок становится бестселлером. Продано свыше четырех миллионов экземпляров книги, роман переведен на четырнадцать языков, в голливудской экранизации «Охоты...» главную роль играет знаменитый Шон Коннери. Попутно выясняется, что Клэнси ненароком открыл новый жанр американской беллетристики (позднее названный технотриллером). За «Охотой...» следуют «Красный Шторм» и другие романы Клэнси в том же самом жанре. Все они получают читательское признание и имеют коммерческий успех. Имя бывшего страхового агента из Мэриленда занимает строчку в списке самых популярных беллетристов мира; Том Клэнси удостоивается личной аудиенции президента в Белом доме (США). Исполняется все, чего Золушка могла бы только пожелать. Слово «Клэнси» становится товарным знаком; впереди — новые бестселлеры и обеспеченная старость.

История издания романов Тома Клэнси на русском языке заслуживает как минимум отдельного абзаца. Перевод «Охоты за „Красным Октябрем”» на русский впервые был выпущен в нью-йоркском издательстве «Liberty Publishing House» в 1986 году со специальным авторским предисловием, в котором писатель нелицеприятно высказался по поводу партийно-советской номенклатуры. Вражеское сочинение не допускалось в СССР целую пятилетку, зато потом уж в центральной типографии Минобороны был отпечатан пятидесятитысячный тираж и началось триумфальное шествие Клэнси по стране победившей демократии. Следует напомнить, что популярная ныне серия «Мировой бестселлер» издательства «Новости» открылась именно романом Тома Клэнси «Игры патриотов», а другое столичное издательство — «Мир» — сумело поправить свои финансовые дела во многом благодаря серии «Зарубежный триллер», где номером первым стоял роман «Все страхи мира» уже известного нам американского автора. О точности жанровых дефиниций («триллера» вообще и «технотриллера» в частности) применительно ко «Все страхам...» «Мира» и прочим книгам серии поговорим чуть позже, а пока постараемся разобраться в причинах успеха произведений Клэнси — как по ту, так и по эту сторону Атлантики.

На наш взгляд, главных причин — три: политическая актуальность, безукоризненная точность деталей и особый, «голливудский», принцип композиции. Каждая из составляющих в отдельности не дала бы положенного эффекта, однако сочетание всех трех рождало принципиально новое «качество».

Отдадим должное проницательности Клэнси. Писатель очень быстро понял, что реальная политическая сенсация не должна быть допущена в приключенческий роман — в противном случае автор детектива немедленно будет низведен до уровня газетного хроникера, чья свобода ограничена кругом интерпретаций уже известных фактов. Между тем романисту ни к чему Пулитцеровская премия, и «настоящее» расследование, предпринятое беллетристом, всегда будет выглядеть только самодеятельностью. Для романиста, напротив, важны общая концепция и реальность на уровне прецедента, не больше. В этом смысле показательно, как Том Клэнси в первом же своем романе приготовил свой коктейль с «Красным Октябрем» из отдельно взятых и совершенно реальных ингредиентов (конкретный случай со «Сторожевым», мощь советского подводного флота, опасность политических провокаций в условиях ядерного противостояния двух систем, активность ЦРУ и КГБ и т. д.). Смоделирована была ситуация на грани допустимого; между газетой и романом возник не очень большой, но необходимый люфт.

Точно таким же способом были, например, смикшированы реальные политические компоненты в романах «Все страхи мира» и «Кремлевский „Кардинал”». В первом из названных случаев фоном повествования стала эпоха еще робкого поначалу горбачевского детанта — время, когда формулировки общих коммунике уже обнадеживали, однако пальцы по-прежнему не были еще убраны с красных кнопок пусковых ракетных установок. В качестве «горячей точки», очага международной напряженности был избран беспроегрышный в этом отношении Ближний Восток — с тем лишь добавлением, что исламские боевики-фундаменталисты раздобыли-таки ядерную бомбу и решили начать джихад с уничтожения одного из американских городов. Понятно, что после взрыва в США хрупкое равновесие между Востоком и Западом вот-вот могло разбиться вдребезги... Возможность и опасность ядерного терроризма отнюдь не являются выдумкой Клэнси, потому-то его беллетристическая экстраполяция выглядела довольно-таки правдоподобной.

Точно так же политическое соперничество между Востоком и Западом в деле создания наивысшей системы космической защиты (идеи Стратегической Оборонной Инициативы и нашего «асимметричного» ответа на нее) дало толчок к написанию «Кремлевского „Кардинала”». Автор наращивал детективный сюжет на жесткий каркас политической реальности; даже условная фигура полковника Филитова, добровольного информатора ЦРУ в самом сердце советского Генштаба, не являлась стопроцентной выдумкой: известный прецедент Олега Пеньковского давал Тому Клэнси право на новую экстраполяцию.

Впрочем, некая условность главного сюжетного посыла у Клэнси в полной мере искупается едва ли не бухгалтерской точностью и конкретностью в описаниях буквально каждой фонообразующей реалии, в особенности технической и военной. Уже в «Охоте за „Красным Октябрем» Клэнси не отбрасывал — без должной проработки — ни одной детали, добиваясь полного соответствия любой втулки, любого гвоздика положенным тактико-техническим стандартам. Стоило в поле видимости героев оказаться хоть чему-то, что еще не было описано ранее, — и автор с наслаждением первооткрывателя предлагал читателю новый реестр: «В соседнем отсеке на корме находились теплообменник, парогенератор, турбогенератор и вспомогательное оборудование. ...Охладитель реактора, который становился на короткое время радиоактивным, никогда не смешивался с паром. Последний находился во внешнем цикле и образовывался из незараженной воды. Две водные системы встречались, но никогда не смешивались в теплообменнике — наиболее вероятном месте утечки охладителя из-за большого количества стыков и клапанов». В романе «Все страхи мира» писатель самозабвенно жертвует многие страницы на скрупулезное изображение процесса изготовления атомной бомбы. В «Кремлевском „Кардинале» читатель получает самые разносторонние знания из области лазерного оружия. В этом есть некая магия, сродни той, коей во время оно был заморожен наш далекий пращур, наблюдая за рождением из искорки могучего костра. В свое время великий Жюль Верн «покупал» юных читателей «Таинственного острова» подробными рассказами о приготовлении нитроглицерина и пороха, однако в ту пору французскому фантасту все же не хватало ни информированности, ни американской дотошности. В своих интервью Клэнси недаром с законной гордостью отмечал эту самую дотошность в качестве непреложной заслуги перед жанром. Читатель может быть уверен, что даже на простенький вопрос о характере взрывателя отдельно взятой авиабомбы ответом будет обстоятельное разъяснение: «„РВ”, — ответил один из офицеров. РВ означало радиовзрыватель. На бомбе был установлен миниатюрный радиолокационный передатчик, который запрограммирован на взрыв в пяти футах от земли...» («Реальная угроза»). Если же читателю сообщают, что немецкий автомат MP-5SD-2 фирмы «Хеклер и Кох» «лишен был приятной компактности израильского „узи» и «его черно-матовое покрытие было шероховатым на ощупь», то можно не сомневаться, что Клэнси самолично держал это оружие в руках и ощупывал покрытие, дабы потом донести до читателей свои ощущения. В мире, построенном Клэнси, не было места расхлябанной гражданской приблизительности, свойственной произведениям многих его коллег.

Кстати, скрупулезность Клэнси имеет отношение не только к военно-техническим сторонам окружающей действительности. Кто, кроме Клэнси, расскажет нам про письменный стол президента США, стоящий в Овальном кабинете «прямо под окнами, стекла в которых заменены толстыми листами пуленепробиваемого пластика, искажающего панораму парка и газонов вокруг Белого дома», и изготовленный — мы опять о столе — «из дубовых бимсов британского корабля «Резолют», затонувшего близ берегов Америки в середине девятнадцатого века»? Кто, если не автор «Реальной угрозы», поведаст о том, что высокую спинку президентского кресла «защищали листы «кевлара» — пластика, выпускаемого химическим концерном Дюпона, более прочного и легкого, чем сталь»?

К слову сказать, процитированная выше обтекаемая формулировка «в середине девятнадцатого века» — большая редкость для Клэнси. Обычно автор дружен с конкретными цифрами и при каждом удобном случае демонстрирует эту дружбу: «патрульный катер длиной в тридцать футов», «огромные тридцатифутовые волны», «склоны были не круче сорока пяти градусов», «крейсерская скорость «Родза» составляла пятнадцать узлов», «видимость уже достигла пятисот ярдов», «теперь он стал специалистом 4-го класса и получал лишние 58 долларов 50 центов в месяц». Ну, и так далее. Для романиста нет ненужных мелочей, а читатель, даже пролистывая сухую цифирь и технические премудрости, склонен относиться к усилиям

автора с должным уважением. Кроме того, достоверная деталь — отличное средство тактической маскировки крупных фабульных натяжек. Тот, кто загипнотизирован детальными подробностями экипировки афганских моджахедов, напавших на военно-космический центр в Таджикистане («Кремлевский „Кардинал”»), непременно упустит из виду вопрос о целесообразности подобного нападения, довольно-таки сомнительного по всем показателям.

Что касается чисто «кинематографического» принципа композиции романов (когда в детективе сосуществует сразу несколько главных сюжетных линий, развивающихся как бы параллельно до самого финала и меняющих ракурсы повествования по типу монтажных стыков), то прием этот был, конечно, придуман задолго до Клэнси. Однако именно создатель «Охоты за „Красным Октябрем»» довел такой принцип до логического предела, умножив число внутренних сюжетных «потоков» и «ручейков» донельзя, включив в повествование как можно больше действующих лиц со своими «сольными партиями». Постоянная смена ракурсов (на протяжении всего нескольких страниц читатель может попадать то в Белый дом, то в Кремль, то на борт боевого вертолета, а то вдруг в забегаловку в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико) рождает иллюзию некой всеохватности, масштабности. Кроме того, подобный принцип позволяет долгое время не вводить в действие любимца Клэнси Джека Райана, сквозного героя большинства романов писателя. И поскольку в преамбуле романов Клэнси традиционно происходят малосимпатичные события, умница Джек огражден от участия в этих событиях. Благодаря такому остроумному ходу автор, без больших сюжетных уловок, сохраняет положительному герою чистые руки, горячее сердце и холодную голову, а Джек, в свою очередь, к концу каждого романа восстанавливает справедливость в США и во всем мире. События носят, как правило, глобальный характер, на последней сотне страниц традиционно решаются судьбы мира или как минимум судьбы американской демократии; читатель, не сомневаясь в благополучном исходе дела (законы детективного жанра!), все-таки испытывает положенный катарсис, когда нам всем сообща удается избежать третьей мировой, попрания американской конституции и прочих столь же ужасных бед. По Клэнси, хеппи-энд неизбежен, речь идет лишь о потерях на пути к счастливой развязке. Но их, в конце концов, можно списать в пассив.

Недостатки произведений Тома Клэнси, естественно, вытекают из их достоинств. Политические экстраполяции, приемлемые в 1986-м, могут показаться вопиюще наивными десятилетие спустя. Насколько грамотно описаны быт и нравы американского истеблишмента, настолько же Клэнси (в силу неосведомленности?) схематичен и поверхностен, изображая истеблишмент советский. По крайней мере, вряд ли следовало ограничивать суточный рацион помощника министра обороны СССР бутылкой водки, краюхой черного хлеба и куском колбасы, а в уста бравого вояки (да еще в разгар боя) вкладывать слова: «Ты ведешь себя некультурно, ефрейтор Романов!» («Кремлевский „Кардинал»»).

Имеет свою оборотную сторону и вышеназванная точность деталей. Материал, однажды трудолюбиво собранный, начинает вдруг диктовать свои условия фабуле, неоправданно затягивая повествование; так произошло, допустим, в романе «Все страхи мира», где целая сюжетная линия (связанная с маневрами атомных подлодок), по сути излишняя, возникла лишь потому, что в период работы над «Охотой за „Красным Октябрем»» у автора осталось много неиспользованных «заготовок». А чрезмерность в описаниях поставила под сомнение вторую часть авторского определения жанра как «технотриллера». Выигрывая в области «техно», писатель проигрывает в динамике: преамбула может занимать больше половины произведения, долженствующие выстрелить в финале «ружья» вешаются с таким гигантским опережением, что, когда до них доходит очередь, многие фабульные «спусковые механизмы» успевают заржаветь...

Однако не будем придиричивы к Тому Клэнси. Его остросюжетные познавательные книжки — это технические сказки конца XX века. Сказки страшноватые, как и само время, но одновременно и привлекательные авторской уверенностью в конечном торжестве добра и справедливости. И пусть эти добро и справедливость торжествуют не у нас, а в другом полушарии. Мы все равно готовы порадоваться — хотя бы за своих соседей по планете.

Роман АРБИТМАН.

Саратов.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ...

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

Иван Бунин.

Сохранение, очищение, возрождение — этими в первую очередь, очевидно, понятиями определяются сегодня задачи и цели всех, кто болеет душой за русскую национальную культуру. Культура нации — явление сложное, многогранное, создается она веками. А вот урон ей нанести — невосполнимые подчас потери — можно и за обидно малое время. Особенно часто такое происходит в переломные моменты истории, в эпохи «смутного времени», каковым не раз уже называли переживаемый нами период.

Возникает парадоксальная ситуация: потенциально есть неопенимая возможность приобщиться к ценностям культуры и страницам истории, к прошлому России, которые прежде от нас намеренно скрывались, замалчивались. Вместе с тем для многих такое приобщение малореально уже в силу чисто финансовых обстоятельств. Посещение картинных галерей, кинотеатров, театров, покупка заинтересовавших книг даже человеку среднего достатка теперь часто не по карману.

И это в городе. На селе же, где люди и всегда-то были лишены многих культурных благ, положение просто аховое.

Вспоминаю некоторые эпизоды двадцатилетней давности. Как в 70-е годы к нам в Брейтово, захолустный угол Ярославской области, приехал в творческую командировку популярный киноактер Михаил Пуговкин. Уже на границе района его торжественно встречали хлебом-солью, а зал вместительного Дома культуры трижды заполнялся до отказа. Но подобные события и тогда случались не часто, теперь же о них в нашей глубинке и совсем позабыли¹.

Вот и остается практически одно развлечение — «ящик», где гвоздь программы — парламентские потасовки да сомнительного достоинства фильма. Правда, и развлекаться на селе, даже интеллигенции, — некогда: у всех по 10 — 15 соток земли, скотина. Приходится слышать от сельских учителей, что и на работу-то они ходят отдыхать от домашних дел. Наверное, и учить такие замотанные хозяйством учителя могут лишь «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». А ведь наше село — это частичка той провинции, о которой Гоголь, по словам одного современника, сказал, что истинно русская жизнь сосредоточена преимущественно в провинции. Вот и представьте, какую истинно русскую жизнь воспроизводим мы сегодня. И

¹ Можно уловить некоторое сходство письма учительницы русского языка и литературы из села Брейтово, Ярославской области Е. Швецовой, публикуемого ниже, со статьей филолога-литературоведа и фольклориста М. Новиковой «Соблазны», что печатается в этом же номере журнала.

Сходство не только в известном совпадении темы, но и в учительности тона обоих авторов. И хотя такое сходство — не преднамеренное в рамках номера, а случайное, оно, на наш взгляд, отражает характерную черту времени.

Все мы ныне свидетели того, как портится и засоряется русский язык, как искажаются основополагающие смыслы, отшлифованные в нем столетиями, как вместе с грязной пеной матерщины, уголовного жаргона вносится в него не свойственное прежде нашему народу миропонимание.

Отсюда столь логичная апелляция этих авторов к авторитету В. Даля. Ведь именно Даль собрал и сберег для потомства живую сокровищницу нашего разговорного языка, вмещающую тем самым и народный этос. (Примеч. ред.)

что из этого получится завтра. Для чего и для кого, скажите на милость, показывают, к примеру, по телевидению различные шоу-программы и презентации, на которых накачавшиеся шампанским «новые русские» и столичные коты демонстрируют свое умение *отдыхать* нам — полунцим «старым» русским.

...Но есть один компонент отечественной культуры, о котором хотелось бы высказаться особо. Я имею в виду богатейший по содержанию и формам, гордый, умный и гибкий, серьезный и озорной Русский Язык.

«Самочувствие» языка непосредственно связано с физическим и нравственным здоровьем его носителя — народа. В больном обществе с утраченными или размытыми моральными нормами и ориентирами сам язык не может не подвергаться унижению и непоправимой эрозии. Порча языка — гибель народа.

Не раз и не два в былые времена били тревогу по поводу судьбы родного языка, протестуя против его коверканья, засорения иностранными словами, оскотпления дикими аббревиатурами и прочим.

Иногда в этой борьбе доходило до смешного. Еще в прошлом веке стихотворец-славянофил, рассказывая о событиях 1812 года, заставил Наполеона восклицать: «Ой, ты гой еси, храбрый маршал Ней!» При Павле I дважды, в 1797 и 1800 годах, издавались распоряжения о неупотреблении в докладах и исключении из ученого словаря одних слов и замене их другими. Второй раз это вдобавок сопровождалось запретом ввоза в Россию всех иностранных книг! Какие же слова подвергались остракизму, а каким отдавалось предпочтение?

Не употреблять:

стража
отряд
исполнение
объявление
действие
общество
степень
врач
пособие
обозреть

Писать:

караул
деташемент
эзекуция
публикация
акция
собрание
класс
лекарь
вспоможение
осмотреть

Мудрый русский язык расставил со временем все по своим местам, найдя применение и акции, и караулу, дав другую жизнь публикации и эзекуции. Но отвел в сторонку деташемент, оставив, однако, в употреблении все «запрещенные» императором слова. Оно и понятно: рождены они не царским веленьем, не ему их и упразднить. Как будто специально о Павле I, правившем всего ничего, написал Ярослав Смеляков:

Владьки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на самую суть языка.

В первый послереволюционный год, в дни «буйственной слепоты, одержимости и беспамятства», Вячеслав Иванов писал: «Язык наш свят: его кощунственно оскверняют богомерзким бесивом — невероятными, бессмысленными, безликими словообразованиями, почти лишь звучаниями, стоящими на границе членораздельной речи, понятными только как переключки сообщников, как разинское «сарынь на кичку». Язык наш богат: уже давно хотят его обеднить, свести к насущному, полезному, механически-целесообразному; уже давно его забывают и растеривают — и на добрую половину перезабыли и порастеряли. Язык наш свободен: его оскотпляют и укрощают; чужеземною муштрой ломают его природную осанку, уродуют поступь. Величав и ширококрыл язык наш: как старательно подстригают ему крылья, как шарахаются в сторону от каждого вольного взмаха его памятливых крыл!»

Данный великому народу, русский язык «смолол на мельнице русской... заезжий татарский язык»; переварил, обогащаясь и сам, германизмы петровского и павловского времени; архаизмы славянофилов; «заумь» и неслогизмы футуристов, ничевоков и проч.

Вместе с тем интервенция «чужеречий» не прекращалась никогда, шла с переменной интенсивностью — и сегодня, пожалуй, с большей, чем когда-либо. Понятно и, очевидно, отчасти приемлемо вторжение специальной терминологии, свя-

занной с компьютеризацией, рыночной экономикой, спектром бизнеса и т. п., — здесь американизмы, кажется, неизбежны. Бог с ними, с дилерами, но стоит ли примиряться с киллерами? Есть же в русском языке более впечатляющие эквиваленты: наемный убийца, профессиональный убийца, наконец, просто — убийца. И человек сразу настораживается, в нем инстинктивно поднимается протест против поднявшего руку на дар Божий — жизнь. А то вроде бы и ничего страшного, какой там убийца, так, обыкновенный киллер. Лично у меня (ничего с этим не могу поделать) слово «киллер» почему-то ассоциируется с обладателем прозаической грыжи, по-русски — килы.

С постоянством, достойным лучшего применения, продолжается и вульгаризация русской речи. Напомню лишь об одном, с позволения сказать, новообразовании — «я тащусь от него». Вообще-то слово «таскаться» уже закрепилось в нашем языке и имеет вполне определенное значение. А посему очень сомневаюсь, что победительница одной из телеигр, разыгрываемых петербургским телевидением, должна быть в восторге, когда ведущий пообещал, что она будет «тащиться» от выигранного приза.

...Но все же главная угроза русскому языку ныне исходит, по-моему, от любителей площадной брани. Зараза распространилась столь широко, что в газетные заголовки стали выносить такие выражения, которые раньше писали только в сортирах да на заборах!

Полноте, скажут, с луны ты, что ли, свалилась? Выйди на улицу, потолкайся среди людей, послушай, что и как они говорят. Ведь это же народ говорит, значит, и слова эти имеют право на существование, народные они, — и не будь ханжой.

Что ж, может, и правда трудно представить истинно русского человека без крепкого словца. И прежде грешили этим отнюдь не только простолюдины. Достаточно вспомнить хрестоматийную «Телегу жизни» А. С. Пушкина (1823):

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел! ...

Обратите внимание: в приведенном четверостишии Пушкина так ли уж необходимо печатать окончание дословно? И так все ясно как божий день. Но нынешние публикаторы, похоже, отказывают своим читателям даже в такой примитивной сообразительности. Тем более, что вот оно — долгожданное: никакой тебе цензуры. А если к этому добавляется отсутствие всякой «полиции нравов» в собственной голове, то...

Апофеозом воинствующего бескультурья считаю появление такого издания, как «Русский мат. Антология» (М. Издательский дом «Лада». М. 1994). Составители сего «справочника» (или пособия для желающих усовершенствовать свои познания в сквернословии?) прикрылись псевдоблаговидным подзаголовком — «для специалистов-филологов», а на деле просто постарались заработать в условиях современного беспредела. По сравнению с этим изданием еще одна «антология» — «Стихи не для дам. Русская нецензурная поэзия 2-й половины XIX века» (М. Научно-издательский центр «Ладомир». 1994, — не одна ли и та же это «научно»-издательская фирма?) — покажется хрестоматией для воспитанниц института благородных девиц.

Неужели это и есть главные плоды той вожделенной свободы, о которой столько мечталось при тоталитарной цензуре? Ошибаются те, кто думает, что из этой грязи можно выйти очищенными и укрепленными нравственно и душевно!..

...С матерщиной, самой грубой и беспардонной, неизбежно встречаешься на каждом шагу. Летом прошлого года на озерном берегу в Центральной России довелось наблюдать такую сцену: проходят мимо молодые еще папа с мамой и двое их сынишек лет восьми — десяти. Квартет занят оживленным разговором, и — о, ужас! — все как ни в чем не бывало обильно перемежают свою речь грязными ругательствами, причем даже не семейная разборка идет, а вполне мирная родственная беседа. Только подойдя к нам совсем уж близко, мать с каким-то неловким смешком и неубедительным тоном принялась делать замечания своим отпрыскам. Послушают ли? Сомневаюсь — больно заразительный пример рядом и постоянно.

Коллега из тверской сельской школы-девятилетки рассказывала:

— Встретила на улице папашу одного ученика, механика бывшего колхоза, теперь — товарищества. Жалуюсь, что его Саша, когда думает, что учителя не слышат, матерится даже при девочках.

Отец отреагировал мгновенно:

— Ну, ... твою мать, приду домой, он у меня получит!

Но ежели прежде мы слышали матерщину в быту, у пивных ларьков или на производстве, то теперь она не только в широко доступных изданиях, но льется на нас и с телевизионных экранов: редкий современный фильм обходится без матюгов и жаргона. Постановщики, верно, думают, что так натуральнее. Но почему нестерпимой фальшью несет, как правило, от их поделок — подделок под правду-матку?

...Заглянем в капитальный труд Владимира Ивановича Даля — «Толковый словарь живого великорусского языка», который автор из скромности хотел назвать «Запасы для толкового словаря». Если он, как это следует из названия, включает в себя «живые» языковые «запасы», бывшие тогда (для удобства обозначим это серединой XIX века) в ходу, то естественно предположить, что в него должны были бы войти и многие «соленые» словечки. Но напрасно пытаться найти хоть одно скабрёзное выражение на его 2800 страницах. Почему? Потому что слово «матерный» Даль истолковывает как «похабный, непристойно мерзкий». Что ж, он никогда не слышал этих «перлов»? Слышал, конечно, но воспроизводить их в печатном виде ему и в голову не могло прийти. Не думаю, что дело здесь только в цензуре. «Блудодей, — пишет он, — и друг. сложные слова этого рода понятны без объяснений и непристойны». Вот и все объяснение!²

Хотя — подождите. Не мог же живой народный язык быть таким стерильным, даже и в прошлом веке. И в словаре Даля, покопавшись, обнаруживаем до боли знакомое: «сволочь», «стерва», «шалава», «шлюха». Но с выводами не спешите, давайте разберемся, что означают эти слова у Даля, а равно в каком смысле они тогда употреблялись в народе:

«Сволочь — все, что сволочено или сволоклось в одно место: бурьян, трава и коренья, сор, сволоченный бороною с пашни; дрянной люд, шатуны, воришки, негодяи, где-либо сошедшиеся (заметьте, не в единственном числе. — Е. Ш.).

Стерва — стерво, труп околевшего животного, скота; падаль, мертвечина, дохлятина... дохлая, палая скотина.

Шалава — шальной, шальная; полудурье, полуумок.

Шлюха — женщина-неряха, одетая кое-как, небрежно, грязно (а во Владимирской и Вологодской губерниях — маленькая бабка, козанок)».

Таким образом, ни одно из перечисленных слов по своему первоначальному смыслу не соответствует их нынешнему употреблению. Жаль, конечно, что эволюция этих слов приняла бранное направление. Ведь сила слова велика безмерно, недаром говорят, что меч ранит тело, а слово — душу. И наоборот — слово может лечить, утешать, помогать, вдохновлять. В народе русском понималось это «нутром», у него были не в чести болтуны, хвастуны, пустословы-краснобаи, политические фразеры. «Мели, Емеля, твоя неделя», — пренебрежительно отзывались о таких.

Вековую духовную память запечатлел в стихах Н. Гумилев:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

² Следует, однако, отметить, что третье и четвертое издания «Толкового словаря» Владимира Даля, осуществленные под редакцией профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ в 1903 — 1909 и 1911 — 1914 годах, были дополнены целым рядом нецензурных слов.

Редакция в послесловии к IV тому так обосновывала свою позицию: «Уже сам Даль внес в свой словарь ряд таких слов, которые, входя в живую речь, все же считаются «неприличными». Редакция нового издания, имея в виду и здесь прежде всего научные соображения и полноту словаря живой русской речи, нашла необходимым дополнить и эту часть словаря, отнюдь не считаясь с мнениями и взглядами чопорных педантов-«моралистов». Как по поговорке «из песни слова не выкинешь», так и из словаря живой речи нельзя выкинуть даже тех слов, которые режут ухо» (т. IV. СПб. — М. 1909, стр. VI). Другое дело, насколько корректно было расширять — уже «от себя» — далевский словарь подобным образом.

Переиздания «Толкового словаря» В. Даля в советское время осуществлялись, как правило, по второму изданию этого четырехтомника, вышедшему в свет в 1880 — 1882 годах. (Примеч. ред.)

«Что значило для народной жизни слово вообще? — пишет Василий Белов. — Такой вопрос даже несколько жутковато задавать, не только отвечать на него. Дело в том, что слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. Слово порождало и объясняло жизнь, оно было для крестьянина хранителем памяти и залогом бесконечности будущего».

М. П. Погодин, русский историк, полагал, что для первых страниц русской истории источником должна быть не летопись, а живой язык, на изучении которого следует воссоздать умственное состояние народа, склад понятий, картину верований. Обряды, поверья, песни, пословицы и обычаи народные послужат источником для изучения первоначального семейного быта, понятий о праве и проч.

Прошло почти полтора века после того, как это было сказано, и только недавно стали делаться первые, довольно неуклюжие шаги в указанном направлении.

Не надо быть ультрапатриотом или русофилом, чтобы с недоумением, может, даже с негодованием и тревогой слышать о притеснениях «русскоязычного» (надо же, слово-то какое!) населения в новорожденных суверенных государствах, о гонениях там на русский язык. Зачем? Разве можно таким образом компенсировать действительные и мнимые обиды, наносимые центральной властью окраинам в прошлом? Понимаю, что это реакция на насильственную русификацию, но разве можно винить... язык?

Но думаю, что еще большую обиду родному языку подчас наносим мы сами. Разве имеем мы право изгаживать родной язык матерщиной, этим «мерзким свистанием бесовским»? Убеждена: язык не «нейтрален» и матерщина — не полноправная его часть. Сейчас многие стали считать себя верующими, христианами. А чему учит Православная Церковь? Давайте послушаем слово Иоанна Златоуста, да не покажется оно кому-то слишком высоким для обыденной жизни:

«Будем узнавать козни диавола, его коварство и нападения и смело вступим в борьбу с ним. Он обыкновенно вредит нам всеми мерами, но особенно *посредством языка и уст*. Ибо никакой другой член так не пригоден ему для обольщения и гибели нашей, как невоздержанный язык и необузданные уста»³.

«То слово гнилое, которое не назидает слушателя, но еще развращает его...

У тебя нечисты мысли? Пусть же по крайней мере будут чисты твои уста...»⁴

Сказано в Евангелии: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12: 36).

Послушаем Святого Апостола Павла: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (Еф. 4: 29).

...Один неглупый человек в прошлом веке заметил: «Насколько люди образуют язык, настолько язык образует людей». О том, какой язык мы «образуем» сегодня, уже говорилось. Ладно бы только на низшем, бытовом уровне. Так ведь нет, к осквернению «великого и могучего» активно подключились, повторяю, мастера культуры из кино, театра, с телевидения, и среди них — звезды первой величины. Не наваждение ли это? Неужели не чувствуют эти люди, носящие (так и хочется сказать — «таскающие») звание «народных», ответственности перед этим самым народом? Отнюдь не пустячок это — матюгнуться публично на полстраны, как это сделал недавно известный артист в вымученно-веселой телепрограмме «Белый попугай», рассказывая анекдот о том, как сельский ветеринар пользовал заезжую актрису, подвернув ногу на деревенских колдобинах. Что-то совсем не смешно мне стало от этого анекдота. И не потому, что был он с мафусаиловой бородой. Просто за несколько дней до его всероссийского обнародования пришлось пройти по такой же дороге, а навстречу четверо мужиков (может, и коллега «попугайского» ветеринара там был) вели на веревках здорового жеребца, который упирался, вздрагивал, всхрапывал, явно не понимая, что от него хотят люди. Сопровождавшие коня возбужденно переговаривались, порой довольно громко, тоже не зная, что он может выкинуть в следующую минуту. Так вот, поравнялись с нами, прошли мимо, и... ни одного бранного слова, ни одного матерного ругательства, хотя сами обстоятельства, казалось, делали их применение неизбежным. Вот анекдот-то, правда? Поверить трудно, но это — быль.

³ «Собрание поучений, избранных из творений святого отца нашего ИОАННА, Архиепископа Константинопольского, ЗЛАТОУСТОГО». Т. 2. Поучение 34. «О воздержании языка». (Репринт. М. 1887). Изд-во «Посад». 1993, стр. 88.

⁴ Там же. Поучение 77. «О поучении в Божественном Писании и о том, чтобы не произносить гнилых слов», стр. 197.

Хотелось бы завершить свои заметки предостережением все того же бессмертного Даля: «...с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека, это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только чувство и мычание».

Елена ШВЕЦОВА,
преподаватель русского языка и литературы.

Село Брейтово,
Ярославской области.

ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ?..

Тридцать семь лет назад в «Новом мире» (1959, № 1) в статье «Жизнь требует», в ту пору учитель литературы с трехлетним стажем работы, затронул вопросы ее преподавания в школе.

И вот захотелось сравнить «век нынешний и век минувший».

...Передо мной новая хрестоматия по литературе XX века для выпускного класса школы; рекомендована Министерством образования РФ. Маяковский без «Левого марша» и «Во весь голос», Блок без «Двенадцати», Есенин без «Руси советской». Тенденция ясна: составители хрестоматии «очищали» школьный курс от советской идеологии. Даже Бабель представлен не «Конармией», а одним одесским рассказом.

И когда я сравнил эту новую двухтомную хрестоматию с прежней — то особенно остро почувствовал, что мы живем в другом мире и изучаем во многом другую литературу.

Но вот преподаем ли мы нашу новейшую литературу по-новому?

«Самый страшный враг урока литературы, — писал я в вышеупомянутой статье, — холодное равнодушие. Когда судьба Татьяны Лариной волнует ученика меньше, чем подбор цитат к ее характеристике, когда об Андрее Болконском девятиклассник рассказывает с тем же спокойствием, что и о сумме или разности квадратов, тогда работа учителя литературы обесмысливается: обескровленные, омертвленные образы не учат и не воспитывают». Я стремился провести мысль, что литература, которая превращается всего лишь в материал для заучивания, для отметки, теряет свою духовную суть, — вот о чем хотелось сказать мне прежде всего.

Ну а что сегодня, тридцать семь лет спустя?

«У Марины Цветаевой, — говорит, обращаясь к десятиклассникам учительница литературы, — есть очерк, который называется «Мой Пушкин». Начиная сегодня уроки, посвященные Антону Павловичу Чехову, я хочу рассказать вам о своем Чехове». — «А зачем? — перебивают ее трезвые десятиклассники. — Лучше продиктуйте хронологическую таблицу его жизни и творчества». С какой болью рассказывала мне учительница литературы из большого уральского города про этот урок. Я хорошо ее понимаю. Как-то моя ученица спросила меня после урока, на котором речь шла о «Пелагее» и «Альке» Федора Абрамова: «Зачем мы тратим время на Пелагею Амосову, когда на экзамене будет Пелагея Власова?» Кстати, собиралась она в пединститут, на факультет литературы.

Мне неоднократно приходилось беседовать с учителями столичных и провинциальных лицеев, гимназий, школ. Они жалуются, что нередко слышат от своих учеников: «Ну зачем вы столько говорите о разных точках зрения, о разных пониманиях того или иного произведения? Укажите твердо, как следует отвечать или что писать в сочинении, а мы это выучим».

...Однажды шахматистов после мгновенного показа доски с фигурами попросили ответить, сколько их первоначально стояло на доске. Никто не сумел, но один гроссмейстер нашелся: «И я не помню, но зато твердо знаю, что фигуры были расположены так, что если б белые начинали, то дали бы мат в два хода». Вот суть, сердцевина обучения! Не столько знание фактов и фактиков — сколько проникновение в художественную глубину книги, уяснение внутренних сюжетных линий и персонажей.

Самая большая беда преподавания литературы в том, что слишком часто роман, повесть, драма, стихотворение существуют для наших учеников сами по себе, а сведения о них, полученные на уроке, — отдельно. Очень многие не умеют «вычитать» замысел писателя из художественного текста, не умеют воспринять целостный образ произведения.

Страшный бич гуманитарного образования в школе — это то, что оно сводится к пусть даже и доброкачественной, но всего лишь информации о гуманитарности. И если говорить о литературе, то прежде всего задача школьных уроков — научить читать литературу как литературу. А к этому только один путь: не готовый результат, который следует зазубрить к следующему занятию, а активное со-участие в процессе постижения текста.

Нам иногда кажется, что главное в преподавании литературы — та цель, тот итог, к которому мы приводим своих учеников: фактическое знание о произведении, о писателе. Между тем главное в другом — в том пути, которым мы идем, в самом процессе такого постижения. На уроке литературы понимание художественного произведения не только путь к цели, но и сама цель.

Естественно, гораздо быстрее, проще, удобнее и, как это ни прозвучит дико, даже лучше для школьных результатов-оценок, контрольных, экзаменов — проскочить этот путь и сразу же выйти на результат.

Но как это уплощает, как профанирует подлинное постижение литературно-культурного феномена, вставленного в сложнейшую историческую оправу!

Нет, бойкий ответ ученика — это отнюдь не единственная цель добросовестного преподавателя. Есть чувства и мысли, порождаемые литературным шедевром, которые вообще не сводятся к однозначной формулировке, но тем не менее крайне важны для нравственно-эстетического становления учащегося. Переживание в процессе постижения текста порой даже богаче конечного результата. Урок не должен быть однозначно сориентирован на «правильный» ответ, но именно на индивидуальное и совместное постижение. Отметка за Пушкина не должна быть важнее самого Пушкина.

...И вот слушаю с учениками грамзапись «Во весь голос» Маяковского, поэму — по определению Пастернака — «предсмертную и бессмертную». И невольно ловлю себя на мысли: в новом пособии об этой поэме нет ни слова, как они будут ее учить, рассказывать о ней. А ты тратишь время на пластинки. Хотя знаю, что в трех разных вариантах исполнения поэмы, которые слушают сейчас мои школьники, смысла больше, чем в тетрадных объяснительных записях...

Увы, повторяю: вся нынешняя система контрольных, проверок и экзаменов толкает лишь к одному — выученности, натасканности.

...Вот два тома учебного пособия для учащихся 11-го класса («Просвещение». 1994) — «рекомендовано Главным управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации».

В конце каждого из томов «вопросы и задания для самоконтроля». Некоторые из них отмечены звездочками. В примечании говорится, что «вопросами, отмеченными звездочкой, можно руководствоваться в проверке и самопроверке уровня литературных знаний и умений учащихся». А это значит, что директор или завуч школы, если они захотят проверить уровень знаний своих учеников (что, между прочим, входит в их служебные обязанности), могут использовать и эти вопросы. Выпишу несколько из числа отмеченных звездочками:

«С чем связаны некоторые изменения принципов реализма в русской литературе начала XX века?»; «В чем особенность постановки «вечных» проблем Добра и Зла в творчестве писателей-символистов?»; «Формы повествования и образы повествователя у Бунина»; «Каково значение цвета в поэзии младосимволистов и в живописи «мирискусников?»; «Объективность восприятия времени у Маяковского и „дух времени“... через лирическое „Я“»; «Проследите эволюцию образной системы Б. Пильняка с точки зрения исторического мышления писателя»; «Каковы особенности построения художественного мира романа А. Толстого «Аэлита»?»; «Пути развития истории в произведениях А. Солженицына (на примере хроники «Красное Колесо»)»; «Каковы отношения лирического героя и окружающего мира в стихах И. Бродского?»; «Поэтический портрет своего поколения в стихах А. Башлачева»; «Подумайте над проблемой дворянства в произведениях Чехова „Вишневый сад“ и Б. Шоу „Дом, где разбиваются сердца“».

Прежде всего, почти весь материал, знания которого требуют эти вопросы, выходит за пределы определенного программой школьного минимума. Вы, скажем,

видели школьника, который прочитал бы «Красное Колесо»? Да что школьника — учителя, специалиста? Да читали ли эту великую, но чересчур объемную и сложную эпопею сами составители пособия, в котором доктринерство и начетничество уживаются с самыми утопическими заданиями? «Красное Колесо» не освоила, даже не приблизилась к нему и наша высоколобая критика, явно предпочитающая Солженицыну Ерофеева и Сорокина. Так чего же требовать от задерганного одиннадцатиклассника?

Ну вызубрит школьник по пособию про «младосимволистов» или «объективность восприятия времени» и «эволюцию образов» у писателя, которого он не читал. Кому от этого польза? Ни ему, ни отечественной культуре...

Прежде было: «Народность поэзии Некрасова», «Партийность поэзии Маяковского», теперь: «Добро и Зло в поэзии символистов». Разница чисто внешняя, отдающая дань времени, но ничего не меняющая по сути.

А тут новая напасть на преподавание литературы.

Премьер подписал решение правительства о введении в школе государственных общеобразовательных стандартов. Сама мысль о том, что должен быть определен минимум знаний, который стал бы обязательен для всех учащихся, мне кажется в принципе разумной. Но посмотрим, чем все это обернулось для преподавания литературы?

Итак, вот этот самый стандарт по литературе. Среди прочих методов, которыми будет измеряться «обязательный уровень подготовки по литературе», — «оценивание ответов учащихся способом сопоставления с эталонным ответом, предусматривающим как различные допустимые толкования содержания вопроса, так и вариативность словесного его выражения» (про язык я уж не говорю!). Значит, при словесном выражении еще могут быть всякие там варианты, но при толковании — только допустимые. Одна моя знакомая заклинала сына перед экзаменом: «Только никаких своих мыслей!» Выходит, была права.

Приводится и образец сопоставления с этим самым эталоном: «Например, ответ на вопрос к фрагменту сказки-были М. Пришвина «Кладовая солнца»: «Что в поведении Насти привлекает и что, на твой взгляд, заслуживает осуждения?» — сопоставляется с таким эталоном: «В Насте привлекает трудолюбие, увлеченность делом. Достойны осуждения жадность, черствость, равнодушие к брату». Но возможно использование любых синонимов этих нравственных понятий. Допустимо, если один из этих мотивов поведения Насти раскрывается неподробно».

Нет-нет, вы только подумайте: спрашивают ученика, что тебя привлекает и что, на твой взгляд, заслуживает осуждения, и сопоставляют ответ с заранее известным эталоном! Это, как говорится, мы уже проходили. Помню, как во время моей работы в Московском городском институте усовершенствования учителей в семидесятые годы мне пришлось защищать ученицу (и, естественно, ее учительницу), которой по настоянию школьной администрации за отличное экзаменационное сочинение по курсу восьмилетней школы поставили «три»: свое сочинение на тему «Мой любимый литературный герой» она написала о персонаже повести американца Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Что и говорить — и страна не та, и писатель не наш, а главное, герой совсем нам чуждый. Все возвращается на круги своя. Хорошо еще, что теперь разрешены «варианты словесного выражения». Как говорится, за что боролись...

Сей прожект о введении единомыслия на уроках литературы в России заканчивался на обнадеживающей ноте: «Полностью система проверочных работ разных типов будет представлена отдельным изданием». Можно точно предугадать, чем бы все это обернулось: ни Чехова, ни Блока, ни Толстого, ни Ахматову учащиеся уже и не пытались бы постигнуть, а готовились бы только к ответам на эти самые проверочные вопросы, сверяя с ними каждый мысленный шаг и опасаясь выйти за пределы допустимого и разрешенного.

Мне уже приходилось выступать по этому поводу в печати. И ставлю себе в заслугу, что вскоре умопомрачительный документ сей решили дезавуировать: объяснили, что это лишь проект, требующий обсуждения. Объяснили задним числом, а вначале он фигурировал как документ, «на основе которого будут создаваться программы и учебники». Но так или иначе, в этом «проекте» словно в капле воды отразилось лицо нашей казенно-догматической педагогической методики, у последней сквозь наложенные «демократические» румяна проступают старческие морщины прежней идеологии.

Впрочем, не стоит думать, что сугубо «прагматический», новый подход к литературе, когда вместо идеологии во главу угла ставится галочка-отметка, необходимая для дальнейшего карьерного продвижения, — сугубое изобретение «молодой российской демократии». Нет, мы заимствуем его у той цивилизации, к которой пошли на выучку в посткоммунистическую эпоху.

С. Фридман в книге «Маленькие победы», публиковавшейся у нас в газете «Первое сентября» в 1994 году, рассказывает об образцовой американской учительнице Джессике Сигл. Вот ее ученики пишут сочинение на тему: «Ваши ожидания». И среди других: «Мое главное желание — выучить все необходимое по литературе и сдать экзамен». А вот и сама Джессика внушает своим ученикам мысль о необходимости занятий литературой: без экзаменов по литературе выпускной диплом как бы диплом второго сорта. Во всяком случае, «именно так воспринимают такие дипломы в колледжах и при попытке устроиться на хорошую работу». Но «Джессика убеждает учеников, что она сможет подготовить их к экзаменам по литературе». Не правда ли, знакомая картина — литература для экзаменов, для поступления?

Но, естественно, причины здесь, как и у нас, не просто чисто учебные. В книге «Судьба человека в современном мире» Бердяев с горечью говорит об обществе, где «нет социального заказа на высшую качественную культуру», а потому «духовная энергия переключается и направляется на предметы совсем не духовного порядка». Об этом перенесении духовной энергии на предметы совсем не духовного порядка (а именно это мы и видели на частном примере преподавания литературы), о прагматизации духовности, утилитаризации культуры и знания писали многие философы XX века.

Э. Фромм в книге «Иметь или быть?» (М. 1990) на большом материале показал, что и такие, казалось бы, чисто духовные начала, как обучение, чтение, овладение знаниями, могут выступать в качестве принципов обладания и потребления. Говоря в этой связи об изучении студентами философии, Фромм пишет, что «студентов учат читать книгу так, чтобы они могли повторить основные мысли автора». И «так называемые отличники — это учащиеся, которые способны наиболее точно повторить мнение каждого из философов... Они не учатся мысленно беседовать с философами, обращаться к ним с вопросами...». И вообще «существующая система образования, как правило, направлена на то, чтобы научить людей приобретать знания как некое имущество».

Вопросы преподавания литературы — это не частные вопросы школы, системы и стиля преподавания. Это драматичная часть глобальной проблемы — проблемы дегуманизации гуманитарности, прагматизации и коммерциализации культуры. А поскольку через школьные занятия проходят все вступающие в жизнь поколения, то, заостряя, можно сказать: от того, как мы преподаем литературу сегодня, зависит, какой будет завтрашняя Россия.

Требуется мудрая и оперативная переориентация всех целевых установок преподавания.

В каком направлении она может происходить — следует из опыта учителей, которым свое дело не безразлично. Проиллюстрирую маленьким примером.

В опубликованном проекте госстандарта по литературе среди других способов измерения уровня усвоения предмета предлагается следующее: «Прочитайте фрагмент из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (сон Раскольникова, часть первая, глава V, от слов... и до слов...). Раскройте идейный смысл и художественное своеобразие этой сцены, укажите ее значение для романа».

Не будем здесь обсуждать казенный язык с его «идейными смыслами» и «художественным своеобразием»: клишированная терминология — родимое пятно идеологии, которое в одночасье не выведешь. Сейчас о другом. К сну студента-убийцы обращается каждый учитель, когда проводит уроки по роману: без него невозможно понять Раскольникова. И когда мы говорим об этом сне, мы апеллируем к мыслям и чувствам учеников. Нужно ли все это еще раз повторять?

Возможен ли здесь принципиально иной подход? Да. После урока, на котором мы говорили о сне Раскольникова, предлагаю учащимся два задания.

Первое: в кинофильме Льва Кулиджанова «Преступление и наказание» (1970) этот сон заменен на другой, с которого и начинается картина: Раскольников убегает от полицейских, его вот-вот схватят, он бежит из последних сил и в тот момент, когда, казалось бы, его должны схватить, в ужасе просыпается. Влияет ли замена сна из романа на сон из кинофильма на раскрытие образа Раскольникова? Отличаются ли эти сны?

Я проводил эту работу два раза — сначала в трех десятых классах и через два года еще раз в трех других десятых классах. Не справлялись с заданием один-два человека. Остальные шли в верном направлении: «В романе способность почувствовать боль другого. В фильме страх за себя»; «Здесь его не мучает совесть»; «Во сне фильма не душа говорит, а убийца, которого поймали, и ему жаль не совершенного, а того, что придется отвечать»; «Во сне о лошади страх перед заповедью Бога «Не убий!». А сон о погоне — это страх перед тюрьмой, которая ему грозит»; «Вместо „Не убий!“ — „Не попадись!“»; «В фильме Раскольников мельче. Вместо мук совести — страх наказания и тюрьмы».

Когда я впервые предложил второй вопрос, то думал, что на него или вообще никто не ответит, или ответят один-два человека. Но ответили (и продолжают отвечать) очень многие.

Вот этот вопрос: у Пушкина в стихотворении «Воспоминание», у Некрасова в «Рыцаре на час», как мы видели, голос совести особенно явствен во время бессонницы, «в часы томительного бденья». Тема эта — жестокой бессонницы, беспощадной памяти, угрызений совести, мучительных дум о прожитой жизни — одна из сквозных тем русской литературы. Мы встретимся с ней и в произведениях Чехова, и в стихах Блока о муках бессонной ночи, когда «вся жизнь, ненужно изжитая, пыталась, унижала, жгла...». И только у Раскольникова голос совести звучит не во время бессонницы, а во сне. Почему?

Несколько ответов: «Бодрствуя, он думает, что его теория — аксиома. И у совести остается время для укорения только во время сна»; «Во сне он не может возражать голосу совести»; «Во сне, когда сознание «отключено», совесть ему подсказывает нравственный выбор»; «Совесть приходит к нему во сне, когда он ни о чем не думает, и потому она без помех терзает душу Раскольникова»; «В жизни Раскольников может найти себе оправдание. А во сне он не думает, там нет места рассудку, там говорит душа, совесть».

Глубокие, интересные ответы, свидетельствующие о духовной самостоятельности!

...Часто темы сочинений при поступлении в вузы даются, как говорится, на «засыпку», с одной стороны, далеко выходят за границы школьных программ, а с другой — вместо оригинальности мышления требуют шпаргалок, заготовок, привилегированной натренированности с репетитором.

Ибо о каком процессе «творить умственно, производить духом, силою воображения» (так определяет Даль с о ч и н е н и е) можно говорить, когда при поступлении в МГУ даются, скажем, такие темы: «Образ автора-повествователя в „Капитанской дочке“» или «Жанровые особенности „Героя нашего времени“»?

Боюсь, что те, кто изобретает темы для школьных и вступительных сочинений, в большинстве случаев сами с ними не справились бы.

Летом 1994 года я выпускал три одиннадцатых класса. Один из них я вел с девятого, два других взял в десятом. При всех просчетах, неудачах у меня было все-таки чувство удовлетворения. Во всяком случае, изучение русской классики, как мне казалось, вызывало интерес, и я прочел немало живых сочинений о русской литературе XIX века. Был уверен, что многие будут и на экзаменах писать о классике прошлого столетия. Не написал ни один. И не по своей, ученической, и не по моей, преподавательской, вине. А просто сверху спустили: «Тема дороги в творчестве Н. В. Гоголя» и «Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева. (Тему формулирует учащийся.)». Первую тему придумал какой-то безымянный поклонник Ю. М. Лотмана, покойный профессор писал об этом работу. Но ни в одной программе, даже той, что предназначена «для школ и классов с углубленным изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля», — об этом ни звука.

О Тютчеве же в учебном пособии для 10-го класса вовсе нет главы. Чему удивляться, что темы оказались десятиклассникам не по силам?

В своих статьях и книгах¹, опираясь на работы замечательного педагога-теоретика Марии Александровны Рыбниковой 20 — 30-х годов, я много пишу о школьных сочинениях и их проблематике. Никто не возразил по существу, мои соображения попросту игнорировались.

А ведь еще К. И. Чуковский предупреждал: «Классные сочинения, в которых школьники наперекор своим подлинным мыслям и чувствам привыкают переска-

¹ Айзерман Л. С. Школьник пишет сочинение. М. 1977; Айзерман Л. С. Сочинение о сочинениях. М. 1986.

зывать бездушно казенные фразы учебников, в конце концов приводят детей и подростков к уверенности, что говорить и писать следует не о том, что думаешь, а о том, что полагается по школьной программе... От таких, казалось бы, невинных истоков начинается цепная реакция двуличия, вероломства, ханжества».

И то, что теперь приходится заучивать казенные мысли уже не о Пелагее Ниловне, а об Иване Денисовиче, не утешает, а кажется еще большим нравственным кощунством, ибо там была «партийная литература», а здесь — национальный шедевр о большевистском концлагере.

Сочинение должно проверять, чему человек научился, а не что выучил.

Позволю еще пример из моего школьного опыта. Вот тема, которую я предлагаю при изучении «Войны и мира» уже тридцать лет.

«Для критики искусства, — справедливо заметил Лев Николаевич, — нужны люди, которые бы показали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений». «Закон сцепления» — объективный закон бытия художественного целого, а потому и необходимый путь познания целого. Осмыслению сцеплений помогает и сочинение.

Князь Андрей Болконский возвращается из Отрадного и видит преображенный, воскресший к новой жизни старый дуб. «Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, и луна — все это вдруг вспомнилось ему». Но почему рядом оказались Пьер на пароме и девочка, взволнованная красотой ночи? И как это понять: мертвое укоризненное лицо жены и... лучшие минуты жизни? Так возникает тема сочинения: «Лучшие минуты жизни Андрея Болконского». Дома ученики перечитывают все те сцены, которые вспоминает Андрей Болконский, и через неделю уже в классе пишут сочинение. При этом все эти сцены, кроме возвращения Болконского после ранения и смерти его жены, были предметом нашего размышления на уроках. Найти то, что эти эпизоды объединяет, и объяснить, почему среди лучших минут жизни Андрея Болконского мертвое укоризненное лицо жены, и должны ученики. Сочинение, таким образом, предстает как задача для постижения, как проблема для исследования, оно требует открытия нового, о чем на уроках мы не говорили.

Вот как неординарно порою мыслят школьники:

«Много раз приходилось Андрею Болконскому разочаровываться в своих убеждениях, искать правильный путь, находить его, потом снова терять и опять искать новую дорогу жизни. Минуты, в которые в его жизни происходил перелом, были лучшими минутами его жизни»; «В эти лучшие минуты жизни Андрей Болконский начинает видеть мир другими глазами. На Аустерлицком поле он хотел, чтобы его „возвратили к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь“. После свидания с Пьером для князя Андрея „началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь“. А вот ночь, проведенная в Отрадном: „В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни...“»; «Лучшие минуты жизни Андрея Болконского — это минуты, когда он как человек становится лучше»; «Минуты, в которые он освобождается от чего-то ничтожного и суетного в себе, находит в себе что-то самое высокое и лучшее, ради чего стоит дальше жить».

Тогда становится понятным, почему среди лучших минут жизни Андрея Болконского мертвое укоризненное лицо жены. Но каждый год кто-нибудь из ребят обязательно сделает роковую ошибку: среди лучших минут жизни Болконского назовет не мертвое укоризненное лицо жены, а... смерть жены. И еще одна постоянно встречающаяся ошибка: у Толстого — лучшие минуты жизни, нередко же пишут — счастливые минуты жизни. Когда обе эти ошибки соединялись, то можно было прочесть и такое: «Вторым моментом счастья, как ни странно, оказалась трагическая кончина его супруги. Сама жизнь выручает его». «Колов» я за такие сочинения не ставлю, но авторам их приходится писать новое сочинение на аналогичную тему.

Однако такого рода ответы все же исключение. Большинство же понимает главное: «Когда он увидел ее страдающей, в нем невольно шевельнулось нежное чувство к ней, и он впервые назвал ее «душенька моя». Сознание вины в ее стра-

даниях и смерти («„Я вас всех люблю и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали?“ — говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо»), нежное чувство к ней, охватившее его, — это был порыв истинных и подлинных человеческих чувств, которые он впервые испытал к жене со времени женитьбы»; «Мы видим перед собой нового, удивительного для нас князя Андрея. Жене, от которой он раньше, хмурясь, отворачивался в салоне Шерер, у которой он „учтиво, как у посторонней“, целовал руку, князь Андрей говорит „душенька“, „слово, которое никогда не говорил ей“»; «Не случайно вспомнилось ему не просто мертвое, но «мертвое укоризненное лицо жены». Не случайно в разговоре с Пьером о жизни и смерти князь Андрей говорит: «Видишь дорогое тебе существо... перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться (князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся), и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть...» Ведь это о жене, о маленькой княгине».

Почти в каждом классе несколько человек видят, что лучшие минуты жизни Андрея Болконского — это минуты преодоления человеческой разобщенности. «Эти минуты помогают князю Андрею понимать других»; «В них — стремление к людям, любви, пониманию чужой боли»; «Каждый раз он переступает порог между собственным я и чужими *они*».

Одна старшеклассница обратила внимание на то, что «все эти минуты связаны с тем, что происходит в *душе* (здесь и далее курсив — автора сочинения. — Л. А.) Андрея Болконского. На поле Аустерлица он увидел Наполеона, «но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его *душой* и этим высоким, бесконечным небом». Находясь возле умершей маленькой княгини, он почувствовал, что «в *душе* его оторвалось что-то». После разговора с Пьером «что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его *душе*». Ночью в Отрадном «в *душе* его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд...»

Ю. М. Лотман вспоминал, как принимал экзамен по введению в литературоведение Г. А. Гуковский: «Он не спрашивал никакой теории по введению в литературоведение, а дал список текстов, который каждый должен проанализировать».

Хорошо помню, как мы сдавали экзамен по введению в языкознание Александру Александровичу Реформатскому. Раздав билеты, он надолго уходил. Можно было открыть записи лекций, учебник самого Реформатского, говорить друг с другом. Но все это было бесполезно. Реформатский предлагал небольшой текст и на нем проверял понимание абсолютно всего курса.

Когда тема экзаменационного сочинения не присылается мне сверху в запечатанном конверте, высосанная из пальца теоретиком-небожителем, я предлагаю, к примеру, такие задания: размышления о небольшом рассказе Чехова, который специально не изучался. А ученикам девятого класса, в программу которого входит «Гамлет», предложил сочинение-сопоставление блоковского «Я — Гамлет. Холодеет кровь...» и цветаевского «Диалога Гамлета с совестью».

Раздаются — и становятся все слышней — голоса, что сочинения устарели как таковые, что следует заменить их просто проверкой на грамотность (диктанты) и — на знания (тесты). Убежден: это будет еще один удар по нашей культуре, нашему будущему. Да, общество обрело невероятную — по сравнению с коммунистическими временами — свободу. Но во благо ли такая свобода, которая опреснила и обескровила великие традиции и заветы нашей литературы?

Да, еще недавно о свободе можно было только мечтать. Но неужели столь чаемое, оплаченное столь дорогой ценой освобождение, в конце концов, только усугубит нравственную и духовную деградацию общества? Наши школьники превратятся в зомби массовой культуры и потребительской цивилизации, уроки литературы станут... факультетом ненужных вещей, а школьные сочинения милым анахронизмом?

Л. АЙЗЕРМАН.

КОРОТКО О КНИГАХ



І. ЕЛЕНА ШВАРЦ. Песня птицы на дне морском. СПб. «Пушкинский фонд». 1995. 87 стр.

...Стихотворение, давшее название книге, пожалуй что и самое в ней причудливое, завораживающее.

Птица скользит под водами,
Гнет их с усилием крылами.

И поет

Глухим придонным рыбам
О звездах над прудом,
О древней коже дуба
И об огне свечном,

И о пещных огнях,
Негаснущих лампадках,
О пыли мотыльков,
Об их тревоге краткой,
О выжженных костях.

Как все неожиданно и строго логично, как один образ зовет за собой другой, разом и точно названный и загадочный, получающий после очередного рефрена-двустипа страшное незабываемое продолжение: «Спой, вцепясь в костяное плечо, / Утопленнику про юдоль, / Где он зажигал свечу». От стихотворения невозможно «отделаться», трудно не цитировать дальше. Подводные обитатели не верят залетной птице, но

Поверит сумрачный конек —
Когда потонет в круглой шлюпке,
В ореховой сухой скорлупке
Пещерный тихий огонек, —
Тогда поверит морской конек.

Вот стихи, каких не придумаешь: они возникают с а м и.

...Качество стихотворения напрямую зависит от интенсивности поступающего к поэту-медиуму «сигнала». Воздушный поток настоящего вдохновения легко удерживает и алогизм, и даже формальное неряшество — их просто не за-

мечаешь. Энергия, продиктовавшая текст, не остывает, не ослабевает во времени.

Тогда как текст рукотворный — а не ниспосланный — нуждается в совершенной отделке, дабы не оказаться попросту дребеденью. Одним словом, что легко прощается стиху медиумическому, не сходит с рук стиху, добытому исключительно волей автора.

У Елены Шварц «принимающая система» на очень высоком уровне, есть строфы, есть стихи, чья ниспосланность очевидна. Сюрреализм Шварц в высших своих достижениях не рационален, а... так выпелось. И сбой ритма внутри стиха, нагромождение образов и смесь размеров имеют органическое происхождение. Интонационная нюансировка — переливчатая, неоднозначная. (Стихотворение «Три царя на рождественском базаре» имеет, например, посвящение: «Г. Гейне — с упреком — зачем он с топором напал на трех волхов», — ироничное, таинственное и очаровательное разом.)

Стихи 1994 — 1995 годов — включенные в новую книгу — свидетельствуют, что ее поэзия жива не старым подкожным жирком, а полна свежими соками. Больше стало стихов коротких, в формальном отношении «обозримых». Страшные события наших дней вписываются в мировой культурный и трагедийный контекст, современность словно прописана старыми мастерами. «На первое погребение Гамсахурдиа», «Зарубленный священник» («Священник, погибший при начале конца, / Похожий на Люцифера и Отца, / Немного светский и слишком деятельный, / Но избранный в жертву...») — стихи, чья точность со сложным фантастичным оттенком:

Лирическая героиня Елены Шварц — одновременно эгоцентричная и самоотрешенная до юродства. Сочетание этих качеств и дает ту толику инфантилизма, что раздражает одних и очаровывает других. Во всяком случае, это у нее родовое, от которого поневоле — с годами — приходится избавляться.

В замечательном своей исповедальной обнаженностью стихотворении об этом так говорится: «Как стыдно стариться — / Не знаю почему, / Ведь я зарок не давала / Не уходить в ночную тьму, / Не ускользать во мрак подвала, / Себе сединами светя, / Я и себе не обещала, / Что буду вечное дитя». И заключительное вопрошание: «Я знаю — почему так больно, / Но почему так стыдно, стыдно?»

Это происходит мужание, умудрение облика, образа, сути. Что, понадеемся, в свою очередь, обернется новым и сильным стихотворным плодоношением.

II. ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Сапозок. Книга итальянских стихов. М. Изд-во «ПАН». 1995. 71 стр.

Поэзия Евгения Рейна, которая человеку, отравленному причудливостью современной словесности, может показаться чересчур уж бытописательной, напоминающей ритмизированный физиологический очерк, есть на деле высокая поэзия человеческих, временных и культурных связей. Десятилетия, начиная с 50-х годов, полифонично там уживаются, сберегая для потомства множество драматичных судеб и милых сердцу подробностей. С настойчивостью влюбленного в жизнь фанатика Рейн выуживает и выуживает из Леты и увековечивает словесно все то, что без него было обречено на забвение. Сам натурализм Рейна — на деле не натурализм, а ненавязчивая повсеместная поэтизация быта за счет его словесного претворения. Стихосложение — суть жизнедеятельности поэта, тут его родина, его религия, его оправдание. Retro и современность нерасторжимы в его бытописательских медитациях; их герой, то напористый, то немножко нелепый, — «вечный командировочный» (определение Бродского), но командировка — жизнь.

И впрямь, еще в советские годы где только не побывал поэт, чего не повидал; Москва и Питер при том освоены им поровну. Благодаря бескрайности нашей родины путешествия последних лет вряд ли удлиннились по протяженности, но их конечные пункты сделались экзотичнее: Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Осло и проч. То, что другим сверстникам Рейна, поэтам-популистам оттепельной плеяды, было доступно еще и под коммунистами, пришло к Рейну со значительным запозданием. Но — пришло и дало новые

лирические энергии. Ибо, что и говорить, впечатление для поэта — изрядный допинг.

И вот — Милан, Флоренция, Венеция, пьяцца Барберини в Риме. Это второй объемный цикл русских «итальянских стихов» за последние годы, обворожительные «Римские элегии» Бродского (1982) ему предшествуют.

Так хороша Италия — что тут не обойдешься без описательности: хочется как можно точнее фиксировать, а не деформировать реальность в угоду метафоричности. И, кажется, чем точнее опишешь — тем и будет стихотворение лучше. И «волны, подсвеченные вечерним небом», и «золотой шар с языческим богом», и «живопись халтурщика Тинторетто, / исписавшего четыреста километров квадратных», наконец, «рыбный рынок с угрем и лангустом» — мнится, только не упusti подробности — и все чуть не автоматически преобразится в поэзию. Старая Европа благородной красотой своей в сочетании с комфортом и сервисом конца XX века сразу празднично повышает жизненный тонус приехавшего отсюда — вот и в итальянских стихах Рейна словно играют бесчисленные пузырьки озона. И даже когда он просит прощения у Господа Бога, к раскаянию чуть заметно примешивается восторженность от того, что все это происходит в Риме:

Прости за то, что, слабый, старый,
я не всегда открыт Тебе,
за то, что голос небывалый
не царствовал в моей судьбе.
За то, что не всегда воочью
Ты предстоял передо мной.
Прости, что засыпал я ночью,
а днем и вовсе был не Твой.

...Но органическая ненасильственность стихового потока, продиктованная путевым возбуждением, имеет и свои минусы. Хочется порой большей сложности в преодолении материала; вспоминаются такие рейновские удачи, как «Минчковская Ася Казимировна» (1977), и другие его доперестроечные, тогда заведомо обреченные на самиздат вещи.

...Что и говорить, та цеховая, почти «орденская» посвященность, то, забывающееся уже ныне, ощущение миссии, какое было у нас, поэтов-подпольщиков, в прежней тоталитарной действительности, оказались для поэзии очень небесполезны. Теперь приходится больше дергаться и выкручиваться, чем раньше, чтобы быть на плаву и не зате-

Англия: «Эта страна для меня чрезвычайно дорога. Прежде всего из-за языка. Из-за духа индивидуальной ответственности... дух, совершенно противоположный отечественному мироощущению».

Голландия: «Голландия есть плоская страна, переходящая в конечном счете в море». Плоскость, тоска по вертикали.

Франция: «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» — единственное сочинение Бродского об этой стране. Да и то посвящено опять-таки шотландской королеве. Отношение к Франции во многом неприязненное. Бродский считает ее страной декоративной культуры. Хотя для него и там есть замечательные места — они связаны более с морем.

Италия не зря выделена в особую часть книги. Стихи о ней больше прочих насыщены деталями городского ландшафта, архитектуры, что делает их порой поэтическим путеводителем. Вместе с тем они наиболее витальны и программны, будь то «Пьяцца Маттеи» начала 80-х или «Лагуна» 1973 года. «Стишок» — как его называет поэт — раскручивается вместе с желанием взять нотой выше, отсюда пафос. Самые наглядные метаморфозы времени тоже в Италии. Время воплощается в туман, в воды лагуны, в вечный город — «центр циферблата». Как замечает Вайль, «чаще всего время у Бродского отождествляется с тремя материальными субстанциями, общее у которых — способность покрывать пространство. Это пыль, снег и вода». Своим обилием снег поражает в Америке, вода — в Венеции, ну а пыль — везде. К слову сказать, содержательное послесловие Вайля так и называется: «Пространство как время».

Из автокомментариев можно узнать еще много попутного: о механизме посвящений стихотворения, например; о круге знакомых поэта, мало, впрочем,

задевающим любезное отечество; какие-то личные подробности, свойственные жанру интервью, из которого, однако, вычеркнуты вопросы. Кстати, особенность эта производит какое-то странное впечатление загробного, что ли, говорения — голоса ниоткуда.

Успех «Пересеченной местности» у нас — при малом (5000 экз.) тираже и дороговизне — я объясняю извечной нашей тоской по странствиям, то есть все тем же — отечественным — мироощущением. Ведь еще Чаадаев сказал, что «в домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников...»; тут Бродский воплотил наши смутные чувства. Впрочем, в стихах Бродского много и российских реминисценций. Вопрос здесь не в том, что хуже, а что — лучше: автор давно считает себя жертвой географии, а не истории. Вопрос ставится только насчет возвращения. Куда — в Россию? В этом смысле Бродский не Одиссей. Но ведь и Россия — давно не Итака...

Глеб Шульпяков.

Р. С. Эта коротенькая рецензия дебютанта — молодого поэта и журналиста — на последнюю, как оказалось, прижизненную книгу Иосифа Бродского была сдана в набор, а через несколько дней мы услышали, что Одиссей окончил земное странствие, так и не вернувшись в свою Итаку.

Но с телевизионного экрана, донесшего эту весть, тут же прозвучало: «Ни страны, ни погоста / Не хочу выбирать. / На Васильевский остров / Я приду умирать». И почудилось, что так оно и есть — что поэтическое слово, слово такого поэта, реальнее жизненного факта...

И. Р., С. К.

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Г. Бакланов. И тогда приходят мародеры. Роман, повести, рассказ. М. «Книжная палата». 1996. 478 стр. 15 000 экз.

Дворянских гнезд заветные аллеи. Усадьба в русской поэзии. Составление, вступительная статья Л. И. Густовой. Художник А. Б. Цирков. М. «Книга». 1995. 222 стр. 5000 экз. Формат 75 × 99 мм.

Сергей Довлатов. Малоизвестный Довлатов. Составление и подготовка текстов А. Ю. Арьева. СПб. «Журнал „Звезда”». 1995. 512 стр. 15 000 экз.

Борис Евсеев. Шестикрыл. Книга стихов. Алматы. Издательский дом «Жибек жолы». 1995. 134 стр.

Первая книга стихов московского поэта и прозаика. Предисловие Владимира Леоновича.

Б. Зайцев. Дни. Составление, подготовка текста, примечания А. К. Клементьева. Москва — Париж. «УМСА-Press» — «Русский путь». 1995. 480 стр. 3000 экз.

Геннадий Калашников. С железной дорогой в окне. Стихотворения. М. «Книжный сад». 1995. 128 стр. 2000 экз.

Бахыт Кенжеев. Стихотворения. М. «ПАН». 1995. 256 стр. 2000 экз.

Р. Киплинг. Бремя Белых. Сборник. Перевод с английского К. Симонова и других. Составление, послесловие А. Зверева. М. «Панорама». 1995. 414 стр. 15 000 экз.

Нина Краснова. Семейная неидиллия. Стихотворения. М. «ЛАВ». 1995. 120 стр. 5000 экз.

Новая книга московской поэтессы. Своеобразный вариант воскрешения средствами современного стиха народной традиции озорной «раёшной» поэзии, посвященной взаимоотношениям мужчины и женщины.

Легкое дыхание. Русская любовная проза начала XX века. (И. Бунин, Л. Андреев, А. Куприн, А. Даманская и другие). Составители: А. Н. Николукин, А. Н. Гиривенко. М. «Инфосерв». 1995. 320 стр. 20 000 экз.

Суэта суэт. Пятьсот лет английского афоризма. Составление, предисловие, перевод А. Ливерганта. М. «Руссико», «Редакция газеты „Труд”». 1996. 350 стр. 20 000 экз.



М. С. Альтман. Разговоры с Вячеславом Ивановым. Составление, подготовка текстов В. А. Дымшица, К. Ю. Лаппо-Данилевского. СПб. «ИНАПРЕСС». 1995. 368 стр. 2000 экз.

Н. Апчинская. Марк Шагал. Портрет художника. М. «Изобразительное искусство». 1995. 208 стр. 10 000 экз.

А. Бенуа. История русской живописи в XIX веке. Составление, вступительная статья, комментарии В. М. Володарского. М. «Республика». 1995. 448 стр. 15 000 экз.

Дмитрий Волкогонов. Семь вождей. Галерея лидеров СССР. В 2-х книгах. М. «Новости». 1995. 30 000 экз.

Книга 1. Владимир Ленин. Иосиф Сталин. Никита Хрущев. 495 стр.

Книга 2. Леонид Брежнев. Юрий Андропов. Константин Черненко. Михаил Горбачев. 479 стр.

- Наталья Гончарова. Михаил Ларионов.** Воспоминания современников. Сборник. Составление Г. Ф. Коваленко. М. «Галарт». 1995. 168 стр. 5000 экз.
- Сборник включает книгу Марины Цветаевой «Наталья Гончарова. (Жизнь и творчество)», впервые опубликованные воспоминания о Ларионове Сергея Романовича, отрывки из мемуаров Бенедикта Лившица, Михаила Фокина, Валентины Ходасевич, Юрия Анненкова, Нины Берберовой и других.
- Г. Иоффе.** Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М. «Наука». 1995. 238 стр. 3000 экз.
- Н. О. Лосский.** Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. Составитель А. П. Поляков. М. «Республика». 1995. 400 стр. 11 000 экз.
- А. Мамаев.** Жизнь и творчество Велимира Хлебникова. Библиографический справочник. Астрахань. Астраханская картинная галерея им. Б. М. Кустодиева. 1995. 88 стр. 3000 экз.
- Жозеф де Местр.** Петербургские письма. 1803 — 1817. Составление, перевод, предисловие Д. В. Соловьева. СПб. «ИНАПРЕСС». 1995. 336 стр. 2000 экз.
- С. С. Неретина.** Верующий разум. К истории средневековой философии. Архангельск. Изд-во Поморского международного педагогического университета. 1995. 368 стр. 2000 экз.
- Орнамент всех времен и стилей.** В 4-х книгах. Альбомы подготовлены на основе издания А. Ш. А. Расине 1873 — 1876 гг. Книга 1. Перевод А. И. Ильф. М. «Арт-Родник». 1995. 132 стр. 1000 экз.
- Псалтырь в русской поэзии XVII — XX вв.** Составление, подготовка текста, вступительная статья, примечания Б. Н. Романова. М. «Ключ». Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1995. 382 стр. 15 000 экз. Формат 80 × 96 мм.
- Станислав Рассадин.** Русские, или Из дворян в интеллигенты. М. Изд-во «Книжный сад». 1995. 448 стр. 5500 экз.
- Книга «о том, кто мы с вами. Откуда вышли. Как шли». Этюды о «русском характере». Двадцать семь эссе о художниках, музыкантах, писателях — от Фонвизина до Чехова. Каждый из персонажей, по замыслу автора, воплощает одну из черт русской интеллигенции. «Лукавый дедушка, или Русский лентяй (Иван Крылов)», «Искусство быть несчастливым, или Русский меланхолик (Петр Вяземский)» и т. д.
- Расстрельные списки.** Выпуск 1. Донское кладбище. 1934 — 1940. М. «Мемориал». 1993. 204 стр. 5000 экз.
- Расстрельные списки.** Выпуск 2. Ваганьковское кладбище. 1926 — 1936. М. «Мемориал». 1995. 304 стр. 2000 экз.
- Два сборника, подготовленные обществом «Мемориал» (над изданиями работали В. Тиханова, И. Орлова, Н. Петровская, Я. Рачинский, А. Рогинский), содержат списки лиц, расстрелянных по политическим обвинениям и похороненных на Донском кладбище (выпуск 1) и на Ваганьковском (выпуск 2). Указаны полное имя погибшего, краткие биографические сведения, дата ареста, официальная формулировка обвинения и фотография, сделанная тюремным фотографом.
- Ж.-Ф. Ревель.** О Прусте. Размышления о цикле «В поисках утраченного времени». Перевод с французского Г. Р. Зингера. М. «ЗНАК-СП». 1995. 192 стр. 5000 экз.
- Род и предки А. С. Пушкина.** Составление и предисловие О. В. Рыковой. М. «Васанто». 1995. 448 стр. 6000 экз.
- В сборник вошли исследования С. Б. Веселовского «Род и предки А. С. Пушкина в истории», М. О. Венгера «Предки Пушкина», П. И. Люблинского «Из семейного прошлого предков Пушкина», Н. К. Телетовой «История рода Ржевских». В Приложении — работа Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева «Пушкины. Родословная роспись».
- Русская философия.** Малый энциклопедический словарь. Редколлегия: А. И. Абрамов и другие. М. «Наука». 1995. 624 стр. 6000 экз.
- А. И. Солженицын.** Публицистика. В 3-х томах. Том 1. Статьи и речи. Составление, пояснения Н. Д. Солженицыной. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1995. 720 стр. 10 000 экз.
- С. М. Соловьев.** Император Александр I. Политика и дипломатия. М. «Мысль». 1995. 638 стр. 10 000 экз.
- Государственная Дума. 1906 — 1917.** Стенографические отчеты. Т. IV. М. Фонд «Правовая культура». 1995. 368 стр. 5000 экз.
- Ирина Сурат.** Жизнь и лира. О Пушкине. М. «Книжный сад». 1995. 192 стр. 3000 экз.

Л. Н. Толстой и П. В. Веригин. Переписка. СПб. Изд-во «Дмитрий Булавин». 1995. 109 стр. 1600 экз.

Шестнадцать писем Толстого в уточненной редакции, адресованные духобору Петру Васильевичу Веригину, и двадцать два письма Веригина, публикуемые впервые. Переписка велась с 1895 по 1910 год.

Ипполит Тэн. Философия Искусства. Живопись Италии и Нидерландов. Лекции, прочитанные в Школе изящных искусств в Париже. М. «Изобразительное искусство». 1995. 160 стр. 5000 экз.

Н. Удальцова. Жизнь русской кубистки. Дневники, статьи, воспоминания. Составители Е. А. Древина, В. И. Ракитин. Комментарии Е. А. Древиной, В. И. Ракитина, А. Д. Сарабьянова. М. Литературно-художественное агентство «РА». 1994. 244 стр.

Дневники и воспоминания разных лет («Дневник 1912 — 1913 гг.», «Дневник 1947 — 1961 годов» и др.); ответы на анкеты Надежды Андреевны Удальцовой (1886 — 1961). «Хроника жизни и творчества», библиография.

А. С. Феминицын. Скоморохи на Руси. СПб. «Алетейя». 1995. 536 стр. 2000 экз.

Составитель **С. Костырко.**



ПЕРИОДИКА



**«Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя»,
«Иностранная литература», «Куранты», «Литературная учеба», «Мария», «Москва»,
«Московский комсомолец», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета»,
«Октябрь», «Юность»**

Василий Белов. Бухтины вологодские завиральные (перестроечные). — «Наш современник», 1996, № 1.

Попытка войти дважды в одну реку. Помните старые, доперестроечные бухтины? Рассказчик тот же — бывший печник, потом колхозный пенсионер Кузьма Иванович Барахвостов. Персонажи: Гайдар, Козырев, Жириновский, Черномырдин и т. д. Цитата: «Мы и с Якуниным лоб в лоб встретились, — делится Барахвостов. — В бане. Обличьем больше похож на крысу, а в плечах ничего мужик... Он почал голову мылить, гляжу — рожки-то так и обозначились». Тоже юмор.

Владимир Березин. Прозаический цикл. — «Литературная учеба», 1995, № 5 — 6. «Память фотографии», «Осенью в Литве» и другие короткие рассказы тридцатилетнего прозаика, за которыми следует статья Аллы Марченко о его творчестве.

Иосиф Бродский. На стороне Кавафиса. Авторизованный перевод с английского Л. Лосева. — «Иностранная литература», 1995, № 12.

Эссе напечатано среди других материалов разных авторов, посвященных жизни и творчеству греческого поэта Константиноса Кавафиса (1863 — 1933).

Иосиф Бродский. Из трагедии Эврипида «Медея». — «Звезда», 1995, № 12.

Пролог и хоры из «Медеи» — в переводах нобелевского лауреата. Использованы в любимовской постановке «Медеи» в Театре на Таганке.

Игорь Виноградов. Любая правда есть приближение к истине. — Газ. «Куранты», 1995, № 189, 20 декабря.

Главный редактор журнала «Континент» — о покойном Владимире Максимове, о прошлом и настоящем журнала, о национальной идее.

Вячеслав Воздвиженский. Сочинитель и его двойник. — «Октябрь», 1995, № 12. А. Синявский и Абрам Терц.

Владимир Всеволодов. Записки советского «фашиста». Документальная повесть. — «Звезда», 1995, № 12.

Записки политзаключенного, задуманные и начатые еще в 1943 году во внутренней тюрьме Устьвымлага Коми АССР. В настоящее время автор живет в Санкт-Петербурге.

Александр Генис. Виктор Пелевин: границы и метаморфозы. — «Знамя», 1995, № 12.

В. Пелевин в сравнении с В. Сорокиным.

Илья Глазунов. Россия распятая. — «Наш современник», 1996, № 1, 2, 3, 4...

История России. Семейная хроника. Мемуары. Над этой книгой художник работал несколько десятилетий. Чтобы ускорить публикацию, редакция «Нашего современника» даже увеличила объем первого номера журнала за этот год.

Грэм Грин. Третий. Роман. Перевод с английского Константина Васильева. — «Звезда», 1995, № 12.

Роман был впервые опубликован в Англии в 1950 году. Автор в представлении не нуждается.

Борис Екимов. Память лета. Рассказы. — «Наш современник», 1996, № 1.

«У родника», «Хлебное поле», «Донская уха» — три новых рассказа. См. также его рассказы в «Новом мире» (1995, № 12; 1996, № 2).

Владислав Иванов. Театр «Габима» в Москве. На весах Иова. — «Знамя», 1995, № 12.

1917 — 1926 годы. Москва. Знаменитый еврейский театр (на иврите). История создания и «выдавливания» театра из СССР.

Владимир Славецкий. Среди пламени. — «Литературная учеба», 1995, № 5 — 6.
Статья о современной поэзии: Ю. Кузнецов, Г. Русаков, М. Шаповалов, С. Васильев и другие.

Алексей Слаповский. Братья. Уличный романс. — «Знамя», 1995, № 12.
Романс. Но в прозе. О свинцовых мерзостях жизни.

Алексей Слаповский. Гибель гитариста. Повесть. — «Звезда», 1996, № 1.
«В городе Саратове, на улице Ульяновской, в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое июля одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года, в два часа ночи, в саду собственного дома номер тридцать три был найден мертвым Денис Иванович Печенегин, сорока трех лет, гитарист...»

Александр Солженицын. Интервью для парижской газеты «Либерасьон». — «Звезда», 1996, № 1.

Интервьюер — Даниэль Рондо. Интервью было взято 1 ноября 1983 года и опубликовано в «Либерасьон» в декабре. Русский текст, воспроизведенный с оригинальной записи интервью, печатается в России впервые. Цитата: «В 9 лет я, понятия не имею почему, решил, что буду писателем. В 10 лет я прочел «Войну и мир» Толстого. Книга меня совершенно потрясла, именно вот этот формат исторический...»

Борис Споров. По грехам нашим. Роман. — «Москва», 1995, № 12.
Политзаключенные второй половины 50 — 60-х годов. Печатается в сокращении.

Мэлор Стуруа. Сапожки царицы Тамары. — «Дружба народов», 1995, № 12.
О Грузии советской и Грузии независимой. Гамсахурдиа и Шеварднадзе. «Грехопадение грузинской интеллигенции». Беспощадная национальная самокритика.

Юрий Трифонов. Для будущей хрестоматии по истории транспорта (не рассказ, а грустное повествование). — Газ. «Московский комсомолец», 1996, № 9, 17 января.
Неизвестный ранее рассказ 1942 года. Печатается в сокращении. Из семейного архива.

Марк Харитонов. Способ существования. Эссе. — «Дружба народов», 1996, № 2.
Главы из книги. «Эта книга в основном родилась — и продолжает рождаться до сих пор — из заметок, которые я веду много лет, чаще всего на мелких листках, напоминающих фантики, конфетные обертки...»

Хачилав. Спустившийся с гор. Хроника выживания. Предисловие и авторизованный перевод с лакского Игоря Волгина. — «Октябрь», 1995, № 12.
История «спустившегося с гор» молодого героя. Драматические реалии современного Кавказа. Скупая, аскетическая проза. Журнальный вариант.

Олег Чухонцев. Имя поэта. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск VI.
Речь на церемонии вручения Тимуру Кибирову Пушкинской премии, учрежденной Фондом Альфреда Тёпфера (октябрь 1993 года).

Сергей Шаповал. Диссидент-государственник. Беседа с Леонидом Бородиным. — «Независимая газета», 1996, № 14, 24 января.

Беседа с главным редактором журнала «Москва» (январь 1996 года). «Мы — единственный журнал, занимающий последовательно православную позицию, притом консервативную», — говорит Л. Бородин. Еще цитата: «Я прочитываю наиболее известные «толстые» журналы. Мне кажется, общей чертой современной прозы является размытость жанра. Сейчас практически не встретишь романа в его традиционной форме... Не владеют ею современные писатели — в отличие, скажем, от советских. Роман мог быть каким-нибудь партийно-индустриальным, хотелось плевать, но жанр выдерживался великолепно: разнообразие сюжетных связей, обязательное их переплетение, развязка, ничто не повисает, нигде нитки не торчат».

Владимир Шаров. «Мне ли не пожалеть...». Роман. — «Знамя», 1995, № 12.
Жанр: занимательная историософия. Роль скопцов в русской революции. Не хуже «Маятника Фуко» (что есть похвала небольшая или вообще не похвала).

Эдуард Шнейдерман. Бенедикт Лившиц: арест, следствие, расстрел. — «Звезда», 1996, № 1.

Петербургский поэт, литературовед, текстолог Э. М. Шнейдерман подробно и критически анализирует следственное дело Бенедикта Лившица, расстрелянного в 1938 году. Кроме него по тому же делу проходили В. О. Стенич, С. М. Дагаев, Ю. И. Юркун, В. А. Зоргенфрей. «Следственные дела и, в первую очередь, протоколы допросов и очных ставок — взрывоопасны, — считает исследователь. — И с ними, как со взрывчаткой, обращаться надо крайне осторожно. Доверять им как обычным документам, даже при наличии подписи допрашиваемого, нельзя».

Сергей Шумихин. «Здесь мы узнали простые и важные вещи...» Яков Черняк об Анне Ахматовой. — «Независимая газета», № 43, 5 марта.

Публикация дневниковых записей писателя Я. З. Черняка (1898 — 1955), общавшегося с Ахматовой в эвакуации в Ташкенте на протяжении двух летних месяцев 1942 года. В частности, Черняк приводит такой рассказ Вл. Волькенштейна: «Ахматову вывезли из Ленинграда на самолете. Ночью, по пути, самолет сел на секретном аэродроме. Ахматова в полной тьме вышла из самолета. «Где мы?» — обратилась она к еле уследимым силуэтам, возившимся возле машины. Естественно, ей никто не ответил: аэродром был секретный. «Где же мы?» — повторила она потерянно и отчаянно. Снова молчание. Ахматова заплакала» (запись от 14.VI.42).

Сергей Шумихин. Старик и сильфида. Письма Зинаиды Гиппиус к Алексею Суворину. — «Независимая газета», 1996, № 24, 7 февраля.

Два публикуемых письма З. Гиппиус к издателю А. Суворину извлечены из 26 сохранившихся ее писем за 1894 — 1908 годы (РГАЛИ). «Ах, милый Алексей Сергеевич, как ни странно сказать, а ведь все мы чувствуем, что жизнь выдвинула на первый план один главный вопрос. Не «еврейский», не «польский», не какой-нибудь другой, которыми мы раньше более или менее занимались: стоит перед всеми нами, так или иначе, «русский вопрос». И неизвестно еще, кем и как будет он разрешен...» (из ее письма 1907 года).

Ефим Эткинд. Очень долгий опыт. Беседу вела Надежда Рейн. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск VI.

Интервью известного литературоведа, живущего в Париже. Среди прочего: «Из толстых журналов по-прежнему читаю «Новый мир»...»

«Я пишу эти строки в дни величайших страданий...» Статьи И. А. Бунина 20-х годов. Вступительная статья, публикация, подготовка текстов и примечания О. Б. Василевской. — «Дружба народов», 1996, № 2.

Политическая публицистика Ивана Бунина 20-х годов — из эмигрантских газет «Общее дело», «Утро», «Слово» и других.

Алексей Яблоков. Если не сейчас — то когда? Заметки эколога. — «Нева», 1995, № 12.

«...экологическая угроза национальной безопасности оказывается для сегодняшней России более важной, чем любая внешняя угроза».

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Май

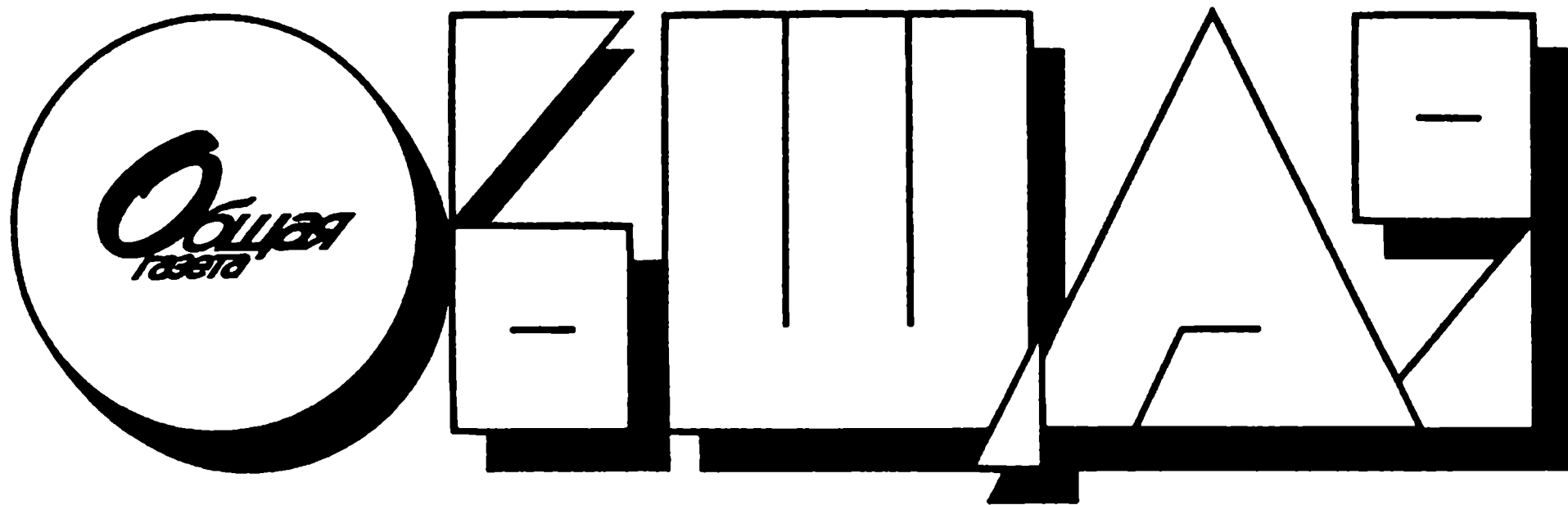
5 лет назад — в № 5 за 1991 год напечатаны статьи Александра Солженицына «На возврате дыхания и сознания», «Раскаяние и самоограничение», «Образованщина».

30 лет назад — в № 5 за 1966 год напечатана повесть Валентина Катаева «Святой колодец».

40 лет назад — в № 5 за 1956 год напечатан очерк Валентина Овечкина «Трудная весна» (из цикла «Районные будни»).

70 лет назад — в № 5 за 1926 год напечатано стихотворение Владимира Маяковского «Сергею Есенину».

**Если Вам не удастся начать новую жизнь
с понедельника — начните ее с четверга.
Тем более что в этот день к вам приходит**



Г А З Е Т А

Учредитель **ЕГОР ЯКОВЛЕВ**

Общественно-политический и мировоззренческий еженедельник для широкого круга читателей.

Три главных информационных блока — это три измерения, в которых мы живем.



— человек и гражданин — свободная личность в поисках себя.

Выходит на 16 страницах в черно-белом исполнении.



— из нас с вами состоит общество. **МЫ** разные, но у нас общие проблемы, общие радости и общая страна.

Имеет теле- и радиоприложения.



— от них зависит наша жизнь. **ОНИ** олицетворяют власть и государство. **МЫ** должны знать — каковы **ОНИ**.

Подписной индекс издания в каталоге «Роспечати»: 32138

Одно из старейших изданий в России.
Основана в феврале 1921 года.
Распространяется во всех регионах России и странах СНГ.
Ежедневная

ГАЗЕТА №1

по числу читателей.

Тираж в марте: ежедневный - 1.500.000, пятничный - 2.650.315.
По данным социологов, каждый номер читают в среднем 4 человека.

ТРУД

ИМЕЕТ САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ
КОРПУС СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

ЯВЛЯЕТСЯ
СОУЧРЕДИТЕЛЕМ
32 РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ
И ФИРМ
В РОССИИ
И СТРАНАХ
СНГ.

ГАЗЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ

Подписной индекс газеты:

50130

32068

(ежедневный выпуск, включая пятничный)
(только пятничный выпуск)

РОССИЯ, 103792, ГСП, МОСКВА, К-6,
НАСТАСЬИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 4.

Наш адрес:
Телефоны:
(095) 299-3906 - для справок,
(095) 200-0338 - отдел рекламы,

Факс:
(095) 200-0523, 299-4740.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ РЕДАКЦИЯ НАМЕРЕНА ОПУБЛИКОВАТЬ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЧАЕВА» - знаменитый роман испанца Хорхе Семпруна

«НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ» - роман американца Тима О'Брайена, ярчайшее событие последней Франкфуртской книжной ярмарки

«ПОКА МЫ ЛИЦ НЕ ОБРЕЛИ» - роман-миф англичанина Клайва С. Льюиса

«ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» - роман пишущего по-французски русского писателя Андрея Макина, в 1995 году удостоенный впервые в истории сразу двух главных литературных премий Франции - Гонкуровской и премии Медичи

«КОНИ, КОНИ...» - роман Кормака Маккарти, написанный в лучших традициях великой американской прозы

«АРХИПЕЛАГ» - бестселлер Мишеля Рио, одного из самых заметных французских писателей новой генерации

«КЛУБ РАДОСТИ И УДАЧИ» - роман американки Эми Тан, принесший писательнице громкий успех

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» - эссенстическую книгу Александра Гениса о современном искусстве

«СЕКТЫ-УБИЙЦЫ» - документальное исследование американца Джеймса Бойла

Фрагментами будут представлены только что вышедшие книги:

«ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ МАВРА» - роман, написанный Сальманом Рушди в подполье и ставший литературной сенсацией

«ДОРОГА В МИР» - блестящий роман вест-индского писателя В.С.Найпола

Готовятся специальные номера:

АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-х

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

ВОСТОК НА ЗАПАДЕ И ЗАПАД НА ВОСТОКЕ

Среди материалов, находящихся в портфеле редакции:

ИОСИФ БРОДСКИЙ. IN MEMORIAM

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ и ЛУ АНДРЕАС САЛОМЕ - большая публикация, приуроченная к 70-летию со дня смерти великого австрийца

Одноактные пьесы СЭМИЮЭЛА БЕККЕТА

ПАУЛЬ ЦЕЛАН и БРУНО ШУЛЬЦ в рубрике **БОРИСА ДУБИНА «Портрет в зеркалах»**

Новые главы книги **ПЕТРА ВАЙЛЯ «Гений Места»**: Верона — Шекспир, Севилья — Мериме; Мехико — Ривера, Буэнос-Айрес — Борхес; Венеция — Карпаччо, Виченца — Палладио

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. Подписной индекс 70394.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ОФОРМЛЕНА ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ, ЦЕНА НА ЖУРНАЛ НЕ ПОВЫШАЕТСЯ.

А если Вы имеете возможность получать номера в редакции, советуем подписаться прямо у нас - это надежнее и намного дешевле. Подписка в редакции будет производиться с 1 апреля до 1 июня ежедневно с 12 до 18 часов кроме пятницы и выходных. Адрес редакции: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»), телефон 233-51-47.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Semen Lipkin, Alina Vitukhnovskaya, Denis Novikov, as well as a wide selection of new poems by Iosif Brodsky.

We are publishing the beginning of the narrative «The Cage» by Anatoly Azolsky (to be ended in No. 6), as well as the short stories «Night Watches with Johann Wolfgang Goethe» by Vyacheslav Pietsukh and «Pansies» by Vladimir Sapozhnikov.

In the section «New Translations» you will find the end of the novel «Heaven Is My Destination» by American novelist Thornton Wilder, translated by A. Gobuzov (beginning in Nos. 2, 3, 4).

The section «Diaries. Memoirs» presents the end of the diaries by literary critic Igor Dedkov (beginning in No. 4), prepared for publishing and commented by T. Dedkova.

The section «Philosophy. History. Culture» presents the essays «Retaining Now. The Phenomenon of Pushkin and Russia's Historical Fate» by Valentin Nepomnyashchy and «Temptations» by Marina Novikova.

In the section «Writer's Diary» we are publishing «Marginal Notes» by Aleksandr Kushner.

Polemical notes by Aleksandr Arkhangelsky, written in connection with the comments by critic Lev Anninsky on an edition of publicistic works by Aleksandr Solzhenitsyn, occupies the section «By the Way».

In the section «Book Review» Leonid Bakhnov reviews collected texts of street songs; Mikhail Butov reviews a book on rock-music by Seva Novgorodtsev; Roman Arbitman reviews new translations on novels of adventure by Thomas Clancy.

In the section «Editor's Mail» we are publishing the works «What Will Be the Echo of Our Call?» by Yelena Shvetsova and «School Essays Are the National Property» by L. Aizerman.

In the section «Briefly About Books» Yuri Kublanovsky reviews new books of poetry by Yelena Shvarts and Yevgeny Rein; Gleb Shulpyakov reviews a new edition of poetry by Iosif Brodsky.

The issue also presents our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.01.96 г. Подписано к печати 20.03.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 30.770 экз. Зак. 937. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
 ЛЕОНИД АНДРЕЕВ. Неизвестные письма 1910-х годов;
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 ИНГМАР БЕРГМАН. Исповедальные беседы (роман, перевод со шведского);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 ЮРИЙ БУЙДА. Синдбад Мореход (рассказы);
 МИХАИЛ БУТОВ. Повесть;
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Дорога Бог знает куда;
 АНДРЕЙ ВОЛОС. Собака (рассказы);
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;
 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Свобода выбора (повесть);
 ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. Путешествие к Набокову;
 ОЛЕГ ЛАРИН. С Егорычем в магазин. Туда и обратно (повесть);
 ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ. Сорок лет Чанчжоэ (роман);
 МАРИНА НОВИКОВА. Ужасы (продолжение статей «Маргиналы», «Соблазны», «Символы»);
 ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы;
 ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Утка по-пекински (рассказы);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);
 В. ПОПОВ. Паспортная система советского крепостничества;
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. *Morgus Kitahara* (роман, перевод с немецкого);
 ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;
 ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. Из литературного наследия;
 АНТОН УТКИН. Хоровод (роман);
 АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. Чехов между верой и неверием;
 В. ШЕНТАЛИНСКИЙ. Свой среди своих (Борис Савинков на Лубянке);
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);
 АСАР ЭППЕЛЬ. Рассказы;

а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, РЕНАТЫ ГАЛ'ЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**